

179893

П О В Ы Й М И Р

6-7

МОСКВА

1944

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г.

№ 6—7

Год издания XXI

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — Взятие Великошумска, повесть	2
КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ — Путешествие в Среднюю Азию, стихотворения. Перевод с грузинского Бориса Серебрякова	56
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Петр I, роман. Продолжение	61
<u>А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ</u> — Капитан 1-го ранга, роман. Часть вторая	76
ЛОЛАХАН ТУМАНОВА — Анфиса Никитишна, рассказ	88
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Пушкины выдвигают, исторический роман. Окончание	102
АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО — Ключи, стихотворение	127
ВЕРОНИКА ТУШНОВА — Яблоки, стихотворение	127
Н. ЕМЕЛЬЯНОВА — «Сухие гвозди», рассказ	128
К. МУРЗИДИ — Горная цевеста, поэма	132
П. К. ИГНАТОВ — Записки партизана. Окончание	135

Л. СКОРИНО — Сказы П. Бажова	179
В. КАНЕВСКОЙ — Памяти А. С. Новикова-Прибоя	191

БИБЛИОГРАФИЯ

Э. ПАПЕРНЫЙ — Книга о Чехове	198
А. МАКАРОВ — Записки подводника	200
А. КОСТИЦЫН — «Сталинские мастера»	201
Н. ОЗАРОВСКИЙ — «Студеное море»	202

ВЗЯТИЕ ВЕЛИКОШУМСКА

Повесть

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

★

К полночи зарево погасло, и оборвалось бессонное бормотанье битвы. Все замолкло, кроме шептанья падающего снега. Немошная зима снова пыталась запырить бедную исковырянную землю. Близ рассвета лязг и грохот вступили в эту перевозданную тишину. Два прожекторной силы луча пронизали пестрый мрак метели, где затерялась станция.

Она существовала лишь на картах да в благодарной памяти тех, кто, проездом на теплые черноморские берега, любовался из вагона на прославленные здешние сады. Из тьмы проступили столбы с пучками порванных проводов, обугленные стены привокзальных строений и, среди прочих останков растоптанной жизни, ряды платформ, ставших на разгрузку. Под брезентами угадывались большие угловатые тела. Вдруг неимоверная воля сдвинула с места это притаившееся железо. Разбуженный, задул ветерок, и когда начальник в высокой шапке вышел из виллеса, сразу точно мокрой тряпкой мазнуло начальника по лицу.

Скорей по привычке, чем из потребности, он вытер усы и пощурился в небо — хватит ли до утра нелетней погоды. Надежнее мотосхотных и зенитных сторожей она охраняла его танки от чужих глаз и авиации. Правое, с генеральским погсом, плечо его полушубка было залеплено снегом, и часовые признавали хозяина лишь по дерзости, с какой сопроводительные машины проскочили запретную черту оцепленья, да по усердию адъютанта, который, забегая сбоку, светил ему дорогу фонариком.

— Спрячьте ваше чудо науки и техники, капитан, — попросил генерал, потому что батарейка иссякла, а ноги все равно по щиколку тонули в слякоти. — Лучше найдите нашего дежурного по штабу. Я недолго задержусь здесь.

Вместе с офицерами связи из подо-

спешего броневичка он миновал металлической падали, неубранной боя, паровозишко со вспоротой ной, обошел разбитые стояки пего мостика, дважды пролез под мами и двинулся напрямик в блсветовой центр ночи; узловая допускала одновременную разгусколькок эшелонов. В самом кразместяся по сторонам, два тащали длинные, из шпальных сходни, на которые робко, сласни в прочность саперной работы, стжелезные товарищи. Тугой мветер хлестал вдоль путей, снегопад; огромные ромбическплыли по этому подрагивающем;

Разгрузка происходила в торе следовали всей длиной состава чем коснуться земли, откуда им ял любой, на выбор, путь — либна запад, либо назад, в мартен. Iство состояло из новичков, малоных и еще не вкусивших звонмящего вдохновенья боя. Они нумели, и люди помогали им, дтатками живого тепла, а взамен тицу их неуязвимого спокойств действовали молча, голос раств истошном скрипе дерева, в пальбе изыявших моторов, и это лое молчанье было внушительнотчаянной боевой песни... Негде укрыться здесь от стужи, но шегод войны; и горькая злоба заленную молодость, за поруганну грела их жарче костра и любой привязанности. И ни один, ни припечатал матожком подлой что сыпалась сверху на погибелской душе:

Так он шел, наблюдая хлопот продоргих людей, не отдохнув долгой дороги. Вдоволь, в свое пхлебав щец из походного котелк

затрудненья, как букварь, читал их затаенные думки. И, как обучил когда-то его старый учитель Кульков, генерал сохранил привычку читать его вслух, сердцем вникая в каждое слово.

— Простите, шумно... товарищ генерал, — посунулся, было, сбоку связист.

— Я говорю, грозен наш народ, — раздельно повторил генерал, — красив и грозен, когда война становится у него единственным делом жизни. Лестно принадлежать к такой семье...

Он собирался прибавить также, что хорошо, если родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверья, — что впервые у России на мир и на себя открылись удивленные очи, — что народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей... но офицер буркнул что-то невпопад с непривычки к отвлеченным суждениям, да кстати над самым ухом затрещал мотор; розовый снег, мешаясь с пламенем, завихрился у выхлопной трубы... К тому времени выюга окончательно сравняла командира корпуса со всеми, кто не спал в эту проудную ночь.

Лишь в одном месте, привлеченный необычной тишиной, он замедлил шаг и вытянутой рукой преградил путь себе-седнику; офицеры сопровождения остановились сами из-за узости прохода. Здесь кончался эшелон. Вереница машин, терявшаяся в летящей тьме, с выключенными моторами ждала очереди на разгрузку. И хотя тут, в спящем луче танковой фары, снег висел плотный, как занавеска, сразу делалась ясна причина задержки. Бывалая, вся в рубцах неоднократных сварок, тридцать-четверка упиралась левым ленивцем в между-путе, круто обвалившись со сходней. Задние траки громоздились на помосте, и водитель еще надеялся сползти на малых оборотах, но деревянная клетка трещала и шепталась, шпалы поднимались дыбом с другого конца, и самый танк зловеще кренился на сторону.

Генерал подошел как раз в минуту, когда лейтенантик в армейском кожаном и с вихром из-под ушанки метнулся к переднему люку.

— Стой, стой говорю... — кричал лейтенант, в отчаянии поглядывая на шеренгу платформ, груз которых нависал над ним, как улика. — Вылезай теперь, полюбуйся, что ты наделал... вий полтавский!

Мотор заглох, и тем слышней стала сильная, усталая брань соседних экипажей. Постепенно замолкла и она, едва поняли, что этим не спихнуть железной глыбы, застрявшей у них на пути. Паренек в матерчатом шлеме понуро стоял посреди, и все, сколько их там было, об-

ступив кругом, смотрели на него с холодком осудительной жалости, как смотрят на погорельца, а насмотрясь, приступили к обсуждению. Они делали это обстоятельно и с удовольствием, видимо отдыхая от перенапряженья, и одни собирались вбивать какие-то железные ползуны под траки, чтоб машина скользянием спустилась со сходней, и уже тащили швеллер от бывшего пакагуза, а другие, напротив, подавали совет приподнять вагой левый борт, а затем пустить его на волю божию. «И таким манером мы выйдем из положения!»

— Узнаю наших, — шепнула ближайшему спутнику генерал. — Любим, когда что-нибудь отрываает нас от работы... — Привыкнув из любой беды извлекать спыт, предохраняющий от повторных несчастий, он со спокойным любопытством еслушивался в ночные голоса.

Так и длилась бы эта слишком мирная беседа, если бы лейтенанту не пришлось в голову сделать осветителей тягачами. Ужю расчленив свою тридцать-четверку под прямым углом, а сбоку придерживая ее тросом за гусеницу, чтоб не повалилась на бок, он махнул рукой, буксирные танки рванули, и корма аварийной машины плавно скользнула вниз, лишь раскрошив концы бревен. Десятки моторов приветственно взревели кругом, движение возобновилось. И пока проходили они мимо тридцать-четверки, утерявшей свою очередь, лейтенант отчитывал виноватого паренька. Надсаженный голос звучал не обидно, с какой-то проникновенной человеческой горчинкой, но значит, острей ножа и выговора был пареньку этот упрек старшего товарища. Не оправдываясь, не защищаясь, он только морщился как от боли и глядел в снег.

— Куда ж ты смотрел, чортова баба! На реке случилось бы, ведь ты бы нас утопил. Я уж не говорю о машине. Ведь это гнев твой, силаща, а ты экую красавицу в грязьцу завалила. А знаешь, сколько надо такую машину смастерить? Старики да малые ребятки на заводешках ночей не спят, варят ее, обряжают для нас с тобой... Да и то гаркнут порою хочется — «Эй, на Урале... кто там закурить пошел?» А ты... Эх, а еще в мстители затесался!

— Хозяин... детей, верно, любит, — шепнул в сторону генерал, и кто-то поддакнул ему в голос: «Вот они, танкисты! Вот они, мы!»

Точно учувств тепло похвалы, лейтенант обернулся и враз опознал свидетеля своему приключению. Старше вблизи не нашлось; он пометался, скомандовал тишину и в одно дыханье выпалил генералу, что на разгрузке тридцать седьмая бригада, что самому ему фамилия — Сольбоков, и что именно его машина, номер

двести три, только-что вышла из столь беспомощного состояния.

— Вижу, все вижу... товарищ гвардии офицер, — подтвердил командир корпуса, глядя на незаправленную под погон португую. — Не знал, что такие завелись у меня лихачи... на ровном месте спотыкаются.

Тотчас обнаружили сто причин, а сто первая заключалась в том, что сзади торопили, да тут еще трак скользя по скобе настила и, как на зло, изменил левый фрикцион, отчего машина поползла юзом и оступилась с метровой высоты. Судя по неуверенности тона, лейтенант и сам сознавал, что фрикцион не сердце девичье, вещь вполне надежная, и у доброго воина повреждается разве только когда от самого танка остается одна железная щепка. Это же отметил и генерал, прибавив сгоряча некоторые слова, от которых все вокруг приосанились, подтянулись и стояли еще смиреннее.

— Значит, в пренебрежении у вас эти самые... ну, бортовые фрикционы, а зря... — заключил он, утихая. — Кто у вас этим делом занимается?

Тогда и пришлось Соболюкову назвать виновника происшествия. Выяснилось, что механиком-водителем у него на двести третьей состоит новичок из пополнения, некий Литовченко, совсем молоденький и сам из здешних мест, а потому немца встречал вплотную, и, видать, крепко на какого-то осерчал, раз добровольно прибежал в армию, искать врага своего на громадном судилище войны. Последнее в особенности походило на правду: у каждого из них имелись личные счеты с Германией... Пока генерал прислушивался к чем-то взволнованной памяти, лейтенант незамедлительно перешел от обороны к наступлению. — Что касается двести третьей, пошутил он, то ущерба ей от встряски не предвидится, машина испытанная: так ли еще маханула она, к примеру, в один овраг под Россошь, после того как вырвало кусок брони из лобовика и позаило прежнего водителя, предшественника Литовченко. Если только припомнит товарищ генерал, то случилось на исходе того дня, когда именно их корпус, зайдя от Валуек, нанес решающий удар по Итали и заставил ее смотаться из войны.

Две красных полосы были нашиты справа на груди лейтенанта. Генерал усмехнулся патристическому красноречию своего танкиста; одновременно на лицах у всех, в десятке вариантов, повторилась его улыбка. Упоминанье о Россоши было им заслуженно и в равной степени приятно; если шепнуть это слово во-время, на ухо обессилевшему товарищу, оно удваивало отвагу, воскрешало

как глоток спирта, этот пароль круговой танкистской поруки.

Генерал поднял голову:

— Литовченко, Литовченко... — искал он в памяти, и опять чем-то горячим пахнуло на него из этой ночи. — В школе со мной учился однофамилец мой, Денис Литовченко. Собачник был, целая орава дворняг так и бродила по его пятам... А ну, покажите, что у вас за некий Литовченко!

Тряхнув жожолком, не то седым, не то залушенным снежной пылью, Соболюков крикнул это имя в летящий снег, и тотчас знакомый паренек выткнулся рядом с командиром танка. Луч от фары прищелкнул на него сбоку; кроме того вернувшийся с офицером штаба адъютант подсветил ему мигалкой, без опаски получить вторичное поношение науке и технике. Карие мальчишеские глаза чуть напуганно смотрели из-под густых, не по возрасту, бровей; левая, рассеченная при падении, слегка кровоточила... Нет, это был не тот Литовченко, моложе, постатней, и явно не денскиной породы. Не зря Митрофан Платонович Кульков назвал того коlobком при выпуске из школы — «катись, коlobку, в свет, та стержись, чтоб сирый вовк не зыб!»

— Что же ты, тезка, плохо за машиной следишь? — заговорил генерал, смягчаясь воспоминаньями. — Танк не лошадь, не огрызнется, сахару с ладони не попросит... Ты его молча понимай, и дружба его тебя не обманет. А представь, такая же ночь и врагов тысяча... тут каждый болтик слезой бы омыл, да поздно.

Он говорил так, как если бы сын денский стоял перед ним, нуждаясь в отеческом наставлении, и всем очень понравилось, что он говорит с этим полу-мальчишкой, как с сыном.

— Машина исправна... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Только я чтой гусеницей тормознул второпях, — открыто признался механик, и опять всем кругом понравилось, что и этот не бежит вины, не ждет прощенья.

— За правду хвалю. У меня в корпусе не лгут... Кстати, как батька-то кличут?

— Батька Екимом звали, — отвечал Литовченко, и брови туже сдвинулись к переносью.

— Так. Немцы, что ль, убили?

— Сам помер... от старины.

— Вот оно что, — по-своему прочитав его итнонацию генерал и почему-то убавилось его огорченье, что хлопец этот даже не родственник Дениске. — За что ж ты на немца обиделся?.. дом спалил или девушку твою увел?

Литовченко медлил с ответом; коротко было бы ему не объяснить, а на длинное пояснение он не решался. И чтоб выр-

чить товарища перед начальством, все заспешили к нему на помощь.

— Хлебану беды крестьянской, — подсказал кто-то сверху, с платформы. — Все мы ею досыта пропитались.

— Сейчас только тот и без горя, кто воровски живет, — поддержал другой, и генералу показалось, что когда-то он довольно часто слышал этот голос.

— Такое дело... товарищ гвардии генерал-лейтенант... — начал третий. Ганцы на селе у них стояли, и один мамашу евонную мертвой курой шарахнул...

— Каб ударила, не стоял бы я на этом месте... — угрюмо поправил Литовченко.

— Ничего не понимаю, — сказал генерал. — Ударил он ее или не ударил?

— Он у нас чудак, товарищ генерал, — пояснили со стороны.

— Какое ж тут чудачество! Кто родную мать в обиду выдаст, тому и большая наша мать ничем, — вступился генерал за паренька, с интересом глядя, как садятся и тают снежинки на его щеке, безволосой и чумазой, потому что водители обычно ехали под одним брезентом с печкой, которою и обогревали в походе свой танк. — И как же ты считаешься поймать его в такой суматохе... врага своего?

— Легше нет, — насмешливо произнес тот же, окрипший от погоды, мучительно знакомый голос, и почему-то генералу вспомнилось, что еще не обедал за истекшие сутки. — Надоть его на перламутровую пуговицу.

— Это как же так... на пуговицу? — спросил генерал, единственно чтобы еще раз услышать голос.

— А как муху ловят. Взять простую пуговицу, от рубашки скажем, о четырех дырочках... и обыкновенно крутить у мужи перед глазами, пока она не начнет вроде вянуть. А там берут осторожно за крылышки, чтоб не взбодить, и поступают по строгому закону... Так что ль, милый Бася?

Шутка относилась, конечно, к маленькому Литовченко. Тот не отвечал: опустив голову, он уставился на руку себе, обмотанную тряпкой. Этим он как бы клал конец публичному обсуждению своей сокровенной обиды.

— Значит, гордый ты, тезка, — одобрительно засмеялся генерал. — Это хорошо. Мне и нужны такие, гордые и злые. Ладно, оставьте его. Посмотрим, что он за вояка... — И повернулся к подсказчику, чтоб удовлетворить возникшее любопытство.

Они стояли перед ним все одинакие, на одно лицо, в одеревенелых от мокроты шинелях и набухших водою сапогах. И все же человек этот, казавшийся старше других, заметно выделялся в их ряду; здесь опять пригодилась мигалка адью-

танта. И хотя танкист был теперь в усах и к тому же немедленно опустил озорватые, себе на уме глаза, сразу видно было, что личность эта веда образ жизни, нагаскающий подозренье в смысле пристрастия к некоторым крепким напиткам... Нельзя было не узнать его, бывшего повара из штаба корпуса, который мог бы прославиться и во всеармейском масштабе, если бы не роковая любознательность к жидкостям. Она не только помешала ему продвигаться по служебным ступеням, но и удержаться на достигнутых высотах; падение случилось как раз после Россоси, когда кладовые штабной столовой значительно пополнились трофейным продовольствием. Итальянский вермут, французское шампанское, венгерский токай и даже тухлый немецкий ром принялись наперегонки сохнуть в его присутствии, а глазуньи, которыми он ограничил круг своей деятельности, приобрили столь броневые вкусы и прочность, что офицеры диву давались, до чего можно довести обыкновенное куриное яйцо. Ему давали советы подкидывать эти злодейские яишницы неприятелю, чтоб калчилились на них, но он не внял деликатным предупреждениям, и тогда пришлось откомандировать его вовсе из управления корпуса, что не вызвало ни ропота, ни удивления с его стороны.

— А ведь это ты, Обрядин, — вместо приветствия и весело сказал генерал. — Ну, кем воюешь, как живешь?

— Башнером на двести третьей... товарищ гвардии генерал-лейтенант. Вот, прибалываю маненько. — сильным баском сообщил он, желяя этим выразить степень своего раскаянья.

— Так... И болезнь все та же?

Обрядин не ответил и лишь облизал пышный ус, чтоб скрыть усмешку, какая была и у генерала.

— Что ж, выздоравливай, — пожелал генерал и уже собирался отойти, потому что не на одной только этой станции происходила выгрузка его хозяйства, да еще предстояло по пути в район сосредоточения заехать в штаб армии и, кроме того, расспросить кое о чем дежурного офицера из штаба. И тут бросилось ему в глаза странное, даже неуместное для солдата, швеленье на обрядинском животе, чуть повыше поясного ремешка... Башнер стоял смиренно, руки по швам и выпятив грудь так, чтобы по возможности натянулось на груди сукно шинели. Он даже попытался стать бочком к командиру корпуса, но в ту же минуту что-то живое выглянуло из-за борта обрядинской шинелишки.

— Ну-ка, посветите, капитан. Что это за живность у тебя, Обрядин?

— Это Кисо... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — виновато, упавшим голосом признался тот.

И уже решительно невозможно стало для начальства покинуть это место, не увидев старинного сослуживца. Не дожидаясь прямого приказа, Обрядин достал из-за пазухи свой секрет. Маленькое сероватое существо, ежась от холода и дремотно шуряя на свет, лежало в огромной правой ладони танкиста; левой он прикрывал его от простуды, так что хвост и ноги оставались под угрозом мокрого обрядинского рукава.

— Ну, здравствуй, беглец. Что, разве плохо тебе жилось у меня? — тихо произнес генерал, и уж такой установился в штабе у них обычай — непременно, при каждой встрече, почесать у котенка за ухом. — А тощий он стал у тебя... верно, яшницами кормишь? Ишь, все ребра наперечет!

— От нервной жизни... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — постарался оправдаться Обрядин. — Ведь все в боях да в боях..

...Гвардейский корпус Литовченко всегда ставили на главном направлении армейского удара. Его молниеносный маневр и свирепые рейды по тылам врага изучались в академиях не только на его родине. Ветреная военная слава свила себе гнездо на пыльных или обрызганных кровью надкрылках его танков, а горячие головы, что имелись там в каждой роте, собирались помыть их в заграничной рейнской водичке.. Пятеро таких товарищей, на короткую минутку сойдясь в кружок, а остальные — через их плечи, пристально глядели на домашнего зверька, который мигал и встряхивал головой, когда снежинка залетала в глаз. Вряд ли то была нежность к безответному спутнику героических скитаний; она давно истаяла горьким дымком из их огрубевших сердец, — даже не жалость! Но именно на этом теплом комочке жизни, напоминавшем о покинутом доме, о милых в далеком тылу, на которых замаяхнулся Гитлер, сосредоточилась их глубокая солдатская человечность... Снег переставал, шерсть на котенке смокла, он становился похожим на ежа. Светало, и когда генерал взглянул на часы, он уже без помощи науки и техники разглядел стрелки.

— Ладно, — сказал он, и офицер связи побежал вперед предупредить, чтоб заводи́ли машины. — Тезке выговор, чтоб помнил, какая правая, и какая левая сторона. Через недельку надеюсь услышать о вас, товарищи. Все.

Прижав подбородок к воротнику, он медленно, против ветра, двинулся назад. Штабной офицер, на котором лежала приемка эшелонов, докладывал в подробностях, когда прибывают очередные,

кто именно, по фамилиям и должностям, срывает график движения, и откуда должны подать недостающие паровозы... Поссерело, когда они подошли к машинам.

Холодная влага с вечера проникала в хромовые генеральские сапоги, но он стоял еще здесь, прежде чем перелезть высоких, неудобный порог своего виллиса. Что привлекало его внимание в этой равнине, нынешнюю безотрадность которой не могли скрасить и причуды недавней метели?. По белесому покрову полей проступали черные дороги; больше ничего там не было, кроме головешек.

— Здравствуй, зазимок, — непонятно произнес Литовченко, и у всех, кто стоял поблизости, создалось впечатление, будто он поклонился тому, что лежало под белой простыней снега.

Офицеры имели основания приглядываться к своему генералу. Волнение, обычное при посещении старого, милого жилья, сопровождало его последние сутки. Оно не улеглось, когда машины, по радиатор нуряя в хляби, ринулись по дороге; оно усилилось, как только по сторонам развернулись виды, узнаваемые и все же непохожие на себя. Литовченко пытался думать о войне, но среди больших хозяйских планов все чаще, как сухие полевые цветы, попадались благословенные воспоминания, живые и трепетные до озноба и легкого холодка в пальцах.

Здесь прошло детство. Отца и мать он знал лишь по блеклой карточке над комодиком, среди пучков чернобыльника и тимьяна. Первые четырнадцать лет безоблачно протекли под крылом у бабушки, прославившей великошумской лекарихи; сам Митрофан Платонович, просвещенный тамошний деятель, лечился ее тинктурами от ревматизма. В городке, среди вишневых джунглей, доживали век древние монашьярки; ручейки богомольцев тянулись к ним отовсюду. И кому не помогали их пышные святыни, те брели на окраину, к опрятной хатке старухи Литовченко. Безжалобная простонародная хвороба всегда сидела на ступеньках ее крыльца. Старуха не брала платы, — люди тайком оставляли посылные, зачастую щедрые приношенья: за цветы, даже сухие, надо платить ровненз тому, сколько надежды или радости доставляют они душе.

Этой прямой и суховатой женщине с блестящими, без сединки, волосами, принадлежало волшебное травное царство, раскинутое под ногами у всех и открытое немногим. Постоянный спутник странствий на сборы трав, мальчик помогал ей добывать скудный хлеб вдовьего существованья, и за это бабушка научила его слушать голоса родных полей и леса, за сутки проникать в сокровенные

замыслы природы, что сгодилось ему не раз в его военных предприятиях, и в скромном венчике любого придорожного цветка видеть ласковый, недремающий, всегда присматривающий за тобою глазок родины, что также невредно знать солдату...

Босыми ногами он исходил великошумскую окрестность. Под тем коренастым дубком, который за красу пощадила война, они стояли однажды, застигнутые первовесеннею грозой. Первые капли уже пристреливались по лохматым листьям медвежьего уха, и веселый гром прокапывался в небе, словно перед обедней на великошумском крылосе прокашливались басы. А здесь, на развилке дорог, он навсегда протиснулся с бабушкой, уходя в жизнь; и старая все наказывала надевать новые штаны лишь по праздникам и беречь сапоги деда, прослужившие ему полвска. И еще брала обещаньице слать ей письма о своем бытѣ, которые он и написал ей, ровным счетом два... В час прощанья стояло безветренное утро. Было тихо в природе, и пели молодые петушки. Дымок паровоза уже белел вдалеке, гудела звонкая июльская земля. Мальчик помчался один, не оглянувшись на старую... Заскочить бы к ней сейчас, она напоила бы его густым, медовой крепости, липовым цветом, а потом закутаться бы в дедов кожух и забыться до сумерек, пока старая хлопочет внизу, сооружая богатырскую пищу. Он уже забывал несложную и меткую знахарскую фармакопею, но из собственного опыта убеждался не однажды, что отвар обыкновенной катусты, в равных долях со свежлой и добрым украинским салом, оказывает целебное влияние на организм, ослабший от бессонных ночей и сезонного солдатского нездоровья.

Лекариху сменил в городке фельдшерок, лечивший хоть и безуспешно, зато и без старинной поэтической чепухи. Бабушка умерла одна, тремя годами позже, когда внук, поскитавшись по ремеслам, поступил в учительскую семинарию. В семнадцать лет он еще не разумел обязанности хоть на часок примчаться в Великошумск, проводить старую на порог последнего жилища... И странно: давно обратилось ее сухое тело в цветы и травы, хозяйкой которых слыла, а голос растворялся в шопоте капелей, листвы и ручьев, а дыханье влилось в громадный воздух родины, но владело им чувство, что она совсем рядом, радуется его свершеньям и слышит, как гремят в его честь московские салюты... Старуха Литовченко еще жила, только нельзя стало захватить к ней запросто, обнять за никогда неоплаченную заботку. И этот неотданный должок он с лихвой платил теперь своей земле, людям на ней и ее честной правде.

Он полуобернулся к адъютанту, кото-

рый трясся позади на железном сиденьи виллиса и подскакивал вроде камешка в погремущке.

— Знобит меня, капитан... и мысли все как-то в бок уклоняются. Осталось у нас что-нибудь во флаге?

Там едва плескалось на доньшке; он отхлебнул ровно столько, чтобы не беспокоить посудину до конца пути... Дул сырой и теплый балканский ветер, почти весенний шум заполнял уши; начиналась оттепель, и не один танкист сейчас, вот так же, взирал со вздохом на эту непролазную распутицу... Нет, не похож стал Великошумский край на тот, что он покинул тридцать годков назад. И уже не плыли там юные, неумелые петушки.

Острая, почти колючая синева сияла из облачной промоины; в ней, журча, на бомбежку тылов прошли германские самолеты. Литовченко мысленно увидел свои танки, застигнутые в дороге... но вслед за тем проглянуло солнце, и тонкая колоколенка розовым видением вспрынула на горизонте, за бугром. Она стояла на яркой площадке Великошумска, которую, в пору детства, пересекала тень трех знакомых рослых тополей; тотчас за ними и ютился домик учителя Кулькова, самого милого из проживающих нынче на белом свете.

Это был неказистый, без возраста и личной жизни человек, безвестный сеятель народного знания. Только прежде чем бросить семя в почву, он прогрел его в ладони умным человеческим дыханьем. Его уроки никогда не укладывались в программу, но эти взволнованные отступленья бывали самой лакомой пищей для его птенцов. Юноша Литовченко пошел бы тою же дорогой из одного подражания этому честнейшему образцу, не призови его революция в солдаты... Старый учитель и учитель несостоявшийся не повидались ни разу; Митрофан Платонович только раз выезжал из Великошумска, в Москву, за трудовой медалью. Случилось это осенью тридцать девятого года, когда подполковник Литовченко лечился от ран в иркутском госпитале и о награждении узнал из странички учительской газеты, в которой принесли полкило терпкого зеленого винограда. Рядом с краткой заметкой, куда уложились все сорок лет педагогического подвига, помещалась фотография серебряного старичка, стриженного под бобрик и в толстовке; сквозь очки с пытливым юморком глядели те же добрые, пристальные глаза... Весь день до сумерек подполковник мысленно бродил с ним по бедным, немощным улицам родного городка, а утром напомнил Митрофану Платоновичу открыткой, как тридцать слишком лет назад он уронил школьный глобус и помял всю Европу от Бислы до самого Рейна...

И старик отыскал в памяти этот эпизод; в ответ пришло цветистое послание, исполненное затейным почерком, так как кроме всех известных в учебном мире наук Кульков преподавал также и чистописание. Он извещал, что живет хорошо, и его даже выбрали заместителем председателя чего-то; что и Великошумска коснулись пятилетки после того, как под городом, за бывшим конским кладбищем с названием Едовиче, обнаружались особые, всемирно-полезные глины, какие, по слухам, имеются еще только в республике Эквадор, на реке Сангурима; что на подъеме у них народная жизнь, и до полного счастья осталась не более семи шагов, а сам он молодеет с каждым годом, и если так продолжится, пожалуй и женится он на какой-нибудь соответственной крале, чтоб было на кого ворчать в долгие зимние вечера. Кстати, он звал навестить — если не его самого, ворчуна Кулькова, то хоть помятый глобус, который еще жив и шлет поклон приятелю, — а вместе с тем и отдохнуть в родных приволяях, тем более, что целое парковое кольцо защищает теперь Великошумск от убийственных степных пылей, — и вкусно соблазнял кабунами, которые в чудовищных размерах и на удивление иностранных специалистов выращивает там совместно с ним некий Литовченко, но не тот Литовченко, который колобок, а другой, участник сельскохозяйственной выставки от Украины. Горечью старческой обиды отзывали эти убогистые строки: много он раскидал семян добра и правды в народную ниву, и хоть одно, разрастаясь в плодосное дерево, кивнуло бы ему издали своей могучей кроной!

Так возродилась их дружба. Теперь куда бы ни прибывал по служебным делам полковник Литовченко, отовсюду слал местную диковинку в адрес великошумского учителя: даже из Риги, куда история также закинула однажды генерал-майора Литовченко; наверняка сыщется подарок старику и в немецком городе Берлине.. Стесняясь вначале признаться, что не получился из него педагог, он не упомянул в переписке о своем военном поприще, а позже, чтоб уж не смущать его чинами, умолчал и о продвижении по службе. Пусть в памяти старика живет до поры некрасивый черноглазый мальчик, которому после повреждения центральной Европы на школьном глобусе он шуточно предсказал шумную военную будущность.

В тихий город Великошумск немцы вступили на третий месяц войны; переписка оборвалась сама собою. Страна узнала имя Литовченко сразу в звании генерал-лейтенанта, которого немцы к исходу второго года именовали уже ein grosser Panzermann. Но как у всех на неза-

метном перекате к старости взор невольно обращается назад, к истокам жизни, чтоб подвести итоги перед решительным рывком вперед, так и для Литовченко стало насущной потребностью посещение родного городка. И опять шла навстречу генералу его удачливая судьба. За час до того, как был получен приказ о переброске корпуса на украинский фронт, стало известно о взятии Красной Армией Великошумска.

По существу он так и ехал прямоком в гости к Митрофану Платоновичу. И теперь, щурясь от бокового ветра, он примеривался заранее, как вкатит на четырех машинах в тесный дворик на Шевченковской, и войдет с обнаженной головой, во всех регалиях и славе, и, минуя обычные восклицанья, тут же, в темных сенцах, прижмет старенькую толстовку к олубеневшему сукну генеральской шинели. Не повредит и мальчишеское озорство такого внезапного появления: тем больше будет ликованье старика, когда узнает, что это тот Литовченко, чей газетный портрет прячут под подушками сиротки, у которых Гитлер убил отцов... Они сядут за стол и будут молчать, пока не обвыкнутся после разлуки, и наверно вся улица, прослышав о таком госте, соберется под окошками Кулькова, и хозяин станет спрашивать его о самом сокровенном человеческом на свете. А там, расположась на часок-другой, можно будет выжечь простуду из тела какой-нибудь ядовитой домашней настойкой... И, вот, началась и потекла долгожданная горячая беседа, и он сам сидел перед Литовченко, добрый великошумский старик, подливая ему в тоненькую рюмочку. Тем более странно было, что у Кулькова вдруг оказалось лицо адъютанта. — Ленивый струйчатый жар поднимался из мокрых хромовых сапог и подступал к подбородку.

— Василий Андреич, — уже настойчивей повторял капитан, — я так полагаю, стоило бы вам в хату заехать, переобуться, а то совсем свалитесь. Майору валенки из деревни прислали, а сухие подвертки где-нибудь на селе добудем. Тут везде наши части стоят. Завтра трудный день... похоже, гроза собирается!

Потребовалось еще некоторое время, чтоб совсем расстаться с великошумским мирражем. Возрастающая, такая мирная издали, в сознание просочилась каюнада. Колоколенка давно пропала; на ее место продолговатое, военного происхождения облако встало над горизонтом.. Они ехали вдоль линии фронта, приближаясь к нему под малым углом. Пригревало солнце, грозя к ночи обратить все правобережье в сплошное месиво.

— Как же я в валенках к командующему заявлюсь! — сообразил, наконец, ге-

нерал. — Погоди, кончим войну, назначат меня смотрителем на маяк... тогда и заведу себе козловые сапоги со скрипом, а пока рано мне, капитан. — Возражение звучало неубедительно, и капитан упорствовал, решась использовать слабость противника до конца. — Ну-ну, там посмотрим. Что-то длинно мы едем, не сбиться бы с дороги. Вы следите за картой?

Адъютант расстегнул планшет и стал чертить ногтем по целлулоиду:

— Давеча Малый Грушевец проехали, та-ак. Нравятся мне здешние населенные пункты... товарищ генерал. Ла-асковский кто-то прозванья им раздавал. Затем балочка, только-что миновали, а за нею селение под именем Райское. — Он высунулся из машины, чтоб удостовериться он, различив уйму пеньков между пригорками багрового щебня и золы; две вороны, явно нездешние, транзитные, доставали себе скудный харч из-под снега. — А ведь в каждом домике по хозяйке имелось, девчатки из скон глазели, в каждой печи вареники... Знатная еда, говорят! В кои веки в гости зашел, а у них покойник в доме... Нет, едем мы правильно. — И так выходило по его словам, что сейчас будут Белые Коровичи, а оттуда двенадцать километров останется до Лытошина, где стоит штаб армии.

— Вот вы давеча, видать сквозь сон, про сердце танкиста обронили... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — отозвался шофер, и капитан с неудовольствием покосился на него. — А только, извиняюсь, конечно, нет во мне теперь этого самого сердца. Не надейся и не спрашивай: нету. Нагляделся я раз всего под Кантемировкой, машину остановил, повалился в ромашки у дороги, плачу. И как отплакал свое, так и зажглось во мне враз, не могу себя погасить. Так и горю... Вот, еду, а дым черный столбом надо мной идет!

Значит и другие заметили его простуду: видимо сочувствие к командиру располагало их к такому дружественному красноречию. Следовало заехать на часок в Коровичи для просушки и леченья. Вскоре показалось жильё. сперва такая же битая скорлупа теплых мужицких гнезд, а потом, в отраду сердцу, явилась череда вовсе нетронутых домов, оазис среди пустыни. То и были Белые Коровичи. Пока офицеры бежали куда-то, генерал смотрел, расставив ноги, как молодая женщина доставала журавлем воду из колодца.

Он спросил ее о чем-то для первого знакомства, молодая ответила не сразу. Разминая застывшие плечи, генерал осведомился также, как живут они здесь, на безлюдьи. «Хорошо», отвечала молодая, без плеска ставя ведро на колоду. «Чего ж хорошего, даже собаки на не-

званных не лают. Пуганые, что ли?» Выяснилось, что собак немцы поморили всех, и даже сверчки на Украине перестали сверчать, но теперь возвращаются кое-где на обжитые места. Словом, когда вернулся офицер связи, генералу стало уже известно, что немцев прогнали всего неделю, что в Коровичах стоит артиллерийский резервный полк, а дальше крыло уплотнено довадок погорельцами, — маются где придется — в клунях, чуланах и погребках.

Валенки сказались сибирскими пимками, чуть не до пояса и на кожаной подошве, такими осанистыми, что у генерала не нашлось возражений против столь вещественного довода.

— Пока обогреетесь, товарищ Крушинин, — уже по-фронтовому обратился к комкору адъютант, — хозяйка тем временем чайку смастерит. — Он подмигнул молоденькой, и та ответила спокойным взором таких красивых, с такой величавой, неисплаканной печалью, таких глубоких, как после болезни, глаз, что капитан невольно подтянулся и стал обдергивать на себе ремешки. — Как фамилия, царевна?

— Литовченко, — сказала женщина, поднимая коромысло на плечо.

— Ишь, совпадение какое. И мы все тоже Литовченки, — весело поддержал адъютант, потому что этот тон избавлял от расспросов и сразу создавал отношения старой дружбы. — Ну, веди нас к себе, посмотрим, что за дворец по такой красавице.

Узкая наотптанная тропка вела к глazaстой хатке на пригорке, казавшейся благополучнее других. Початки кукурузы янтарными монистами свисали над окном и покачивались в ветре на крыльце. Слегка сутулась от тяжести, женщина пропустила гостей на ступеньки. Гечерал вошел первым... Топилась печка. Ветер задувал дым из трубы; домовитый, уютный после холода, соломенный чад стлался по хате. Человек тридцать артиллеристов сидели на лавках вдоль стен и на низких дощатых полатях; иные приладились на чурочке у порога, а один свесил босые ноги с печки, обняв запущенного от сна мальчика, такого же красавца, как его мать. Все поднялись, кроме хозяйки. Старуха осталась сидеть перед печкой и не отвела глаз от огня, даже когда шестеро проезжих молодцов ввалились к ней на постой.

— Сидите, товарищи, — жестом предупредил общее движение генерал. — Мы только посушиться, мимоездом. — Нетнет, ни в коем случае... — удержал он адъютанта, собравшегося очистить хату на время их стоянки, и выждал, пока все снова уселись в нерешительном смущении. — Продолжайте свои дела. Политзанятия, кажется?

— Никак нет, товарищ генерал. Седьмая батарея артпока находится на прочтении писем, — отвечал довольно тщедушного вида усач, быстро оправив на себе застиранную гимнастерку. — От хзяйкина сына письма, из неметчины. Тут у нас пополнение имеется... вводим, как сказать, в курс всеобщего дела. Красивым слогом написаны!

— Вот и отлично, и мы послушаем, — одобрил генерал, высвобождаясь из мокрой отяжелевшей шинели.

— Да уж почти все отчитали, эва, целую горочку. Последнее осталось, — пожалел сержант и кивнул на пачку писем посреди темного скобленного стола. — Только беда, все по-украински весточкито, товарищ генерал, а у меня все вологодские да мордва... один татарин есть, Алексей. Ишь, на приступочке сидит, согнулся... болеет. Лишний сила в бсю давал! — И для приличья посмеялся жестяным, никому не обидным смешком. — Однако все, понятно, слезой писано. Освободить место генералу! — повисла он голос, и скамья сразу опустела, точно полотенцем обмахнули для высокого гостя, но почему-то тесней в хате от этого не стало. — Читай, Куковеренков, не торопись, а то не выдам я тебе рекомендации в артисты.

Он был слишком суетлив для должности политука, но что-то звенело, то струнчикою, то набатно звенело в нем, заставляло вслушиваться с возрастающей тревогой и торопиться, опреть торопиться куда-то. Обстановка не соответствовала его шутовому тону; прибаутками он хотел побороть смущенные собравшихся хотя бы и перед чужим начальством. Бледной зимней окраски бальзамина не совсем застилали свет в окнах. Все же стреляная противотанковая гильза, сплюснутая сверху, снабженная бензином и фитилем, горела на столе, придавая особую, как в храме, торжественность собранью... Шоферы долго стелили салфетку на краешке стола, доставали припасы, выдавали молодке чай на заварку, пока геберал не прекратил их неуместную суестню.

— И кстати, дайте конфеток мальчику, капитан... — сердясь и сквозь зубы приказал генерал. — Понимать надо... Сам же жалобился, что детей в эвакуации оставил! — И хотя это было сказано вполголоса, тень одобрительной улыбки поочередно прошла по всем лицам, кроме старухина. — От отца, что ли, открытки-то?

— Не, то от дядьки, товарищ военный. А папаша у него нет. Никогда он сынка не приглубит... Все собирается письмо написать батюку в могилку, — сказала женщина с закушенными губами по-украински, обернувшись к окну поправить занавеску.

— Не бойсь, махонький... ешь, сиротка. А немцу, что дружков твоих в коло-

дец побросал да животиной дохлой сверху накрыл, чтоб не вылезали — капут, капут немцу! Ешь, родной... в Германии еще добудем. Душу вытряхнем, а добудем... если начальство разрешит, — сказал он еще, испытующе покосясь на генерала, который с наслаждением вдыхал хмельной и сытный пар из стакана.

— Данке шён, — кротко, забито сказал мальчик.

— Слышали? — зловеще окликнул усач свое собрание, которое вдруг заежилось и недобро пошевелилось. — Приступай, Куковеренков!

Ближний, широкоскулый, с неподвижным лицом красноармеец уже держал в руке это последнее письмо. Как и прочее, то была стандартная открытка с печатным предупреждением писать в одну строку и без помарок. Вместо обратного адреса стоял квадратный лиловый штамп с указанием лагерного номера корреспондента. Чтец некоторое время как бы изучал почтовую марку, запоминая одуловатый, с прядью на лбу и выпуклыми жабными глазами, профиль. Личность эту он видел не раз на плакатах в немецких землянках, и не промахнулся бы при встрече, а теперь он просто выжидал, когда все придет в прежнюю стройность, перестанет хрустеть серебряная бумажка в сироткином кулачке и замолчит сверчок в подпечья. Слишком много слов было напихано как попало в это письмо; столько слов, что любой полдень затмить и опечалить хватало бы этой черноты. Указанное обстоятельство охраняло его от цензуры, но оно же заставляло и Куковеренкова запинаться, тем более что он сразу переводил по-русски. Наконец, сверчок пискнул еще раз и затих, также готовясь слушать послание из неметчины.

«Здравствуйте, родные, кто меня еще не забыл. Я жму твою правую ручку, мамо, и поклон всей милой, сколь глаза хватит, Украине. Сестрице Одарке мой скучный, далекокрайний привет. И братику Кузьме щиросердечный привет тоже. И спасибо, что послали сапоги, а то порвали чоботы мои, и работа мокрая, но только я не получал. Хотя дают мне двенадцать марок в месяц, но ничего не купишь окроме ситра. Я пишу тебе, мамо, что немножко запах весь и живу хорошо. И снилось мне два раза, что выстроили новую хату, и будто идут коровы из нашей улицы, стадо в поле идет. И тут все поле превратилось в гробовище. Ты стоишь одна, мамо, и ни травки кругом, ничего нет».

— Хорошим слогом писано, — взволнованно отметил генерал, и повернул голову к молодке. — Это, значит, и есть дядька?... сколько ему лет, дядьке?

— Семнадцатый с Покрова, — отвечала молодая, по-бабьи подпершись рукой и внимая письму, как новинке.

Черная струйка копоти вилась над гильзой, как и несложная нитка повествования. Кашлянув и как бы подстроив бившееся горло, Кукуверенков ловко провел пальцем по огню, смахнул нагар и тем прибавил свету. Все молчало, только из рукояйника у двери размеренно капала вода. Сейчас все эти люди принадлежали к одной семье Литовченко: заезжие шоферы, генерал, перед которым стояли американские бобы со свиной, вологодские с суровыми лицами мужики, татарин Алексей, соломинкой подмывавший пол, — и самые боги, выглядывая из бумажного цветника, силились вникнуть в эту протяжную как песня жалобу.

«Живу, только и думаю про Украину, — писал дальше мальчик Литовченко. — А нельзя мне тут жить и гулять. Как вспомню все, и как братик Тимофей суму мою нес, и как мамку ударили, так и плачу. Тогда я побегал к вам, но меня поймали. Дали двадцать пять по голому телу, а потом морили голодом, но недолго, мамо. Я опять побегал, в темноте бежать хорошо, тогда поймали меня еще, а я ничего, только бы не убили. А как узнал я про смерть Тимофея, все продал с себя. купил ведро картошки и ситра ведро и пил, три дня лежал бесчувственно, поминал старшего братика Тимофея в городе Берлине. Меня палкой тычут, как зверя, чтоб на работу шел, а я лежу, не могу идти, плачу. А город Берлин разбит чисто, хуже Киева побит. И детей не видать, и людей мало».

Пока звучал этот вопль издали, генерал допил чай, куда украдкой капитан долил на четверть рома. Да тут еще две девушки из полкового медсанбата принесли генералу сухие шерстяные подвертки, заказанные капитаном. Ногам стало легче и теплей, и на душе сделалось так, будто давно живет здесь; генералу казалось, например, что во всех мелочах знает этого усача, добровольного устройства нынешнего члена. Верно, это был старый солдат, которому вторично в жизни пришлось обороняться от немца; и смертно надоела ему вековая угроза, что придут и разорят до тла его достаток, и решил покончить с нею разом, и, посетив дом врага, показать ему военное лихо во всей его страшной красе. Он затем и обращался то словом, то взглядом, как бы за поддержкой к генералу, чтоб не упрекнуло его впоследствии в беспощадности строгое начальство.

«Я жду от вас ответа, как соловей лета. — заканчивал тем временем Кукуверенков. — Хоть пришлите четыре слова. Мне теперь номер дали, пятьсот тридцать, вы не спутайте. И марку наклейте, а то без марки письма не идут. Не давай плакать маме, братик Кузьма, мне тогда легче будет. Я буду жить, пока не забь-

ют. А племяннику ленточку припас, хоть и не девочка, больше ничего нету. Привезу, как уцелею. Больше писать нечего. Писал ваш сын и брат на чужбине...»

— Это который же Кузьма-то? — спросил офицер связи, когда Кукуверенков, сложив письмо поверх кучи, отодвинулся от стола.

— Средний, всего трое было... кроме Одарки. Он еще при немцах через фронт в Красну Армию убежал, — неохотно, потому что не впервые, объяснила молодка. — Опротивило ему со стариками в болоте сидеть. Уж их с овчарками искали, все норочки обшарили.

— Так-так, — ухватясь за слово, скороговорчато выступил усач. — С егерьями, значит, как на волчатину, охотились. В сундук железный спрячь письма-то, хозяйшюшка... не загорелась бы хатка твоя от них! Вот и поговорим, товарищи, пока каша варится. Выходит, мать, трое у тебя коммильдешев-то?.. Богатая!

Старуха поворотила голову, и новоприезжие увидели, что годами сна не старшей была самого сержанта.

— Я богатая, — согласилась старуха.

— Итак, младшенького с сестричкой в неметчину угнали. Средний к нам ушел. За что же старшего-то сказнили?

— Старостой у них ходил, — с тем же неподвижным лицом ответила мать и поправила складку платья на колене.

Ответ смутил бы любого, но усач, и глазом не сморгнув, шел к правде своей напрямик, зная, что она его не обманет.

— Так-так!.. Тогда ему бы, наоборот, в кафе круглы сутки сидеть, немецким шнапсом совесть заливать. Староста у немцев первый человек. Это есть зубы, собственному народу горло грызть... а ведь кто же себе зубы беспричинно ломать станет?

— Не трожь ее. Партизанам он помогал, затем и в старосты пошел, — сказала вместо старухи молодая и вдруг, глянув на мальчика, заговорила много, часто и жарко, точно пламя плеснулось в ней. — Корова у нас была, а старик один, сосед, и прельстился. Уж старый, шестидесяти осьми годов, на что ему корова?.. И выдал он Тимошку немцам за молочко. Мы вот так же ужинали... вваились, ухватились за Тимошу, семеро одного держат...

— Храбрые, значит, семеро одного не боятся! Давай, давай... и ты нам не картинку описывай, а шаг за шагом иди. Мы судьи, вот мы кто! Нам все обстоятельно надо знать...

Она стала рассказывать, как увели Тимофея и как она прокралась послушать мужнин крик, но все три часа не было крику из немецкой хаты, и как водили его потом по селу, в кровище, с повыволбанными глазами и с доской на груди, и как билась она затем в ногах у коменданта, чтоб выдали ей порубленное мужни-

но тело, потому что все село за него распишется, и ее снимали на карточку при этом, и как словили по приходе красных танков того одряхлевшего от страха Кайна, и вдовы слезно молили, чтоб дали им хоть шильцем уколоть его по разучку... Тут уж и мать поднялась с табуретки. Она негоропливо прошла к простенку, где в дешевом багете висели фотографии обширной, за полвека, литовченковской родни... Там были дивчины с букетами и в пестрых домотканых юбках, молодые люди в матерчатых пиджаках, в обтяжку, на плечах непомерной широты, какой-то шахтер, снявшийся в полном подземном облачении, длинноусые хлеборобы, еще были там рослые, грудью навывкат, гранадеры прежних времен, сложившие голову за староотеческую славу, и савонитые дядьки прославленных запорожских куреней — только оселедцев им не хватало! — выставились из большой братской рамы поглазеть на нынешних хлопцев, и красовался там же вид с Владимирской горки на всеславянские святыни города Киева, и помещался там же зеркала треугольный осколок, чтоб каждый мог сравнить себя с этим отборным, зерно к зерну, племенем... А в левом верхнем углу, как заглавная буква к богатырской родословной, находился совсем еще не старый, с бритым и мужественным лицом потомок; из-под суровых, сведенных к переносью бровей застенчиво глядели почти девичьи, темные украинские очи. Рамочка висела как по отвесу прямо, но значит матери было виднее. И по тому, с какой строгой лаской старуха Литовченко коснулась ее кончиками пальцев, словно оправдала венок на покойнике, все поняли, что это и есть ее старшенький, предколхоза, Тимофей Литовченко.

Генерал, поднявшийся, было, познакомиться с еще одним своим однофамильцем, отошел первым, и тут бросился ему в глаза, как высокий артиллерист, стоя поодаль, усмежается и качает головой; и тем обидней показалась такая усмешка генералу, что парень на полторы головы возвышался над прочими, видимых признаков ранений или нашивок на погонах не имел, был с красивым, чуть матовым лицом и видимо смертной силы.

— Чему же вы смеетесь господам? — недружелюбно и нацался в его громадный сапог, спросил генерал. — Этот Тимофей... как его по отчеству-то, молодой-ка?... Арефьич?... — недоверчиво протянул он. — Этот Тимофей Арефьич может быть еще на площади в Киеве будет стоять рядом с нашим Тарасом. Мы с тобой друг за дружкой как звенья танковой гусеницы идем, а он умирал в одиночку, зная точно, что никто не придет на помощь.

— Дозвольте разъяснить, товарищ ге-

нерал... — смущенно заговорил артиллерист.

— Нечего и разъяснять. А знаешь, что на передовой сделали бы из тебя за такой смехок? — оборвал его, рванувшись от двери, кто-то из шоферов.

— Нет, уж дозволейте разъяснить тогда, товарищ генерал, — нахмурясь повторил красноармеец. — Это я на Германию двинусь. У нас, на Ваге, ежели так с соседями обращаться, в одночасье изведут, уголочка на развод не оставят. Вот у меня, ребята смеются, кулак два кила весит... и то в будний день, пока не рассержусь. Я им медведя одного наповал уложил...

— Стреляного! — подзадорил сбоку усач, и вид у него был такой, словно раздувал поднимающееся пламя.

— А хоть бы стрельяного, Ты меня опробуй, как жить надоест! — и оглядел для проверки костистое, досиня, образование на конце правой своей руки. — С чего ж они так, товарищ генерал? Али пустыни непроходные промеж нас лежат, али горы высокие... и то перешагнуть можно!.. Неосторожность какая...

— Ладно, помолчи, не волнуйся! — сказали со стороны.

— На меня теперь метра четыре земли насыпать надо, чтоб я успокоился, — забыв все, пуще расходился парень. — Я... — Слова так и летели с него, как брызги с точила, а усач пристально глядел ему в глаза, как бы закрепляя в памяти, чтоб запомнить потом в решительную минуту. Уже тянули великана сзади за рукав, стремясь остановить его дерзкую, неприличную при начальстве, ярость, но он смолк только когда офицер связи вбежал в хату с радиограммой из штаба армии. Командующий спешно разыскивал комкора Литовченко. Какие-то неизвестные и грозные обстоятельства меняли установившееся равновесие на этом фронте.

— Надо мне ехать. Желаю тебе, товарищ, чтоб не изгорела твоя сердитость на полдороге, — сказал на прощанье, уже в шинели, генерал, переглянувшись с усачом: оба поняли друг друга с полувзгляда. — А дорога нам еще долгая!

Сержант подал ему просохшую у печки шапку. Вдруг затрещал сверчок, благовествуя, что еще наладится жизнь, и снизойдет бывшее счастье на четырехжды осиротелую хату. Его заглушило урчанье заведенных машин. Дружным рокотом артиллеристы проводили гостей. Во дворе старая хозяйка набирала соломой из стожка. Генерал пошурился на ее полубосые ноги, на худые лопатки, охваченные знойким ветром, хотел сказать на прощанье, чтоб не убивалась о среднем своем сыне, который сидит теперь у него в танке, за надежной стеной, но усумнил-

ся в чем-то и, выйдя за ворота, поздравил своего капитана.

— Забыл, как у них среднего-то звали, что в армию ушел?

— Кузьма, товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Так. А того, что ночью танк чуть не завалил?

— Того Васей при нас называли...

Скоро иные мысли и совсем прочерневшие под солнцем поля охватили их. Когда, минутой позже, Литовченко выглянул в заднее окошко, ни деревьев, ни дымка над трубой не осталось от Белых Коровичей. Зато другой, громадный и плоский дым вставал на горизонте. Его было много, и ветру было из чего извлекать длинную черную лисицу, вытянутую движеньем и набегу распутившую хвост. Воздух двигался как раз оттуда, слышна была усердная работа артиллерийских батарей.

— А, пожалуй, зря вы на Коровичи поплелись, капитан. Через Березно было бы нам ближе. Если не ошибаюсь, это Млечное полыхает?

— Нет, это Великошумск горит... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — уверенно поправил его адъютант.

Из опасений, внушенных именно этим зрелищем час назад, адъютант избрал более длинную дорогу через Коровичи. Осторожность оправдалась в ближайшем селе, в Ставищах, также памятных генералу по каруселям и балаганам его трескучих ярмарок. Оно предстало сейчас с закрытыми ставнями, горелое не однажды, примолкшее, чтоб война не вернулась, хотя бы на детский плач, добить и разметать нищие останки. При подъеме в гору, у плотины, обсаженной раскорякими ветами, танкистов остановила регулировщица. Она направляла их на проселок, выходящий на Житомирское шоссе. Объезд означал пятнадцать километров крюку и, прежде всего, крутые перемены во фронтовой обстановке. Капитан поднялся вверх поискать хотя бы дорожно-го команданта. И пока остальные дрогли здесь, у темной, загустелой воды, в узкую горловину мостка стали спускаться огромные, в грязи по кровлю, санитарные автобусы. Медленно, — из внимания к хрупкому своему грузу, они проплывали мимо, почти вплитирку к встречным машинам и на короткое время застилая в них свет. Он затемнился семнадцать раз сряду, и уже на первой трети все выбрались наружу, кроме генерала. Перестав крутить цыгарки, шофера провожали глазами этих первых вестников ночных происшествий под Великошумском, и один глядел дольше всех, пока ветер не выдул из-под пальцев половину табаку.

— Отвык от войны-то, чорт гладкий? — пошутил сосед, когда последний автобус ушел на восток.

В Ставищах адъютант разведал не больше, чем знала со слов проезжающих эта кудреватая румяная девушка в коротенькой шинельке. Всю ночь, по ее словам, громыхали сквозь выгоу пушки, и десятки осветительных ракет висели на горизонте; немцы проявляли усиленную деятельность. Она терпеливо растолковала все приметы объезда: как добратся до коневого совхоза, и куда сворачивать от монастырских прудков, чтоб без промаха попасть на переправу... и шумливым флажком показывала в ветреную, звенящую тревогой даль. Оттуда порывами доносилось мушиное тарактенье застрявшего грузовика; погудев и передохнув, он снова силился оторвать лапки от неодолимо-клеякого листа дороги. Война услышала жалобу; понижаясь в тоне, просветил воздух, и тощий, из-за расстояния, веер земли и дыма распустился среди позаленных телеграфных столбов.

— Вам как-раз туда и надо ехать, — улыбнувшись, сказала девушка, и ямочки на щеках стали еще румяней от смущенья. — Все утро из дальнобоек шупають... впустую, — прибавила она успокоительно для шофсров, которые уже заметили, что после разрыва тарактенье грузовика прекратилось.

— Откуда сама-то? — спросил связист, топча недокуренную папироску.

— Воронежская...

— Ну, и сами мы все воронежские. Не задремли, смотри, а то ганец подкрадется!

Так, подкопив силы, они нырнули в темно-рыжее месиво проселка, под некрашенный шлагбаум контрольного пункта. Здесь кончалась хорошая дорога. Два часа тащились они почти на первой скорости, и каждый давал зарок замостить после войны всякую лесную тропку клинкером: впрочем, обеты тотчас забывались, едва почва под колесами становилась тверже. Обстрел не повторялся, погода совсем разветрилась, и веселили по сторонам плакаты с наказом экономить горючее. Великошумск и его великая гарь сдвинулись в сторону, и даже мыслей не осталось о Великошумске, когда поднялись на шоссе.

Их сразу захватил деловитый поток фронтовой магистрала. Здесь ехало все, чтоб, растворясь в ничто, превратиться в победу. Ехали ящики с концентратами, бензин, зимняя стеганая одежда и металл, продолговатые пироги с толовой начинкой; ехали лекарства в гиганской таре, авиамоторы и то, чем их поражают наповал, валенки ехали пополам с гармоньями, а лазаретные кровати, целая трехтонка с железными скелетами, напрасно старались опередить тот желанный и праздничный груз; ехали толстые мешки с ядрицей, кислота в просторном зеленом стекле, ремонтные станки, буханки

хлеба, которых хватило бы вымостить дорогу до самого Лытошина, книги, строительный лес, вино для живых и кровь для оживления уставших на поле боя, кипы сена, туши мяса и прочее, чем пачается в разгаре наступления, — в бочках, тоннах, тюках и десятках погонных километров. Все это тысячеименное богатство страны превращалось как бы в густую и вязкую жидкость; невидимое сердце проталкивало ее в узкую и гибкую артерию всенной дороги... С однообразным рокотом, в несколько рядов, мчали цистерны, заморские дожди с зенитными установками в кузовах, и серенькие наши зисы перегоняли их в стремительном беге к победе; степенно, о бок со своими крановыми американскими собратьями, шли чумазые челябинские тягачи, черно-рабочие танковых сражений, неслись ловкие противотанковые пушки, стальные осы, прицепленные к бронетранспортерам, и двигалась их старшая тяжело-весная родня, едва прикрытая раздувающимися чехлами; студебекеры шлепали широкими лапами по шоссе, и прятались за ними машины в брезентах неизвестного назначения, а рядом попрыгивала походная банька, русско-татарский рай на колесах, и добрый десяток веников приплясывал над кабинкой белозубого водителя.

Все это, забрызганное грязью и стократно повторенное, днем и ночью, неукротимо двигалось в самое пекло Великошумской битвы. По сторонам, среди опаленных буковых рощ, как предупреждение судьбы, чернели остовы сожженных машин, битые германские танки, валялись дырявые, полные талой жижи чашки танковых башен, пучились трупы лошадей, подернутые снежком, и еще не стаяли на них вороньи следки, но уже никакая сила в мире не могла задержать этот поток. Да еще по обочинам, насколько хватало кругозора, грохоча и с открытыми люками, по два в ряд катились танки, облепленные своими десанниками, как цыплятами наседка. Они служили как бы железными берегами для этой реки народного гнева, и только теперь становилось ясно, какую вековую дремучую силу разбудил вражеский удар.

— А ведь это из моих, — определил генерал, приглядываясь к новехоньким тридцать-четверкам. — Не узнаю только, которая...

— Та самая, тридцать седьмая, — под-сказал адъютант.

На броне ближней машины он различил свой корпусной опознавательный знак, а через мгновение под белым, с крылышком, ромбиком он увидел и цифру двести три. Кидаюсь грязью, она шла по всем правилам походного марша, соблюдая сорокаметровую дистанцию тор-мозного пути. Как и на прочих, среди

привязанных бачков, походной печки, ящиков с боеприпасами, сидели затаившиеся на заветной думке люди: может быть, они пели. И вдруг генерал живо вспомнил вихрастого лейтенанта. Это вместе с ним довелось ему повоевать однажды, когда сорок четвертая летом сорок второго года напоролась на засаду Гудериана; с управленческого танка сбили ленивец, и первая машина, куда наугад вскочил командир бригады Литовченко, оказалась двести третьей. Сам он получил второе Красное знамя за это brave дело, и уже не помнил, чем именно судьба, кроме содой пряжки, наградила лейтенанта. Было грустно, что не обласкала Соболькова, не напомнил про жаркий денек, тем более, что они как бы породнились в тот раз, потому что оба вышли с легкими раненьями из боя. Он припомнил кстати, что по слухам это отличный мастер простонародной сказки, и тут же порешил непременно при случае послушать Соболькова, как ради поощрения таланта, так и из интереса, чем он потчует целую бригаду на отдыхе...

Ни метра не пустовало на шоссе, и всем находилось место. Вольным шагом двигалась пехота исполненья, наглядные примеры разноязычного нашего единства. Даже в такую мокредь, которая еще больше однообразила их, чем серая шинель, казак отличался походкой от грузина, а украинец повадками от сибиряка. Эти последние хмуро покачивались на мохнатых коренастых лоша-ках, в особенности сердитые на немца, оторвавшего их от воистину государственных дел. Не было нужды расставлять плакаты по пути, чтоб возбудить их воинскую решимость. Следы разрушения и гибели по сторонам дороги повелевали им грознее всякого приказа... Шли и видели, как стынут связисты на столбах, починяя рваные провода; видели, как воронки от авиабомб заваливают щебнем разгромленного поселка, и по кварталу умещается в каждую ямину; видели, как престарелый дед со внучкой пытаются набрать горелого мусора на зимний шалаш, а уж декабрь глядит из лесу; они также прикидывали на глазок, сколько гвоздей, топоров и пил получилось бы из этой железной, уже неузнаваемой падали, и переводили на трудодни стоимость того материального потока, который завтра сгрызет одна атака. Они шли, сосредоточенно глядя в смутную точку впереди, за чертой неба, где маячили мрачные призраки — дурацкие мертвые головы и непонятные им райхи, валлонии и викинги и прочая, на устранение трусов выдуманная чертовня; они шли убить их прочно и навсегда; они шли, и горькое море крестьянской беды плескалось у них под ногами.

В гуще потока возвращались беженцы

на разоренные гнездовья. Тощие коровы со скорбными библейскими глазами волочили ветхие телеги, и старики сбоку помогали животинам дотянуться до domu. Выводки крестьянских ребяток, почтливо в одной дерюге, с безжалобной заискивающей улыбкой смотрели на матерей, которые со сжатыми губами шагали возле, не имея другой надежды на земас, кроме как на обвисшие свои вдоль тела руки. С упорством младости плелись старухи повидать на закате родимые могилки, знакомый на шляху тополек, и спешало сзади некое существо, голодное и пуганое, черный лохматый псишко, отвыкший лаять по чужим дворам. Увертываясь от огромных колес, он бежал и все принохивался, искал подобно себе, чтоб поведать о своих собачьих горестях... но даже и мокрой шерсткой не пахнуло ни разу из смрадной бензиновой реки кругом. Порой он принимался скакать на снежной обочине, похожий на чернильную кляксу, и даже лаять каким-то петушиным голосом, то ли от радости жизни, то ли из потребности показать войне, что и он тоже злой и кусачий... И еще восьмилетняя девочка, вся прогибая назад от непосильной ноши, тащила плетеную старушечью котомку за спиной, а в руке несла большую стеклянную бутылку на веревочке, жалкое крестьянское сокровище. Прижимаясь к берегам, эта человеческая щепка тоже плыла в реке войны, не догадываясь о ночных событиях под Великошумском.

И, как бы к сведению их, в воздухе появились германские самолеты. Усталые, они возвращались с бомбежки, на неуязвимой высоте, и лишь один стрелок, любитель мертвого тела, спустился из облаков, соблазняясь беспроегрешной мишенью. Он подобрался с тыла и подветренной стороны, и в ровный гул потока влился внезапный рев его авиаторов. Его услышали все сразу, как бы судорога прошла по шоссе; большой штабной автобус с ходу ударил о передний додж, поставив его поперек пути, и движенье замерло, как останавливается поезд у станции, с буферным лязгом и визгом тормозов. Насыпь была высока, и прежде чем ринуться с нее врассыпную, все, в тысячах глаз, оглянулись назад. Черная птица падала нã то самое место, куда толкало самосохраненье; отраженное солнце сверкало в ее чуть наклоненном крыле. Прежде чем опасность достигла сознания, машина увеличилась вчетверо, потемки пронеслись над головами, и в ту же минуту летчик дал пулеметную очередь. Звон стекла и вопль женщин — все поглотило урчанье смертоносца. Так ударяют полосой капли в начале проливня, но самого дождя не последовало. Зенитные пулеметы били

вдогонку, с запозданьем и без видимого успеха.

Пока они стояли так, и воздух струился над перегретыми моторами, генерал вышел из машины приказать связисту ехать впереди, прокладывая путь его виллису. «Этак мы до вечера тут проваляндаемся!» — собрался сказать он и забыл, привлеченный подробностью, может быть самой ничтожной в его военных наблюдениях. Девочка стояла лицом в сторону, откуда напал самолет: испаринка страха проступила в ее лице. Мать термозила ее, припадала окровавленной щекой к ее щеке, белой и невинной, всплескивая руками и всхлипывая кому-то на ветер — «обмерла, осподи, обмерла...» А та виновато улыбалась, с недоверием косилась на правую руку, где на веревочке висело одно горлышко, без бутылки. И рядом, у тележного обода, на снегу, валялось нечто черное, неподвижное, похожее на большую чернильную кляксу. Оно лежало откинув голову, как все убитые, независимо от звания или породы; один глаз, открытый и чем-то уж слишком людской, глядел на генерала, как бы говоря — «вот, и не доехали... такие-то дела бывают!» Наверно, то и был последний псишко на Украине.

Подошедший старик шевельнул его ногой и подтолкнул корову, чтобы шла. И как только в кузов передней машины втащили одного простреленного бойца и скинули под откос лошадь, бившуюся в постромах, шествие на запад возобновилось с удвоенной резвостью. Люди стремились наверстать время, хорошо зная, что вексв рабства стóит иная утраченная погусту минута.

— Ну, погоняй теперь, — приказал Литовченко шоферу, который, пользуясь остановкой, отполировал до блеску забрызганное стекло.

Они и без того были близки к цели путешествия. Командующий гвардейской танковой армией имел привычку устраиваться вблизи передовой. Легонько подрагивала земля, и, ошутимые телом, доносились артиллерийские перекаты. Времени хватило в обрез, чтоб сменить пимки на несколько подсохшие сапоги.

Шестеро нарядных гусей полтулузской породы дружным гортанным клетотом приветствовали прибытие гостей, да еще встретился знакомый подполковник из разведки; он и повел приезжего в штаб армии. В баре кончилось горячее, они решили пойти пешком. Можно было обойтись без провожатого; лишь у одной хатки, прижавшись к стенке, торчали два броневичка, ходил важного обличья часового, с крыльца то и дело сбегали озабоченные люди, и сюда отовсюду сбегав-

лись толстые резиновые провода. И пока шли, выбирая где посуше, через лазы в плетнях, мимо замаскированных управленческих танков и крестьянских бомбоубежищ, строенных из поленьев и кукурузной соломой, стали известны львовские новости. Ночью, в самую метель, немцы форсировали Криничку и заняли Великошумск.

Оживленье обозначилось неделю назад, когда Манштейн попытался продавить нашу оборону под Озерянами, на юге. Наступила напряженная пора, и те, кто проездом на черноморье лакомились сладчайшей здешней вишней, никогда не подозревали стратегического значения Великошумска для победы. Трое суток сряду немцы бомбили передний край и потом неизменно к сумеркам, близ шестнадцати часов, кидали в это крошево танки, с намерением зацепиться ночью за раскиший противоположный берег речки. К переправам спускались тигры и фердинанды со всякой бронированной мелочью в их надежном полукольце; их встречали плотным огнем, и уже наложили много, в иные дни до полусотни подорывались на минных полях, но они напирали вновь по инстинкту саранчи: задние достигнут цели!.. Защитники рубежа стояли крепко, они выходили в поединки с подвижными крепостями, они умирали, продолжая целиться из противотанковых ружей, артиллеристы повисали на своих пушках, и немецкие разведчики открытым кодом радировали с воздуха своим штабам: русские не отступают, русские никуда не отступают. Надо было выстоять и не состариться, пока продвигались другие братские фронты. Был там один знаменитейший злой таежный охотник с Амура, «тигровая смерть» у себя на родине; он и здесь сохранил свое прозвище, но и его свалили. Происходило испытание самой человеческой породы, и тут выяснилось, что прочнее сортовой стали смертная человеческая плоть. Буравя нашу оборону резервами, подтянутыми под прикрытием нелетней погоды, противник за четверо суток продвинулся на восемь километров... Все это гораздо короче, лаконичным штабным языком рассказал подполковник.

— Вот этот самый ганец, — кивнул он на долговязого немецкого зенитчика, которого вели по улице, — сообщила со слов офицеров, что к исходу месяца Гитлер рассчитывает посетить Киев. Киевбургом собираются завладеть! — Он усмехливо покачал головой и мимоходом заглянул в окно. — Командующий у себя... Я покину вас здесь, товарищ генерал.

Часовой по-ефрейторски откинул винтовку в сторону, и одновременно дверь пропела что-то складное и приветное домовитым бабьим голоском. Тесная, полутемная кухонька полна была военного

народа. На скамье близ окошка занимался чтением сухощавый человек с костяным желтоватым профилем, — видимо, заезжий, в военной форме артист. Трепаную, поминоку от бежавших хозяев, книжку он держал в точеных чистых пальцах; судя по первой запевной строке главы, это был Гоголь... Два фронтовых майора также дожидались очереди на прием, и один натуго забивал махорку в трубочку, а другой, томясь баздельем, рассматривал иконы, заполнявшие угол и украшенные расшитыми ручниками. На нижней, освещенной тускнеющим солнцем и в дешевой золоченой киоте, безусая ангельская конница, численностью до полуэскадрона, гналась за пешими демонами, явно сконфуженными таким обстоятельством; впрочем не атака привлекала внимание майора, а просто он пользовался стеклом как зеркалом. Ощутив взгляд на спине, он обернул молодое лицо и не очень естественно заметил что-то о плохой кавалерийской посадке ангелов.

— Ничего, юноша... мы все небритые сегодня, — усмехнулся артист к еще большему смущению офицера и, погладив желтоватый подбородок, перевернул страницу.

Три ординарца еще стояли у печки с подпушками от бессонницы лицами. Ближний помог Литовченке отыскать свободный крючок на вешалке. В ту же минуту от командующего вышел генерал, его помощник по технике. Соратники по началу кампании, они узнали друг друга.

— Во-время, Василий Андреич. Хозяин ждет тебя. Укомплектован полностью?

— По штату. Слышал, большие дела у вас?

— Да... как говорится, бои местного значения. Третьи сутки не спим, лезут. На-днях мы им такой натюрморт из двух полков соорудили, что, кажется, следовало бы образумиться, а вот опять...

Они прислушались к двойному телефонному разговору за фанерной дверью. По академии Литовченко был двумя годами моложе командующего, вместе они еще не воевали, но он сразу различил этот глуховатый, чуть иронический голос. Пока начальник штаба, надрывая горло, кричал куда то сквозь шумный оттепельный ветер, дозываясь какого-то Льва Толстого с левого фланга, командующий приказывал номеру 14.63 на правом создать со второй половины дня ударную группировку и все тяжелые системы подготовить к вечернему спектаклю.

— Ну, ступай, Василий Андреич, — сказал армейский помпотех. — Сейчас он по телефону обходит свое хозяйство... самое время знакомиться. Через часок начнется... тогда придется, пожалуй, и тебе тряхнуть своим добром!

Они условились, если посещение не займется, встретиться в штабной столовой.

Был конец зимнего дня, когда Литовченко вошел к командующему. Не отрываясь от телефона, начальник штаба приветливо кивнула головой и, приговаривая Льву Толстому «так-так, так-так-так...» продолжал заносить в рабочую схему обстановку левого крыла на 15.00. Все насквозь пропиталось табачной гарью в этой небольшой, со следами бывшего заштита, комнате — дубовые столы, накрытые скатертями двухверсток, полевые телефоны шоколадной пластмассы, плохая копия униатской мадонны в углу и даже фикус, оставленный здесь, верно, для веселья, бодрости, здоровья и красоты. В щель приоткрытого окна еле струился к ногам мокрый холодок. Тонкий, уже остывший лучик солнца просекал стоялую сизую дымку и темным золотцем растворялся в стакане чая на столе у командующего... Сам он, в меховом жилете и откинувшись к спинке поповского малинового кресла, сидел вполборота к окну; отраженные от плюша облески лежали на его гладко выбритом и преждевременно постаревшем затылке.

Разговор подходил к концу. Как и вчера в то же время, обманчивое затишье наступило на участке 14.63. Командующий выразил сожаление, что не удалось уберечь от огня две тысячи тонн зерна, вздохнул о жителях, вынужденных вновь покидать родные очаги, не забыл подтвердить приказание о сборе стреляных гильз, распорядился узнать, в чьих руках хуторок Вышня, и позвонить ему через полчаса и в заключение похвалил за взятие у немцев четыре грузовика подошвенной кожи. «А своей сколько оставил?.. на пятаках-то целая?.. Ну, не сердчай, я пошутил...» — смягчил он свой упрек за вчерашнее, и вдруг в суховатом тоне его прозвучала душевная нотка.

— Волнуешься? — спросил он, вполголоса понизив голос. — Держись, я за тебя четверо переживаю. Что? Я и сам знаю, что его много... — соглашался он и рисовал все тот же синий ромбик на карте перед собою, среди сложных пунктиров и цветных границ войсковых подразделений; уже бумага продавилась в этом месте, а он все чертил, подсоснательно выражая этим тяжесть вражеских танков, навалившихся на 14.63. — Раз много, значит мишень шире, это хорошо... а? Погоди, погоди, да ведь и ганец-то не тот пошел: устал, боится. Завтра его станут просто резать финками на всех перекрестках Европы... Ну, рад за такую ясность твоей мысли... Танки, как и сказал, буду выдавать из расчета — сколько подобешь, столько и получишь. Каждую минуту гляжу на тебя. С тобой все! — Положив на подоконник трубку,

он отставил туда же нетронутый стакан, а оранжевое пятнышко так и осталось лежать на карте. — Да, ему трудно сейчас. Еще одна моторизованная, из Дании, подошла...

Прежде чем повернуться к приезшему, он долю минуты, опершись локтями о карту, смотрел на квадратный кусок Украины, положенный перед ним на столе. Если бы не пальцы, разминавшие папиросу, можно было бы думать, что он задремал. Из личного опыта Литовченко знал то особое состояние человека на большой командной высоте, когда вдруг как бы оживают эти беззвучные иероглифы, значки и цифры, приходят в движение, ощутимо заполняя все извилины мозга. Тогда одновременно, как в магическом стекле и лишь в приуменьшенных дальностью масштабах, выступают самые мелкие подробности минутки перед вражеской атакой... Чавкая, ползут запоздалые бензиновые цистерны, и жжет их на шоссе вражеская авиация; с зубным чертыханьем взлетит по колено в грязь мотопехота; и самоходное орудие завалилось в трясину, проломив мост — никаким полиспадом не вытянешь его до ночи; в поту геркулесовых усилий люди тащат боевое питание своим машинам; ремонтники крадутся к подбитой вчера самоходке, прячась от минометов в тени тягача... А где-то рядом прокладывает трассу вечернего удара немецкая разведка, и фокке-вульфы, как комары в закате, толкуются над передним краем, и куда-то пропала полусотня разнокалиберных немецких танков, что час назад пробиралась вот этой ложиной, отмеченной синим карандашом; из них двадцать четыре зверя покрупнее завернули за рощу, в засаду, а мелочь с неизвестным намерением спустилась к разбитой переправе и рассеялась по осеннему туманцу в ничто. Тонны этого свежего германского хромо-никеля давили в плечи командующего, отчего, казалось порой, легче было бы, если бы все прошли через самое его тело.

— Сергей Семеныч... командир отдельного корпуса прибыл, — осторожно подсказал начальник штаба.

Командующий привстал навстречу, и Литовченко мог оценить по его несвежему лицу, что стоила ему, победителю Днепра, оборона маленького Великошумска. На газетной фотографии, опубликованной по поводу присвоения ему звания Героя, был изображен нестарый человек недюжинной воинской зоркости и большого волевого нажима; этот был человекней и старше. По меньшей мере десять лет отделяли портрет от оригинала. Но с задорной хитринкой взглянули на Литовченко его светлые, низко срезанные ве-

ками глаза и читали, читали в нем все до последней, еще нынешним утром написанной строки.

— Я задержал вас, простите, — сказал он, когда Литовченко по форме представился новому начальнику. — Слышал о вас. Хорошо воевали под Кантемировкой. Мы с вами едва не встретились и на Халхин-Голе...

— Да, я командовал танковой бригадой, — уточнил Литовченко.

Их рукопожатье длилось дольше, чем требуется для обычного первого знакомства.

— Мой начальник штаба, знакомьтесь. Именинник сегодня, по этому случаю предвидится большая иллюминация в 16.00... Что ж, подсоблять приехали? Хорошо. — Он показал на стул возле себя. — У вас красные глаза, генерал... простудились?

— Ветром надуло, товарищ командующий. Виллис.

— Тогда в порядке. Я и сам два дня с гриппом просидел... Сегодня ветрено. Ну, места тут красивые, жалко отдавать такие. Роши, знаете, речки романтические. Например, река Слеза, пожалуйста... ваш район обороны! — и стукнул пальцем в голубую жилочку на карте, которую ни на мгновение не выпускал из поля зрения.

— Мне знакомы эти места, — вставил Литовченко.

— Воевали здесь?

— Нет... но бывать приходилось.

— Отлично. Словом, не знаю, сколь приятные воспоминания связаны у вас с местностью, но климат нынче здесь довольно жаркий...

Они посмеялись, все трое, давая время окрепнуть завязавшей боевой дружбе. Несжиданно сухоовато командующий осведомился, как прошла разгрузка, кто состоит начальником штаба в корпусе и, прежде всего много ли стариков в бригаде. Тот отвечал по порядку, что последние эшелоны прибыли в четырнадцать десять, о чем узнал в Коровичах, что начальник штаба — его соратник по Кантемировке, и когда говорил о стариках корпуса, мысленно видел перед собою Соболюкова.

— Приятно, — откликнулся командующий и помолчал, явно прикидывая сроки прибытия корпуса в район сосредоточения. — Ехали через Коровичи, значит все поняли. Напирают!.. Дорога без приключений? впечатления обычные?

Оба вопроса не требовали ответа и служили лишь переходом к большому разговору, но в памяти Литовченко мелькнули письма из неметчины, девочка с бутылью, опустошенные селенья. Вместе с воспоминаниями опять смутный жар

вхлынул в голову и руки, и стало невозможно не подвести беглые итоги наблюдениям дня. Что-то располагало к беседе в этой чистой хатке, похожей на домик учителя Кулькова, на исходе дня и на пороге событий. Верилось, они начнутся, едва лучик переползет с края стола на фикус и потеряется в его вислой зелени.

— Горя много причинили они нам, товарищ командующий. За пальбой как-то не замечаешь его, а как зачерпнешь в ладонь да рассмотришь одну такую гориночку... — Он сконфуженно запнулся на догадке, что никто не слушает его.

— Минуточку, — перебил командующий, коснувшись его руки, и жестом обратил к начальнику штаба: — Прикажете дать мне стотысячную карту и еще артиллерийскую, по новым ориентирам. И кроме того схемы всех минных полей. Вообще я нахожу наше минирование неудовлетворительным. Разучились стоять в обороне! Я спрашиваю, как... как могла эта полустопня пройти мимо Дедовщины?.. Простите, я слушаю вас... о чем вы начали? — вернулся он к приезжему. — Ах, да, про горе. В основном это, конечно, правильное и довольно ценное наблюдение, но... А здорово вас прохватило, генерал. Вам бы спирту теперь с кайенским перцем. Знаяга, едучая штука, медный таз в сито превращает... ребята у одного местного фюрера достали. Вы еще не обедали? Тогда займемся пока действительностью, а там и пообедаем вместе, если не полезут. Что-то они при мне давеча имениннику карасями хвалились...

Он надел очки. Стало тихо, будто и не война. Из комнаты по соседству сочился ворчливый басок: уединясь, член военного совета отчитывал одного из прибывших майоров, видимо, оступившегося хозяйственника. Потом над самой кровлей протрещал самолетный винт, и прохожий мессершмит выбросил наугад кассету мелких бомб. Одна упала рядом, на огороде, все легонько дрогнуло, а лампа синего стекла двинулась на подоконнике, точно собралась вон из хаты. Командующий с укоризной взглянул на нее поверх очков и снова склонился над Украиной.

— ...следите за мной, генерал? Здесь у них шесть танковых дивизий, правда, трехпанных. Скоро доюкуются до сумы, битога туза по десять раз в игру кидают. Я сам эту валлонию раза три по морде бил... Но на днях одну перекаптовали с севера, да вот, оказывается, свежая из Дании подошла. Этих предоставляю вам, лакомьтесь, генерал. Заметьте, отличная самоходная на левом фланге! Все это нацеливается... — Красный карандаш пробежал от Житомира до великой водной преграды, указывая предполагаемое на-

правление главного немецкого удара; недосказанное Литовченко сам читал на карте из-за плеча командующего. — Вчера натиском необыкновенной плотности, в две танковых дивизии на километр фронта, им удалось...

Повторялся рассказ подполковника, но уже в точной схеме всех оперативных обстоятельств. — Итак, преследуя немцев, отходящих на юго-запад, наши передовые части задержались для перегруппировки и подтягивания тылов. Иссякала сила в железном кулаке, раздробившем киевский узел немецкой обороны, и противник стремился теперь обратить в выгоду себе эту вынужденную приостановку советского наступления. Здесь он решил огрызнуться, на рубеже неглубокой речки, внучки старого Днестра. На том этапе войны, когда явственно обозначался перевес Красной Армии, это было отчаянье пополам с авантюрой, но даже скромный успех окрылил бы щипаного германского орла и доставил бы ему временную возможность маневра на вторые советские эшелоны. Данные разведки, пленные и немецкие листовки сходились в одном: черная птица собиралась доклеивать свою жертву. Гвардейская танковая армия медленно пятилась на восток, и это походило на то, как замахивается бичом пастух, когда рукоятка еще отводится назад, а самый злой и острый кончик уже поднимается из пыли для броска вперед.

— Итак, задача вашего корпуса в том, чтобы задержать противника на этом рубеже, а когда он надорвет себе брюхо...

Ветер совсем стих. В природе наступила почти весенняя тишина, пронизанная спокойным желтоватым светом. Хотелось, чтобы длился вечно этот вечер, тихий и благостный дар, улыбка родины солдату, уходящему в бой. Но таяло его очарование, вдруг повеяло холодом, пора стало прикрывать окно. Лучик погас, и тотчас же все четыре и вперебой зазвонили телефоны. Начальник штаба взял сразу две трубки, четвертая досталась члену военного совета, который появился следом за майором, шедшим на цыпочках и красным как после бани.

Некоторое время все говорили — «да, да», отмечая передвижения противника, и видно было, как старели карты. Лев Толстой доносил справа о начале германской атаки. Семьдесят танков и около трех батальонов пьяной пехоты выдвинулись на Хомянку с намерением работать на север и северо-восток. 14.63 сообщал одновременно, что двенадцать тигров в сопровождении зверья помельче смяли минометный полк и распространяются вдоль реки. Шквальный артиллерийский огонь в центре также следовало считать

предвестием удара. В целях отвлечения внимания от основного замысла, вражеский нажим производился по всему фронту. Дольше всех держал трубку командующий.

— Так, понял. Сбить переднюю шеренгу танков, а пехотку накрыть легонько зрсами. Это хорошо трезвит... Что-о?.. трезвит, говорю, — резко повысил он голос и, рассмеявшись, дважды произнес нет и четыре раза хорошо. — Изготовить восемнадцать семьдесят и предупредить... кто у тебя, кстати, прикрывает южное направление?.. кто, кто? — Но, то ли залило провод водой, то ли раздавил его на камне броневик, слышимость становилась хуже. Приходилось криком пропихивать приказания через оголенную расплюснутую медь, — сетка голубых жилок проступила на залысинах его лба. Потом ввязалась чья-то посторонняя речь, и командующий со сдержанной вежливостью попросил телефониста убраться всех с линии к чортовой матери. — Кто..? Так вот, намекни твоему Литовцеву, что я его знаю. Это он, кажется, удирал из-под Вязьмы?

— Нет, он из-под Ржева удирал, — вполголоса поправил начальник штаба, не отрываясь от карты.

— Виноват... из-под Ржева! Известный спринтер. Что бы он ни делал, вижу его. С тобой все. — Он бросил трубку, хотя еще бурчал в ней голос, и зевнул широко, по-солдатски, набираясь сил еще на одну бессонную ночь.

— Что-то рано начали они сегодня, — заметил начальник штаба, справившись с часами.

— Зима. Дни идут на убыль. Немецкая аккуратность, — солидно, логической цепью пояснил член военного совета и пошел к окну заглянуть, не морозит ли в ночи.

На улице было сыро и пусто. Синела вода в колесах. Петух с хвостом вроде бенгальского огня проследовал со своей дамской оравой на ночлег. Телефоны молчали, но ухо различало в тишине и льющийся скрежет гусениц, и задержанное дыхание стрелка, прикинувшего к противотанковому ружью. Литовченко успел передать через связиста в Млечное, где отныне помещался его штакор, чтобы ждали его в 18.00 и держали под прищотом лево-фланговый стык с пехотой его полутезки Литовцева. Немцы продолжали давление, и вот район обороны корпуса становился районом сосредоточения, чтобы завтра же превратиться в его исходные позиции.

— Так и не дали нам вместе пообедать, генерал, — сказал на прощанье командующий. — Им сегодня непременно нужно уложит очередные две тысячи своих солдат... педанты! Да и караси, верно, пережарились. Отложим это дело до Румынии.

Как она там именуется, эта рыбешка, что хвалил вчерашний корреспондент?.. — Но член военного совета промолчал: у него было своих забот достаточно, чтобы помнить название румынской форели. — Отправляйтесь... буду звонить вам, возможно, сегодня же. — И опять чуть дольше задержал руку Литовченко. — Вы считаете выполнимой мою наметку... при таких флангах и в свете установившейся танковой тактики?

Сумерки густели быстро: вдруг, точно карликовое солнце, над столом засияла переносная лампа, знаменуя наступление ночи. В свете ее все, включая и читателя Гоголя, сказавшегося армейским прокурором, ревниво глядели теперь на командира, всгупающего в их боевое содружество.

— Я полагаю, — сказал Литовченко, — что точной науки о танках еще нет, как и во времена Камбре и Суассона. Это мы пишем ее с вами. Такой она и войдет в академические лекции... Но первые главы, на мой взгляд, составлены советскими танкистами довольно толково.

— Это верно... под Бродами, например, участь танкового сражения решили пятьдесят машин!

— Да... когда было уничтожено по полторы тысячи с каждой стороны.

— Зачем же брать немецкий пример? — возразил Литовченко. — У меня в корпусе имеются такие доценты, которые пятьюдесятью танками и без предварительной подготовки сдерживали тысячу... — И опять вихрастый лейтенант встал у него перед глазами. — Разумеется, дело это довольно суетливое... Итак, разрешите приступить к следующей главе, товарищ командующий?

Судорожно зазвонил телефон. Немецкая демонстрация отвлечения продолжалась, и хотя правофланговая атака приняла ясные очертания главного направления, внезапно на сцену появился хуторок Вышня, не имевший существенного значения в начавшейся битве. Тут и обнаружилась припрятанная противником танковая мелочь. Уже одеваясь, Литовченко слышал заключение командующего: — «нахалы... контратаковать и выбросить, исполнение немедленное». И как отголосок приказа, раскатистый пущечный разговор возник в ясной тьме перед крыльцом, где наготове ждали машины.

Мерцала над горизонтом вечерняя звезда, но сотни беспокойных земных светил оспаривали сейчас ее первенство. Цветные ракеты подымались в небо, высокие пристрельные журавли шрапнелей перемежались с пунктирами светящихся снарядов, рвали небо вспышки гвардейских минометов, и звезда блекла,

терялась в смутной пелене дыма, потому что война уже зажгла свои дикие ночные костры. Шоферы наблюдали от машин за этим разнообразным фейерверком... Генерал подошел сзади. Ближний безучастным голосом доводил до сведения остальных, как хозяин вон той, наискосок, хаточки, едва придвинулась канонада, порубил своих гусей, готовясь уходить от немца... и как они лежали на пороге, все шестеро, пышные и безголовые, те самые, что криком и крыльями встречали их на селе... и как стояли молча над ними хозяйские дети.

— О гусях потом, — сказал Литовченко, открывая дверь. — Дотемна Ставище проскочить, опасный отрезок... Показывай, шофер, свою работу!

Офицер доложил последнее сообщение рации; за исключением тридцать седьмой, размещение корпуса закончилось. Это означало, что квартиреры развели роты по домам, если только не зимний лес стал местом их временного пристанища, — ложатся в грязь все шестьдесят километров корпусного провода для связи с бригадами и соседями, варится побатальная каша, бродят по карте карандаши и циркули, прощупывает разведка, где противник, сколько его, каково состояние его духа, готовности, оружия и сапог; то были первые обороты новой шестерни в большом армейском механизме. Машины прогрелись и вот поднырнули в сизый падымок туманца. Дорогу прихватило холодком, ехать было хорошо.

На сиденье рядом обнаружился плотный пакет, в нем мясо и бутылка какого-то трофейного напитка: так и не вспомнил Литовченко, чтобы командующий в его присутствии отдавал распоряжение об этом свертке. На обстоятельное ознакомление с ним ушло в среднем полчаса, и когда генерал выкидывал за борт бумагу, там плескалась и текла река ночи. Струились поля, уставленные куполами вроде казацких шапок — ометы бурачной ботвы, мелькал нестаявший снежок во впадинках поглубже, изредка с удвоенной скоростью проносились одноглазые грузовички с белым облачком над радиатором, потом длинные руины, руины, и вдруг душевный огонек в уцелевшем окне, и наконец, встречный лесок, такой неотвязчивый, долго и вприпрыжку бежал наперегонки с машиной. В мутном слякотном стекле, вставленном в фанерную прорезь, это сливалось в нескончаемую ленту, и начинало представляться, что уже много километров тянется стена великошумского монастырька, высокая под небеса, с полубойницами вместо окон. Начавшийся жар и однообразное качанье преувеличивали размеры видений, еще более властных, чем днем.

«Кажется, заболела... не во-время», — впервые за сутки сознался Литовченко, закрывая глаза и откидываясь на заднюю стенку вилиса.

Собор кончился, а то, что вначале прикидывалось только снежком, на поверку оказалось фасадами глинобитных строений. Внутренний сумеречный свет, какой внезапно озаряет мрак усталому путнику, помог теперь и ему различить безлюдную и как бы недосказанную окраину Великошумска. Три тополя прошумели над головой, и стал виден уютный, такой прохладный даже в нынешнюю июльскую жару домик учителя Кулькова.

«Приехали...» — вяло подумал Литовченко.

Все сбывалось немножко не так, как предсказывала утренняя догадка. Митрофан Платонович встретил гостя во дворе, в той вышитой рубахе, в какой навсегда простился с Литовченко тридцать лет назад. Совпадение не удивляло, с годами люди научаются беречь испытанную дружбу вещей. Дворик стал пошире, и нарядней обычного распушились в нем цветистые мальвы. Друзья обнялись, но не радость, а как бы нездоровый озноб доставило Литовченке это объятие. Хозяин пошел вперед, и огорчило гостя, что ничем не напомнил о былом, не пошутил о глобусе, даже не подивился чудесным превращениям в судьбе бывшего ученика. Не было ни рассказов о прошедшем житье-бытье, ни обещанных кавунов, и в окошке ничего не было, будто в пустоте висел учительский домик.

Они сидели молча, великий вопрос читался в молчаньи старика. «Чем возместит история неоплатную человеческую муку, причиненную войной? Чем вознаградит она труд современников, одетых в изорванные смертью шинели? Что там, за издержками века, за горными хребтами, на которые поднимались мы столько веков? Или ближе станет солнце к тем, кто доберется до их снеговой и все-таки земной вершины?»

И Литовченко отвечал с волнением, точно это был урок, заданный тридцать лет назад; и он знал, что старику мало только пространного отчета о материальных благодеяниях или перечислениях параграфов еще не полностью осуществленной программы.

«Слушай, милый старик. Завтра бой, а нынче мое время — минутка. Простоем ее благоговейно у главных врат, которых мы достигли. Взгляни в звездный проем этой вечной арки, окинь взглядом принадлежащие тебе пространства... Не зарождается ли в тебе богоподобная способность рваться над безднами, где ползали твои пращуры? Простор — отец крыльев. Колумб и Галилей так же стояли у океанов земли и неба, как сегодня мудрец из

Гори стоит у океана людского возрождения. И уже не отречется от его слова человек, как невозможно ему забыть колесо или рычаг или винт Архимеда, помогшие ему подняться с четверенек.

«Я слышал это и раньше», — сказал Кульков.

«От кого? От самого себя!.. Оглянись, трудно жили наши отцы. Даже когда плясал, бывало, под хмельком дед мой Фадееч, мне представлялось, что это он пудовыми сапогами отбивается от горя. Но никогда не покидала народ вера в правду, что поступится однажды в окошко мира. Мы решили помочь истории и сократить срок сказки... Смотри, грозные силы состоят служанками при людях, но уже протянута рука за ключиком от сокровенных тайн материи и жизни. Надо спешить, пока они не стали достоянием злых, готовых ее созидательный потенциал обратить на разрушение. Судьбу прогресса мы как птенца держим в наших огрубелых ладонях. Оказалось, никому она так не дорога, как нам. Преданность идее мерится готовностью на усилия и жертвы».

«Цена должна соответствовать товару», — сказал учитель Кульков.

«Учась ходить на двух, человек ушибался сильнее, но страдание не вернуло его назад, в пещеру. Кто отправляется далеко, тот обрывает себя и на лишения. Терпение — посох подвига, который награждает время... По чередованию событий трудно представить вечность, как слепому постигнуть море по соленым брызгам на губах; смертному, слабому мнится, что он живет на краю времени; боль застилает ему взор в будущее. Но когда мой танкист покуривает свою мажорочку перед атакой, он смотрит вперед и как бы держит ее в руках, газетку двадцать первого века, полную великих новостей! В том и заключено бессмертие советского солдата».

«Искать друзей в будущем — удел одиночества», — сказал Кульков.

«Нет!.. потому что никто кроме нас не смеет глядеть в будущее без боязни. Неодолимые резервы движутся оттуда нам навстречу. Ни с посланиями, ни с жалобами мы не обращаемся к ним. Они и без того до последней кровинки — наши. С непокрытой головой они посетят скелеты наших городов, они раскопают известковые карьеры братских могил, святая и умная печаль отуманит их сердце. Кто свалит их или прельстит соблазном скотского существования, где наука изобретала душегубки, а насилие и грабеж были заповедью древних государств? Поняв все, они восславят наши горести и грубоватые песни, бедность оджды и суровый обычай времени, увенчанный победой...»

«Ты против войны!» — сказал Кульков. «Я не собирался быть солдатом, но раз коснулись меня огнем — горе им, кто обнажил меч неправедной и неразумной войны. Нам, которые голыми руками разворотили свою темницу и вырвались на простор океана, ничто не страшно. Что фашизм! Мы пройдем сквозь него, как сквозь дым последнего дикарского костра. Наше железо будет становиться лишь острой от ударов врага, пока не поймут, насколько оно безопасней в плугах и станках, чем в образе наших танков».

Больше Литовченко не слышал Кулькова. Толчок рванул его с сиденья и заставил открыть глаза. По ветлам вокруг черной воды можно было узнать Ставище. Свет фар доставал до шлагбаума, преградившего путь. Остановка произошла в том же месте, что и утром, шагах в ста от бывшего контрольного пункта. Бешеная дрожь мотора передавалась телу; чужие не стучали поблизости, некого стало спросить, отстали или проскочили вперед. За смотровым стеклом стоял немецкий верзила, переодетый в красноармейскую шинель. Он почти не отличался от обычного регулировщика, всего их там было трое. Остальные выжидали во тьме, на краю платины, не сводя автоматов с проезжих. У них был свой план. Никто не произнес ни слова.

Левый флажком отсигналил приказ стать к обочине. Шофер повиновался; волнуясь и рискуя счесть сепление, он стал деаать это на больших оборотах и с пробуксовкой. Вдруг резким броском — скорее хитрости, чем даже радиатора — он спихнул двух в жидкую черноту позади, где, верно, уже лежала на дне та давешняя, воронежская, с ямочками на щеках. На мгновение колесо повисло над бездной; в последующее, вывернувшись и выжав газ до конца, он сходу пустил машину на опущенный шлагбаум... Никто не помнил впоследствии, гаркнул ли он при этом л о ж и с ь или сама передалась им спасительная догадка. Последовал треск, будто смаху полоснули дубиной по фанере; звонкий холод пополам со стеклом обрушился на спины пассажиров. Их выручила накатанная в этом месте дорога. Когда шофер разогнулся на сиденье, машина вскачь неслась по краю глубокой балки, и впечатленьице было посильнее, чем самая встреча с передовым немецким патрулем. Полкилометра все молчали, привыкая к жгучему ветру и слухая фанерный дребезг позади. Они так и недождались автоматных очереди в догонку; это служило добрым признаком, что немецкое купанье еще не закончилось.

— Эх, теперь совсем простудитесь без шапки, — сокрушено прокричал шофер, удостоверясь в сохранности седоков. — Стекло в грязи, ни дьявола не видно. За-

то теперь поспособней будет, круговой обзор! — и помахал рукавичкой впереди себя.

— Не дразни счастья, — проворчал капитан, обирая битое стекло с шинели и в предчувствии крупного разговора с начальством. — Второй раз оно дураку не улыбается!

— Точно, — согласился тот и плавно остановил машину. — Придется вас слегка побеспокоить... товарищ гвардии генерал-лейтенант!

Проверив на ощупь, не отвязались ли запасные бачки, он не без видимого удовольствия принялся срывать остатки фанерного короба. Делал он это со словоохотливой присказкой, понятной после встряски, но, может быть, ему и в самом деле нравилось, что и для них, наконец, после долгого перерыва началась война. По скату спускались качающиеся огни отставших виллисов.

— Торопятся... ничего, проскочат. Теперь ганцы сунуться в село поднялись. Нонешние воды, ой, ядовитые. Прямо скажем, немецкому телу они ни к чему...

Холод ослабел, едва движение прекратилось. Беззвездная ночь освещалась лишь заревом, которое теперь неотступно следовало за генералом. Если не считать шоферской возни да привычного гудения какого-то связного шмеля с фонариком, было совсем тихо. Тем слышней доходила до сердца далекий звук, похожий на ворчанье, с каким зверь ворочает и рвет безгласное поверженное тело. Литовченке припомнились глаза старухи из Коровичей, девочка с бутылью, черная клякса на обочине шоссе, старенькая книжка в руке прокурора. Летящая гоголевская фраза вошла в него как стрела, и острие обломилось в памяти, чтобы остаться там навеки: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи...»

Грузный, понижающийся лай дважды пронесся над головой в ту сторону, куда в облегченном виде и двинулся головной виллис. Литовченко читал эти дорожные мелочи, как ноты с листа, завершая ознакомление с обстановкой. Германские дивизии выходили к железной дороге; назад, в Лытошин, было бы теперь, пожалуй, и не проехать... Вскоре поземка побежала по полям; она превратилась в пеструю и крутую, как вчера, изморозь, когда машины вступили в расположение корпуса.

Множественный след гусениц сводил с дороги влево, во мглу горелой сосновой рощи. Деревья стояли в дряблом вислом снегу, как древние озябшие хвощи. По несмолающему треску древесины и бормотне моторов можно было заключить, какая уйма железа размещалась там на ночлег.

Наступил поздний по военному времени час. Люди еще не спали.

Тридцать седьмая пришла на место затемно; нараставшие события удлиннили намеченный маршрут, подвинув ее на крайнее левое крыло армии. Сразу по прибытии экипажам выдали неприкосновенный запас, а ротных командиров вызвали в батальоны. Пока они, на ночь глядя, лазили со штабным начальством по артиллерийскому бурелому на опушке и спускались в окрестные поля, откуда ждали немца, поступило приказание закопать машины. Еще основательней этих явных признаков подсказывало старым ганкистам особое обостренное чутье, что утро застанет бригаду в огне. Их невольная озабоченность, происходившая от перерыва в боевой практике, передавалась и новичкам. На марше тридцать седьмая попала под бомбежку, которую нельзя еще было считать боевым крещением. Прямых попаданий не было, — бригада увеличила дистанцию и скорость. Кроме заклиненной осколком башни да разбитого баяна, привязанного с барахлишком снаружи, повреждений на всю часть не оказалось. Но про минутку, когда в открытом люке мелькнули немецкие штурмовики, причем верилось — все целились в него одного, Литовченко неоднократно впоследствии рассказывал своим затихшим внучаткам.

Смуценья от этой первой встречи он не испытал, а только боялся, что само тело дрогнет и выдаст товарищам его понятное волнение. Ему помогло одно из собольковских наставлений, какими не первый год тот воспитывал новичков: мысленно, с предельной живостью представить себе данного конкретного врага, как бы раздеть его из фальшивой славы, а затем и крушить в полную силу русской оплеухи. Литовченко так и поступил, и опасенье, что не удастся ему довести задуманное до конца, рассеялось, и он увидел за штурвалом белесое, помятое злобой и бессонницей лицо летчика, бесострое и гнусное, точь-в-точь как у сверчка по выходе из личинки где-нибудь на гнилой картошке. И заглянув так в его черные, расширенные движением зрачки, он понял, что этот человек умрет, не достигнув цели... Так и было. Машину слегка шелохнуло, обдало горячим ветром и глиной, и у всех было торжественное ощущение, будто война напутствовала их дружеским шлепком по броне, как рекрута бывалый солдат, принимая в свое кровное братство. Ей немедленно отсалютовали крупнокалиберные зенитные установки. Литовченко впервые видел вблизи, как самолет врывается в землю, стремясь закопать в нее свой огромный и шумный

огонь... Местность позволила быстро рассредоточить колонну, ранние сумерки помешали авиации повторить заход.

Когда капонир был готов, лейтенант лично опробовал боевые механизмы: Обрядин светил ему переноской. Все находилось в исправности, не считая лопнувшего ролика ведущего колеса, но это означало лишь, что экипаж получасом позже отправится на отдых. К особой удаче для тридцать седьмой, в лесу обнаружилось добротные землянки немецкой работы, построенные в начале войны, когда Германия рассматривала поход в Россию, как увеселительную прогулку по славянским заповедникам. Послушав мотор, пока двести третья спускалась на дно земляного стойла, Собольков отметил, что тот работает, как часы, и незачем ковыряться в нем больше.

— Какое число у нас сегодня? — вспомнил он вдруг, не обращая ни к кому.

— Двадцать первое кончается, — ответил из потемок радист и поднес лампу к его лицу, различив незнакомую нотку в голосе лейтенанта. — Не обедали нынче... вот он тебе и показался за неделю, нынешний день. А что?

Лейтенант раздумчиво улыбнулся, с такой недоверчивой пристальностью взглядываясь в глубину леса, что и радист невольно оглянулся туда же.

— Нет... это хорошо, — неопределенно сказал Собольков и прибавил обычным тоном, что кроме радиста, который после ужина вернется сюда с автоматом, все смогут выспаться до рассвета: охрану нес моторизованный батальон, но лейтенант всегда считал, что предосторожность — старшая сестра отваги.

Сам он ушел от машины последним. Она стояла в земле, в уровень с основанием башни; ходовые чернорабочие части были скрыты брезентом, и снежок, процеженный сквозь ветви, уже округляла впадины на нем. Ничего нельзя было разобрать во тьме, но Собольков видел ее всю, двести третья, как в полдень. Сейчас она лишь отдаленно напоминала ту, что два месяца назад уходила в тыл, на поправку. Та была старая; семь летних месяцев перед тем, когда жара и пыль вдвое изнашивали цилиндры, она не выходила из боя. Нельзя было понять из формуляра, сколько пробежал этот воин по пути к победе; паспорт танка в его хошаковом мешке был одновременно с командиром пробит осколком. Кашель слышался в моторе, вонючий черноватый дым валил из сапуна, стучали выношенные подшипники коленчатого вала. После каждой ездки жирная горячая испарина покрывала стенки выхлопной трубы, потому что сработались и поршневые коль-

ца; едва хватало силы довести стрелку масляного манометра до двух атмосфер. Сдавало танковое сердце, распатанное приключениями жаркой бранной жизни. В ту пору ничего грозного не оставалось в двести третьей, кроме надписи мелом по башне — смерть фашизму. На осмотре перед уходом в тыл кто-то выразился в том смысле, что полудохлый этот танк годится если не на переплавку, то лишь под долговременную огневую точку. Экипаж встретил общание помпехи выдать новую взамен таким угрюмым молчаньем, что никто не решился нарушить дружбу людей и машины. Двести третья осталась в строю.

Биография танка была написана на его броневой шкуре. Прежде чем приступить к починке, старики завода долго и почтительно читали эту краткую родословную корпуса, где каждая битва оставила свой неистовый и неизгладимый росчерк. И один, сам бывший солдат и отец трех танкистов, молча сдернул шапку с лысой головы при этом. То была высшая награда танку... Так, вмятина на башне была получена под Орлом, а сквозная, от болванки, рана в обе боковые плоскости — тотчас за Валуями, а пушку почти налокоть обрезали на Днепре, когда противотанковая пуля вырбила ее нарезку, но, и культиная, машина ухитрилась представлять ее вплотную, как пистолет, ко вражескому виску... Ей доводилось также возвращаться на буксире у тягача или даже вовсе без ленивца, выкинув лишние траки и закрепив гусеницу через каток... Эти пробины, защитные электрокузнецом из ремонтного батальона, выглядели как ордена и медали на груди ветерана; их было девять, — «пускай добирает до десятка!» — решило начальство.

Такая привязанность экипажа к своему временному жилищу объяснялась не только воинским тщеславием. Броневая кровля, вторично пройденная по швам электросваркой в ПРБ, казалась хозяевам надежней иной новехонькой, изготовленной в серийной шепке военного времени. Даже теплилась в них уверенность, хоть и не признались бы в ней, что война уже запомнила их машину и в дальнейшем пощадит ее, со всех боков искорырянную танковой смертью. Вдобавок лейтенант обещал лично присмотреть за ремонтом, который, к слову, производили тоже очень злые на немца люди. Новая пушка грозно выглянула из бойницы, свежий мотор мог без усталости нести ее по становичам врага. Кроме орудия и мотора, они заменили рацию и коробку перемены передач, и Соболев дважды опробовал машину на заводском танкодrome, прежде чем вернуться с нею в

часть. Так началась вторая молодость двести третьей.

К бою за родные горы, родившие ее металл, за людей, ее создавших, за Сталина, который повелел ей быть, двести третья была готова. И если человеческий инструмент, каким добывается независимость поколений, заслуживает такого слова, то была последняя ее спокойная ночь перед рывком в бессмертие. Ей уже не довелось показать свои почтенные раны на большом параде по окончании войны; все же ее удел был счастливей, чем у тех, чьи распиленные тела отдали огню на переплавку, как прах героев возвращаю на материнское чрево земли. Советскому танкисту некогда было заботиться об отдельном куске даже качественной стали, хотя бы он весил двадцать восемь с половиной тонн. Но будучи время обдумать заранее, как умнее обозначить в веках победу, он сохранил бы это дырявое железо как образчик вещества, из которого творится истинная слава. Он поставил бы эту тридцать-четверку на высоком уральском мраморе, черную и страшную, как она стала выглядеть через двое суток, с развороченным лобовиком, с листами брони, порванной на бортах и раскинутыми как крылья, точно и мертвая она собиралась лететь в одиночку на полчища врага...

Похвала танку означает похвалу его экипажу и, в первую очередь, его командиру. Войну Соболев начал водителем на двести третьей. Тогда в бой с ним ходили другие; полностью их имена мог теперь перечислить только он один, и как хотелось ему порою попырывать с ними когда-нибудь потом за дружеским пол-литром! У него как-то вышутилось не без горечи однажды, что жизнь его выбрала мишенью для своей иронии. И правда, желания его исполнялись, но всегда в несколько исправленном виде. К примеру, он обожал сады, и в любой его сказке, какими он коротал и без того малый досуг танкиста, непременно и под разными предлогами осыпался яблоневый цвет. Судьба же два года водила его мимо чужих и горелых садов; даже выпал такой вечер в прошлом году, когда двести третья на полном газу и стреляя прошла по цветущим плодovým деревьям, и вихрь боя не сдул с нее налипших кое-где к мазуту лепестков. И когда на торжественных собраниях части он как бы с вызовом и блестящими глазами начинал речь привычным словесным завитком «мы, танкисты, особый народ, бензинщики... и не зря нам завидует пехотка, хоть и не обожает стоять рядом, когда нас бомбят» — люди верили, будто он затем и родился под солнышком, чтобы век гулять в газелевом чаду. Соболев обу-

чался на агронома, но стать им не смог по причинам семейных обстоятельств...

В каждой сказке у него появлялось юное светловолосое существо всевозможных достоинств и нетронутое даже нескромным взором; а жениться ему довелось на одной пышной огневолосой вдове с целым выводком чужих и рыжих племянников. Семья жила на Алтае, куда он и отсылал целиком свой денежный аттестат. Взамен и изредка приходили треугольные писульки с детскими каракулями; заметили, что разбирать их лейтенанту нравилось наедине и вслух и чтобы, по возможности, листа шумела над головой при этом. Конверты бывали склеены из синей тетрадной обложки, он прочитывал все подряд, вплоть до таблицы умножения, напечатанной на обороте... Кроме непреклонной храбрости, этот суровый, в свои тридцать лет, советский воин владел еще удивительным даром русской сказки; истоки ее терялись, верно, в таежном дымке еще ермаковско-го костерка. Повествуя, он обычно глядел в огонь походного очага, и у всех создавалось впечатление, что рассказывает ее не им, а в розовое ушко кому-то пятому — там, у далеких алтайских предгорий. Этот человек заслуживал уважения товарищей, которое на войне труднее заработать, чем приятельство или даже любовь.

Когда Литовченко пришел сюда¹ из танковой школы, Обрядин отвел его после первого ознакомленья в уголок.

— Как зовут тебя, парень?

— Васильем, — отвечал Литовченко.

— Вася, значит? Так вот, милый ты мой Вася, — сказал Обрядин и показал глазами на лейтенанта, который правил бритву на ремешке, — тянись и уважай этого дядьку, парень. Он два раза горел на своей железной квартире... понятно? Про него, погоди, еще песню составят... и твои детки будут ее на первое мая петь тоненьким голосишечком. Он этих самых ганцев массу погубил. Из кремня сделан, но имеются в нём розовые прожилочки...

Всегда себе на уме и насмешливый даже в опасную минуту, он произнес это с редкой для него серьезностью. Товарищеская оценка соответствовала воинским качествам Соболькова. Обрядин потому и принял свое падение без обиды на судьбу и начальство, что честному человеку роль башнера на двести третьей должна была представляться повышением в его человеческой должности. Старший в экипаже по возрасту, Обрядин имел немалый опыт для суждения о ближних. Службу кулинарному искусству он начал пованком с двенадцати лет; последующие

двадцать пять он проплавал как бы в сладостной кухонной дреме на больших волжских пароходах, с каждым годом совершенствуясь как в добродетелях, так и в пороках, — с незначительным уклоном в последние. На вопросы простодушных, почему у него к твердой пище нет такого пристрастия, как к некоторым видам жидкой, Обрядин сокрушенно отвечал, что его он лечит одно коварное заболевание, под названием малярия, происшедшее от долгого местонахождения у воды; малярия в нем сидела наредкость прочная, и борьбе с нею он посвятил всю свою жизнь. Все обрядинские меню носили резко выраженный антималярийный характер, причем иное блюдо способно было одним запахом отогнать на выстрел вредного комара... Бывший повар любил вспоминать былые достижения, и члены экипажа охотно внимали ему, потому что и бахвальство развлекает во фронтовых буднях, если достаточно цветисто и не направлено в ущерб или поношение другу.

— Загибаешь ты, Сергей Тимофеич, — говаривал при этом Аleshка Галышев, неизменно веселый и добродушный, тот самый, кого сменил Литовченко на посту водителя двести третьей; не затем говаривал, чтобы попридержать размахавшегося артиста, а чтобы подзадорить на дальнейшее. — Это все красноречие твое. Кто ж поверит, что у тебя волчатину от курапатки не отличишь!

Обрядин лишь головой покачивал, горько усмехаясь на его преступное неверие.

— Разве ж я виноват, что таким красноречивым зародился? Ведь я кто!.. Я мастер-художник, и все у меня крутится. Ты мне налива дай... не теперешнего дай, у зимнего-то у него тело самое хорошее. Ты мне летнего дай, когда он в норе сидит, млеет... и он у меня будет плавать в собственном масле и смеяться. Я товарищу Семенову Н. П. живых гусей к столу подавал... понятно? Я... — Он залпом перечислял свои изобретения, и если некоторые из них не были художественным преувеличением, значит, целебны; во-жский воздух помогал пассажирам выносить их без вреда для здоровья. — И я могу стготовить из любого любое. А спроси меня — почему — я отвечу. Я всегда пою, когда готовлю... и весь паропход слушает меня. — Он обводил глазами затихшую землянку. — Это верно, голос у меня немножко сильный... запою — лампа в какую гаснет, но пою я хорошо.

— Поешь ты — ровно яшница скворчит на сквороде, вот как ты поешь! — позже, через год, прерывал его Андрей Дыбок, новый радист на двести третьей. — Тебе только в печку петь... и то, как в

Германию взойдем, для остротки населения. Свои же могут слушать тебя только под хлороформом. Протрезвись, милый русский человек!

Поглаживая небритые щеки, Обрядин подолгу глядел в грязный и натоптанный пол, прежде чем поднять глаза на обидчика.

— Эх, парень... гроб, и тот серебром оклеивают, а тут сердце с тоской перед тобой лежит... Соври, укрась, непонятливый! Вот, и красивый ты, а холодный, не погреешься о тебя. И слова твои жесткие, колючие... из них только настойку от клопов делают!

Разговор таким образом упирался в отвращенные темы, и тогда, чтобы не плодить разногласий, вмешивался Соболюков.

— Ладно, хватит тебе, Обрядин. А ну... скажи за жигалка!

— Ну... жи жигалка, — старательно и сначала сосредоточась, чтобы не промахнуться, выговаривал башнёр, и это служило верным признаком, что уже завелась у него очередная приятельница в окрестности.

Как всегда, Соболюков пророчил в этом месте, что еще доведется Обрядину поправлять пехотку своими приключениями, и беседа мирно возвращалась в прежнее русло, какова должна быть плотность электролита в аккумуляторе при морозе больше или меньше сорока или — что за вещество такое в нынешних снарядах, от которых свеженькие танки разваливаются в железную щепу.

Обрядин любил песню, но слушать его полагалось в землянке, в ненастный вечерок и, желательно, в канун большого военного дня; поэтому и невозможно было ему прославиться пением, равно как игрой на трофейном, с перламутровыми пуговицами, полбьяне, разбитом при бомбежке. Сей незадачливый повар умел много песен, шуточных и сиротских, украинских, татарских, даже башкирских, в особенности часто доставалось от него грузинке Сулико, и все получались у него на один манер, во всех одинаково поскрипывала старинная русская рябинушка. Голоса ему было отпущено достаточно, даже больше положенного по норме, но репертуар свой он выполнял таким натужным и щемящим фальцетом, что всякий раз приходилось заново привыкать ко вступлению. То бывало не менее трудно, чем выйти из теплого дома за околицу и отдаться на милость мокрого осеннего ветра. Зато привыкнув, уже нельзя было оторваться от обрядинской песни, где каждый слышал свое, одному ему желанное.

Когда Сергей Тимофеевич заводил ее, полукрыв глаза, укрепя локоть на колене и зачем-то кончиками пальцев держась

за мочку уха, — чудилось всем — какой-то иной, прекрасный голос вторит певцу от своей беспокойной силщи, которой ни почем любой всемирный подвиг. Иностранец ни черта не понял бы в этой тайне — откуда оно берется, влекущее и странное очарование русской песни, потому что не в звуках тут дело, и не в словах; к тому же их без зазрения совести всегда перевирал Обрядин. Нет, например, и не было такой песни на свете —

...в низенькой светелочке огонек горит
молоденькая пряжа за столом сидит,
а ветер занавесочку тихохонько

шевелит...

как, равно, и припева к ней — «лодка да сети, сети да лодка», в рамку которого он неизменно заключал начало и конец. Не простила однажды, после такого сеанса, обронил с затуманенным взглядом Соболюков, что Россию следует любить именно в непогоду, а при ясном-то солнышке она и всякой сволочи мила... Плотный, плечистый, щекастый, Сергей Тимофеевич всегда уставал от песни.

Будучи женат, но по условиям деятельности находясь в разъездах, Обрядин постоянного местожительства не имел, не в любом климатическом поясе мог бы он обрести верное пристанище под старость. Из всех больших и малых населенных пунктов, где случалась хоть трехдневная стоянка, наперебой приходили к нему тихие и благодарные бабы посланница, без упреков или напрасных надежд; зная наперед их содержание, Обрядин их не хранил и, кажется, даже не читал: сердечные свои дела он считал нестоящими пустяками. Про жену он говорил со сдержанной жалостью, что она еще подождет его лет двадцать, а потом умрет проплаканные глазыньки и еще лет десять подождет.

Хотя он секретами ни с кем не делился, догадывались, что сердце женское он брал именно на песню, как уточку на манок: жертвам его нравилось, что про грустное поет, а сам улыбается... Каждый член экипажа мог в подробностях рассказать жизнеописание соседа; в танке рождается особая душевная связь, которой даже оскорбительна была бы неосторожная посторонняя похвала. Поэтому повар и не любил передавать в подробностях, как целых три километра тащил из боя Алешку Гаальшева и как добило Алешку осколком мины у него, у Обрядина, на спине.

Стало все известно и про Андрея Дыбка, хотя и слыл выдающимся молчаливым; шутили, что даже в школе он избегал отвечать устно, а стремился — письменно. В корпус он пришел из артиллерии, где потерял мизинец на левой руке. Думали, что этот изъян, нанесенный ему

стройному, гибкому телу и является причиной его особой ненависти к немцам, одетым в военную форму. На самом деле, молчание вошло в него несколько раньше, когда оккупанты растерзали на Кубани его сестренку, студентку архитектурного вуза, и умер от горя его отец... Сблизился он только с покойным Алешкой, и то — как выяснилось, что тому известен адресок сестры, в переулке у Савеловского вокзала, куда неоднократно провозжал ее после театра. Галышев узнал невесту по фотографии, наклеенной в танке, возле листа с позывными и ряю с одной необыкновенной краской из американского журнала. Судя по хрупкости сложения, эта маленькая киноактриса квартировала верно в какой-нибудь апельсиновой роще посреди Флориды, совместно с заграничными мотыльками, не живучими в наших русских снегах. Товарищи терпели помянутую картинку, раз она помогала их стрелкуну радисту в бою. Только раз, дивясь такому постоянству в привязанностях, попрекнул его мимоходом Обрядин:

— Эх, нашел себе... влюбился в статую. У ей же головка глиняная. А доверился бы ты мне, Андруша... выбрал бы я тебе заволжскую королеву. Засмеется — пар из-подмышек идет... понятно?

— Пар из-подмышек не может идти. Этого не бывает, — разумно и жестко возразил Дыбок, — если только ты не на русской печке хочешь меня женить.

С той поры экипаж примирился на мысли, что если бы эта сливочно-волшебная штучка узнала про выбор русского танкиста, про высокую честь находиться в советской тридцать-четверке, села бы вторе лучше свои песенки, и человечечной тревогой наполнилась бы ее праздничные глаза, беспечальные ее ночи.

С гибелью друга стала еще заметней замкнутость Дыбка. Все считали его старше двадцати шести лет. Врага он разил попржежнему и как-то очень спокойно, но не по равнодушию, невозможно при его горячности, а потому что это умножало меткость его руки. За полгода дружбы Галышев выцедил, однако, из Дыбка, что побывал он и столоарем и сесарем-инструментальщиком, причем добился шестого разряда; пробую силы в сельском хозяйстве, скосил однажды двуия комбайнами сто два гектара и, наконец, в качестве мозаичника выложил знаменитый пол на консервном заводе у себя, в Крымской: только в ваенаках по нему и ходить из опасения попортить или оскользнуться. Семья у него не было, он не торопился, он пока только примеривался к жизни, и все почтительно понимали, что этот аккуратный, всегда такой чистый и как бы со стиснутыми зубами человек успеет совершить на своем веку все ему положенное, отом-

стить за мертвых, запомниться живым, размножиться в потомстве, да еще останется время подвести итоги

— Орел, казацких кровей... я таких знавал, — говаривал Обрядин при Дыбке. — Вижу тебя, как ты в Кремль по ковровой лестнице поднимаешься. Я к тебе тогда в гости придущу... и пусть твоя дочка мне сто грамм на серебряном подносе вынесет. Не прогонишь?

— Приходи, — совсем серьезно отвечал Дыбок.

Все это были обыкновенные люди, и Литовченко лишь потому представлялись особенными, что он их разглядывал вблизи, как бы через увеличительное стекло. Он пришел сюда простоватым паренком, таким молодым, что еще помнил наперечет все прочитанные им книжки. Так и ждал бы он у себя на деревне часа, когда по приходе Красной Армии вызовут его повесткой в военкомат, если бы не происшествие с куренком, о котором в ночь разгрузки рассказал Обрядин генералу Ударь немецкий офицер его мать, паренек убил бы его сзади, без раздумий, как падает камень с горы, и все закончилось бы на протяжении вечера. Но тот лишь замахнулся, и мать так странно, точно хватаясь за соломинку, взглянула на сына, который с топотом стоял у калитки и деревенно улыбался. Только через час невероятная ярость на свое постыдное бездействие вытолкнула его, дрожащего, из дому. Он не мог простить себе минутки неуместного молчания, он искал обидчика и плакал при этом. Удачливая звезда увела того из деревни. Это была самая длинная ночь в жизни Литовченки. Поочередно, то белесый и стриженный немецкий затылок, то боязливые глаза матери — не за себя, а за последнего свегса хлопца! — плали перед ним в тумане. Близ рассвета попался ему на опушке свежий, похожий и белесый пенек; Литовченко всадал в него по обушок свой топоршко и может быть, ждал, что тот застонет... Так из полудетского стыда и муки родились решимость воина и достоинство человека. Он не вернулся к матери на печку. Но еще целый месяц дразнила его судьба, заставляя без выстрела валяться в партизанских дозорах пока не послали с поручением за линии фронта. Специальность тракториста определила дальнейшее. Танк и раньше привлекал его мальчишеское любопытство: танк показался ему чудом, едва понял, что этим комбайном можно собрать десятикратный урожай мшеницы.

Новая его семья так и не поняла, в чем тут дело: на войне некогда решать сложные душевные уравнения. Его крайняя молодость заставляла сомневаться в стойкости новичка, имевшего всего десять часов самостоятельного танковожения. Дз и представился он этим требовательным

обстрелянным людям словами — «сержант Литовченко прибыл», упустив положенное — «для продолжения службы». Дыбок даже проворчал что-то про пупсиков, которые норовят потом завести танк в трущобинку, чтобы отсидеться от боя. К счастью для него, Литовченко не понял. И только Соболюков, рассмотревший злую искорку в его зрачке, оценил человеческую добротность этого юного паренька с румянцем и бровями девушки. На досуге тыловой стоянки он терпеливо делился с ним всем, что познаёт мастер в долговременном общении с материалом. Здесь были не только проверенные танковые истины вроде тех, что танк с плохим башнером — железная телега, а при плохом водителе — мишень с пушкой, — или, что в танке гореть не страшно, если метко стрелять до последнего огонька. Командир научил Литовченку искать большой политический смысл в самой малой, порученной ему задаче. И лишь после усвоения всех танковых основ он подарил ему, как брату, главный секрет победы, который усталому мускулу придает хромоникелевую прочность.

— Считай то место, Вася, где ты находишься, за самую главную точку на земном шаре... а все остальное только прилежащие окрестности. И потому думай, что нет тебя важнее у Сталина, и он тебе всемирную историю вести поручил. Потому что история, милейший Вася, это тоже танк... держи крепче руки на рычагах!

Остальное — как натянуть сбитую гусеницу в бою или отремонтировать сцепление, Литовченко знал и сам. Все же, для проверки, Соболюков в первый же день приказал ему завести мотор на двести третьей, только что вышедшей из ремонта, и провести машину через заранее намеченные препятствия... Танк плавно поднялся из капонира, слегка встав на дыбки и как бы учуяв волю нового хозяина, и все отметили, что водитель не помял вишенки при этом, стоявшей по левому борту. «Ничего, подходяще... действуй так!» одобрительно молвила Обрядин, словно Литовченко мог слышать что-нибудь за гулом своего железа. С высокой церковной паперти экипаж следил, как, перевалив канаву, танк вошел в поле, спустился в указанную балочку, пропал на минуту, и когда все решили, что заглох у него мотор, с дельной сноровкой принялся карабкаться вверх по крутой и вязкой глинке; утром прошел дождь, всюду солнце сверкало в лужах... Обратная дорога была прямая, Литовченко согласно условию дал полный газ. В сущности, испытание закончилось, Обрядин полез за табачком. Покачивая пушкой, не сбавляя скорости даже в виду села, машина неслась обратно, когда одно непредвиденное обстоятельство заставило

умолкнуть всех, даже ребяташек, собравшихся в изобилии насладиться зрелищем гонки.

Улицу переходил котенок. Никто не обратил внимания, как он появился на пути танка. Осторожно, стараясь не запачкать лапок, он перебирался через изрезанную колеями дорогу. Грохот приближался, но котенок не ускорял походки; состоя в коротком знакомстве со всей бригадой, он чувствовал себя в доброй безопасности; хромота на левую заднюю ногу также замедляла его путешествие. Зверь был явно нестоящий, его и разглядеть трудно было за пластами глины, а водителя торопились завоевать доверие экипажа. Стало поздно спасать его или хотя бы кинуть щепкой, если бы нашлась поблизости. На мгновение все как бы выросло на вершок, и тогда Литовченко, сработав рычагами, ловко как пулю провел свои двадцать восемь тонн в узкий промежуток между ветхим колодцем и дурашливым существом, невозмутимо продолжавшим прогулку... Это и был Кисо, пятый, сверхштатный член экипажа.

Если бы не война, где особо ценят всякое проявление жизни, Кисо не сделал бы такой карьеры. Был он головаст, кошачьей грацией или подхалимством не обладал, вдобавок отличался крайне непрактичной бело-рыжей мастью. За ухом у него образовалось несмыслимое пятно от ласкательных прикосновений танкистских пальцев. В штаб корпуса эта смешная фигура пришла из сожженной деревни, где еще дымились головешки, — ее последний житель, вышедший приветствовать освободителей! Нельзя было немцам ни сожрать его, ни угнать на картошку, и, видимо, убийца пожалел на него патрона. Кто-то сунул зверя за пазуху, скорее для забавы, чем из милосердия; через неделю ему подбили ногу при бомбежке на Кромской операции, а фронтовик умеет окружать незаметной и трогательной заботкой всякого, кто делит с ним опасности военного существования Кисо быстро сдружился со всеми, и если не дремал на кухне, обдумывая очередные мероприятия по борьбе с мышами, от которых в том году приходилось даже окапывать землянки, то изучал окрестность, навещал в непогоду часовых или запросто заходил в штаб посидеть у главного хозяина на карте. Лично ему больше всего нравилось, когда член военного совета гладил его своей пятерней, способной привести в замешательство любого нибелунга. Однако после того, как Кисо, решив поделиться с ним добычей, разложил у него рядком, на байковом одеяле, шесть штук безжизненных мышей, его постиг гремучий гнев богов. Случилось это ровно через сутки после обрядинского падения: они как-то снюха-

лись в тот горестный вечер и оба решили, что штабная работа не соответствует их деятельным натурам. К сожалению, Кисо малярши не болея и с негодованием отверг те пять капель лекарства, которые Обрядин, якобы, пытался влить в горло приятелю. Впрочем, иные шутники по-другому объясняли происхождение царапин на обрядинском лбу: Обрядин покинул на селе двух красоток разом.

С тех пор Кисо поселился на боевой площадке, в пушистой шубе одного немаловажного итальянского чина, сбившегося присоединить к Италии Сибирь. Не загадывая наперед, кто приютит его, промого и безродного, по окончании войны, Кисо участвовал во всех операциях корпуса и через Днепр переправлялся сквозь такой шквал огня, что танкисты предполагали выдать ему голубую ленту на хвост. До него в люминцах двести третьей состоял медвежонок, оказавшийся не портативным в условиях походного существования; его целую неделю с успехом заменял один беспризорный гусь, Петр Григорыч, но, как на грех, тут подошло празднование по поводу вручения гвардейского знамени, а дружба человека с гусем всегда носит несколько односторонний характер; к тому же Петр Григорыч был ужасный крикун... Кисо содержал в себе достоинства, недостаток которых в такой степени повредил его предшественникам. Вдобавок, будучи философом, он разбирался и в людях; так, он не одобрял порывистых замашек стрелка-радиста, зато очень ценил в механике-водителе его склонность к раздумьям, позволявшую подолгу сидеть на его теплом, удобном колене... И в ту ночь, в канун последнего боя двести третьей, едва Обрядин ушел наверх сменить Дыбка, Кисо немедленно перебрался под шинель к Литовченке.

Тот спал беспокойным сном. Вереница людей в чужой, зеленоватой одежде уходила от него в обратную сторону; он видел ее из танка и с расстояния, как раз необходимого для разгона. Сердце немело от ненависти, а нога судорожно выжимала полный газ, но никакая сила не могла сдвинуть пристывшего к месту железа... Обветшалый накат земляники, источенный мышами, пропускал влагу. С вечера никто не заметил капсулы. Вещевой мешок под голову просырал с одной стороны. Литовченко открыл глаза и сел на нарах. Рядом неслышно спал Дыбок, такой же подтянутый и статный, словно и во сне взбирался по ступеням большой жизни. Тягостный мглистый свет утра пробивался в продолговатую щель окошка, окаймленного снежком. Освещение было недостаточным, и горела свеча. Огарок стоял между квадратным зеркальцем и лицом Соболькова, который брился. Он совершал это старательно и не

спеша, следуя правилу: любое дело исполнять так, как если бы оно было самое важное в ту минуту на свете. Он слегка улыбался при этом, словно видел что-то дополнительно в стекле, тесном даже для его собственной щеки. Как всегда, он поднялся раньше всех, и уже повсвистывал чайничек на печке, сооруженной из немецкого бензобака.

— ... пора?

Собольков ответил не сразу, а может быть просто голос его должен был просечь какие-то необозримые пространства, прежде чем достиг Литовченки.

— Теперь скоро начнется, — сказал лейтенант, возвращаясь, но улыбку оставил там, где-то в предгорьях Алтая. — Здорово бился во сне... испугался чего-нибудь?

— Бык меня бодал. — Ложь ему далась легко, тем более, что до события с куренком это детское приключенье бывало самым страшным из его снов.

— Так вот, ничего не бойся, Василий. — сказал Собольков, намыливая другую щеку. — Страх, это... как бы тебе сказать, тоже вроде уважения. — только пополам с ненавистью. А фашиста уважать не за что, проверенную правду тебе говорю.

— Ничего не боюсь, — твердо как в клятве сказал Литовченко.

— Не зарекайся, — продолжал Собольков, и брился начист, точно на смотр отправлялся или свататься к невесте. — Я и сам этак-то в первом бою... а как зачали огоньком по стенкам стучать, чую... лицо у меня нехорошее стало, низменное сделалось у меня лицо. И тогда стало мне так смешно на себя! И тут второе правило: как нахлынет на тебя это самое, телесное, ищи кругом смешного... война любит иной раз крепко посмеяться!.. К примеру, теперь уж можно сказать, очень я у себя, на Алтае, этим манером итальянцев уважал. Немца-то хоть на Волге видал, ничего особенного, только окурков наземь не кидают, а этих еще не доводилось. Было время, весь мир под себя подмяли... Правда, мир тогда невелик был, впоиски бири!.. И вот, как посекали в тот раз Италию русские танкисты, взяли мы в плач трех ихних генералов... в Венделевке, под Валуямики. Там еще конница Соколова из шестого корпуса действовала, только ее мало было...

— Ну-ну... генералы-то! — жарко, как всегда слушают новички, напомнил Литовченко, придвинулся ближе и машинально погладил голый подбородок.

— Куда!.. Тащились они, бедняги. пехом сто километров, подзябли, конечно. Младшенькому из них пятьдесят четыре годика. Ну, привели, выдали им по сто грамм. ... Усы глядят, оттаивают помаленьку, очень были довольны. «Мы, в Италии, говорят, не любим, когда холодно». А пёс сто любит, отвечаем, с непривычки-то!.. И каждый записал себе на бумажке,

кто его в плен взял, на память. И меня тоже записал один... страшный такой, лицо вовнутрь продавлено, и оттуда волос жесткий, как из дивана. Говорит мне то-своему, хорошо, дескать воюешь. Ничего, отвечаю, если потребуется, еще раз в плен возьму... пожалуйста! Что рано отвоёвались, спрашиваю, мы только в разгар входим? Молчи-ит, стесняется... — Соболюков встал и погасил свечу. — Вот она какая, война-то!

Свету в окошке прибавилось. Время не горошилось. Соболюков успел вытереть лицо и, завернув старенькую бритву с огарком в тряпочку, спрятать их на дно походной сумки, когда вошел Обрядин. Он принес с собой лишь одно слово, и сразу все от него пришло в движение, и Дыбок был уже на ногах, точно только и ждал тревоги. Литовченко обвел всех шурками вопросительными глазами: ему казалось, что это начинается иначе. Он слышал, будто в последнюю минуту перед боем обычно пишут письма на родину или заявления в партию, и даже заготовил для колхозных подростков, с которыми недавно гонял голубей, прощальную фразу, полюбившуюся ему за красоту — «а больше писать нечего, идем в бой». Второпях он поискал взглядом, с кем бы обменяться адресками, чтобы сообщали родным, если что... но каждый заканчивал свои личные дела, без признака волнения даже, только стали на минутку суровее, как перед дальнею дорогой, и он понял: именно здесь глубже всего понимают жизнь и даже мысленно не называют имени ее могучей соперницы... Все были готовы, и еще осталось маленькое время на вопрос, возникший у Литовченки при пробуждении. Ему заранее хотелось узнать, слышно ли из танка, когда гусеница наезжает на человеческое тело, хотя и помнил из рассказов, что железо станковых пулеметов беззвучно гнется и сплющивается при этом.

Вместо лейтенанта, который застегивал шлем у подбородка, утолить его любознательность вызвался Обрядин.

— А это смотря по тому, милый ты мой Вася, кто тебе попадет, — с видом опытного знатока таких дел пояснил он. — Венгерец, например, попискивает, делкатно так пищит, а немец похрустывает... Понятно? Что касается румына, то он под тобою только лопается, как рыбий пузырь... приходилось тебе большую рыбку потрошить?

Насмешливые и только чуть более обычного блестящие глаза смотрели отовсюду на Литовченко. Все по-разному и неправильно оценили его смущение. Соболюков дружественно коснулся его плеча:

— Ничего, это сейчас пройдет. Это есть телесное. А ну... по машинам!

Дыбок пихнул дверь ногой, серенькое утро охватило их пронзительной сыростью. Литовченко услышал знакомый как бы утолщающийся свист, и хотя кто то пригнул его вниз, воздух смаху ударил ему в уши и по глазам. Когда свист снова открыл их, земля оседала; длинная жердистая сосна, треща и сбивая сучья с соседей, падала прямо на него; Вершина ее с нахлестом легла на мокрый снег, но оказалось далеко, и брызги не долетели.

— Чего, война, кланяешься? Уж видались... — сквозь зубы сказал Обрядин и потянув носом воздух, обозоченно взгляделся в глубину леса. — Щами пахнет. А ведь это, пожалуй, щипогибли, товарищи. — Потом лицо его прояснилось. — Нет, то не щипогибли, при щипогибли Иван Ермолаич стоит, а ему ворожейка нагадала сто лет жить да сто на карачках проползать... Ворожейкам веришь, лейтенант?

— Не трепись, — сухо сказал Соболюков

Иван Ермолаич был батальонный паровоз, который, вскоре после появления нового башнера в бригаде, стал страдать приступами неизвестной болезни. Наверное, то была малярия, как верная собака бродившая по следам Обрядина.

Противник стремился прощупать границы расположения корпуса.

Слабое и множественное гуденье висело над лесом. Невысокая облачность мешала разведке спуститься ниже. Изредка между деревьями вставали тугие жгуты как бы из железных опилок, скрученные свирепой магнитной силой, но в узкой щели перед собой Литовченко не видел ничего, кроме угла землянки, где провели ночь, да прикипшей вплотную ветки лесной калины с красными, водянистыми от заморозки ягодами. Моторы работали на малых оборотах, зенитки молчали. Экипажи наготове сидели в машинах, только командиры поглядывали из башенных люков. Время от времени, заслышав свист, Соболюков оповещал своих — «держись, хлопцы!» — и опускал стальную вьюшку над головой. Следовал гулкий раскат пополам с древесным треском, всякий раз после того чуточку светлее, как всегда бывает на лесосеках. Летчик бомбил вслепую. Унизительное, даже подлое самочувствие мишени зарождалось от вынужденного бездействия; было томительно наблюдать из дрожащего от нетерпенья танка, как пешком тащится время.

Чтоб побороть гнетущее чувство холода и неизвестности. Соболюков вто-

рично и в деталях разъяснил боевую задачу: вместе с первым эшелонам прорваться сквозь пятиминутный заградительный огонь к переправе, в направлении геодезической вышки, видимой отовсюду, и ждать второго сигнала в низинке у речки Стрыни, где изгиб русла и обрывистые берега надежно укрывали от обстрела; позже надлежало взять на броню мотопехоту, чтоб по красной ракете совместно ринуться на передний край врага, — передовая проходила в двух километрах отсюда... Так ждали они знака к выходу, но его не было. Самолеты ушли, в танк сочилась разноголосая, похожая на шопот, переключки инструментов войны. Уже раздумывали, как скоротать время, пока приказ от верхнего Литовченки докатится до Литовченки, находящегося внизу. Вдруг два беззвучных по неожиданности смерча поднялись по сторонам южной землянки и, ухватив ее с подмышек, вышвырнули наверх со всем деревянным пожитком. Как бы понукая к действию, волна толкнула двести третью, мотор заглох, и та же как бы ухмыляющаяся сила раздавила ягоды о триплекс; было видно, как розовые звездочки текли, пересекая смотровую щель. Дальнейшая стоянка становилась опасней самого боя. Собольков увидел комбрига, который бежал вдоль капониров, махал рукой и кричал — «пошли, пошли...» Тотчас же, взревев и давя пеньки, штук тридцать приземистых тел стали вылезать на поверхность.

Успокоение пришло, как только покинули свои ямы. Танк до краев наполнился металлическим звуком, все пропиталось им до последнего болта; Литовченке казалось, что и сам он начинает звучать в ноту со своим железом. И стало совсем легко, когда еще не заслеженное поле открылось за опушкой. Далеко впереди маячил сквозной удлинённый треугольник вышки, куда шли, но ближайшим ориентиром движения был разрушенный домик, который на карте числился цветущей, в яблонях, усадьбой. Иные недооговечные деревья, сменившие их, изредка возникали теперь в слепащем, после лесных сумерек, утреннем пространстве; было что-то собачье в том, как они с громовым ласом перебежали с места на место, потрясая черной неистойвой листвой. Количество их удесятерилось, едва последние танки первой очереди покинули лес. Одно выросло как раз по левому борту, самое гризастое. Большой осколок с близкой дистанции, ударил двести третью в лобовик над водителем люком; она шатнулась, сразу отемнились все смотровые щели. Отбитая покраска поалам с искрами, как показались Литовченке, больно стеганула по ли-

цу. Танк продолжал свой бег, и Собольков уже не сомневался в водителе; он не знал, что за мгновение перед тем новичок сорвал кровяной мозоль о рычаг правого фрикциона, и эта маленькая боль в ладони спасла его от неминуемого шока. Двести третья извернулась, нырнула в кромешный мрак, и в момент разворота, сквозь падающую землю, Литовченко увидел всю шеренгу своего эшелона.

Она весело мчалась по бескрайней пойме, в проходах среди минных полей, заранее обозначенных хвостинками; пестрый вал метели оставался позади. Они мчались, поминутно меняя курс и словно издеваясь над неточным боковым обстрелом, почти в ровном строю, кроме нескольких машин, что несли на себе груз саперного леса; одна, самая быстрая, уже пылала, но ускоряла бег, как бы в надежде сбить пламя ветром... Мчались, покачиваясь пушки, и пока без единого выстрела, потому что ничего не было впереди, а только серенький предзимний пейзаж с рваными, еще дымящимися проталинами да еще высокий противоположный берег с висящими над ним дымками. Передние уже вступали под его укрытие, и, как бывает иногда в начале боя, обстановка и местный замысел командования стали до мельчайшего штриха понятны самому неопытному солдату, но не разумом пока, а каким-то первичным физическим ощущением.

За ночь немцы форсировали Стрыню дополнительно и на южном участке, пробив еще километр в нашей обороне. Сплошная завеса заградительного огня сдерживала их левофланговый напор, и не стоило гадать, что случится, если устанут пушки или приостановится поток боепитания. Крохотный плацдарм оставался за советской пехотой на том берегу, все стреляло там. Под прикрытием ее смертной доблести и готовила свой маневр тридцать седьмая. Таким образом получалось центробежное вращение двух полярных воль, где осью служил домик садовода и где запоздавший обрекался на окружение и гибель. Именно в это место на карте и смотрел сейчас большой Литовченко на своем КП.. Там, наверху, уже начался военный день, а здесь, под обрывом, было еще тихо, как в раю во время землетрясения, по определению Обрядина, когда экипаж вышел из танка помочь саперам. Сложив оружие в сторону, мотопехота совместно с ними прорубала крутую дорогу сквозь нависшую осыпь или подтаскивала к мосту многометровые тесаные брусья; они представлялись лучинками в присутствии самоходных орудий, тридцать-четверок и танкеток, — в просторечии зовутся малютками, — встревоженное стадо, сбившееся у водооя. В обступившем ар-

тиллерийском грохоте не было слышно ни дробного стука топоров, ни шума незаглушенных моторов; те, наверху, могли подумать, что товарищи просто отсиживаются от бури, не торопятся, стремясь насладиться терпким запахом смолевого дерева; прежде чем войти в горячий смрад машинного боя; но они торопились, так как немецкий наблюдатель должен был когда-нибудь разгадать значение щепы в медлительном зеркале Стрыни... Тут пошел снег.

И опять железное войско ждало своей ракеты, пока танкисты яростными жестами бранились с саперным капитаном и все показывали на обрыв, откуда при каждом сотрясении струился мелкий, еще не намокший песок; более нетерпеливые и злые спустились в реку и шарили броду по поясу в воде... Уходя к своему на подкрепление, Соболюков не забыл взглянуть на приборы водительского щитка. Температура масла достигала 105°, — судя по запаху, главный фрикцион был перегрет, для воды оставалось лишь три деления на циферблате. Не столько тяжкий путь по пашне был причиной такой перегрузки, сколько волнение водителя, который с непривычки к огню явно задержал танковое сердце. И лейтенант мельком порешил дать при случае полную волю Литовченке, чтобы упоением танкового могущества исцелился от ребячьей и такой понятной нерешительности. В эту минуту Соболюков и разгадал Кисо в потемках танка. Неизвестно, когда тот успел забраться в свою походную квартиру, и представлялось уже несправедливостью выкидывать теперь за борт этого вполне заслуженного ветерана. Таким образом на операцию экипаж уходил в полном составе.

Литовченко видел через люк, как тот поднял котенка и, прищурясь, заглянул ему в глаза.

— Что ж, войю, Кисо, зарабатывай себе место под солнышком, — сказал Соболюков и, поймав на себе взгляд Литовченки, стал выбираться из танка. — Вот, посмотрим, что она означает... тихая и грозная судьба человека, — добавил он совсем непонятно, глядя на высокий берег с вихрами седой и мокрой трясушей травы. — Только помни, Вася... судьба не тех любит, кто хочет жить, а тех, кто победить хочет! — Голос был не прежний, соболюковский, да и поучение относилось скорее к самому себе, чем к этому простодушному пареньку, — как следствие минутного замешательства, нехотенья чего-то или от горечи внезапного открытия, что и жизни он жаждал не меньше, чем победы.

Литовченко зарделся, ему стало неловко от непривычной командирской откровенности, хотя в сущности ничего и не

произошло; кроме того, он еще не знал, что означает взрослое городское слово судьба и что полагается отвечать в таких случаях. Он поднял на лейтенанта прямые ясные глаза, и тогда, видя, что тот ушел поспешно, запретив водителю далеко отлучаться от машины.

При самом беглом взгляде на окрестность делалось понятным запоздание с переправой. Судя по незаконченным окопчикам, еще недавно здесь пыталась закрепиться горстка немецких автоматчиков, и ее вышибали отсюда врукопашную, ценою потерь с обеих сторон. Литовченко обошел место схватки, всматриваясь в лица павших. Хотя это сглаживает различия, их легко было распознать издали, — немцам не успели выдать в срок маскировочные халаты. Враги лежали рядом, иные почти в обнимку, как бы продолжая сражаться и теперь. Павших было меньше; один — рябоватый, смуглый и скуластый — лежал на спине, грудью навывкат и с закинутой под голову рукой, как спят богатыри. Глаза были открыты, губы растянута полуулыбка, словно среди пасмурного неба стало вдруг над ним жаркое казахское солнце. Снежинка упала в его округленный покоем зрачок и не таяла. Литовченко отвел взгляд к артиллерийской воронке, которой не заметил вначале... На дне ее скопилась подпочвенная вода. Там валялся обыкновенный, весь целый, гитлеровский солдат. Ноги тонули в ледяной жиже, а руки были широко раскинуты, будто обхватить хотел ее всю, украсть, унести с собою — чужую землю вместе с ее сокровищами, святынями и этим тоскливым хлюпающим снежком... но оказалась тяжелой, и нехватило объятий, и он поник тут, пугало Европы, бессильный даже отряхнуть снег с былинок, торчавших меж его разведенных пальцев.

Он мог бы рассказать много — как росла, крепла и потом сокрушилась германская мечта о самородном русском золотышке в распадах сибирских гор, о тучных рыбных стаях в тесноте полноводных рек, о волшебных куполах, всегда манивших немецкое око, о самом солнце, что нисходит на землю в этом государстве в обличии нефти, хлопка, пшеницы и вина; он мог бы похвастаться, как началось бредовое шествие железных пауков по чужим столицам, этим начальным ступенькам к сияющим хребтам, за которыми раскинулись блаженные страны Азии, земной рай с даровым шнапсом, где закуска растет на деревьях, где гурий можно брать на гробницах непобедимых царей востока, — где дозволено, наконец, утолить темное зверство, прикрытое веками германской дисциплины. Это была бы длинная повесть, как они отправлялись в поход, провожаемые криками женщин:

убивайте их, убивайте в Америке и Азии, убивайте везде... мы отмоем ваши руки!», и как их встретила непогодная пучина России, где поржавело их железо и обвела душа, и как они, огрызаясь, ползли назад с распоротым брюхом, и каждый камень рвал им внутренности, и каждый куст стрелял вдогонку. Он знал много, но мертвые—плохие рассказчики. И хотя украинский тракторист не умел проникнуть в знаменья истории, он догадывался, над чем улыбаются невдалеке спокойный и чуть иронический казак.

Завоеватель лежал в позе вора, стремящегося уползти, с подогнутым коленом и уткнувшийся лицом в край ямы. Белобрылый затылок напомнил Литовченке минутой, шрамом оставшуюся в памяти. Рядом, затоптанные в снег, валялись улитки — автомат, походная шарнирная лопатка и еще какой-то неузнаваемый утиль войны. Литовченко увидел опрокинутую каску. Он пошевелил ее носком сапога. Талая вода кривой струйкой, как из чайника, полилась из пробоины. Дыра приходилась над самым надбровьем, с лучами трещинок, как кокарда; прицел был хорош. Кто-то встал рядом с Литовченкой, но он не пошевелился, как зачарованный следя за струйкой.

— Не тот? — спросил голос над самым ухом, когда каска опустела.

Это был Дыбок. Не насмешка, а лишь нетерпение читалось в его заметно похудевшем лице; ему хотелось скорее исполнить все, с чего начиналась его большая и умная житейская дорога.

— Не-ет... тот постарше и с плешинкой, был, вот тут... — нехотя протянул Литовченко и показал на затылок; но даже не в плешинке было различие, а в том, что не доставило душе сытости созерцание этого застигнутого на месте вора.

— Ищи его, парень... крепко ищи! Не голякo врага, но себя прежде всего ищешь... — с особым значением сказал Дыбок.

— Где-то рядом ходит, всякую минуту тую его близ себя... — начал было Литовченко, и вдруг побежал к машине: уже падало над лесом алое яблочко сигнальной ракеты.

Дорога вверх была открыта, но одна дружная батарея без труда истребила бы здесь, в проходе, целый корпус по мере того, как он стал бы выбираться из низины. Какой-то чудак, в пылу усердия, раскидал дымовые шашки вдоль берега, не гадая, что из того получится, и теперь немецкая артиллерия перенесла огонь по этой подозрительной клочковатой тьме, что, подобно чернилам в воде, распускалась во все стороны. Она клубами стекала с обрыва, ее рвали смерчи разрывов, в нее, как в туннель, незримые и незрячие ухотили обслепленные десанниками танки. Одновременно немцы разгля-

дели обрезки теса в реке. Десяток тяжелых мин с большим перелетом упал на пойму. Если бы Собольков вскочил в свой люк мгновенно позже, он увидел бы, как, пошатываясь и с раскинутыми руками, поднимались некоторые мертвецы, точно возобновляя сражение, и это нестерпимое зрелище стало бы заключительным в его жизни. Советские батареи открыли ответный огонь...

С полуоткрытыми люками, чтобы не прогнать соседа и не свалиться с обрыва, танки распространялись в чернильной ночи перед броском в атаку. Еще до того, как вышли из завесы, Дыбок принял по радио хриплую команду «одиннадцать», что, по условию, означало, «развернись», и следом за тем «сорок два». Больше приказов не поступало: у дести третьей осколком сбило штырь антенны. Не сразу пришло в память, чего требовала последняя команда — заходить углом слева или увеличить скорость. — Собольков приказал и то, и другое... Все смешалось и загремело. И оттого, что каждый раз в бою надо приспособляться к обстановке и даже смириться с чем то, все пока молчали, кроме лейтенанта. Три души, три человеческих педали находились подле него, и он жал на них словом, шуткой и авторитетом, доводя отвагу до уровня самозабвенного ликования, — без него немислимо преодоление животных инстинктов, которыми жизнь вслепую обороняется от гибели. Казалось, провода переговорного устройства принакали к самому мозгу, и туда, до боли громко что-то кричал Собольков в похвалу дести третьей, ее прочности и резвости, а Литовченко односложно откликался, всем телом вслушиваясь в ровное машинное биенье за спиной. Ему то чудился подзвонительный звон в трансмиссии, то мешал четкий и частый стук о броню, точно кто-то просился войти снаружи; ни разу не побывав под крупнокалиберным пулеметом, он с отчаяньем принимал эти звуки за прощальные сигналы десантников, вдруг ставших ему ближе всякой родни.

Те еще держались, хотя огненный ветер обстрела сдувал все постороннее с брони. Танки приближались к переднему краю. По существу, до этого места курс дести третьей зависел скорее от удачи да еще от того, с какой стороны возникла глыбистая падающая тьма, чем от умения водителя. Только теперь Литовченко привык к скачкам смотровой прорези, — она то надвигалась, то уносились вдаль, то становилась почти вертикально, когда хлестала бортовая волна. Сперва он различил лесок впереди и перед ним бугристое поле, где металась резрывы; затем он увидел стрелковую цепь, частично залегшую в чистом поле и местами уже выгнутую из обороны. Тяжкий минометный огонь шествовал по черте окопов, и еще пустые вихорьки свер-

лили посеревший снежок. Здесь можно было оценить черный и страшный труд пехотинца. И одни, не оглядываясь и слегка подымая винтовки, указывали проходы своим танкам, другие же лежали как-то слишком смиренно, точно внимали ласковому и последнему напутствию родной земли, которую защищали.

— Вот она наша, мотомсмплодная, — смешливо и резко крикнул Обрядин, когда на мгновение заглох мотор, точно испугавшись черной тени, с грохотом прошедшей мимо. — Заметь, обожаемый Вася, лежат, как львы, и непримиримо смотрят в сторону врага!

Его смаху оборвал Дыбок:

— Это все земляки и братья твои лежат, чорт усатый. Полежал бы сам на мокром пузе... и полежишь еще у меня! — заключил он, точно он-то и был командиром.

Обрядин был умней своей шутки, которую придумал единственно для ободрения водителя. Как раз перед тем болванка прочертила как полозом путь перед двести третьей, а гусеница дрогнула, точно наехала на камень, и была опасность, что Литовченко сожжет диски сцепления. Соболюков понял это с запозданием и сразу забыл, потому что именно тут и увидел зайца.

То было единственное живое во всем поле, не имевшее отношения к войне. Обезумев, он мчался наугад, весь белый, ясно различимый на темной, искovyрянной пашне. Иногда он останавливался, вскинув уши, приподнимая удлиненное страхом тело, и смотрел, все еще невредимый, как рушатся громады огня и воющего праха, и исчезал, припадая к снегу, чтобы снова превратиться в неуловимый глазом белый гулунгир. Должно быть, заячий бог хранил до поры и как перышко нес его пуцистую, невесомую от ужаса шкурку; по неисповедимому зычьему провидению он мчал ее прямо на немецкие траншеи. Он заведомо хитрил, сбивая с толку, показывая зверка одновременно в десятке мест по фронту атаки, и получалось, что именно за ним, повторяя его зигзаги, разя с ходу орудиным огнем, гнались шесть неистовых тридцать-четверок, как если бы он-то и был призом в этой беспримерной охоте. Они настигали, он метнулся, угол курса резко изменился... Застывая, наклоненная жижка блеснула под танками на дне окопа, и в нем, с поднятыми руками стояли недвижные, как на фотоснимке, какие-то зеленые, значит не русские люди; иные как будто падали и все не могли упасть. Теперь уж и собственной стрельбы не слышал экипаж, и верилось, одной силой гнева и взгляда своего роняет их Соболюков. Тогда-то, каким-то образом разглядев в своей неудобной щели, Обрядин и доложил лейтенанту, что противотанковая пушка справа, у ку-

стов, тоже настоятельно просит своего пайка. Только он выразил это в одном, каком-то неистовом, неповторимом слове, действия стали короче, чем их словесные определения, и приказания отдавала сама мысль.

Они увидели пушку; радиет скорее догадался о ней. Это ее снаряд прошумел по башне и огненной вишенкой рикошетом ушел в небо; это она была в упор по Соболюковскому танку. Ее мишень делалась невыразимо огромной и такой близкой, когда промах следует считать чудом, но живое белое пятно, которое перепуганный заячий бог швырнул из снега, пада под ноги орудиному командирю, отвлекло на миг внимание расчета, и это решило его жалкую участь. Соболюков крикнул дави, когда сорванный ствол наполовину углубился в землю через живот наводчика под натиском двести третьей, когда Обрядин заряжал пушку для следующей цели. Ни шороха ни стопа не дошло до Литовченко, нет, даже не такого соперника искал он в ту первую свою бездомную ночь!.. А уже немецкие танки выходили на огневой рубеж, обтекая поле боя, и наши ускорили свой бег им навстречу. Так началось это грозное соревнование снаряда и брони, техники и воли, начальных скоростей и скрытой энергии взрывчатого вещества, а прежде всего люлей двух миров, расстояние между которыми неизмеримо земною мерой.

Тут можно было видеть, как пестрые громадины обминали края немецкого окопа, ровняя проходы отставшим из второго эшелона, а по полю, килаясь дымками, вливалась в прорыв мотопехота — как советский танк, забравшись во вражескую гущу, стоял без башни, и дымные космы подымались из страшной дыры, а стальной шишак богатыря галялся рядом, и четыре врага факельно горели по сторонам, как бы почетный эскорт, сопровождающий героя в небытие, — как люди со звездочками на ушанках, крича слово Сталин, вступали в поединок с глыбой крупповской стали, и она никла, дымилась, крутилась на порванной гусенице, как дьявол от магического заклинанья. И если только не ветер преждевременной ночи, значит, беззвучные всадники в бурках мелькнули вдалеке, где жарко пылали положенные стога...

Литовченко заметил на развороте лишь часть этого стройного, в своей беспоявочности, движенья тела, металла и огня, но и это малое вызвало в нем знакомое по детским снам чувство полета через бездну. Ритм схватки усилился, все ожгло, кричало, взрывалось: убивал самый воздух; предельно напрягались скрученные дымовые волокна его мышц, и мертвые уже не попадались на глаза живым, чтобы не мечтать им в их шествии к победе. То была мускулистая, могучая

жизнь битвы; смерть как битая собака тыкалась в ногах у бессмертных, чтобы урвать крохи с их великанского пиршества.. И все это как живая вода нужно было для гордой и яростной нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиными очами!

Снова события опережали ленивое, не точное слово. Рука, отшибленная при откате казенника, с трудом закладывала очередной патрон, но Обрядин еще не чувствовал боли. Соболюков еще ждал, когда догонят его отставшие танки, а они уже далеко вправо и впереди ломали и мололи вражескую оборону... Там двухметровая гряда, род естественного эскарпа, пересекала поле вдоль реки. На длинную и, казалось, последнюю ступеньку перед слабой хлынула теперь тридцать седьмая, чтобы, восстановив утраченный строй, ринуться на штурм Ставища; вокруг него и решалась судьба Великошумска. Село виделось как на цитадели, за сбившимся в кучку леском, откуда били тяжелые немецкие батареи. И если тула передвинулось теперь самое главное того кромешного дня, значит, неправду утврждал Соболюков, будто судьба боя решается там, где находится двести третья!.. Временно укрытая от обстрела, бригада как бы взрывалась сейчас, распростираясь в обе стороны и давя дзоты, размещенные по скату. Их было там насовано, как ласточкиных гнезд в речном обрыве; звук был такой, точно и впрямь яйца хрустели под тяжелой поступью бригады. Один из них, в особенности хлеставшийся огнем, достался на долю двести третьей: пулеметы цапалали ее триплекс, в предсмертном ожесточении стремясь хотя бы ослепить машину, но она уже вошла в гнездо, как пориень, бельмастая и неотвратимая, и накренилась, вгрызаясь левой гусеницей, и вдруг осела, и это полуметровое падение также напоминало чем-то пробуждение от детского сна. Все обстояло хорошо, если не считать временной слепоты танка на обрядинского ушиба. Рука плохо сгибалась в локте, но какое-то дополнительное злое озорство зарождалось из тупой, неотвязной боли; кстати, Обрядин никогда подолгу не таил в себе обиды.

— Дозвольте обратиться к водителю, товарищ стрелок-радист, — перекричал си мотор, пользуясь маленской остановкой для последующего маневра, и не дожидаясь позволения, оседломился у Литовченки, что он испытывает теперь, глубоководоуважаемый Вася. — Не укачивает тебя манюшка, не беспокоит, не трясет?

— Шекотно будто... — жарко и с задыханьем ответил тот, задним ходом выводя машину из крошева.

Этот дзот был последним. Пользуясь передышкой, водитель выбросил левый триплекс, где ни на сантиметр не остава-

лось прозрачности. Стало видно, как необыкновенно крупный, ватными клоками, валял снег. Смеркалось, — все же Литовченко разглядел кровь на куске плекси-гласа. То была его собственная, — так что вовсе не от пота прилипла к рукоятке фрикциона его растертая ладонь. Пришлось замотать руку тряпкой, Дыбок впервые выступал в роли санитаря, это также заняло шепотку времени. Обрядин успел кроме того дать наставление водителю, чтобы теперь в особенности берег лицо от пулевых брызг, и даже начать рассказ, как угостил однажды того же бессменного товарища Семенова Н. П. зайчатиной, вымоченной в коньяке, чем и ввел свою жертву в глубокое поэтическое ошеломление. Случай пришел в память от неосознанного пока убеждения, что только заяц и спас их от прямого попадания. Он оборвал повесть на том месте, когда мяжущий Семенов лично пожаловал на кухню показать московским гостям этого невероятного художника пищи; он оборвал, чтобы коснуться пальцев лейтенанта, лежавших на штурвале орудия.

— Ты чего... чего замолк, Соболек? — пронзительно, в самую душу заглянул он. — Хочешь, у меня во флаге есть... непочатая. Одна хозяйка домашнего кваску на прощанье налила... понятно? — И он прищелкнул языком для обозначения обжигающих достоинств напитка.

Он и с женщинами не бывал так настойчив и нежен, но лейтенант не ответил. Высунувшись из люка, тот сделала вид, что вглядывается в сумеречное поле; оно приходилось на уровне головы. Двести третья оказалась левофланговой. Бригада ушла вправо, по ложине, куда перекинулся и грохот битвы. Прямо перед Соболюковым подковкой лежал бугорок, и в неглубокой впадинке ее подобно мотыльку сновала взад и вперед тридцать-четверка, в суматохе боя вырывающаяся наверх. Три больших немецких машины, прикрываясь снегопалом, двигались в обхват этого места, изредка стреляя, в намерении выпугнуть жертву из норы. Загонщики заходили на большом радиусе, ближняя находилась в створе со своей будущей добычей; вступать отсюда во фронтальный поединок с ними было для двести третьей вполне рискованно. Видимо, по неисправности орудия, тридцать-четверка не отвечала на огонь, и ей уже нельзя было бежать, не подставив кормы под прицел охотников.

Соболюков признал их скорее по калибру грузного ласного звука, чем по контурам, источенным снежной, мигающей мглой.

— Тигры..., смотри, ребятки: тигры! — твердил он, словно и остальным был доступен такой же круговой обзор, как из командирской башни. — Сроочи, губители... ну, сейчас мазанет! — и даже сознательная неслепость такого решения, мысленно

прикидывал, успеет ли добежать туда с противотанковой гранатой.

Не было бы ему лютее муки — смотреть из безопасности, как станут расстреливать безоружного товарища; сперва расколот ему железный череп и разорвут бока, потом в три длинных клюва будут долбить костер, пахнущий газолем и горелой кожей. Представлялось неразумным отвлекать огонь на себя, но, как часто случается в бою, доводы разума пересилились стихийным побуждением сердца. Соболюков дал выстрел по правому, дальнему тигру; он и сам не понял, что произошло... Такой удачей не дарит война даже прославленных танковых ассов. То была не меткость, скорее совпадение, стоявшее на грани несбыточного. Так, значит, победить он хотел все-таки больше, чем жить в желанном, послевоенном яблоневом саду!.. Он попал в самый ствол тигра, в черноту его оружейного зрачка; 76 хорошо разместилось в 88; двести третья как бы заткнула ему пасть куском своего железа, и та огненно распалась: короткий обрубок торчал теперь из шароустановки тигра. В эту минуту он принял решение. Здесь его не остановили бы даже минные поля, слышком возможные в этом подозрительно чистом и девственно-непоптанном снегу, потому что подвиг и есть порой пренебрежение собой ради величайшей цели. Вдруг какое-то искорканное несуществующее слово, означавшее даже не полет, а стремглавое орлиное паденье на добычу, вырвалось у него сквозь зубы. Только Обрядин, больше всех понимавший лейтенантское сердце, сумел перевести это на язык военной команды.

— А ну, дай копоти, сынок! — гаркнул он Литовченко; хорошо осведомленный, чем кого угощают в разных случаях жизни, он не требовал у командира, чтобы тот заблаговременно заказывал ему артиллерийское меню.

Весь дрожа, на самом малом газочке, Литовченко бережно стронул машину. И время стало маленькое, время молнии, в которое она успевает родиться, ослепить вселенную, ужаснуть живое и погаснуть. На счастье не пришлось и разворачивать танк; он и без того смотрел пушкой влево, туда, откуда выгдней всего представлялось контрнападенье. Литовченко выжал газ почти до конца, так что даже хрустнуло в колене. Двести третья пошла на предельной скорости и с легкостью порождаяшей недoverчивую улыбку. Было что-то живое в том, как свистел мотор и просил еще ходу. Видимость почти пропала; чем быстрее движенье, тем темнее ночь. Вьюга крутилась в танке, шла с открытым люком. Снег залеплял лицо водителя, но тот все забыл, забыл даже, что где-то поблизости находится крутой речной

обрыв, забыл боль, самое тело свое забыл, лишь бы не терять из виду скачущей ленты чернобыльника, обозначающей правый скат эскарпа. Рычаги ему выламывали руки, ветер гонки срывал однослойные восклицания с закушенных губ, а лейтенант все давил ему ногой в плечо, словно в водительской воле было вырастить крылья у танка.. Обратная дорога на Алтай, кратчайшая и единственная, проходила лишь через победу, и дочурка не упрекнула бы Соболюкова, что плохо к ней торопился Соболюков!

Поворота вправо не попадалось, гонка становилась бегством от цели. В эти считанные мгновенья и могло произойти убийство наверху. И опять судьба злоеущее улыбуналась Соболюкову, — прежде чем отчаянье остановило его лютый бег. Она разрешила лоцинку пополам, и правый рукав под острым углом вывела на поверхность, в заросли густого кустарника, красноватого даже во мгле... Точно секундомер лежал в руке судьбы: охота еще не кончилась, только метанья застигнутой тридцать-четыреки стали суматошной и короче, так как сократился сектор ее укрытия. Все не поломкой оружейного механизма объяснялось ее бездействие, а просто, израсходовав боезапас, она сберегала свой заключительный выстрел, последний из ста пяти, чтобы жалить наверняка. Значит, дождалась она своей минутки, и если только не дьявол, длинный и на раскинутых ногах, стоял на правом фланге, — и огненные мышцы просвечивали сквозь черные струйчатые сапоги! — так это подбитый ею немец исходил серым смертным дымом. Зато два других, увеличив радиус нападения, и, по существу, уже без риска подступали к ней лобовиками вперед, а она вертелась всяко посреди все новых и новых ям. Как змей вертелась она, лишь бы стать лицом к врагу, лишь бы умереть не спиной к полю боя.. Слышно было, как задыхался ее мотор, как сипло кричал ее командир и как ветер выл в своем пустом стволе, и даже как сердце билось у товарищей, тоже было слышно на двести третьей... Все это, разумеется, не было вполне достоверно, но то, чего глазом и ухом не различал Соболюков, ему безошибочно подсказывала танкистская душа; именно так, в равных условиях, поступал бы он сам.

Маневр получал блистательное оправдание; даже стоило устремиться в иное время, не слишком ли судьба баловала Соболюкова. Пантера и вовсе не тигр, как оказалось, проходила всего в ста метрах, да и ощущение этих ста следовало наполовину отнестись за счет метели и погемок: она проходила в грофиле, дразня широким граненым задом вскинутое на подьеме жало двести третьей. Соболюков ударил ее еще раньше, чем Литовченко вогнал машину в

кусты; он ударил ее дважды, аккумулятивным снарядом, и тотчас же, не меняя прицела, подкалиберным в живую мякоть у подмышки, над вторым сади катком, где кожа пантеры утончалась до 45 миллиметров. Это было все.

Он испытал слабую ноющую усталость в руке, как если бы лично поразил коротким толстым ножом и повернул его в спине зверя. Двести третья стояла с открытыми люками, вся на виду, и потому экипаж мог в подробностях наблюдать это, недоступное ни на одном полигоне мира... Невыразимый полдень шумно рванулся из щелей, неправдоподобных, дырчатых и косых, а плита командирской башни отлетела, чтобы запретное солнце могло выйти наружу. Литовченко сменил место не потому, что слепительный свет превращал самоё двести третья в мишень, а из желания укрыться от огненной измороси, от которой горел даже снег. Сам Дыбок, холодный, рассудительный Дыбок, поддавался колдовскому очарованию зрелища:

— Выпей русского кваску... Пей! — Вот он, элекси́р жизни, пусть напьется досыта. — шептал он, но какое-то гордое достоинство мешало ему еще и еще бить из пулемета по пламени, хотя и чудилось, та еще ползла на одной гусенице и с вулканом в брюхе: так вихрился оранжевый пар вокруг нее. — Выпей русского кваску... пей!

— Культурно сделано, Соболек, — похвалил и Обрядин зубным, срывающимся голосом, точно заправдавшаяся малярка трясла его. Поглядяла бы одна из его бабенок на нынешнего Обрядина, — он был как мальчишка, пропала его степенность. Высунувшись из люка, он выставила лицо в этот неистовый свет: душу, ознобленную близостью гибели, ласковой солнышка греет жар горящего врага. — Эй... пол-литра с тебя, товарищ? — гаркнул он, когда громадная тень спасенной тридцать-четверки шмыгнула через самое место их недавней стоянки — Натопелись, болезные... — сочувственно проводил он ее, когда как бы рассосалось в снежной тьме самое ее вещество.

— Похоже, мы у них тут целый зверинец разбудили. Смотри, еще один прется, — сказал потом Дыбок, когда остыла первая радость удачи. — Так оно и есть... Не люблю я в ночное время «фердинандов», товарищ лейтенант! — То было тяжелое самоходное орудие, германская новинка того года, прозванная так, по объяснению Дыбка, за сходство с профилем носатого болгарского царя, которого довелось ему выдать в старой Ниве.

«Фердинандом» оказался тот, что двигался в центре облавы. Он зажег фару; судя по перемещению светового эллипса на снегу, он разворачивал свое неуклюжее тело, идя на сближение. Два звука

слились попарно, кроме того двести третья стреляла еще в промежутке, — были напрасны все пять залпов. В такой непроглядный вьюжный вечер успех рещался не тем, кто железней или метче, а удачливей кто. Двести третья пятилась назад, и тогда случилось то, уже совсем невероятное, о чем до поздней старости обожал живописать внучатам ветеран великой кампании, Василий Екимович Литовченко. «Волос на мне дыбочком встал, — рассказывал он, глядя лысину, и ему верили не больше, чем Паньку Рудому, знаменитому его земляку. — «Думаю-думаю, как же мне поступить при такой бисовой оказии...», но если бы это «думаю-думаю» длилось у него в тот раз дольше секунды, никогда бы не узнали про этот случай маленькие, затихшие в страхе украинцы. «Фердинандов» стало два, потом сразу четыре зажженных луча пронизали взвихренную метельную неразбериху, да еще какой-то блудливый, так и не разгаданный огонек добавочно заветлял и заюлил в поле. Верно, они плодились там, эти ночные твари, выезжая друг из дружки, и действительно, замогиальная чертовщина миргородского пасечника представлялась, в сравнении с этим, поэтической выдумкой, навеянной шелестом вишен в благодатную южную ночь... Пользуясь даровым освещением от собрата, пылавшего как солома, дьяволы разлили из всех своих жерл, и двести третья поступила по меньшей мере правильно, заблаговременно и без выстрела спустясь назад, в низинку.

Бежать отсюда было хорошо, горящая пантера служила достаточным ориентиром, пока не взорвался ее боезапас. Она исчезла с ловкостью привидения, оставив по себе глухое эхо, дырку в снегу, дождь железных ключев и вспышку как от аскового магния... Двести третья мчалась, петляя, и на бога, потому что любое на свете было лучше прямого полупудового клева в корму, — мчалась, заводило углубляясь в расположение противника, — мчалась, пока не отстала погоня. Последние выстрелы легли далеко в стороне, все погасло, самое окошко люка потрескалось во мраке. Возбуждение успеха охладило, на смену прищип озноб и голод; Обрядин, кроме того, вспомнил про разбитый локоть... Литовченко промолчал на вопрос лейтенанта, видно ли ему хоть что-нибудь на дороге; промолчал из боязни выдать голосом щемящую тоску, меньше всего происходившую от метельной неизвестности ночи. Следовало убавить ход до самого малого; так и сделали, но было поздно. Пентр тяжести вполне ощутил, шарообразно перевалился вперед, инструмента гремяче двинулись по дну танка. Горный тормаз не остановил скольжения. Все одновременно ощутили, как пучина дохнула на них холодом.

«Вот оно, то самое...», — со странной вялостью подумал Собольков, клонясь на пушку. Машина весом сползала вниз, с заметным уклоном влево. Обрушилась левая гусеница, Литовченко вслепую и немедленно выправил движение, и стоило отметить выдержку новичка, хотя нигде его не обучали, как падать в рёку с наименьшим повреждением. Теперь танк повисел на месте. И опять опоздало тело; команду с той Собольков подал, когда был включен уже и задний ход. Не жалея ничего, он до бешенства разогнал мотор, но оно не могло длиться долго, единоборство хотя бы и пятисот лошадиных сил с законом тяготенья. Земля одолевала, она стаскивала людей с сиденья, и это было пострашней поединка с фердинандом.

— Спокойствие, лейтенант, спокойствие... — чудовищно-ровным голосом крикнул Дыбок в микрофон, точно ему принадлежала власть в танке, точно знал, что пока он здесь, товарищам не грозит несчастье...

В передний люк хлынула вода. Упираясь рукой в американскую картинку, Дыбок включил аварийный свет на плафоне радики; он увидел неподвижное от наугги, откинутое назад и в снежной маске лицо соседа. Шустрая пека, бугая и заполоная щели, вылась вокруг колен. Свет погас, пора было кричать вылезай, топимся, но все молчали, неживая сила придавила их волю. Дальше поляя вода не поднималась... Кос-как отобравшись от танка. Обрядин выскочил наружу. Прошла вечность, и может быть две вечности сряду, когда он псывился опять невредимый, сухой, даже веселый.

— Глуши мотор, Вася... кажется приехали, — оповестил он сперва собольковским голосом, потому что мотор еще работал, с поминутным кашлем и во весь дух своих двенадцати цилиндров; загляни сюда тигр, он мог бы спокойной лапой добивать двести третью до последнего пламенного вздоха, целясь с акселератора онемевшую ногу. Обрядин прибавил уже собственным, в раздирающей уши тишине: — Приехали к тебе в гости. Эва, на горочке с блинцами стоит. Выгружайтесь, граждане, поменьше!

В сухом верхнем кармане гимнастерки у Дыбка нашлись спички. Их было семь. Головки с шипеньем отлетали, норвя в глаз; на коробочной этикетке было напечатано, как вести себя гражданину во время войны. Зажглась четвертая, и пока не потушила ее хлопок снега, главное успело отпечататься в зрачке. Танк держался на скате стандартного немецкого рва, кормой вверх и с перевесом левого борта, как в ночь разгрузки, когда комкор читал наставленью новичку; он опрокинулся бы

на большей скорости. Вода достигала третьего катка; две широких колеи, прорытых гусеницами, круто уводили в черноту, смолянисто блеснувшую при вспышке. Собольков не успел различить стрелок на часах, — было скорее пять минут девятого, чем без четверти час, но и в первом случае событий явно не доставало на такую уйму протекшего времени. В суматохе дня, видимо, проскочили еще какие-то происшествия, не оставившие в памяти следа. По сходству с собственным их положением, Собольков припомнил только, как они вытаскивали из воронки одну завалившуюся шестидесятку, но эпизод тотчас поблек и затянулся как бы тинкой.

— Я уж думал, нас в подводную лодку за заслуги прозвели, — пошутил Дыбок, но все не шибко поверили, что ему веселее, чем прочим.

Так они стояли, трое, молча и бездельно, без мыслей и усталые до степени равнодушия к тому, что случится с ними на рассвете, когда найдет и распорядится их жизнью мимоходный немецкий броневичок. Вдруг, опустившись прямо на снег, Дыбок принялся снимать сапоги; натекая воля могла повредить его здоровье, необходимое для великих дел.

— Не разберу... морозит или это малость озяб я? — спросил он ни у кого и зевая.

Значит но все еще кончилось у этой жирной итоговой черты в безвестном поле. Собольков поднял голову:

— Вася, — позвал он негромко, потому что теперь стало можно говорить и негромко. — Чего ж тебя не слышно, ася?.. Ты где, чудак, а? — говорил он, сбхоя громаду танка.

Снег падал рожке, чуть посветлело. Черно было сейчас на земле, и вот, в утепление, вылали ей где-то за бетонными облаками скупой и тонкий арктик луны. Лейтенант увидел своего механика-водителя, Литовченко стоял с обратной стороны, прижавшись к гусенице, вздыбленной над его головой. Он весь дрожал, когда Собольков коснулся его лица; он так дрожал, что именно это ощутил сначала лейтенант и лишь потом — живую, горячую влажность на кончиках своих онемевших пальцев.

— Вася, ты что?.. остыл, что ли? Да нет, погоди, не отворачивайся. Ты толком объясни, в чем дело? — шептал он в самое ухо, заслоняя от товарищей; тем временем подошли и остальные.

— Машину жалко... — всхлиывая признался Литовченко и ребячило, мокрой тряпкой, размотавшейся в ладони, тер свои безволосые щеки. — Я же знал, куда мы катимся, вот и запарол! — Но он еще умолчал о главном, — что все позапрошлые ночи снился ему сам Сталин, но не такой, каким его знает мир,

а вполне обыкновенный, с черными усами, как у Екима Литовченки; он наказывал хлопцу беречь двести третью, потому что из ста тысяч она самая дорогая у него и какое-то сытное заветное слово, как колобок в дальнюю дорогу, клал ему за пазуху души... Вдруг новый приступ горя потряс паренька; сорвав шлем, плача и весь подавшись вперед, он закричал товарищам, что стрелять его надо за это, именно так, как делали немцы с детьми: — в рот, в рот мне надо за это стрелять!

На войне нет ничего страшнее плачущего солдата, и не надо его останавливать, пока не выгорит отчаянье до конца. Экипаж молчал, они тоже были однажды новичками, как и этот чумазый хлопец, — такой чумазый, что и вековухи отворачивались от него на стоянках. Зато платок любимой девушки можно было уронить на дно трансмиссионного отделения в его танке и, незамаранный, спрятать назад, в кармашек. Им нравилась скрытная мальчишеская гордость Литовченко, когда ему доверили шрамистую, прославленную двести третью, и, верно, до его крестьянского сознания достигла ужасная, совершенная в глазах современников, трехцветная красота советской тридцать-четверки... Кроме того, эти люди понимали, что только настоящий человек может требовать справедливости и водвигу своему, и оплошности.

— Сердечко не выдержало... — сочувственно буркнул Обрядин, толкнув локтем командира и держа наготове бачок для питьевой воды, налитый на этот раз лекарством от малярии. — Ножную душу и снежинка царапает. Знаю, сам имею такую же!

Литовченко приходил в себя. Он поднял голову и виновато усмехнулся, стыдясь товарищеского внимания. Тогда они подошли ближе, заговорили впереводку, и не различить было, кто и что произносил в той жаркой словесной полусе; даже Дыбок испытал особую волнительную размягченность чувств, какой впасался больше всех болезней на свете.

— Эх ты, вояка полтавская... а мы тебя женишь посла войны собралась. Она ж целая, смотри, ее чорт рогом колупал, да скис. Ее до Берлина хватит пока, а там, коли потребуется, еще моторишко попросим... У меня земляк за кулашный на заводе имеется, замдиректор, тоже художник своего дела... только малярия его гложет, вроде меня. А танкисты, брат, особый народ... и не зря им завидует пехотка! — Последнее, чуть ироническое замечание принадлежало Дыбку и так откровенно, хоть и не злобно, было направлено в лейтенанта, что Соболюков, нащурясь, даже покосился на него.

Поддела было сделано, водитель воз-

вращался в строй; по степени важности теперь осталась меньшая половина, — выйти к сроку из немецкой мышеловки. Обрядин поднял шлем и, отряхнув от снега, надел на голову товарища.

— Посушить бы его теперь, лейтенант. — заметил он при этом.

Дыбок с хозяйской властью заставил водителя сесть на снег и повторить все, что проделал сам незадолго перед этим.

— Ладно, теперь другую ножку, — шутил он. — Выжми, выжми ее потуже. Ишь, сколько воды набрал... куда ее тебе столько! Теперь лезь наверх, цогрей ноги на моторе...

— Не холодно мне, — оборонялся Литовченко и вдруг вспомнил, что и Дыбок рядом с ним принимал ледяную купель. — А сам, сам!?

— Э, мне эта штука ничо чем. Я телу мосму хозяин строгий, — с жесткостью, исключавшей и тень похвальбы, бросил Дыбок; все же озноб мешал ему выразить мысль короче, чем полагалось по его характеру. — Я от тела много требую... а то ведь и расчет дам. Оно меня боится, и очень правильно поступает, что боится! — пригрозил он вслух, чтоб прониклась его волей продрогшее солдатское тело: Соболюков подумал даже, что если убьют его, Соболюкова, то именно Андрею Дыбку надлежит стать капитаном двести третьей.

— Греться изнутри надо... нука! — осторожно вставил Обрядин, поднося флагу Литовченке. — Та-ак, еще отпей на рубль семьдесят, хватит. Эх ты, девчушка!.. Ей бы прейтись маменько, покружиться теперь в вихре вальса, товарищ Соболюков!

— Верно... — как-то поспешно согласился тот; он руководился тем соображением, что после происшедшего следовало поднагрузить паренька каким-нибудь заданием. — Нука, пройдишь, посмотри место на ближнем радиусе.

— Нельзя посылать водителя, лейтенант!.. — тихо, под руку, возразил Дыбок.

И оттого, что он был тысячу раз прав, всегда прав, этот удачник, Соболюков посмотрел на него с каким-то пристальным и враждебным интересом, как если бы видел его из последующих суток. Он недобро усмехнулся: вот уже и самая правая становилась на сторону его преемника! Глаза встретились, одна и та же мысль ранила обоих. Дыбок смущенно отвернулся, едва понял, что содержалось в этом взгляде, и тогда Соболюков медальными словами повторил то, что сказали раньше его глаза:

— Не рано примеряешься, Андюша? Я еще живой. — И подтолкнул Литовченку. — Иди, ничего пока не будет... Я тебе веваю. Иди!

Ни на один факт не могла опереться догадка: собственные их следы уже замело, и хоть бы зарево или выстрел в

пустоте. Жгла и жалила мучительная надежда, что в это самое время тридцать седьмая вступает в Великошумск. Только одна двести третья засела в трубочинку крайнего левого фланга; ей предоставлялось воевать в одиночку, в меру разумения и солдатской совести. Прежнее ощущение беспомощности постепенно замещалось решимостью на предстоящий, долгий и тяжкий труд. Нужно было передохнуть, поесть, подкопить сил, а там, глядишь, сами собою разяснятся обстановка и мысли!

Они взобрались на танк. Горячий воздух обильно поднимался сквозз жалюзи мотора. Обрядин слезил за едой. Соскучась в одиночестве, замыкал Кисо, и всем стало немножко веселее от сознания, что количество их умножилось на единицу. Ему также выдали полагающийся рацион, и он довольно усердно занялся этим делом.

— Давай думать, лейтенант, — сухо и тихо сказал Дыбок.

— Успеем, отдохни... Не торопи войну, Андрюша! Пять минут всего прошло, как сеи, — ответил Собольков и снова занялся котенком. — Что, Кисо... хвост-то намок? Ничего, на войне это и есть главное: будни. А сражение, это уж праздничный день, гуляй душа! Ешь, ешь... Тебе бы щец со свининкой? А твою натуру знаю. Не хочешь щец? Ну, врешь, хищный зверь, притворяешься. Ладно, вот закопаем Гитлера, поедем с тобой на Алтай. Новая хозяйка у тебя будет, маленькая и добрая. Все глупые — добрые, вот почему и умный у нас Дыбок. Небось, зайтис на меня, памятливыи. А ты скажи ему, Кисо, чтоб не сердчал. От этого дружба вянет, волос лезет, здоровье портится. Сказал?.. ну, что он тебе ответил?

Дыбок промолчал на этот шаг к примирению. И верно, злость в какой-то степи помогала ему бороться со стужей, ловавшей ему кости. Обильный пар стал подниматься от ног, начавших согреваться, и он хорошо знал, что зато потом будет хуже, но нечто телесное мешало ему сдвинуть ноги с горячей решетки. Так, злаясь на все кругом, он злился в первую очередь на свое затихшее тело... Обрядин пытался сгладить неловкость деликатным посторонним разговором.

— Меню рояль, что означает королевский харч! — сказала Обрядин, надкусывая смачно какую-то особо прочную колбасу. — Что-то мой товарищ Семенов Н. П. нынче подельвает? В артиллерии был... Нет, друзья, я вам так скажу: лучше зима, чем беда. И лучше беда, чем война, а тут все три разом навалились!

— Ты прямо рудник, Сергей Тимофеевич, — тотчас заметил Дыбок, аккуратно и ножиком надрезая ту же колбасу.

Заведомый капкан тайлся в этом загадочном замечании, но Обрядин безобидно

ступил в него, лишь бы облегчить сердце товарища.

— Всем я бывал у тебя, Андрюша, и вот рудником еще ни разу. Откройся, чем же у рудник, капитан?

— Я к тому, что.. глыбы наредкости ценной мысли в тебе содержатся. Ты бы записывал, чтоб не забыть. Можешь прославиться, как выдающийся светоч чело вечества. По Волге будет ходить нефтяная баржа под названием светоч Обрядин. Как мыслитель, ты в особенно сти для баржи хорош.

Обрядин со вздохом взялся за флагу.

— Этак скрутят они тебя, злость и холол, Андрюша, — спокойно сказал он. — нельзя. Ну-ка, отпей грамм на триста.. разом, разом! Не согреет, так дух повеселит.

И Дыбок пил пороховую жидкость, от зывавшую сырцом, а сам безотрывно глядел в хитрую, с дружеской ухмылкой такую милую ему вдруг рожу Обрядина, который все причмокивал и облизывал губы, спрашивал — хорош ли, не горит ли на языке, гладко ли проходит в нутро этот жидкий огонь, из которого, видать, и наварила ему того кваску одна скромная богобоязненная женщина на расставанье. «Пей, пей сколько хочешь, дружок..», — приговаривал он, бескорыстно радуясь за товарища, хотя сам ни глотка не отпробовал с самого прибытия на место. Уже почти совсем теперь не плескалось на донышке. И что-то случилось с Дыбком; он положил руку на колено Соболькову, точно в тисках зажал, и сами сорвались с губ эти слова, каких в иное время и пыткою не выжать бы из Дыбка:

— Эх, лейтенант... — и что то дрогнуло в его голосе, — хороший народ проживает на моей земле, мой народ. Семь раз сряду жизнь за него отдам. Потом отдохну немножко... и еще раз отдам. А только.. Вот ты, Обрядин, всему честному мичу друг, а ведь ты б у лодырей королем был!

— Большие реки не торопятся. В океан идут, — как-то неожиданно серьезно и важно ответил Обрядин, хоть и смотвел с прежней хитрой приглядкой его прищуренный глазок.

— Вот-вот, — с горечью сказал Дыбок, — узнаю! Души океан, а спички не зажигаются... Стыну я, лейтенант, ваит меня, свалюсь. Пора начинать, — заключил он, поднимаясь, и без команды, сам, полез через верхний люк за лопатой.

Лопата, лом, гранаты — все соскользнуло в переднюю, полную воды, часть танка. Дыбку пришлось как бы нырять туда и шарить в ней наощупь.

— Лом-то намок, ровно губка... а еще железный, — шутил Обрядин сверху, принимая от него инструмент, — Не утонешь, Андрюша?

— Тут мелко... В Днепре глубже было, — как-то в растяжку, застылыми словами, отзывался тот.

Он потешной шуткой извинялся перед Кисо, которому чуть замочил его палаццо, и не забывал пояснить товарищам, что палаццо есть жилплощадь итальянского феодала; он шутливо осведомлялся, протекает ли в такой же степени снаряжение у настоящих водолазов. Щемило сердце это сдержанное, на звенящей волевой струнке, балагурство. Вот он был как-то, Андрей Дыбок с Кубани! Людям следовало знакомиться с ним впервые даже не в бою, когда отвага родится сама из недра разгоряченного сердца, а здесь, минуткой позже, пока он молча стоял, раскинув руки, и темные талые дырья образовались кругом него на снегу.

— Эх... отожили ее сколько можно со спины,— попросил он потом лейтенанта.— Повозиться бы теперь с каким-нибудь ганцем... я б ему ребра в кашу стер. А ну, тронь тронь меня побольше! — стеклянно крикнул он подходящему Литовченко и в полсилы толкнул его в плечо.

Благоразумно отступив на шаг, тот доложил Соболькову, что и следа немецкого присутствия не обнаружил поблизости, кроме прокинутой мимо стога телефонной линии, которую на свой риск и порезал ножом; метров шесть провода висело у него на руке. Подумав, Собольков решил, что это, пожалуй, правильно, так как война для них еще не кончилась, а на поверку линии выйдут теперь немецкие связисты, и от одного из них можно будет добиться приблизительной ориентировки. Следовало быстро накатать план действий и расставить людей. Лейтенант исправил свою ошибку, на этот раз оставив водителя у танка; Обрядин, как мыслитель, в особенности годился для земляных работ,— кстати, это ему принадлежало глубокое замечание, что подкопку надо начинать изнутри, чтоб машина не села днищем. Собольков решил в засаду взять с собой Дыбка, который наострил за войну в немецкой речи; ему, таким образом, представлялась возможность погреться в рукопашной.

— Ну, лезь, Сергей Тимофеич,— сказала Собольков Обрядину.— Береги лопату, чтоб не защемило. И помни, выберем-ся — будем живы!

— Сейчас дай с духом собраться. Вот она главная-то малярия! — с прискорбием заметил тот, глядя в темное месиво под танком; он раздумывал при этом — стоит или нет признавать экипажу, что почти не сгибается в локте разбитая рука, и выяснил, что неправильно, не по-товарищески будет это.

Было еще время и помедлить; какая-то живая стрелка в них с точностью отсчитывала время, потребное на то, чтобы немцы обнаружили повреждение связи, и доложились начальству, и снарядились в путь.

— А не любишь ты воды, Сергей Ти-

мофеич... зря! Прохладная, она закаляет организм. Это тебе надо знать, как холоду по женской части,— сказал, наконец, Дыбок. — Полеза-ай!

Обрядин безропотно отправился под танк, отметив вскользь, что уже не Собольков, а как бы Дыбок становится командующим танковыми силами на данном отрезке фронта. В темноте слышно стало чавканье жижи да металлические удары по тракам. Глина детскими горстками выкидывалась наружу, танк стоял недвижим, хотя и Литовченко уже в полный мах мотыжил землю по скату рва, вдоль гусеницы. Собольков прикинул в уме, что работы хватит часов на пять, если не прервет ее какая-либо внезапность.

Он взял с собою провод на случай, если придется вязать языка. До стога было не больше метров семидесяти. Уже с полдороги корма танка расплылась в подбобие куста. Идя по следу Литовченко, который, к счастью, возвращался из обхода не по прямой, лейтенант отыскал конец провода и показал Дыбку... Раскидав снег, они вырыли норки в соломе и разместились на стогу, плечом к плечу и ухом к уху. Сперва молчали, привыкая к месту.

— Ну, как, Андрияша... загораешь?

— Теперь хорошо, мягко, — неопределенно сказал Дыбок.

— Слушай... хочешь, сапогами поменяемся? Все-таки посуше.

— Не надо, не хочу,— упрямо сказал тот. — Сейчас придут, смотри.

Опять стало темно, месяц убрался до следующего раза. Временами Собольков поднимался, вслушиваясь, не идет ли; никогда такой шумной не была солома. Кажется, примораживало... Представлялось несбыточным, чтобы цветы, птицы и синие небо могли когда-нибудь явиться в этом месте, и хотелось впоследствии, по окончании войны, непременно посетить его в летние месяцы и полежать в этом самом стогу, если уделют — и стог, и он сам. Нескончаемо длились сутки, разжиревшие событиями. Кстати, Собольков открыл, что между людьми возможен разговор без едичого слора. Так он мысленно спросил Дыбка, доводилось ли ему проводить ночь в сужем сене, и чтоб кузнечики при этом! И тот отреагировал сразу, что доводилось, мальчишской, только тогда светили звезды...

— Знаешь, как придут — тихо надо, холодным способом,— сказала Собольков несколько спустя. — Я с одним управляюсь, а ты своего сбегает... не зачиби только.

— Да,— согласился Дыбок, неохотно, точно ему в чем-то помешали. — Ты молчи. Сейчас придут.

А нельзя было молчать, хоть и в дозоре. Делались все односложней ответы Дыбка, недвижимей его тело. Его усыпляла стужа, ему стало все равно, только

бы спать дали. Он хотел спать, тело становилось сильнее воли... Из знакомства с сухими алтайскими буранами Соболюкову было известно, как происходит это.

— Я слушаю, я все слышу. А, знаешь, Андрей, ты прав был давеча. Хорошие мы люди. Очень!

— Будем хорошие... потом. Ты к чему это?

— На что мы только не пускаемся для них, для деток... для всемирных деток. Сами в гать стелемся. Лишь бы они тупедек своих в сукровице не замочили. Веришь? — всю дрянь жизни выпил бы одним духом, чт-б уж им ни капальки не осталось. А, может, и не поймут?

— И не надо им понимать. У них свое. — Он догадывался, для чего Соболюкову нужен был этот разговор, а тот уже и сам сбился — из душевной потребности начал его или из хитрой уловки расшевелить товарища. И хотя слова, вязкие и стылые, застревали во рту, Дыбок по дружбе шел к нему навстречу. — Что ж, говори, расскажи мне про нее... большая у тебя дочка?

— Восемь, — тихо, как тайну, доверил тот, и с этой минуты точно и не было размовки между ними. — Знаешь, у ней там белк стряслась, смечная Пшмет, даже к бабе Мане в гости перестала ходить. Понимаешь, котенок у ней пропал... любимец, только черный. Верно жена закинула... но любит кошек.

— Мачеха? — издадалка откланулся Дыбок.

— Хуже, злодейка жизни моей. Второпях как-то это у меня случилось... а вот, все тянет к ней как к вину... как к зеленому вину, Дыбок! Двадцать два годика было, как женился. Злая цифра, двадцать два, перебор жизни моей! Брата посэдом в двадцать втором году залавило, война тожь под это число началась... Да нет, не так уж и хороша, как приманчива. — ответил он на мысленный вопрос Дыбка. — Дочка пшмет, чужой дялька к ней ходит... конфетку каждый раз дарит. Бумажку мне в письмо пришила, образец.. видно, на поларочек подзадорить меня, отца, хотела. Они ведь хитрые, ребятки-то... Люди! Ума не приложу, что за учитель завелся... может, эвакированный из Прибалтики, по русски плохо говорит. — Приполнявшись на ложе, лейтенант почувствовал застылый воздух; немцы еще не шли, точно пронюхали о засаде. — А баба Маня — это не женщина, не думай, это гора... понимаешь? Это мы с дочкой так ее прозвали: ягод много. Вроде старушки, вся в зеленых бороздочках. У нас там секретный каменный столтик есть, на нем бархатная моховая скатертка. Дочка сведет тебя туда... — И лишь тепеь получила объяснение его путаная, просительная исповедь — Слушай, Андрей... ты не спишь? Не спи! Я все просить собирался,

да совестно было. Ты ведь холостой, тебе все равно...

— Мне все равно... — сказал Дыбок еле слышно, одним своим дыханьем.

— ...тебе все равно, говорю, куда ехать потом. Ты же холостой. Если что случится со мной, отвези дочке Кисо..., понимаешь? И писем никаких не надо. Ты ее враз узнаешь, как увидишь. Она сама тебя и встретит... как завидит военную одежду. А больше послать, скажи, нечего... ничего у ей в жизни не накопило. Скажешь, папа шаст... воевали вместе. Пссиди с ней, если понравится, там хорошо. Словом, тебе видно будет!

Он успел довольно подробно обрисовать алтайские красоты, утверждая, что не раскается Дыбок... Немцы не шли; Соболюков подумал даже, что за подобное промедленье стоило бы их отдать под суд. Лежать так становилось нестерпимо. Была полная ночь. Временами она раздвигалась, Соболюков тоже начинал видеть звезды. Тяжелой рукой он стираал одурь с лица; чувство холода возвращалось, и звезды гасили... Потом он вспомнил, что еще не получил ответа от Дыбка.

— Ладно... Андрей?

Радист не отозвался, он уже дал согласие. Еще в замом начале он согласился даже на то, чего и не просил Соболюков. Похоже было также, что он чему-то засмеялся.

— Ты о чем... Андрей?

— Заяц... — без движенья губ сказал голос Дыбка. — Испугался!.. глаза пр ловнику. Хороший, все хорошие... свои.

Он замолк. Больше не надо было его просить. Алтай холостому недалеко. Он хотел спать. Разве мало солдат на свете, кроме него? Собаки и зайцы, все спят. Это была правда... Но через крохотное пулеметное отверстие Дыбок не мог разглядеть давшего зайца, и лейтенант схватил руку товарища. Она была не теплее снега на стогу; зато там, за тесемками рубахи, стояло ровное парное тепло в паузе Дыбка, еще не пламень. Сердце слышалось наощупь, как бы на малых оборотах. Значит, то еще не жар был, а лишь смертное томленье полусна.

— Нельзя, не смей спать, Андрей! — зашептал Соболюков, касаясь губами его уха. — Сейчас придут... теперь уж не отменишь. Жалей товарищей... Кисо убьют. Обрядина убьют... кто тебе петь станет, радист? — Ни лаской, ни приказанием, ни шуткой не удавалось ему проникнуть в меркнувшее сознание Дыбка. — Ведь это ж немцы, понимаешь? Забыл, как они се-стренку твою волокли... жерсбья на ее голом теле метали, кому पहले начинать. А она кричала им — вас Алдшка Гальшев побьет всех, вам жених мой отплатит...

Он говорил еще грубее, лишь бы про-сунуть хоть искорку в порох Дыбковой души. И случилось, чего он добивался.

Поднявшись, Дыбок сидел с открытыми глазами и дрожал, пока еще не от гнева, а от озноба, но и это было хорошо.

— ...они тогда и Галышева. Ты один остался. Пусть зайцы и собаки спят... не мы! Ты же слышишь меня, а молчишь... Я давно раскусил, кто ты есть. Потому мы и живым в такой войне остался! Не юсь, потроха со страху вьнут... а?

— Не надо, пусти... — пробормотал Дыбок, отпихивая его от себя. — Нехорошо тебе будет... пусти!

Они сравнялись в силах, и, возможно, радист четче командира понимал теперь действительность, потому что прежде не почувствовал, что немцы уже тут. Еще и снег не хрустел, и глаз не видел, но только как-то теснее стало в пространстве ночи... Двое, как всегда ходят немецкие связисты, шли по линии, пропуская провод в ладони. Они нашли место обрыва и остановились. — неожиданное продолговатое пятно стога заставило их насторожиться. Сквозь бурелом соломы, коловшей лицо, Дыбок отчетливо увидел, как левый поднял автомат. Тот же, левый, спросил быстро и негромко, кто там, а другой засмеялся и, возможно, сказал, что солома не обязана откликаться даже на немецкую команду.

— Бери правого, — шепнул Соболюков товарищу, и тот услышал.

Немудрено было догадаться, что кто-то унес кусок провода... Пока один, став на колени, подключался к линии, другой двинулся по следу Литовченки, ведя автоматом, как таракан усам. Он был и минный такой же, как таракан, с утолщением посреди от хорошей пищи; возможно, он и мастью также походил на таракана-прусака... Он проходил мимо, на нем была вилотка с приспущенными наушниками, чтобы уши не зябли. Дыбок упал на него всей своей зыбкой тяжестью, и странно было, что у того не переломился позвоночник. Соболюков также ударил своего гранатой, как кастетом, но промахнулся. Так началась эта маленькая и неравная битва... Немцы были свежее, перед выходом они послали жирных наших щей и хорошо выпались на доброй лежанке: им неоставало как раз того, чем с избытком располагали их противники, — чувства поруганной справедливости и голодного иступленья мертвой хватки. Уже оба лежали снизу, и один вслепую цапал рот Соболюкову, а другой, наполовину примирясь с неизбежным, мокрым и полузадушенным, смотрел в нависшее над ним лицо судьбы. Он был много крупнее Дыбка, которого вдруг стала покидать уверенность в исходе. Наступила та степень взаимного изнеможения, когда и плевка достаточно, чтобы опрокинуть врага, но и на плевков хватало силы.

— Брудер... — прохрипел тот, что был внизу, даже не пытаясь дотянуться до

автомата, упавшего поблизости; он упоминал, кажется, также слова муттер, и кажется испробовал силу слова швестер, перечисляя все степени родства, какими можно было проникнуть в старинную славянскую жаждоустойчивость.

— Не брудер, а бутерброд... — неистово сказал Дыбок, и еще не родилось могущества на свете разжать его пальцы. — Я тебя двадцать лет брудером звал. Я тебе карман и житницы раскрывал свои, в самую душу пускал тебя... а ты мою сестренку на жребьях делал! Ах ты, брудер сукин сын... — Оно опалило ему разум, подлое иудино слово; искра добралась до потсха.

Ему хотелось только заглушить скрее этот чужой, нечистый голос. Он не заметил, как подошла очень спокойный Соболюков с автоматом и документами своего партнера.

— Отпусти... теперь не убежит, — велел он, вытирая испарину с лица. — Ишь, смиренный лежит... многоуважаемый. Скажи, чтоб вставал да приятеля на стог заглаил... Нечего ему тут, на виду, валяться.

Дыбок стоял еще на коленях, шумно переводя дыхания. Он не слышал, только эхо брудер, брудер по-обезьянни скакало и дразнило его со всех сторон. И то самое, в чем он когда-то усумнился — пар ваил из его подмышек: он посмотрел на руки себе, и не увидел их. — желтые фоканы качались в глазах. Он хотел лишь пожаловаться Соболюкову — в какую бездну загнал человека фашизм — и тотчас же забыл об этом. Но ему было тепло теперь, только очень хотелось есть. Ему так хотелось есть, что он не замечал, как стало ему тепло теперь. Лейтенант повторил приказание пласному и тсакнула ногой его огромную ступню.

— Вставай.. обиделся? Думал, в трактио на радостях поведем?

Тот не хотел. Соболюков наклонился к лежащему. Открытый глаз пристально и так нехорошо глядел поверх его головы, что Соболюков отвернулся. Лишь теперь он заметил, что живые не могут долго джжать так, с выкрученными назад руками.

— Видать, переложил я в тебя своего докарства, — усмехнулся он, поднимаясь. — Жа-аль... Что ж, и то хлеб! Знаем, по крайней мере, в какую сторону пушку ксать. Помози мне...

Они вскинули связистов в те належаные ямки, где неважно сами, ухом к уху, саушали ночь... Провод пригодились: Соболюков самолично починил порезанную связь из расчета, что это отодвинет появление второй усиленной группы на спок, достаточный для откопки танка. Тропкою Литовченки, следом в след, они вернулись назад, захватив все, не нужное теперь связистам.

Шагов через двадцать лейтенант резко

обернулся в сторону тех, с кем они только-что поменялись местами.

— Кто там? — вполголоса окрикнул он и постоял, что-то соображая; со стога не ответили. — Какое у нас число сегодня?.. двадцать второе?

Он и сам знал, что время перевалило за полночь, но, как в воздухе, нуждался в подтверждении товарища.

— Нет, теперь уж двадцать третье пошло, — ответил Дыбок, вглядываясь в небо, как в большой календарь; он пожегся и широко зевнул. — Морозит хорошо... а то совсем наш брат танкист замаялся. Чудно... никогда мне есть так не хотелось, лейтенант!

Еще три больших часа длился нечеловеческий труд, из которого в равных долях с опасностью и скукой состоит война. Похолодало, изредка прогревали мотор. Все были мокрые, все успели побывать под танком. Молча сменяя друг друга, теперь они жалели силы даже на шутку. Первым выбыл Обрядин; сквозь рукав легко прощупывалась опухоль на локте. Он взялся за флягу и сразу бросил ее на дно танка, чтоб не дразнить себя оставшимся полулитром. Потом лейтенант приказал водителю послать часок до рассвета, перед тем как тронуться в путь. Последнюю четверть часа он копался сам, в одиночку, в липкой, стынущей гуще.

Корма опускалась с резвостью часовой стрелки. Пушка, будь она с другой стороны, показала бы половину пятого, когда крутизна наклона стала преодолимой для мотора. И в третий раз Дыбок по колесу вступил в воду, чтобы выпустить целое озеро ее через аварийный люк. Зато потом он разулся без всякого разрешения и оставил обувь сушиться на решетке трансмиссии: воевать вовсе босым было бы ему не в пример легче.

— Ну.. будем живы, — повторил давнее слово Собольков и засмеялся. — Ангел мщеня, а не машина. Доброе утро тебе... ангел! — взволнованно прибавил он, обходя танк и даская рукой его ходовые части.

Давно, ребенком, в глухой староверской молельной на Алтае он видел такого ангела, которого в рост, на кривой, как корыто, доске, изобразил дотошный и поэтический богемас. Непонятно, как не отвергла церковь такого жестокого и правдивого творенья. Ангел был шербатый, некрасивый и худой, в будничной рабочей одежде цвета неостылого пепла; широкие, едва ли не демонские крылья были опалены от груза пламени, который ему постоянно приходилось таскать на себе. Ему не ставили свечей, старухи обходили его, избегая попадаться на глаза, и было страшно представить в действительности это мифологическое создание суровой совести неграмотного сибиряка.. Было

что-то от ангела мщеня и в двести третьей, как стояла она сейчас, обратив лицом к врагу, невредимая после столетних бедствий, если не считать оторванного буксирного крюка, смятых надкрылков и многочисленных вмятин, лишь умножавших ее гневную и грозную красоту. Белесый асдок успел намозолотить на железных веках ее триплексов; она как живая, помигала им, когда Собольков разворачивал машину.

Было еще темно, но предметы, казавшиеся, уже сами отдавали свет, поглощенный ими накануне; представлялось рисковым отправляться в рейд по полутьме. Просторная и торжественная, как перед громадным праздником, удлиняющая пространство, заставлявшая сосредоточиться и говорить шепотом, — такая была тишина! Кое-кто уже пробуждался, и раньше всех — ветер. Он донес мягкий и вкрадчивый отголосок оружейных заповей; экипаж слушал эту кошачью посылку проснувшейся войны с сердцебиением, точно весточки с родины. В такие минуты предки этих людей надевали чистые рубахи... Потом, все приведя в боевой порядок, экипаж сидел на своих местах, торопя рассвет и стараясь лишь не прикасаться к металлу. Здесь потихоньку стал застигать их сон.

Он уже давно бродил возле танка и заглядывал в щели, как лазутчик. Вяло и молча мечтали о теплой лежанке или хотя бы о костерке, но у одного уже спала рука, а другой не мог пошевелить приставшую к железу ногу.

— А знаешь, Собольков... этак задремлем мы тут по-апостольски и не заметим, как вознесут нас живьем на небеса, — заговорил Обрядин, сдвигая шапку на левую бровь. — А ну, скрути мне кто-нибудь дыхнут разок, а то рука... от холода онемела, не сгинается. — Ему даже не столь хотелось пополоскать себя дымком, сколь поддержать в ладонке милый уголек цыгарки. — Не даром и стишок сложил такой... Папироской ароматной мне приятно подымить. У ней дымочек аккуратный, на концу огонь горит.

Он покосился на Дыбка, не терпевшего обрядинской поэзии, но и тот оживился при упоминанье о махорке. Этой божественной русской крупки у Обрядина с избытком хватало бы на всех, включая и Литовченко, если бы не спал сейчас в обнимку с Кисо в добрях итальянской шубы; пар и храп валяли из щелей. Бережно, как святыню, Собольков достал коробок со спичками; вспышка осветила три, с нетерпением протянутых к огню самокрутки. Из четырех последних не загорелась ни одна, и надо считать, в эту самую минуту начальник всех тружеников спичтреста с грохотом проснулся на своем диване от добротной братской оплеухи: тут и пригодилась трофейная за-

жигалка у Дыбка. Мороз и усталость, однако, брали свое, и тяжкая дремотная лень, такая неодолимая перед рассветом, все больше вливалась в тело.

— Соври нам что-нибудь, Соболек, — попросил тогда Обрядин, и его поддержал тот самый Дыбок, который с детства не любил сказок, потому что сам собирался бесцельно творить их наяву. — Про что-нибудь такое соври, чего на свете не бывает.

Собольков молчал; было в нем маленькое смущение перед этими людьми за себя вчерашнего, хоть и не обнаружилось ни в чем его мимолетное малодушие перед неизбежным. Но по мере того, как прибавлялось свету, полнокровная радость вступала в него, как всегда — когда пройди через узкое горлышко ночных сомнений, вырывается душа на простор нового утра. Он молчал, не зная лишь, какую сказку выбрать из тысячи; любую окрашивала личная, собольковская, горечь и рушила ее степенный строгий лад...

— Есть у нас одна гора такая, вся бьючиной заросла, — начал Собольков, чуть стесняясь вначале, словно самое сокровенное рассказывал про себя, и глядя, как движутся во тьме огоньки цыгарок. — Там под навесом каменная кочка, на ней постелено моховое одеяльце. Я шел раз из МТС, прилег от жары и сам слышал, как птица птице сказывала. Может и неправда, ведь кто ее проверит, птичьей был!.. Будто проживал там поблизости, в стародавнее время, один обыкновенный гражданин, только служил в кооперативе. Имел хозяйство с яблочным садиком, жену, трех девчурок, краше вишеночек... и все три в одну неделю закапались. Пойдут по ягоды, шагок в сторону, да две приступки вниз, где похлеще, а уж там ждут, кому надо. Брехали, что змей семиголовный поселился, он девок и таскал. Вырастит, музыке обучит, потом женится по всем правилам: видать, еще в соку был. Конечно, нонешние профессора это опровергают, но, значит, тогдашняя наука послабже была!.. Так и замужрел с горя мой мужик. Всегда при нем бутылочка — сидит, срывает цветы удовольствия. Что и накрад, весь прожилася, а жена только пышной цветет, ходит колеником шуршит. Кстати весна выдалась крутая, деревья почку, во, наиграли!

А в ту пору все попроще было. В горах жили страпники, собирали травы для аптекоправления... у нас в Сибири беглых много проживало. Один и забрел на дымок. «Чего ты печальная, хозяйка?» — «А что тебе, дядка, печаль моя?» — отвечает. — «Ежели грех мутит, то не беги. Им спасаемся, в нем огонь. Без него погнили бы от святости». Она сперва брыкается, как всякая верная жена... чтоб

совесть облегчить. «А коли хочешь свой огонь пригнать, на, отпей глоток». Пригубила она из его ковша, да и проглотила горошинку и с того сына родила. Мужу так объясняла, а как в точности было, науке неизвестно. Назвали сына Покати-Горошком. Стал парнишечка расти, матереть не по годам. По седьмому году краю себе завел, даже перстенками обменялись. Чистенькая да кроткая, ровно яблонька, только никогда, никогда не осыпется ее цвет. Словом, та красавица! Скажи, с каждым днем расширялось у него сердце к этой барышне, пока и ее змей не уволок. Тут заказал он родителю железную палку, чтоб ни сломать, ни согнуть. «Отвою я себе невесту, а тебе дочерей. А из этого зеленого бабника надеваю костей в полном, как говорится, объеме». Всей округой и стогобили ему три. Две Покати-Горошек сразу в узелок повязал, скорбно посмеялся: «Нет, эта мне не гожая!» А про третью, что семь кузнецов ковали, сказал — «это моя палка», Нать ему сухарцов насушила, фотокарточки с каждой дочки дала; хоть и переросли, а признать можно. Отправляется в путешествие.

На пятые сутки попадаетея ему при горелом селе мущина, тощий да длинный да коряжистый. — на башку короб берестяный надет. Облокотился о колоколенку, куполок промял, плещется... все норовит плевком птичку мимолетную подшибить. «Как вас зовут, — Покати-Горошек спрашивает, — и почему при таком теле имеее такой слабый ум?» — «Я есть Вырви-Дуба, — отвечает, — не знаю, где мне силу применить. От этого и расстраиваюсь.» — «Мне таких и надо. Известен мне один адресок, могу услужить, пойдем вместе!» Неделю-вторую идут, вода им дорогу переступила. Они в обход, видят — такой же мущина в озере купается... только этот в ширину, наподобие шара раздался. Башку окунет, вода на семь метров подымется. Ну, документов у голого не спросишь. «Дозвольте поинтересоваться, — наши говорят, — кто вы есть, такой беспорядок устраиваете?» — «А я Переверни-Гора, — объясняет. — Сковырнул сейчас одну да, вот, взорел малость». «Какие бесполезные пустяки! — наши усмеваются. — А ведь по врагу и сила мерится. А лучше мы вам такого господина представим, что все человечество в ножки вам поклонится». Взяли и его в компанию... Так они месяц шли, сухарцы кончаются, застает их в дороге вечер. Подобрали на ночлег разваленную хатку, а утром гадать принялись, как им пополнить продовольствие. Решили полкоптить харчей охотой, ушли, а Вырви-Дуба хозяйкой оставили. Ходят, дерево с дичью приметят, Переверни-Гора ладошкой прихлопнет, и все наше!

— Ты поглядывай кругом, Осютин, — не-

ожиданно вставил Собольков, — но никто не заметил его оговорки.

Теперь слушали Соболькова все: Литовченко, проснувшийся как по тревоге, слушал Обрядин, в интересных местах поталкивая Дыбка в плечо, чтоб обратить внимание, слушали американская, уже помятая при аварии девушка и Дыбкова несчастная сестра; самые стены танка, казалось, жадно впитывали человеческое тепло сказки. Она создавалась давно, когда другие люди, не эти, сидели вот так же вокруг Соболькова: незабвенный Алешка Габышев, а рядом великан Осютин, едва умещавшийся в тесной башнерской келье, а наискось вниз — Коля Колеский, верный друг, закопанный с дыркой в сердце в мерзлой россосанской земле. Потухшие цыгарки не освещали лиц, и рассказчику казалось, именно они слушали его, милые, непобедимые, все еще живые. Тогда Собольков еще не знал про измену, и сказка имела простодушный и счастливый конец.

— А Вырви-Дуба тем временем сварил последнюю солонинку, горницу подмел березкой, сидит. Вдруг под ногами голос является, сохшийся, не из ихних. «Полно носом-то клевать, отпирай!» Распахнул — никого за дверью, а только стоит при порожке удивительный дед, вполне карманный, четверть сам да бородачица в три четверти. «А ну, пересадь меня через порог — хрипит. — А ну, подмости под меня, чтоб я грудями до стола касался. Обедать наварил? Давай!» — «Не имею права, — Вырви-Дуба отвечает. — Питания нехватит на товарищай». — «Я тебе приказываю. Да швырк ему полено под ноги. Поваляй, долговязого, спинку ему разрезал перочинным ножиком по это самое место, соли под шкуру насыпал, мякишем залепил, обед скушал и досиди-данья.

— Ты уж не торопись, товарищ лейтенант, в сказке все — самое важное, — сказал Литовченко

— ... В ту ночь обошлись, а на утро Переверни-Гору оставили. Однако та же картинка, только соли больше ушло. В третий раз Покати-Горошек остался. Дед ему командует: «поставь меня на стол. Давай, а то время идет. Я люблю, когда меня хорошо кормят» — «Нет, это не те ребята, что вчера были», — Покати-Горошек отвечает. Дал ему хорошо, сбил, вытянул во двор за бородачицу, еще дал для памяти, а там валялся дуб, водой подмытый. Он комель надколол, бороду захпал, сидит у окна, размышляет про свою королевну. «Когда я цвет твой увижу, яблонька моя?..» Приятели вернулись, смеются — «соли-то хватило на тебя?» — спрашивают. А он — «пойдем, покажу!» Смотрят — ни дед, ни дуба во дворе сбежал. А этот дед был тот дед!.. Ладно, надо выходить из положения. Четыре кило-

метра шли, следом, как дуб корнями про чертил, видят — за кустками дырка в земле, а на дверце золотая шишечка — отрывать. Заглянули — голова кругом пошла: бездонная трубища, в конце светлая пятнышко, но человек, между прочим, свободно пролазит. «А ну, рви корни, вей веревку... чего силе зря стоять! Вей, а до Берлина...» Те свили, дрожат, даже пахнуть начали, такой у них страх создался: а вдруг Пскати-Горошек лезть к туда заставит? «Ладно, сидите уж тут, он их утешает, — ждите меня месяц, а как дерну ту веревку, тяните потихонечку, чтоб не порвалась»..

— Я эту сказку слышал, — вставил Обрядин, пока Собольков закуривал пригущую папироску. — Они все змеиные сокровища да крадю его навверх подымут, а самого внизу оставят.

— Нет, браточек, с тех пор подрост, унылый стал Покати-Горошек, — непонятно поправил Дыбок. — Еще кто кого, думается мне, обманет!

Сказано было гораздо больше, чем уместилось в пересказе. Там были камни и звери, говорящие на иностранных языках, прозрачные одноглазые старцы, реки, что в бурю гуляют на своих водяных хвостах, бездонные пропасти, куда скатывался заветный перстень, и прочее, точно рассчитанное по времени Собольковым. Неторопливо подступал рассвет. В сизой мгле последовательно, как из негативе, проявлялись бессвязные пока черные и белесые пятна. Расстояния изменялись на глазах, но тьма еще надежно держалась в небе, и можно было лишь догадываться о значении смутной бахромы, протянувшейся по ровному ночному месту. И то чудилось, шевелился ближний кусток, то поигибался кто-то к земле, врасплох застигнутый обрядинским глазом. Теперь только сказка да мысль о солнышке и согрели продрогший экипаж двести третьей.

— Словом, долго он спускался, все руки ободрал. Огляделся, видит — туда-сюда шоссейная дорога, на ней след от дуба процарапался. Ладно, двинулся по тому ориентиру. Жуть его забирает, — под землю попал, а вокруг такая обыкновенность... только всё, ровно бы, плохими спичками приванивает. А сердечко-то чует, как кличет она его — «томлюсь в темнице, торопись, мой милый, пока не облетел мой пышный цвет!» Наконец, видит — город. Срежь зубцов развешены на просушку туловища, руки... разные куски человечества, которое сюда достигало. Головы отдельно кучкой сложены, печально смотрят их впаде очи. «Мы тоже жили и стремились. Остановись, поприветствуй нас, путник!» А при самых воротах и смех и грех, дед все с дубом возится: «Здорово, старик, — Покати-Горошек говорит, и дает ему разок для просветления. — Теперь и я к вам в гости соб-

рался. Сказывай, чьи хоромы и зачем геройские кости по стенкам висят?» Тот ему докладывает, что это есть дворец змея. А имеет он не семь, а все двенадцать голов, и проживает с главной женой в боковом флигере налево за углом, пока меньшенькие подрастают. Их всего здесь, змеиних невест, девяносто восемь штук. Лет ему неисчислимо, а кости для острастки висят. «Сейчас, — говорит, — улетел на тот свет купить кое-что и для моциону перед обедом.» — «Где ключи?» — «При мне.» — «Давай сюда!» Подвязал брюки, чтоб какая ядовитая мелочь не заползла, и пошел. Разомкнул все три парадных крыльца — нет никого. Змеевы холопы, как завидят его тросточку, так и прячутся... Идет, каждый уголок по имени окликает: милая, отзовись, вот он я! В одной комнате непочатые бочки стоят с продуктами, в другой — запасное хозяйское обмундирование — зубчатые хвосты, зимние крылья на черном меху, когти разного размера... В третьей — товаров целый универсам: огрузы, чулки, пишущие машинки. Разомкнул он десятую комнату — колена подломились. Сидит его краля за столом, нарядная.. как они нашему брату снятся! Только с лица малосг бледная... с зеленой... нето от душного помещения, нето притомил ее прошлой ночью змеей. И при ей девочка сидит на стульчике, худенькая, о трех головках... Змеей им чай с вафлями подают.

Враз она голову повернула — «вы чего хотели?» — интересуется. «Где, милая детка, твой муженек двенадцатиголовный?» — Покати-Горошек спрашивает: — «А вам по какому делу?» — «Хочу его убить для общей пользы.» — «Не советую, — говорит и жует вафлю при этом, — а советую, гражданин, скорее всего уходить. Он вас погубит. — «Что ж, я это теперь только приветствую...» — «Хорошо, тогда обождите, говорит, в прихожей». А сама все дочку потчует: «Ешь, маленькая, ешь, а то у тебя малокровие разовьется!» И тут приметила она свой перстенек у Покати-Горошка, да прыг к нему через стол в его объятья. Дрожит вся, ластится, без умолку говорит: «Я тебя ждала, мне с ним жить хуже смерти. Я буду тебе верной женой. Хотя и обучил он меня различной музыке, но он меня и погубил. Ты сейчас покушай, выпей пока сто пятьдесят грамм, больше не надо, и ложись под койку. А как прилетит да заснет, ты ему головы отрубывай; а я буду в большую корзину складать, чтоб не приклеивались назад. Только остерегись, из его ушей иногда выскакивает паамя... Будем с тобой жить, золото распечатаем, да я еще из одежды запаса. И не сердчай, я тебе хорошую, справную дочку рожу, а эту сырой волнией напоим... может, и помрет, бог даст. И таким манерцем мы выйдем с тобой из положения».

Она ему крабы, портвейн придвигает... он не ест, не пьет, Она его хочет целовать, он не может на нее смотреть, мой бедный Покати-Горошек.. лишь только головой качает. Сердце его в клочья летит... Да вдруг представилось ему, как входит к ней муж под вечерок во всем своем сраме, ночной халат нараспашку, а из ворота все двенадцать голов букетом торчат... и целует она их в зеленые их прыщи, по очереди все двенадцать, одна другой краше, и гладит точеной ручкой его подлое ледяное тело. И махнул он рукой на нее, но не убил, а только шатнул от себя тварюку. «Нет, дорогая, я не такой. Посмотри, какой я из-за тебя ошарашка стал, ведь ты меня не узнала. Неделями не ел, месяцами не спал из-за тебя. Но зачем ты надругалась над героем?» И залакал на женскую любовь, а потом вышел, опустя голову, из змеиною дворца, видит — дед. Освободил ему бороду, посидели они тут, свернули по одной, покурили. «Так-то, дед, зря я тебя обидел. Лучше бы мне не приходиться.» А тот смеется — «ласки в тебе мало, молодой человек, — отвечает, — небось, все в делах. А ведь женщина, что чурка, лизнуло огоньком — и горит. И это дело по свзей старухе на практике изучил... Ты знаешь, отчего я седой? Так я скажу тебе, отчего я седой... И только начал он про себя рассказывать, прошумело над ними небо. Глядь — летит с зеленым выхлопом большая лысая птица, целая гроздь виноградная заместо головы...

Больше он не сказал ни слова. Обрядин тронул его колено.

— Идут, — шепнул он, и все поняли, что ночь кончилась, и наступил день; он также спросил взглядом, нужно ли закрыть люки, но лейтенант отрицательно качнула головой.

Вахромка в поле оказалась густой кустарниковой порослью, за которой виднелись деревца и повзрослей. Полею деловито шли немцы, шестеро, но может быть, их было восемь; они шагали, видимо, не по целине, потому что шли быстро и не проваливались в снег. Патруль увидел двести третью и свернул к ней с дороги. Произошло маленькое сзвещанье, они залегли, и Собольков пожалел, что заблаговременно не положил дымовую пашку на плиту моторного отделения. Но лежать так — было глупо, кроме того танк мог оказаться и своим, немецким, подбитым во вчерашнем сраженьи. Двести третья молчала, — стали расползаться цепью. Отделяясь от потемок, двое в рост двинулись вперед по связкам круглых и на длинных ручках банок, похожих на большие детские погремушки. Ноги едва волоклись, им не хотелось; сзади подтакивали криком и, донеслось, прыгнули чем-то вроде Гитлера. Само-

убийцы приближались с частыми остановками и в смертной тоске сияясь рассмотреть на танке его грозную рану. Наблюдать из-за броневой стены их цегушное недоумение было смешно и весело. Один пошел в обход. «Без команды не стрелять», — почти вслух приказал Соболев. Расстояние сокращалось, но он знал, что не бывает таких силачей, чтобы связку гранат швырнули за тридцать метров. Так чего еще жаждал он испытать в жизни, куда заглянуть стремился этот не раз простреленный человек? Ждал, когда подымутся остальные, или просто смеялся над собой за вчерашнее?... Извернувшись, Обрядин тискал ему коленку здоровой рукой: такая игра происходила не по уставу. Но теперь все происходило не по уставу. Не разрешалось отрываться от штурмующей бригады или сидеть ночь в противотанковом рву; кроме того двадцать третье число также не было обозначено красным праздничным цветом в уставе... Те опять залегли, и стало слышно, как левый, передний, судорожно плачет и корчится, уткнувшись лицом в снег. Видимо, он был не из гевров.

— Испугался, дерьмо... — каким-то тягучим голосом сказал Дыбок, заражаясь волнением Соболева. — Цып-цып-цып, — позвал он еле слышно, но те лежали; он еще позвал, слышней, и, тогда, повинувшись, те поднялись в окончателную перебежку.

— Заводи! — в голос крикнул Соболев. Так началась война и в этом рассветном затишьи. Гул мотора слился с беспорядочным треском стрельбы. Кому было положено, те сразу свалились навзничь, но другим дано было видеть еще полминуты, как, вслугнутая, вилась и галдела над лесом галочья разведка. Двести третья намеревалась прорваться по прямой, как ей было короче, но сбоку застучал по броне станковый пулемет, и она сделала небольшой крюк, чтобы наказать дурака за бесцельную трату патронов. В зимнем эхо лесов, как в зеркалах, отразилось множество багарей. Артиллерия проснулась, лишь когда двести третья, отвернув пушку назад, чтобы не повредить при таране, уже углубилась в перелесок... Подобие лесной сторожки попало ей на пути; Литовченке на мгновение показало, что видит в упор, в триплексах перед собою, стол с самоваришком и немецких командиров, мирно сидящих вокруг: они так и не успели сообразить, что помещало им попить чайку во благовременьи... И еще километра три мчалась она по опушке, выбирая полянки и стараясь не выдать своего направления падением сбитых деревьев. Им попалося прогалинка в мелком ельнике, там сделали они остановку — осмотреться, оправиться, при-

нять решение. Соболев отбежал с компасом метров на десять от машины, но стрелка объяснила ему не больше, чем подсказывали чутье и опыт: вдобавок события ночи неминуемо должны были сместить диспозицию вчерашнего дня. И тут Соболев произнес самую крающую свою речь; ему хотелось, чтобы каждый в отдельности и вслух подтвердил свою решимость на то грозное и последнее, что не умещается в обычном приказании.

— Вот, товарищи... — и засмеялся радуясь чему-то, как мальчик. — Неизвестность окружает нас. Мы нынче как заноза в немецком теле... и выручки нам ждаться не приходится. Но мы, танкисты, особый народ... они не жалуются на долю. Игнорное сердце и в огне смеется над судьбою!.. Мое решение вперед и напролом итти. Чтоб ветер не догнал, так лететь. Так биться, чтоб навек у них застряло в памяти двадцать третье декабря. Ну... может, неправильно я болтаю, Андрей? Ты ведь холостой, детишек нет у тебя... тебе драться не за кого, а? Ты, Вася, одного себе искал, а я их тебе сотню враз подарю. Бери жадней, сколько в горстку влезет. А ты, повар, чего потускнел? Ой, не любишь ты беспокойства в жизни. Твою силу три раза вокруг земного шара обмотать... да еще чорту шею сломать останется! Прав Андрюшка, не обожают беспокойства русский человек. Сам того ж племени, знаю. А скажи, можно им за дарм! экое серебро отдавать?

Он окинул глазами зимнее убранство леса, строгие елочки в снежных коронках и с царственным горностаем на детских плечиках, небо громаднейшее, как родина, самый этот снег, легкий и лапчатый, еще на синей ночной подложке, не уже волшебной и ало подкрашенной сверху. Его сердце зашло, его голос срывался. Никогда в такой вещественной прелести не воспринимал он родной природы, ее вкрадчивых шорохов и запахов, — все ему было дорого в ней, даже эта знобящая шероховатая тишина. Обрядин глядел себе в ноги; вдруг его лицо потемнело, точно Соболев, тряхнувший седым хохолком, кнутиком хлестнул по салому большому месту.

— Решай, Сергей Тимофеевич. А и убью друга твоего, товарища Семенова Н. П., — другие хозяева найдутся. Ведь тебе главное — было бы кому жареного медведя в томатах подавать... Ну, вали, потрепись, коли охота... пока земляки кровь льют!

— Чего меня терзаешь! Али я слабее тебя, лейтенант? — поднял голову Обрядин, и что-то пугачевское, черное, атаманское слепительно блеснуло в его взоре, — блеснуло и, не ударив, погасло. — Я тебя постарше буду, во мне твоей прыти нет. Куда собрался? Что в уставе сказано? Глава восьмая, двести совок четвертый номер... действовать в составе тан-

кового взвода, в боевом порядке место сохранять, поступать по заданиям командира. Где это все у тебя? А обождать бы — глядишь, наши и придвинутся. Ишь, воздух-то гудит! — А то не воздух, то сердце шумно билось в нем самом. — Ты прикажи, я выполняю.

И тогда, злой, мащистый и веселый, ударил его по плечу Дыбок.

— Везет тебе, законник... везет тебе, Сергей Тимофеич, — с двух приемов выговорил, наконец, он. — Везет тебе, друг милый, что есть при тебе советская власть. Без нее, точно тебе говорю, так и слонялся бы ты по земле, на манер Вырви-Дуба... вконец извелся бы, что силушку некуда приложить. Ну, хватит; поговорили, лейтенант Пора, а то вон пташка смеется... — И верно, какая-то одинокая синичка резво порхнула с ветки, осыпая снег. — Садись, поехали!

Обрядин переключил горячее на левый бак, Собольков приказал закрыть жалюзи мотора на случай, если кинут бутылку с бензином, Литовченко надел рукавички, чтобы так и не вспомнить о них до самого конца... С опущи они огляделись в последний раз, стараясь угадать место и высмотреть добычу. Ничего там не было впереди, кроме неба с голубыми морозными промоинками да сожженного села под ним. Да еще дикая простоволосая женщина, без возраста и худая до сходства с дымом, встала им на дороге. Все в ее жизни покончилось, она тащилась до первого германского патруля... Высунувшись из люка, Собольков посоветовал, было, ей сидеть дома и спросил кстати, как называлось когда-то село, лежащее ныне в безжизненных головешках.

— Война, где мои дети... где мои дети, война?! — плаксиво и безнадежно проплакала та, цепляясь за надкрылок; ничего там не было, в ее красных обветренных веках, ни разума, ни страдания, ни самых зрачков: все съело горе и не подавилось.

Понадобилась третья скорость, чтобы оторвать машину от ее рук... Встреча подстегнула ожесточенную удаля экипажа. — Отсюда начинается тот баснословный кинжальный рейд, о котором лишь потому своевременно не узнала страна, что он затерялся в десятке ему подобных. Поколениям танкистов он мог бы служить примером того, что может сделать одна исправная, хотя бы и глухонемая тридцать-четверка, когда ее люди не размышляют о цене победы!... Впоследствии даже участники не могли установить истинную последовательность событий; действительно ли автомобильный парк немецкого мотополка стал первой жертвой Соболькова или тот щелоч с боеприпасами, что рвался вплоть до прихода нашей основной бронетанковой лавы. Все спуталось в их памяти, утро и вечер,

лето и зима, явь и бред, — самый пейзаж, наконец, так прыгавший в смотровых щелях, словно разрезали пополам и сложили обратными концами... Блаженная теплота, исходившая от перегретых механизмов, превращалась в зной; к исходу боя все в танке сравнялось веществом и температурой. Показания уцелевших как-раз и сходятся лишь на том, что отменно жарко стало в машине.

Зарывшись в тело германской дивизии, двести третья низала его во всех направлениях: так ходит снаряд по танку, пока не погасится его живая сила. И как снаряд не жалеет себя, вламываясь во вражескую броню, так и люди забыли об опасностях своего стремительного бега. Здесь следует искать причину, почему до самого конца ни одно попадание из всех, какие двести третья во множестве приняла на себя, не оказалось для нее смертельным, — но уже не удивляла и не пугала командира чудесная неуязвимость его машины!.. Одна могучая бронированная тварь с белым фашистским крестом вырвалась из сараю наперерез двести третьей: целый стальной тоннель уперся круглым мраком в сердце Соболькова, — ветер громового промаха на мгновенье оледенил его, и все болты и клетки напряглись в своем технологическом пределе... Потом гадина горела, но не оттого, что так хочется глазу наблюдателя и патриота, а потому, что солнце поднималось за танком Соболькова, и всё, даже это холодное медное солнце, работало теперь на гибель фашистской Германии.

— Нет, сперва ты, а потом уж я... — сорванным голосом, торжествуя, закричал Собольков.

Гром и треск огневой погони остались позади. Пока преследовать двести третья было некому. И тогда, круто вывернувшись из-за бугра, они увидели высскую гряду насыпи. Она была полна немецкими солдатами, повозками, машинами и лошадьми. Все это двигалось в сторону, обратную той, откуда пришла двести третья. Не обмануло Соболькова солдатское чутье. Это было шоссе.

Тяжело дыша, приоткрыв грузные веки, двести третья не мигая смотрела из-за кустов, смотрела туда долго и страстно, точно хотела, чтобы досыта насладились око, прежде чем доверить железу самую работу мшенья. Тихо, на малых оборотах, рокотало ее сердце, и что-то бесповоротно надорвалось в нем за два часа исполнской расправы. Слабый звенящий вой слышался в его неровном гуле, но такой же тонкий и пьяный звон, как от вина, стоял и в ушах экипажа. Как в котелке плохого парохода, машинный чад выбивался изовсюду; масло достигало почти аварийной температуры — 120. Собольков глянул под ноги себе: снаряды

были на исходе, дисков нехватало бы даже пунтиром пройти по всему горизонту. Он также увидел живое белое пятно на полу, блестящем от масляного пятна. Это был Кисо, которому, видно, разонравился жаркий климат итальянской шубы и начинало пугать такое затянущееся землетрясение. Озабоченным вопросительным взором он скользнул по своему беспокойному командиру.

— Терпи, Кисо... недолго осталась, — мигнул ему Соболюков. — Скоро приедем домой, а там и Алтай близко, будут тебе щи со свининой... слышишь, варятся? — И правда, издалека, из снежной сини, внятно слышалось как бы глухое бульканье варева.

Возможно, что и это он сказал лишь мысленно: его все равно заглушил бы другой, неслышный и нечеловеческий крик, от которого давно оглохла душа: — вот они, вот... убийцы, завоеватели, изверги!

Шоссе в этом месте поднималось над мост, который легкой журавлиной ступью перешагивал реку. Плоское, сплющенное и цвета отпущенной меди, восходило солнце. Мороз нарядно приотдел деревья, и праздничное затишье этого перевозимого дня оглашали лишь истонный немецкий окрик да еще однообразный шелест движенья, ставший над крупнейшей артерией фронта. Плотная черная кровь текла по ней в сражающуюся руку, которую на протяжении часа должны были отсечь от тела. Основной инвентарь убийства уже работал на передовой, и теперь попеременно с подходящими резервами туда подтягивались подсобные товары германской стратегии. С расстояния полувыстрела это казалось безличной пестрой лентой, но и в полном мраке видят глаз ненависти!

Сама смерть двигалась по шоссе, всякая — в бидонах, ящиках, тубиках и цистернах, добротная немецкая смерть, проверенная в государственных лабораториях, смерть жидкая, твердая и газообразная смерть, что коцует по нашим землям в душегубках. Загримированные под штабные автобусы, они шли здесь в ряду бронетранспортеров и грузовиков, крупнов, опелей и мерседесов, как бы возглавляя их шествие, а за ними, мелким дьяволом и на бесшумной резине, несло все, что века таилось в подпольях германских университетов — скотские бичи на наших мужиков, гвозди — прибивать младенцев под мишени, негашеная известь и сквозные металлические перчатки для пытки пленных, черная паста, что вводится в ноздри грудных для умерщвления, пустые и жадные чемоданы под трофейное барахло и мины, пока еще безвредные, бесконечно замедленного действия, неуловимые приборами мины на святых и элеваторы, обсерватории и

школы наши, когда они наполнятся детворой. Горемычные лошадки тянули это материальное страдание, выбываясь из сил, и даже пешие маршевые батальоны опережали их. Эти шагали уже без песен, скучные и томные, но еще прочные — железная связка отмычек к сокровищницам мира, отребье, стремившееся поселиться во внутренностях человека; трехтонки с фабричными деревянными крестами сопровождали их, смертельно раненых, мечтой о надмирном могуществе... Все это двигалось в самом пекле великошумской битвы, чтобы распыляясь в ничто, обратиться в поражение, они еще не знали, что творится у них на левом фланге. Было шумно, но не очень весело в этом потоке: двести третьей нехватало им для оживленья!

Так крадется охотник, чтобы не спугнуть трепетную дичь, — двести третья медленно набирала скорость. Удобный отлогий подъем выводил дорогу на шоссе; став в сторонку, германский штабной связист копался здесь в своем мотоцикле, пока другой материл его по-немецки из прицепной коляски. Оба они увидели над собою танк, когда он стал величиной с полнеба... Задние шаракнулись, передние не успели понять, что случилось за спиной. Норовя уйти от гибели, трехтонный, специального назначения, бюсинг зарылся было в свои же повозки, но Соболюков подумал только — «куда, сатана!», и тот через мотор, наперегонку со своими ящиками, закувыркался под насыпь. Этим ударом открывается победоносный бег двести третьей к ее немеркнувшей военной славе.

— Твои!.. — крикнул Соболюков, даря водителю весь этот черный, многогрешный сброд, застылый вокруг его гусениц.

В каждом мгновенье есть своя неповторимая подробность, которой не превзойти последующим столетьям. Защищая своих малюток от дикарей, мой народ создаст машины утроенной убойной мощности, но страшней и прекрасней двести третьей у него не будет никогда. Стоило бы песню сложить про это крылатое железо, которого хватало бы на тысячу ангелов мщенья, и чтобы пела ее — пусть неумело! — не так же страстно и душевно, как умел Обрядин.. Двести третья недолго пробыла в схватке, но ради этих считанных минут не спят конструктора, мучатся сталевары и милые женщины наши стареют у станков! Но, значит, не зря мучились они, не спали и старели.. Танк швыряло и раскачивало, как на волне; движение почти поднимало его над гудроном, и тогда верилось — на первом препятствии вылетят пружины подвесок или лопнет стальная мышца вала... но вот он становился на дыбы и опрокидывался на все, дерзавшее сопротивляться; он крушил боками, исчезал в гудах

утиля и вылезал из-под обломков неожиданной, ревуший, гневный, переваливаясь и скользя в месиве, которое шепталось, горело, кричало, вздувалось пеной и пузырями. Все в нем убивало наповал; картечный, с нахлестом, и иной огонь, что лился из всех его щелей, подавлял волю врага не больше, чем самый вид его и то красное, шерстистое, неправдоподобное, что прилипло к броне или металось кругом, застряв в крепленых траках. Никто не плакал, не поднимал рук, не молил о пощаде. — у них не оставалось времени на это. Простреленные насквозь, они еще стояли, когда набегал на них танк.

Главное началось потом, как только двести третья вступила на высокое и узкое пологое моста. Любо было видеть, как горохом рассыпалось смертоносное немецкое добро, падая в алую зимнюю бездну, а лошади сгибались точно повешенные под брюхо на лебедке, а солдаты, которые и шли сюда за этим, цеплялись за колеса машин, подвернувшиеся им в полете. Уже не было перил, и ничего кругом не было, кроме вместилища, насыщенного голубой снежной пылью простора. — довериться ему, опереться о него раскинутыми руками было умнее, чем остаться на узкой ленте шоссе. И он принимал их всех, громадный розовощекий воздух, и, поиграв, швырял смаху о бетонные откосы, а река распахнула лиловый, непрочный асфальт, размещая без задержек грузы, войска, и технику, прибывшие, наконец, к месту назначения. И каждый раз горячий пар облачком вырывался из воды, а отраженное солнце разбегалось на куски, чтобы, порезвясь, снова сомкнуться в круглое, медное целое... Находились и смельчаки; в иступленьи отчаянья они вскакивали на танк, били железом по командирскому перископу или пытались просунуть куда-нибудь гранату, а потом неслись вместе, начиненные ее осколками, свисая и судорожно держа за поручни, пока там, внизу, гусеницы рвали и грызли их тело...

Там же, затаясь в угрюмых впадинах глаз, в извилинах мозга в походных сумках, где лежали письма о разрушении фатерланда, тяжелое немецкое сомнение контрабандой пробиралось к Великошумску. Сейчас оно пресобрзилось в ужас, и он умножал число советских танков, оседавших шоссе. Он взрывался сам, с силой толка разнося поток по обе стороны магистрали. Его взрывная волна давно опередила двести третью, почти расчистив ей дорогу: все валилось само, чтобы не быть поваленным... Мост, пламя, хруст, трескотня бесполезной стрельбы — все осталось позади. Впереди становилось пусто, и Литовченко перешел на третью скорость, разгоняя танк, как торпеду, единственное назначение которой — взорваться в гуще врага... Лишь одна от-

крытая штабная машина суматошливо виляла на шоссе, выбирая место для безопасного спуска с крутизны. За рулем сидел майор; видимо, то были важные армейские инспектора или знаменитые хирурги — из тех, что крали кровь наших детей для иссякших воровских артерий; им повезло, машина сошла без повреждений. Патронов больше не было на двести третью, вес и скорость стали ее оружием... Впоследствии улыбались на рассказ Литовченко, будто машина с разгону прыгнула сама, а снежный сугроб и немецкое мясо спружили ее паденье, но таково же было впечатление всех, еще имевших признак жизни, очевидцев... На пути двести третья срезала телеграфный столб, дополнительно ужесточая ужас удара, и только один успел выпрыгнуть, пока двести третья висела в полете, — майор.

Его колени усердно билась в полы длинной шинели, всякие походные футляры скакали по бокам, фуражка скатилась с него, и слетели очки. Он бежал вслепую и не оглядываясь, к ближним кустам, где можно было притвориться падающей, — проваливаясь в снег и опять бежал: он любил жить! Ему удалось выиграть время, — двести третья не сразу выбралась из ямы, словно мертвые генералы дружно ухватились за ее скользкие катки. Видно было по всему, что надолго майора не хватит. То была уже пожилая, средней упитанности, фашистский хлюст, с отличительными зигзагами на рукаве и, наверно, в хороших заграничных сапогах со шпорами для совращения девок... Но Литовченко не видел ничего, кроме круглой, как бельмо, лысинки на его затылке... и уже никто не посмел бы отнять этого майора у Литовченко. Изогнувшись, Дыбок поднял передний люк, чтобы догнать его хоть из автомата, потому что не тратить же было на удовлетворение частной потребности последних их, последний в жизни сряд. Расстояние сокращалось... и в этот момент сокрушительный удар где-то близ кормы слегка подкинул двести третью.

Левая гусеница была цела и мертва, сряд ворвался в ведущее колесо танка. Он тяжело и медленно закрутился на месте, как бы стремясь ввинтиться в мерзлую землю. Соболюков решил сгоряча, что немецкий танк подобрался сбоку. «Вот я тебе, вот я тебе всыплю в посадочную площадку... сейчас, погоди, сейчас!» — бормотал Соболюков, пытаясь обречь орудие к врагу, которого еще не видел — сколько его и каков; второй удар пришелся по венцу башни, и все оборотные механизмы отказали разом. Это был полный паралич, но еще бешено и грозно ревел мотор; в его раздражающий уши звон впаделись неясные смертные стуки... и все же он тянул куда-то, уставший жить, но не сражаться.

— Уходи... все! — успел крикнуть лей-

тенант, тяжестью тела налегая на штурвал пушки, и он никогда не думал, что она будет такой мучительной, тишина последней остановки, когда Литовченко снял ногу с педали. — Лес... бежать... всем... — повторил он криком, которому нельзя было не повиноваться.

Короткий белый полдень вспыхнул в башне. На этот раз попадание было точнее. — Обрядина предохранили казенник и балансиры орудия. Оглохший, полуслепой, точно взглянул на солнце, слизывая соленую горячую росу с обожженных губ, он обернулся к командиру. Тот еще сидел, привалившись к задней стенке, прямой и очень строгий, только непонятная дыра, которой не было раньше, образовалась в нижней половине его лица. Его ударило осколком в рот, в самую сказку, незаконченную сказку всей его жизни. Убитый, командир еще глядел и, кажется, приказывал Обрядину покинуть танк, и опять, уже в последний раз, послушался его башнер, как изредка по мелочам делал это и при жизни.

Он привстал, упираясь головой в круглое стальное небо; ему удалось поднять крышку люка и поставить на стопор. Он не замечал, как внизу, сквозь каток, в одну дыру, туда, где тревожно мяукал Кисо, вошли четвертый и пятый, и дрогнули по-обратки все семьдесят два трака, и почему-то ноги заломило у Обрядина.

— Погоди, не валяйся... давай вылезать отсюда, — осипло и почти спокойно шептал Обрядин, вертясь в своей тесной рубке. — Вылезай, Соболек... милый, вылезай Хватяйся за меня, я помогу. Врешь, танкисты особый народ... мы еще, о! Давай, упрись сюда ножкой, Соболек мой...

Обхватив лейтенанта, он поднял его на весу, на выпрямленных руках, и если бы даже остался жив теперь вылежал бы месяц за одно это нечеловеческое усилие. Его зеленые глаза почернели, едрт понял, что и у десятка Обрядиных нехватит смелы вытолкнуть командира наружу. «Одолели, одолели...» — прохрипел он, усмехаясь на подлую радость того, кто бил его сзади. Тогда-то, без боли и шума, в башню и в спину ему вошел шестой.

Чуть впереди, на шоссе, стояла одна немецкая противотанковая пушечка. Чорт поставил ее там на страже своего воинства. Она расстреливала двести третью в упор, не целясь, со стометрового расстояния, с какого не ошибаются и новички. Уже были искорканы и сбиты все левые катки, ленивый дым валял из трансмиссии и командирского люка, — уже вся она просвечивала насквозь, уже чинить в ней было нечего, а те все стреляли, дырявя кормовые баки, откуда хлестала огненная кровь, голили ее, сшибали все крышечки и, как жель, разгибали броню; только животный страх что она еще живет — без гусениц, без башни — мог быть при-

чиной такого шквального и уже недостойного огня. Все, что теперь успело снова подняться на шоссе, мрачно и без ликования наблюдало эту солдатскую истерику... Напрасно Дыбок с Литовченкой, прячась за танком, пытались автоматными очередями унять неистовство артиллерийского микроба; он добивал их милый тесный дом, где родилась их дружба, до той поры, пока десятиметровое милосердное пламя не одело его весь, и выстрел из накаленной пушки потряс окрестность, как прощальный салют живым. И так продолжалось все это, пока другие зрители не пришли на место расправы.

...Герой, выполняющий долг, не боится ничего на свете, кроме забвения. Но ему не страшно и оно, когда свершение его перестраивает размеры долга. Тогда он сам вступает в сердце и разум народа, родит подражанье тысяч, и вместе с ними, как скала, меняет русло исторической реки, становится частицей национального характера. Таков был подвиг двести третьей... По живому проводу шоссе волна смятения покагилась на передовую, и тот момент, когда в армейском немецком штабе была произнесена фраза «на коммуникациях русские танки», надо считать решающим в исходе великошумской операции. Одновременно с этим корпус Литовченки с трех направлений охлестнул поле сражения, и третья танковая группа двигалась как раз той трассой, какую за сутки перед тем проложил Соболек... Одинокая размашистая колея, изредка прерываемая очагами разгрома и опустошения, вела их теперь к победе. Похоже было — не один, а целая ватага сказочных великанов крушила германские тыловые становича, и шла дальше, влоча по земле свои беспощадные палыцы.

Штурмовая лава Литовченки размела и свалила под откос остатки вражеской колонны, пропуская в прорыв конницу и мотопехоту. На больших скоростях, как бы церемониальным маршем военного времени, они проходили мимо догорающего товарища. И кажлый, кто глядел из люка, или с седла, или с сиденья транспортера, поворачивал голову по мере бега, не в силах оторваться от печального и благородного зрелища. Клочок тепла от этого уже маленького, как представлялось сверху, костерка, они на своих лицах уносили в бой... Время перевалило за полдень, двести третья еще пылала, но черные прожиги усталости все гуще струились в мышцах огня. Ветерку не составило бы труда вовсе погасить ленистое, остывающее пламя, сквозь которое стал проступать остов преображенного танка... Дело шло к вечеру, и примораживало. Нестерпимая красота наступала в природе...

Большое солнце опускалось за низкие облачные горы. Глаз легко различал по-

каты хребты и малиновые склоны, пересеченные глубокими лиловыми распадами; розовые реки и спокойные озера светились там, недвижные, как в карауле. Возможно, сам Алтай в праздничной своей одежде припожаловал через всю страну проводить земляка в вечный путь танкистской славы. А тот, в ком есть отцовское сердце, отыскал бы там и каменный стол год моховой скатерткой, за которым отдыхал не однажды со своею дочкой Соболюков... Чуть вправо от этой родины героев сказочно и совсем близко рисовался синий профиль Великошумска, потому что пригороды его начинались тут же рядом, за тонким полупрозрачным перелеском. Мускулистые стальные дымы поднимались над ним; казалось, само горе народное встало на часах возле двести третьей... Тем отрадней блистал сквозь них крохотный клочок золотца на высокой, узорчатой, может быть — лишь для этого уцелевшей колокольне. Город горел; догорало не испеленное накануне. Видны были изгрызанные взрывом стены собора, у которого не раз Украина бралась с Русью, и тесные вишневые сады, разгороженные плетнями и спускавшиеся к реке, безлюдные улочки, где неторопливо проходила дымная мгла, все — кроме пламени; оно никогда не бывает видно в закате.

Двое сидели на поваленном телеграфном столбе, лицом к солнцу и танку. Как у всех, перешагнувших пропасть, не было у них пока ни раздумья, ни ощущения времени или голода, ни понимания всей новизны обстановки, — ничего, кроме чувства безвозвратной потери. Душою они находились еще там, внутри; крошилась броня над ними, и звучал голос Соболюкова. Снежинка, спорхнув с порванного провода, опустилась на руку Дыбка, на запястье. Она была маленькая и нежная; даже удивляло, что целую ночь, пока дрались и падали люди, трудился над нею мороз, чтоб выковать такую пустяжную и хрупкую бесценность. И сам собою возникал вопрос — повторится ли она когда-нибудь за миллионлетье — в точном ее весе, рисунке, в ее живой и недолговечной прелести? Она растаяла прежде, чем родился ответ.

Вдруг Дыбок вспомнил про Капо, его лицо искажилось, виноватая тоска сжала душу. Он побежал к танку и заглянул через передний люк, как будто еще не поздно было исполнить ночную просьбу Соболюкова. Чадный жар пахнул ему в глаза. Ничего там не было, на дне танка, в копотной мохнатой тьме, кроме горки застылой коричневатой пены да желтого пятнышка заката, проникшего сквозь пробину. Нельзя было долго глядеть сюда: жгло.

— Поезжайте медленно... мне нужно посмотреть все, — сказал Литовченко свое-

му шоферу: оба Литовченки смотрели сейчас на одно и то же, только один издали, а другой совсем вблизи.

Старинное желание сбывалось, генерал Литовченко навестил, наконец, родные места. Три виллиса и один броневичок проехали по пустынной набережной, поднялись в горку, потом спустились на круглую базарную площадь, где бывало, гадали бабы, странники и кобзари, и где он на паях с Дениской покупал копеечные лакомства ребячьего рая.. Немецкое самоходное орудие с развороченной кормой чернею пугалом посреди. Ветерок гудел в зеве поникшего ствола. Вокруг лежали немцы, как застигнутые глубоким сном.

Никто не встречал победителя, точно спали все за поздним часом; ничто не двигалось кроме огня. Тушить было некому: жителей угнали раньше, а войска ушли в прорыв. Вот нахохлилась в стороне вчерашняя, деревянная развалюха его приятеля Дениски, но ничто не катилось навстречу обляять чужое колесо. Значит, спят денискины собаки, как и тот, неугомный, вроде чернильной кляксы, спит сейчас под откосом шоссе. А вот и три дружных пенька от срезанных тополей при дворике учителя Кулькова... Никто не опросил генерала, кого ищет здесь, ни сосед, ни хозяин, ушедший в дальнюю отлучку. Сквозь едучий дым в окнах видна была ободранная железная коечка и этажерка над нею уже без книг, раскиданных по полу; огонь неспешно листал их странички, с несложной, в глазах переросшего ученика, мудростью учителя Кулькова.

«Что же не ведешь меня в дом, не угощаешь знаменитыми кавунами, не хвастаешься, как вкушал их заморский профессор и все просил семечек на развод, как благоденствия американскому человечеству?»

«Да видишь сам, какие дела творятся, дорогое ты мое превосходительство...» — так же полуслышно отвечал Митрофан Платонович голосом летящих искр и пустых зимних ветвей, скрипом снега под ногами; да еще доносилось порой, как кричал радист в машине рядом, вызывая Льва Толстого с левого фланга и требуя обстановку на 16 00.

— Да, непохоже.. изменилось, — вслух подумал Литовченко и жестко, до боли, пригладил усы. — Раньше тут по-другому было. И сарайчик не там стоял...

— Верно, любовь как-нибудь.. на заре туманной юности? — пошутил помпех, ехавший с ним вместе.

То был румяный весельчак, не терявший духа бодрости даже тогда, когда следовало побавить и бодрости; они давне воевали вместе.

— Ты у меня просто сердцевед, — кашая от дыма, а также потому, что

еще не прошла его простуда, сказал Литовченко.— Не зря ты у меня железо лежишь.

Осталось посетить лишь школу. Обветшалое двухэтажное зданье, плод кульковских усилий еще в царское время, стояло там же, близ почты, недалеко: больших расстояний в Великошумске не было. Переднюю стену сорвало взрывом, как занавеску; внутренность школы представлялась в разрезе, как большое наглядное пособие. Литовченко узнал изразцовую, украинской керамики, печку, а также лестницу, по перилам которой они всем классом в переменки съезжали вниз. И хотя ступеньки достаточно приметно колебались под ним, он поднялся и благоговейно обошел темные загаженные комнаты с немецкими кроватями и окровавленной марлей на полу, каждому уголку отдавая дань внимания и благодарности. В дальнем крыле находились чуланчик, куда и раньше складывали отслуживший учебный хлам. Дверь пошла на топку, и на полке, засыпанной известью, Литовченко еще издали увидел глобус, сохраненный, видно, ради этой встречи хозяйским усердием учителя Кулькова.

— А...—протянул генерал, точно увидев приятеля давних лет.

Страхнул белую пыль, он внимательно глядел в глянецвитую поверхность, расписанную линиями материками и освещенную закатцем. Вмятина приходилась чуть севернее того места, куда теперь устремлялись его танки; вмятина еще оставалась, так как для исправления глобуса, как и земного шара, потребовалось бы безжалостно распороть его и соединить половинки заново.

Он поставил его на место и огляделся, прощаясь с тем, что изменялось теперь каждое мгновение. В пролом стены вилла была река, движение на переправе и, среди прочих, один очень знакомый домик на том берегу. Окна ярко светились, точно старуха Литовченко затопила печь к приезду внука, только дым валил не из трубы, а из-под самой кровли. Генерал посмотрел на часы и удивился: на все вместе ушло одиннадцать минут — посетить родные места, выслушать стариковское молчанье, подвести тридцатилетние итоги.

— Ишь, как быстро управились, а я думал, неделей не обойдусь. Новое, во всем новое надо строить! Вот, помпотех, где закончился старый, смешной век девятнадцатый и начался другой... совсем другой век! Ну, что там у Льва Толстого? — Он выслушал сводку до конца, не перебивая. — Ладно, поехали.

Городок отодвинулся назад во вчерашний день. Сразу за окраиной начинались уже привычные картинки немецкого разгрома. Там, как в музее, были представ-

лены для обозрения образцы вражеской техники и вооружения, взрывос и навалом, и зачастую в нетронутом виде. Еще не оплаканные магерями и вдовами, юнцы и тотальные солдаты того года валялись всюду, принякнув к чужой земле и вслушиваясь в гул своих отступающих армий. Одни из них пребывали уже в плохой сохранности, другие вовсе не имели внешних повреждений; может быть, их убил страх. Виллисы ловко скользили между ними, стараясь не замарать своих чистеньких, после великошумского снега, колес. Вихрь машинного боя разметал мертвых по всей окрестной пойме, шеренгами наложил у переправы или воткнул, как попоало, в сугроб, где им предстояло ждать весны, пока не выйдет украинский пахарь на поля освобожденные от зимы и нашествия. Ее было здесь много, мертвечины: казалось, вся она лежала тут, Германия, вымолоченная как сноп. Так выглядела дикарская мечта, по которой прошли история и танки.

Все это несло мимо, не оставляя следа в привычном к таким зрелищам сознании Литовченко. Но, вот, воспоминания отступили перед большим черным пятном в обтаявшем снегу. Генерал тронул пофера за рукав.

— Стой!.. это, кажется, мои.

По колено проваливаясь в снег, он спустился вниз. Остальные последовали без приглашенья. Два человека в матерчатых плащах, понуро сидевшие на брезенте, вскинулись и молчали, пока адъютант не намекнул глазами левому из них. Держа руку у виска, тот принял за доказательство происшедшем, но губы его тряслись и судорожно вздрагивали плечи: еще не доводилось Дыбку в присутствии Соболякова рапортовать за командира.

— Ладно, не надо. — сказал Литовченко, касаясь его влажного плеча; всё вокруг — раздавленная на шоссе пушчонка, непросохшая одежда, обломки штабной машины — рассказывало опытному газзу обстоятельнее чем этот пошатнувшийся танкист. — Ну ну, пройдет, — прибавил он, переглянувшись со своим. — Озябли ребята. Кто командир... ты?

Дыбок отрицательно качнул головой, и, что-то поняв, генерал сам двинулся к танку. Длинная лиловая тень от двести третьей была дорожкой, по которой он шел. Она растягала, когда он добрался до цели; солнце зашло, сказка кончилась, вступали в свои права ночь и военная действительность. Как бы считая дыры, генерал обошел танк по жесткой, как войлок, обугленной трапе. Он припомнил эту машину; сквозь копыт был достаточно различим ее номер, только теперь рваное отверстие зияло вместо нуля. Привстав на отогнутый клок брони, генерал заглянул в башню и снял папаху.

— Дайте-ка мне сюда вашу науку и технику, — приказал он адъютанту, потому что в однообразной черноте танка сумерки настали скорее, чем в остальном мире. — Ишь, как они обнялись, — заметил он дрогнувшим голосом, как-то слишком спокойным для того, что он увидел. — Вот они, советские танкисты. Вот они, мы!..

За двое суток капитан удосужился, наконец, сменить батарею, и командир корпуса сумел прочесть в танке все, что требуется для определения подвига. Надев шапку, Литовченко уступил место помпотеху. Пока остальные, в очередь и подожду, глядели внутрь этого потухшего вулкана, генерал вернулся к экипажу. Теперь он признал и тезку, но этот был много старше того мальчика на железнодорожной станции.

— Узнаю... Значит, отца все-таки Екимом звали? Так... Кажется, брат у тебя в немечтине имеется?

— Точно... товарищ гвардии генерал-лейтенант, — ответил Литовченко с суровостью, какой не было раньше. — Трое нас было... младшенький, Остапом по деду звать.

Генерал вопросительно взглянул на адъютанта, но тот, запутавшись в однообразии имен и горя, уже не помнил, как им называли угнанного паренька из Белых Коровичей.

— Помню командира вашего, кажется, Соболюков?.. Такой, с седым вихорком был? Как же, помню Соболюкова. Что ж, сгорела знаменитая ваша хата. Ничего, новую дам. Сам не ранен?

— Организм у меня целый... товарищ гвардии генерал-лейтенант.

— Это главное.. Так вот: там, метров триста отсюда, танк без водителя стоит, — он кивнул в меркнувшую глубину шоссе. — Новичок.. с открытым люком воевать хотел. Скажешь — я послал. Хозяин там тоже хороший, я его знаю. Он тебя посушит, покормит.. и воюй. Будет что рассказать внучатам. — Затем он обернулся и к Дыбку, потому что обоим нужно было поддержать словом товарищеского участия. — Дети есть?

— Дочка... — неожиданно для себя сказал Дыбок, и желанная легкость вошла ему в сердце.

— Это хорошо. Дочка — значит, мать героев. Большая?

— Восемь... товарищ гвардии-лейтенант, — ответил Дыбок, покосившись на танк, таявший в сумерках.

— Большая, Верно, и читать умеет. Станешь писать — глянься от меня. Все Записать фамилии!..

Молча подошли офицеры. Помпотех стал закуривать

Январь—июнь, 1944.

— Да... могила неизвестного танкиста, — сказал он раздумчиво, для самого себя.

— Неверно! — немедленно возразил Литовченко. — Это у них солдат одевают в форму, чтоб были одинакие, чтоб их не жалко было. А мы.. нет, мы не забывчивые, мы все помним. Жена изменит, мать в земле забудет.. но у нас каждое имячко записано. Кстати, — он показал на танк, — их не закапывать. Выйду из боя, сам буду их хоронить... в Великошумске. Таким и поставлю на высоком камне этот танк, как есть. Пусть века смотрят, кто их от кнута и рабства оборонял... — И тут же подумал, что проездом на теплые черноморские берега всякий сможет видеть из вагона высокую, как маяк, могилу двести третьей.

Виллисы ушли и сразу пропали в сумерках. Пора было и Литовченко отправляться к месту новой службы. У товарищей не было даже кисетов, поменяться на прощанье: все осталось в танке. Они взяли за руки и стояли без единого слова; мужской солдатской силы не хватало им порвать это прощальное рукопожатие.

— Слушай меня, Литовченко, — глухо и не своим обычным голосом заговорил Дыбок, и сейчас не было в нем ни одного потайного уголка, куда не впустил бы товарища. — Что бы с тобой ни случилось... — Он помедлил, давая ему срок проникнуть в глубину клятвы. — Что бы ни случилось с тобой, приходи ко мне.. Отдам тебе половину всего, что у меня будет. Меня легко найти, ты обо мне еще много услышишь.. Я знаю. Приходи!

Литовченко выбрался на шоссе и, задыхаясь, побегал прочь от этого места. Еще незнакомое чувство клокотало в нем и просилось слезами наружу. Лишь когда всё, танк и товарищ, затерялось в потемках, он перешел на шаг; итти в обратную сторону было бы ему гораздо легче, но он тут же решил, что за истекшее время он не мог уйти далеко, тот майор с зигзагами на рукаве! Новые, незнакомые люди ждали его где-то совсем рядом, и паренек испытал такую же щемящую раздвоенность, как и Соболюгов в ночном танке, когда он принял своего башнера за Осютина.

Непонятная сила повернула его лицом назад. Война тянула к себе. Горизонт оделся в грозное парадное зарево, а над ним сияла одна, немерцающая точка, на которую в эту минуту глядела все — и Дыбок, и черный Соболюков из открытого люка, и разорванное оружие двести третьей, и сиротка на Алтае, — прстая, чистая и спокойная звезда, похожая на снежинку.

ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ

КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ

★

I. КАСПИЙ

Невесело вчера ты встретило нас, море,
Но, в путь готовые, мы не ушли назад.
От штормов яростных, рсвевших на просторе,
Шаталось, море, ты и мутен был твой взгляд.

Рычаньем нас твоя пугала середина, —
В берлогах будто там чудсвища сопят.
Откатывалась, вновь вставала из пучины
Вся в пене грива бурь, качаясь и хрипя.

Стемнело. Волн простор старательно укрыла
Издранная вся ночная пелена.
Высоких волн хребты порою сзребрила,
Шатаясь в клочьях туч, двурогая луна.

Казалось, адский яд замешивала в чане
Гигантская рука, незримая никем.
Как током сильным, жгло порой мое сознание
Желание прыжка в зияющую темь.

Но, — победили мы! И напрямик несётся,
Как мошка, в брызгах волн наш быстрый пароход.
И вот уж Туркестан в лучах блеснувших солнца
Вершиною горы отточенной встаёт.

Предстала осень здесь в сиянии червонном,
Нет на тебе следов ни бури, ни грозы.
На поезд сели мы, вперёд, — влюблённо
Глядя на гладь твоей безмерной бирюзы.

Вот ты лежишь теперь в своем парчовом платье
На ложе брачных ласк стыдливого женой,
Взял материк тебя в могучие объятья
И в солнечных лучах подола сверкает твой.

II. КАРАКУМ И НЕСА

Ты — моря антипод и ты его отродье,
Хвалу, о Каракум, я о тебе спою!
Противна зелень трав самой твоей природе,
Снедает страх кайму хлопковую твою.

С тобою люди в спор вступали постоянно,
Кто страшных сил своих не мерил на тебе:
Бактрийцы были здесь, монголы и османь, —
Немало черепов крошила и ты в борьбе!

На рубеже твоём лежат останки Несы,—
Столичный древний град, властителей чертог.
Окаменелый пульс! Здесь слёз бывлых завесу
Подъёмлет из земли киркой археолог.

Раскопками идём. Шаги чуть слышны наши.
Тут много ступеней, числа колоннам нет.
Прекрасен был дворец, он даже был окрашен
В цвет алый, коридор и залы — в алый цвет.

Здесь ниши, чаны здесь и водоёма лоно...
Шла по трубе вода под крепостной стеной.
Поведал много нам о прошлых днях учёный...
Закатный сумрак пал на змею пленой.

Страничка прошлых лет! Увы, властители не вечны!
Бактрийского царя давно уж нет в живых.
Пасутся здесь теперь одни стада овецьи,
Да раздаётся лай собак сторожевых.

III. СУЛТАН-САНДЖАР

Привет, Султан-Санджар! Расстался я со степью,
Заехал посмотреть святыню этих мест.
Ты тоже у гробниц времён стоишь,— вся трепет,—
И молча смотришь вниз, где всё мертво окрест.

Ещё лежат вдали угрюмые руины,—
Полуснесённый вал обходит строй холмов.
На стенах у тебя нет облицовки ныне,—
Тут гнезда голубей и сети пауков.

Свирепо гнался век за веком.. Здесь нередко.
Насупившись, Хайям разгуливал кругом.
Земная пыль ему казалась прахом предков.
Горшечник разбирал стихи его с трудом.

Куда девался ум мятущийся Хайяма?
Горшечник где? Он был трудолюбив и тих.
Великий человек и рядом малый самый,—
Как много общих черт, нет разницы почти!

Я на тебя смотрел и прошлое представил,—
Кровавый, мрачный путь, он за тобой лежит.
Стемнело; месяц встал, взгляд на меня устал.
Как Тохтамышга глаз, в котором гнев горит.

IV. БАЗАР В МЕРВЕ

Вот и базарный день на родине Рамина.—
Мерв дряхлый свято чтит обычай старины.
Со всех сторон к нему идут сплошной лавиной
Дехканы на ослах,— пути запружены.

Ногами семена и поводя ушами,
Торопятся ослы, чтоб на базар поспеть.
Верблюды тут и там с высокими горбами,
И мерно бубенцов позванивает медь.

Вот так и в старину потоком непрерывным
Народы, племена в просторах шли степных;
Как знак своих могил, оставили курганы...
Хотели и они, чтоб не забыли их!

Бежали от нужды, от голода и горя,
От гнева идолов и от ножёвых ран.
Путь преграждали им пески пустынь и море,—
Одни шли на Урал, других встречал Иран.

Они неслись вперёд по всем путям-дорогам,
 На лошадях, ослах и на верблюдах мчась,—
 На лицах ярость, гнев, в глазах была тревога,—
 Рубили саблями, крича и хохоча.

Топтали нив простор и рощи оголяли,—
 Ни рубежей для них и никаких препон,—
 Дни в битвах проводя, сверлили гиком дали,
 А по ночам они ласкали своих жён.

Осели. Истощён источник непрерывный.
 Угомонился он, великий материк.
 В сердцах, где ярость, боль казались неизбывны,
 Исчез кипевший яд, умолк мятежный крик.

На лицах у людей теперь следы покоя,
 И в солнечных лучах исчезла ночи тень.
 Сегодня старый Мерв большой базар устроил,—
 Крикливый, бойкий торг и братской встречи день.

V. ОДИН ИЗ МНОЖЕСТВА

Люблю я наблюдать дорогу из вагона.
 Я вижу из окна дехкана одного,—
 Дехкан спешит к себе, о доме беспокоясь,—
 Он знает: там жена и дети ждут его.

Приедет,— и жене слова привета бросит,
 С подарком свёрток он спокойно развернёт.
 Ощулав ткань, она про цену мужа спросит.
 Пошутит он, приврёт и цену назовёт.

Ребята льнут к нему,— тепло на сердце станет,—
 Наверно, он для них с базара сласти взял.
 Развяжет узелок платка из тонкой ткани,
 Достанет леденцы, багровые, как лалл.

Один малыш тотчас свою хватает долю,
 Второй — в слезах: ему так мало дал отец!
 Желая, чтоб в семье все радовались вволю,
 Ребенку он даёт побольше леденец.

Соседи подойдут, и, вздор болтая всякий,
 Он долго про базар им будет говорить.
 Потом, облокотясь, как деспот, на мутаки,
 Зелёный будет чай в пиале белой пить.

VI. ДЖЕОН*

Прочь, смерти тень! Уйди, исчезни, дух бесплодный!
 Мысль, сушащую мозг, скорее отстрани!
 Для чистой дружбы ты, для братства непригодна,—
 Хочу, чтоб в радости мои текли бы дни!

Раскинь по сторонам седые клочья дыма,
 Идущий по пути стальному паровоз!
 На склоне солнца диск,— и, мнится, мир незримо
 Запутался в огне его золотых волос.

* Или Дейхун, — арабское название Аму-Дарьи, одной из четырех рек, вытекавших якобы из рая; упоминается в поэме Руставели.

Вот мост загрохотал своим железным телом,—
Восторженно тебя приветствую, Джеон!
Хочу я ширь твою без грани, без предела,
Носить всегда в себе, тобою восхищён.

Крадётся Каракум к тебе песчаной дланью,
Он хочет сок твой взять,— напрасные мечты!
Лежишь ты, словно уж, на солнцем тканой ткани,
К аральским берегам несешься плавно ты.

В сухих песках свои теряя ответвленья,
Ты извиваешься среди звериных троп.
На влажных берегах — следов столпотворенье,—
Скакали тут стада куланов, антилоп.

Вместилище дождей, потоков, перекатов,
Которыми богат седой Афганистан,
Ты не гордишься тем, что райская река ты,
Хорезму тучный ил преподнося к устам.

Ты вспомнить можешь ли про жениха* в Хорезме?
На чём же ты его отправил в Индостан?
Там полог у него в палатке был растерзан,
С разбитым черепом поник он, бездыхан.

Здесь Автондила конь, промчавшись из Магриба**,
Остановил полёт свих, как ветер, ног.
И витязь*** тот, чей стан был, словно пальма, гибок,
С тобою сравнивал горячих слёз поток.

VII. У Т Р О

На куполе небес светила пламенют,
Несётся быстро ночь в потоке звёздных вьюг.
Пространства над землёй, перед зарей бледнея,
Пьянящий свет луны из чаши ночи пьют.

Как грандиозный ёж, густая тень от дыма
За поездом ползёт,— и вот уже вдали.
Белесый брезжит свет, едва лишь ошутимый,
И поднял бровь рассвет, взглянув в лицо земли.

Уходят степи вдаль, просторы безграничны,
Края за горизонт закинули поля,
Я убедился здесь впервые, что сферична
И что действительно вращается земля.

Здесь беспредельный свет струится отовсюду;
Закутался весь мир в сияющий покров.
Приветствуют рассвет двугорбые верблюды
И кобылиц стада движением голов.

Хлопковые поля раскинулись без края.
Уж скоро,— знаю я,— мы будем в Бухаре.
Затмила Алазань фазаньи стаи,
Хвостами из огня сверкая на заре.

* Жених главной героини поэмы, Руставели, был убит Теризлом.

** Северная Африка (Марокко).

*** Автондил (герой поэмы Руставели).

VIII. БУХАРА

Расцветена, стоишь, гордишься ты собою:
Колонны, купола, — мозаики игра!
Как много было здесь сражений и побоищ
И сколько было здесь народа, Бухара!

Обогащалась ты, — амбаром ненасытным
Стояла на путях торговли мировой.
К чему они теперь, — вал этот глинобитный
И врат двенадцать в нем, — оплот когда-то твой?!

Мечети и в твсей черте почет стяжали,
Впитали бирюзу и солнца яркий свет.
В медресе спят твои арабские скрижали
Во прахе и пыли неисчислимых лет.

Чем человек владел? Лишь бедами и горем.
Он шёл из мглы веков и, обреченный, нёс
Боль сердца своего и скорбь в бесцветном взоре,
И безнадежный груз страстей и пылких грёз.

С мольбою к небесам объятья простирало
Всё человечество, народы всей земли.
Обломками надежд им небо отвечало, —
И ливни горьких слёз из глаз текли, текли...

Так завершился цикл, так вихрь событий сгинул
И канул в вечность он под нерушимый свод.
История, с себя без страха платяя скинув,
Одежды новые с улыбкою берёт.

IX. ЭМИР

Я осмотрел, эмир, дворец твой. Для музея
Пригоден лишь простор его высоких зал.
Зевая широко и от безделья млея,
Права властителя лишь здесь ты проявляя.

Носил ты ордена Руси самодержавной,
И Курбашей Курбаш и Николая раб.
В гареме с жёнами жизнь проводя бесславно,
Ты уронил свой сан, стал немощен и слаб.

Ты злейшим был из злых, врагом был для дехканов
И вот дехкан тебе за кровь свою отместя:
Не белою чалмой, а саваном Нирваны
Он голову твою беспутную покрыл.

Решил он, что тебе деревни грабить хватит,
Пот проливать чужой, тиранить бедняка —
Страна теперь сама цветные носит платья,
Халаты пестрые и яркие шелка.

Перевел с грузинского
БОРИС СЕРЕБРЯКОВ

ПЕТР I

Книга третья

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ*

1.

На бугре, где только что была поставлена сторожевая вышка, Петр Алексеевич соскочил с коня и полез по крутым перекладинам на площадку. За ним — Чамберс, Меншиков, Аникита Иванович Репнин и — последним — Апраксин Петр Матвеевич, — этому весьма мешала тучность и верчение головы: шутка ли взлезать на такую страсть — сажень на десять над землей. Петр Алексеевич, привыкший взбираться на мачты, даже не задохнулся, вынул из кармана подюрную трубу, расставя ноги — стал глядеть.

Нарва была видна, будто на зеленом лаюде, — все ее приземистые башни, с воротами и подъемными мостами, на заворотах стен — выступы бальверков, сложенных из тесаного камня, громада старого замка с круглой пороховой башней, извилистые улицы нового города, острые кровли кирок, вздетые, как гвозди, к небу. На другой стороне реки поднимались восемь мрачных башен, покрытых свинцовыми шапками, и высокие стены, пробитые ядрами, крепости Ивангорода, построенной еще в ливонскую войну Иваном Грозным.

— Наш будет город! — сказал Меншиков, тоже глядевший в трубу. Петр Алексеевич ему — сквозь зубы:

— А ты не раздувайся раньше времени.

Ниже города, по реке, в том месте, где на ручье Россонь стояла земляная крепость Петра Матвеевича Апраксина, издаенно двигались обозы и войска, плохо различимые сквозь поднятую ими пыль. Они переходили плывучий мост, и конные и пешие полки расплагались на левом берегу в верстах пяти от города. Там уже белелись палатки, в безветрии поднимались дымы, по луговинам бро-

дили расседланные кони.. доносился стук топоров, — вздрагивали вершинами, валились вековые сосны.

— Огородились мы только телегами да рогатками, не прикажешь ли еще для бережения и рвы копать, ставить палисады? — спросил Аникита Иванович Репнин. Человек он был осторожный, разумный и бывалый в военном деле, отважный без задору, но готовый — если надо для великого дела — и умереть, не птясь. Не вышел он только лицом и родством, хотя род свой считал древнее царя Петра, — был плюгав и подслеповат, однакоже маленькие глаза его за прищуренными веками поглядывали весьма умненько.

— Рвы да палисады не спасут. Не для того сюда пришли — за палисадами сидеть. — буркнул Петр Алексеевич, поворачивая трубу дальше на запад.

Чамберс, имевший привычку с утра выпивать для бодрости духа добрый стакан водки, просипел горлом:

— Можно велеть солдатам спать не разуваясь, при ружье.. Пустое! Если достоверно, что генерал Шайппенбах стоит в Везенберге — раньше, как через неделю, нельзя ожидать его сикурса..

— Я уж так-то здесь один раз поджидал шведского сикурса.. Спасибо, научены! — странным голосом ответил Петр Алексеевич. Меншиков коротко, грубо засмеялся. Чамберс задрал к нему изпод огромной шляпы крючконосе лицо:

— Не понимаю..

— Подумаешь, поймешь..

На западе, куда с жадностью глядел Петр Алексеевич, расстилалось море, ни малейший ветерок не рябил его сероватой пелены, дремлющей в потоках света. Там, на отчетливой черте края моря, можно было различить, напрягая зрение, много корабельных мачт с убранными парусами. Это стоял в мертвом штиле флот адмирала де Пру. с серебряной рукой.

Апраксин, вцепясь в перильца зыбкой площадки, сказал:

— Господин бомбардир, как же мне

* Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 3, 1944 г.

не испугаться было эдакой силы — полсотни кораблей, сам видишь, и адмирал такой отважный... Истинно — бог меня выручил, — не дал ему, проклятому, ветра с моря..

— Сколько добра пропадает, ах! — Меншиков ногтем считал мячты на горизонте. — Трюмы у него до верху, чай, забиты угрями копчеными, рыбой камбулой, салакой, ветчиной ревелской... Ветчина у них, батюшки! Уж где едят — так это в Ревеле! Все протухнет у него в такую жару, все покидает за борт, чорт однурукий.. Апраксин, Апраксин, а еще у моря сидишь, задница сухопутная! Почему у тебя лодок нет? В такой штиль — посадить роту grenader в лодки, — де Пру и деваться некуда.. досадно!..

— Чайка на песок садится! — крикнул вдруг Петр Алексеевич. — Ей, ей садится! — Лицо у него было задорное, глаза круглые. — Бьюсь о заклад на десять ефимков, — жди шторма... Кто хочет биться? Эх вы, моряки! Не стони, Данилыч, — Весьма возможно и попробуем адмиральской ветчины.

И он, сунув трубу за пазуху, бегом стал спускаться с вышки. Полковнику Рену, подскочившему к нему, чтобы помочь прыгнуть на землю, сказал: — «Один эскадрон пошли вперед, с другим следуй за мной.» Он перевалился в седло и повернул в сторону Нарвы. Его верховой, — рослый гнедой мерин, с большими усами, подарок фельдмаршала Шереметьева, взявшего этого коня в битве при Эрестфере, будто бы из-под самого Шлиппенбаха, — шел крупной рысью. Петр Алексеевич не очень любил верховую езду и на рыси высоко подсакаивал. Зато Александр Данилович горячил своего белого, как сметана, жеребца, тоже отбитого у шведов, — и конь с веселыми глазами, и всадник точно играли, — то проходя бочком, коротким галопом по светлому лугу, то конь осаживал, садясь на хвост, бил черными копытами по воздуху и взвивался, и махал, и мчался, — алого сунка короткий плащ, накиннутый на одно плечо, на стальные латы, взвивался за спиной Александра Даниловича, вились перья на шляпе, концы шелкового шарфа. Хоть жарок, но хорош был день, — в небольших рощах, в покинутых сейчас садах распелись, раскричались птицы.

Аникита Иванович Репнин, привыкший с малых лет ездить по-татарски, спокойно — бочком — трясся в высоком седле на медкой, уходистой лошадке. Апраксин обливался потом под огромным парижом, в котором для русского человека не было ни удобства, ни красоты. Далеко впереди шинял между зарослями рассыпавшийся эскадрон драгун. Позади — в строю — шел второй эскад-

рон, — перед ним поскакивал полковник Рен, красавец и запивоха, — так же, как генерал Чамберс, — в поисках счастья и свету отдавший царю Петру честь и шкуру.

Петр Алексеевич указывал ехавших стремя о стремя с ним Чамберсу на рыи и ямы, на высокие валы, заросшие бурьяном и кустарником, на полусгнившие колья, торчавшие повсюду из земли:

— Здесь погибла моя армия, — сказал он просто. — На этих местах король Карл нашел великую славу, а мы — силу. Здесь мы научились — с какой конца надо редьку есть, да похороним навек застенскую старину, от коей едва не восприали конечную погибель.

Он отвернулся от Чамберса. Оглядываясь, заметил невдалеке заброшенное домишко под провалившейся крышей. Стал придерживать коня. Круглое лицо его сделалось злым. Меншиков, подехав, сказал весело:

— Тот самый домишко, мин херс Помнишь?

— Помню..

Насупясь, Петр Алексеевич ударил шпорами коня и опять запрывал в седле. Как было не помнить той бессонной ночи перед разгромом. Он сидел тогда в этом домишке, глядя на оплывшую стену: Алексашка лежал на кошме, молча плакал. Трудно было побороть в себе отчаяние и срам, и бессильную злобу, и принять то, что завтра Карл неминуемо должен побить его.. Трудно было решиться на неслыханное, непереносимое, — оставить в такой час армию сесть в возок и скакать в Новгород, чтобы там начинать все сначала.. Добывать деньги, хлеб, железо.. Исхитряться про давать иноземным купцам исподнюю рубашку, чтобы купить оружие. Лить пушки, ядра.. И самое важное, — люди, люди, люди! Вытаскивать людей из вековой болота, разлеплять им глаза, растаскивать их под микитки.. Драться, обламывать, учить.. Скакать тысячи верст по снегу, по грязи.. Ломать, строить. Вывертываться из тысячи бед в европейской политике. Оглядываясь, — ужасаться: — «Эка громада какая еще не проворочена..»

Передовые драгуны выскочили из тенья рощей тени сосен на широкий луг перед стеной Нарвы, поднимавшиеся по ту сторону рва, полного воды. Испуганные жеребцы, бегая и крича, торопливо загоняли скот в город. Луг опустел, цепной мост задремел, тяжело поднялся и захлопнул ворота. Петр Алексеевич шагом взъехал на холм. Опять все вынули подзорные трубы и оглядывали высокие крепкие стены, поросшие травой в трещинах между камнями.

Наверху воротной башни стояли шведы, в железных касках, в кожаных пан-

тырях. Один держал — отставя на вытянутой руке — желтое знамя. Другой человек, весьма высокий ростом, подошел к краю башни, упер локоть на каменный пубец и тоже стал глядеть в трубу, сначала вода ее по всадникам на холме, потом прямо устал на Петра Алексеевича.

— Люди какие все здоровые, на башню то их увидишь, ужаснешься, — негромко говорил Апраксин Аниките Ивановичу Репнину, обмахиваясь шляпой. — Сам теперь видишь, что я вытерпел в устье Нарове один-то, с девятью пушками, когда на меня флот навалился.. А этот длинный, — в трубу глядит, — ох — какой вредный человек.. Перед самым нашим прибытием я с ним встретился в поле, хотел его добыть.. Ну, где же..

— Кто этот высокий на башне? — крипло спросил Петр Алексеевич.

— Государь, он самый и есть, генерал Горн, нарвский комендант..

Едва Апраксин выговорил это имя — Александр Данилович толкнул коня и поскакал по лугу к башне.. «Дурак!» — бешено крикнул вслед ему Петр Алексеевич, но он за свистом ветра в ушах не слышал. Почти у самых ворот осадил, сорвал с себя шляпу и, помахиная ею, заголосоил протяжно:

— Эй, там, на башне.. Эй, господин комендант.. Из нежелания пролития крови христианской — предлагаю вам честный фкорд.. Высылай офицера с белым флагом..

Генерал Горн опустил трубу, вслушиваясь, что кричит ему этот беснующийся на белом коне русский, разряженный, как петух. Обернулся к одному из шведов, должно быть, чтобы ему перевели. Суровое, стариковское лицо сморщилось как от кислого, он перегнулся через край башни и плюнул в сторону Меншикова..

— Вот тебе мой ответ, глупец! — крикнул. — Сейчас получишь кое-что покрепче.

На башне обидно захохотали шведы. Блеснул огонь, взлетело белое облачко.. Ядро, нажимая воздух, с шипом пронеслось над головой Александра Даниловича.

— Э-э-эй! — закричал с холма Аникита Иванович Репнин тонким голосом, — плохо стреляете, шведы, пришлите нам пушкарей, мы их поучим..

На холме тоже враз засмеялись. Александр Данилович, который знал, что ему все равно не миновать плетки от Петра Алексеевича, вертелся и прыгал на козе, махал шляпой и скакал зубы шведам, покада второе ядро не разорвалось совсем рядом и конь, спархнувшись, не унес его прочь от башни.

Окончив объезд крепости, сосчитав на стенах, по крайней мере, до трехсот пушек, на обратном пути Петр Алексеевич свернул к памятному домику, слез с ло-

шади и, велев всем ждать, позвал Меншикова в ту самую комнату, где четыре года тому назад он пожертвовал стыдом и позором ради спасения государства русского. Здесь тогда была хорошая печь, сейчас валялась куча обгорелого кирпичика, на полу — грязная солома, — видимо, сюда загоняли овец и коз на ночь. Сел на подоконник разбитого окошечка. Алексашка виновато стояла перед ним.

— Запомни, Данилыч, истинный бог — увижу еще твое дурацкое щегольство, шукуру спущу плеткой, — сказал Петр Алексеевич. — Молчи, не отвечай.. Сегодня ты сам себе вгбрал долю.. Я думал: кому дать начало над осадным войском, — тебе или фельдмаршалу Огильви? Хотелось в таком деле предпочесть своего перед иноземцем.. Сам все напортил, друг сердешный, — плясал, как скоморох, на коне перед генералом Горном! Срамота! Все еще не можешь забыть базары московские! Все шутить хочешь, как у меня за столом! А на тебя Европа смотрит, дурак! Молчи, не отвечай. — Он посопел, набивая трубочку. — И еще — второе: посмотрел я опять на эти стены, — смутился я, Данилыч.. Второй раз отступить от Нарвы нельзя.. Нарва — ключ ко всей войне.. Если Карл этого еще не понимает, — я понимаю.. Завтра мы обложим город всем войском, чтобы птица оттуда не пролетела.. Через две недели придут осадные пушки.. А дальше как быть? Стены крепки, генерал Горн упрям, Шлиппенбах висит за плечами.. Будем здесь топтаться — накличем и Карла из Польши со всей своей армией.. Город брать нужно быстро, и крови нашей много лить не хочется.. Что скажешь, Данилыч?

— Можно, конечно, придумать хитрость.. Это — дело десятое.. Но, раз фельдмаршала Огильви здесь голова, пусть он уж по книгам и разбирает, — что к чему.. А что я скажу? Опять глупость какую-нибудь — тят да ляп — по мужички. — Меншиков топтался, мялся и поднял глаза, — у Петра Александровича лицо было спокойное и печальное, таким он его редко видел.. Алексашку, как ножом по сердцу, полоснула жалость. — Мин херц, — зашептал он, перекоси брови, — мин херц, ну — что ты! Дай срок до вечера, приду в палатку, чего-нибудь придумаю.. Людей наших, что ли, не знаешь.. Ведь нынче — не семисотый год.. Не кручинься, ей.ей: поедем, лучше, обедать..

2.

В просторном полотняном шатре работами Нартова, так же как и в петербургском домике, были разложены на походном столе готовальни, инструменты,

бумаги, военные карты. Через приподнятые полотнища, как из печи, дышало жаром земли, и — хоть уши затыкай про смоленной пенкой — остро, сухо трещали в траве сверчки.

Петр Алексеевич работал в одной рубашке, распахнутой на груди, в голландских штанах — по колено, в туфлях на босу ногу. Время от времени он вставал из-за стола, и в углу шатра Нартов выливал ему на голову ковш ключевой воды. За эти дни нарвского похода, — как и всегда, впрочем, — накопилось великое множество неотложных дел.

Секретарь Алексей Васильевич Макаров, незаметный молодой человек, недавно взятый на эту службу, стоя у края стола, у стопки бумаг, подавал дела, внятно шелестя губами, — настолько громко, чтобы заглушать трещание сверчков. «Указ Алексею Сидоровичу Синявину ведать торговыми банями в Москве и других городах», — он тихо клал перед государем лист со столбцом указа на левой стороне. Петр Алексеевич, скача зрчками по строкам, прочитывал, совал гусиное перо в чернильницу и крупно, криво, неразборчиво, пропуская за горопливостью буквы, писал с правой стороны листа: «Где можно при банях завести цырульни, дабы людей приохотить к бритью бороды, также держать мозольных мастеров добрых».

Макаров клал перед ним новый лист: «Указ Петру Васильевичу Кикину ведать рыбные ловли и водяные мельницы во всем государстве...» Рука Петра Алексеевича с кляксой на кончике пера повисла над бумагой:

— Указ кем заготовлен?

— Указ прислан из Москвы от Князя Кесаря на вашу, милостивый государь, своеручную подпись...

— Дармоедов полна Москва, сидят по окошечкам, крыжовник кислый жрут со скуки, а для дела людей не найти... Ладно, поиспытаем Кикина, зывается — обдеру кнутом, — так ты и отпиши Князю Кесарю, что я в сумнении...

— Из Питербурга с нарочным, от подполковника Алексея Бровкина донесение, — продолжал Макаров. — Прибыли из Москвы от Тихона Ивановича Стрещева для вашего, милостивый государь, огорода на Питербургской стороне шесть кустов пионов, в целости, да только садовник Левонов, не успев их посадить, помер.

— Как — помер? — спросил Петр Алексеевич, — что за вздор!

— Купаясь в Неве, — утонул...

— Ну, пьяный конечно... Вот ведь — добрые люди не живут... а гораздо был искусный садовник, жалко... Пиши...

Петр Алексеевич пошел в угол палатки — облить голову и, отфыркиваясь,

говорил Макарову, который, стоя, ловил писал на углу стола:

— Стрешневу... Пионы ваши получены в исправности, только жалею, что мало прислал. Изволь не пропустить времени — прислать из Измайлова всяких цветов и больше таких, кои пахнут канупера, мяты, да резеды... Пришли садовника доброго, с семьей, чтобы не случал... Да отпиши, для бога, как здравствует в Измайлове Катерина Васильевская с Анисьей Толстой и другие с нами.. Не забывай об сем писать чаще. Также изволь уведомить, как у вас набором солдат в драгунские полки, — один полк возможно скорее набрать — из людей полуше — и прислать сюда.

Он вернулся к столу, прочел написанное Макаровым, усмехнувшись про себя — подписал:

— Еще что? Да ты мне не по порядку подкладывай, давай важнейшее...

— Письмо Григория Долгорукова, из Сокаля, о благополучном прибытии наших войск.

— Читай! — Петр Алексеевич закрыл глаза, вытянул шею, большие, в царапинах, сильные руки его легли на столе. Долгорукий писал о том, что с прибытием русских войск в Сокаль король Август опять воспринял чрезмерную отвагу и хочет встречи на бранном поле с королем Карлом, дабы с божьей помощью генеральной баталией взять реванш за конфузию при Кляссове. На это безумство особенно подговаривают его фаворитки, — их теперь у него два и его бытие сделалось весьма беспокойное. Дмитрию Михайловичу Голицыну с великими трудами удалось отклонить его от немедленной встречи с Карлом (который как хищный волчек, только того и ждет) и указать ему путь на Варшаву, оставленную Карлом с малой защитой. Что из сего может произойти — одному богу известно...

Петр Алексеевич терпеливо слушал длинное письмо, губа его с полоской усиков поднималась, открывая зубы. Держув шейю — пробормотал: «Союзничек!» Пододвинул чистый лист, скрепил ногтями в затылке и, едва поспевав пером за мыслями, начал писать, — ответ Долгорукому:

«.. Еще напоминаю вашей милости, чтобы не устал отводить его величество короля Августа от жестокого и пагубного намерения. Он спешит искать генерального боя, надеясь на фортуна — сиречь счастье, но сие точно в ведении одного всевышнего... Нам же, человекам, разумно на ближнее смотреть, что — суть на земле... Короче сказать, — искание генерального боя весьма для него опасно, ибо в один час можно все потерять... Не удастся генеральный бой, — от чего, боже, боже сохрани и его, да и

нас всех, — его величество Август не только от неприятеля будет ввергнут в меланхолию, но и от бешеных поляков, лишенных добра отечеству своему, будет со срамом выгнан и престола своего лишен... Для чего же ввергать себя в такое бедство? Что же ваша милость пишете о фаворитках, — истинно сию горячку лечить нечем... Одно, — старайся с сими мадамками делать симпатию и альянсы...»

Дышать уже было нечем в слоях табачного дыма. Петр Алексеевич с брызгами подписал, — «Птръ» и вышел из шатра в нестерпимый зной. Отсюда с холма была видна в стороне Наровы пыльная туча, поднятая обозами и войсками, передвигавшимися из лагеря на боевые позиции перед крепостью. Петр Алексеевич провел ладонью по груди, по белой коже, — медленно, сильно стучало сердце. Тогда он стал глядеть туда, где в необъятном стеклянном море, отсюда неразличимые дремали корабли адмирала де Пру, набитые добром, которого хватало бы на всю русскую армию. Земля и небо, и море были в томлении, в ожидании, будто остановилось само время. Вдруг, много черных птиц беспорядочно пронеслось мимо холма к лесу. Петр Алексеевич задрал голову, — так и есть! С юго-запада высоко в раскаленное, как жезл, небо быстро поднимались прозрачные пленки облаков.

— Макаров! — позвал он, — Спорить хочешь на десять ефимков?

Макаров сейчас же вышел из шатра, — востроносый, пергаментный от усталости и бессоницы, с прямым ртом без улыбки, и потащил из кармана кошель:

— Как прикажешь, милостивый государь...

Петр Алексеевич махнул на него рукой:

— Пойди, скажи Нартову, чтоб подал мне матросскую куртку, да зювестку, да ботфорты... Да крепили бы хорошенько шатер, нето унесет... Шторм будет знатный.

Море всегда завораживало, всегда тянуло его к себе. В кожаной шапке, спущенной на затылок, в широкой куртке, сн ехал крупной рысью в сопровождении полускадрона драгун к морскому берегу. (В лагерь к Апраксину было послано за двумя пушками и гренадерами). Солнце жгло, как скорпион перед гибелью. Вертелись пыльные столбы на дорогах. По морской пелене полосами пробегали ветры. Черная туча выползала из-за помраченного горизонта. И море, наконец, дыгнуло в лицо запахом водорослей и рыбной чешуи. Ветер, усиливаясь, засвистал, заревел во все непутные губы...

Придерживая зювестку, Петр Алексеевич весело скакал. Он соскочил с

коня на песчаный берег, — солнце в последний раз блеснуло из закружившегося края тучи, стеклянный свет побежал по завивающимся волнам. Сразу все потемнело. Волы катились выше и выше, — обадали водяной пылью. Громыхающая туча из конца в конец озарялась мутными вспышками, будто ее поджигали. Слепила извилистая молния, упала близко в воду. Рвануло так, что люди на берегу присели, — обрушилось небо...

Около Петра Алексеевича очутился Меншиков, — тоже в зювестке, в куртке.

— Вот это шторм! Вот это — люблю! — прокричал ему Петр Алексеевич.

— Минь херц, до чего же ты догадлив...

— А ты сейчас только понял это?

— С добычей будем?

— Подожди, подожди...

Ждать пришлось не так долго. При вспышках молний стали видны совсем недалеко военные и купеческие корабли адмирала де Пру, — буря гнала их к берегу, на мели. Они будто плясали, — раскачивались голые мачты, развалились обрывки парусов, вздымались резные высокие кормы с Нептунами и морскими девами. Казалось — еще немного и весь разметанный караван прибьет к берегу.

— Молодец! молодец! — закричал Петр Алексеевич. — Гляди, что делает! Вот это адмирал! Бом-клевера ставит! Форстеняга стакселя, фока-стакселя ставит! Триселя ставит! Эх, чорт! Учись, Данилыч!

— Ох, уйдет, ох, уйдет! — стонал Меншиков.

Изменился ли ветер немного или в борьбе с морем взяло верх искусство адмирала — корабли его, лавируя на штормовых парусах, понемногу стали опять удаляться за горизонт. Только три тяжело груженные барки продолжали нести на песчаные отмели. Треща, громыхая реями, хлеща ключьями парусины, — они сели на мель шагах в трехстах от берега. Огромные волны начали валить их, — перекатываясь — смывали с палуб лодки, бочки, ломали мачты.

— А ну, давай по ним огонь, с недолетом, для испуга! — крикнул Меншиков пушкарям.

Пушки рывкнули, и бомбы вскинули воду близ борта одной из барж. В ответ оттуда раздались pistolетные выстрелы. Петр Алексеевич влез на лошадь и погнался в море. За ним с криками побежали гренадеры. Меншикову пришлось спешиться, — жеребец заупрямился, — и он тоже зашагал в мутных волнах, отплываясь и крича:

— Эй, на барках! Прыгай в воду! Сдавайся!

Шведов должно быть сильно испугал вид всадника среди волн и огромные

усатые гренадеры, идущие на abordаж по грудь в воде, ругаясь матерно и грозя дымящимися гранатами. С барок стали прыгать матросы и солдаты. Они протягивали пистолеты и abordажные сабли: «Москов, москов, друг», — и брели к берегу, где их окружали конные драгуны. Меншиков с гренадерами в свой черед забрался на барку, на резную корму, взял на аккорд капитана, — тут же снисходительно похлопав его по спине и вернув ему кортик, и закричал оттуда:

— Господин бомбардир, из трюмов пованивает, но капитан обнадежил, что сельди и солонину есть можно.

3.

Войска обложили Нарву подковой, упираясь в реку выше и ниже города. На другой стороне реки точно так же был окружен Ивангород. Рыли шанцы, обставлялись частоколами и рогатками. Русский лагерь был шумный, дымный, пыльный. Шведы с высоких стен угрюмо поглядывали. После шторма, разметавшего флот де Пру, они были очень злы и стреляли из пушек даже по отдельным всадникам, скакавшим короткой дорогой через луг мимо грозных бастионов.

По приказу Петра бочки с сельдями и солониной, выгруженные с барок, были на виду шведов привезены в лагерь, — за телегами, украшенными ветвями, солдаты несли толстого голого мужика, обмотанного водорослями, и горлачили скоромную песню про адмирала де Пру и генерала Горна. Бочки роздали по ротам и батареям. Солдаты, помакивая вздетой на штык селедкой или куском сала, кричали: «Эй, швед, закуска есть!» Тогда шведы не выдержали. Затрубили в рожки, забили в барабаны, мост опустился, и, теснясь большими конями в воротах, выехал эскадрон кирасир, — нагнув головы в ребрастых шлемах, уставя широкие шпаги меж конскими ушами, они тяжело поскакали на русские шанцы. Пришлось, побросав добро, отбиваться чем попало, — кольями, банниками, лопатами. Началась свалка, поднялся крик. Тут кирасиры увидели драгун, мчавшихся на них с тыла, увидели лезущих через частокол страшных гренадеров и повернули коней обратно, — лишь несколько человек осталось на лугу, да еще долго скакали испуганные лошади без всадников и бегали за ними русские солдаты.

Помимо таких вылазок шведы не выказывали особенного беспокойства. Генерал Горн, — как передавали языки, — будто бы сказал: «Русских я не боюсь, пускай с помощью своего Георгия-Победоносца осмелятся на штурм — угощу их лучше, чем в семисотом году...» Зер-

на, пороха и ядер у него было достаточно, но больше всего он надеялся на Шлиппенбаха, ожидавшего подкреплений, чтобы сделать русским жестокий сикурс. Стоял он на ревельской дороге, в городке Везенберге. Это установил Александр Данилович, сам ездивший в разведку.

Бездействовали и русские войска: — вся осадная артиллерия — огромные стенобитные пушки и мортиры для зажигания города — все еще тащились из Новгорода по непролазным дорогам. Без тяжелого наряда нельзя было и думать о штурме.

От фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева вести были тоже не слишком бойкие: Юрьев он осадил, огородился, повел подкоп для пролома стены и начал метать бомбы в город. «Зело нам докучают шведы, — писал он в нарвский лагерь Александру Даниловичу, — по сие время не могу отбить пушечной и мортирной стрельбы неприятеля; палат из многих пушек залпами, проклятые, сажают враз по десяти бомбов в наши батареи, а пуще всего стреляют по обозам. Так же — бьемся — не можем достать языка из города, только вышло к нам два человека — чухны, ничего поединно не знают, одно бредят, что Шлиппенбах обнадеживает город скорым сикурсом...»

Шлиппенбах был истинно занозой, которую надобилось вытащить как можно скорее. Об этом были все мысли Петра Алексеевича. Тогда ночью Меншиков не обманул, — придя в шатер и выслав всех, даже Нартова, он рассказал — какую придумал хитрость, чтобы отбить охоту у генерала Горна — надеяться на Шлиппенбаха, Петр Алексеевич сперва даже рассердился: «Спяню, что ли, придумал?...» Но, — походил по шатру, попыхая трубочкой, и вдруг рассмеялся:

— А не плохо было бы одурачить старика.

— Мин херц, одурачим, ей ей...

— Это твое — «ей ей» — еще дешево стоит. А не выйдет ничего? Не в шутку ответишь, куманек.

— Что ж, и отвечу... Не в первый раз... На одном ответе всю жизнь живу...

— Делай!

В ту же ночь поручик Пашка Ягушкинкий, выпив стремянную, поскакал в Псков, где находились войсковые склады. С необыкновенной расторопностью он привез оттуда на тройках все, что было надобно, для задуманного дела. Ротные и эскадронные швальни две ночи перешивали и прилаживали кафтаны, епанчи, офицерские шарфы, знамена, обшивали солдатские трухи белой каймой по краю. В эти короткие ночи тайно — эскадрон за эскадроном —

два драгунских полка Асафьева и Горбова, и два полка — Семеновский и Ингерманландский — с пушками, у которых лафеты были перекрашены из зеленых в желтые, ушли по ревельской дороге и расположились в лесном урочище Тарвиеги, в десяти верстах от Нарвы. Туда же — в урочище — было отвезено все платье, перешитое в швальнях. Шведы ничего не заметили.

В ясное утро — восьмого июня — под нарвскими стенами в русском лагере вдруг началась суета. Тревожно забили барабаны, забухали огромные литавры, поскакали офицеры, надрывая глотки. Из шалашей, из палаток выскакивали солдаты, — застегивая кафтаны и пуговицы на гетрах, закладывая за уши длинные волосы, висевшие из-под треуголов — строились в две линии. Пушкари с криками вытаскивали пушки и поворачивали их в сторону ревельской дороги. Верховые гнали табуны обозных лошадей с лугов в лагерь, за телеги.

Шведы со стен с изумлением смотрели на отчаянный беспорядок в русском лагере. По наружной каменной лестнице на воротную башню поднялся генерал Горн с непокрытой головой и установил подзорную трубу на ревельскую дорогу. Оттуда донеслись два пушечных выстрела, через минуту — снова два выстрела и так до шести раз. Тогда шведы поняли, что это сигналы приближающегося Шлиппенбаха, и сейчас же с бастиона Глория они ответили королевским паролем из двадцати одной пушки. На всех кирках города празднично задребезжали колокола.

За много дней осады суровый генерал Горн в первый раз сморщил усмешкой губы свои, увидя, как по ту сторону шанцев перед строящимися в две линии московскими войсками по-козачьи поскакивает на белом коне разнаряженный Меншиков, нахальнейший из всех русских. Будто и на самом деле опытный полководец, он взмахом маршальского жезла приказывает задней линии солдат повернуться лицом к крепости, и они бегом, как стадо, побежали и заняли места в шанцах за частоколами. Вот, он поднял коня на дыбы и поскакал вдоль передней линии солдат, стоящих лицом к ревельской дороге. Все было понятно умудренному годами и славными битвами генералу Горну: этот пегух в красном плаще и страусовых перьях сейчас сделает непоправимую глупость, — поведет растаявшую редкую линию своей пехоты навстречу железным кирасирам Шлиппенбаха, который засыплет ее ядрами, разрежет, растопчет и уничтожит. Генерал Горн потянул волосатыми ноздрями воздух. Двенадцать эскадронов конницы и четыре батальона пехоты стояли у него у

запертых ворот, чтобы при появлении Шлиппенбаха, кинуться с тылу на русских.

Меншиков, будто торопясь навстречу смерти, безо всякой надобности сорвал с себя шляпу и, махая ею, заставил все батальоны, идущие беглым шагом — в хвост за его красующейся лошадкой, кричать «ура». Крик долетел до нарвских стен, и опять старик Горн усмехнулся. Из соснового леса, куда двигались батальоны Меншикова, начали выскакивать русские всадники, подгоняемые ружейными выстрелами. И, наконец, повсюду из-за сосен, — во всей красе, плечо к плечу, как на параде, уставя перед собой ружья со всунутыми в дуло багинетами, вышли гвардейские роты Шлиппенбаха. Второй ряд их бегло, с ходу, стреляя через головы первого ряда, в третьем ряду заряжали ружья и подавали стреляющим. Плескались, высоко поднятые, желтые королевские знамена. Старик Горн на минуту оторвался от подзорной трубы, вынул из лялунки полотняный платок, встряхнул его и провел по глазам. «Боги войны!» — пробормотал он..

Меншиков, придерживая шляпу, помчался перед фронтом и остановил свои батальоны. На фланги к нему скакали — в упряжках по шести коней — пушки и двуконные зарядные ящики. Русские артиллеристы были расторопны, — кое-чему научились за эти годы. До блеска начищенные пушки — по восьми на каждом фланге — ловко завернули жерла на шведов (упряжки были отцеплены и ускакали в сторону), и враз выбросили плотные белые дымы, — что указывало на доброе качество пороха. Шведы не успели пройти и двух десятков шагов, как пушки снова рывкнули по ним. Старик Горн начал мять в руке платок, — такая скорострельность была удивительна. Шведы остановились. Что за чорт! Непохоже на Шлиппенбаха — смутиться пушечной стрельбой! Или он хочет пропустить вперед кирасир для атаки, или ждет свою артиллерию? Горн водил зрительной трубой, ища Шлиппенбаха, но мешал дым, все гуще застилавший поле битвы. Ему даже показалось, что шведы заколебались под градом картечи.. Но он выжидал.. Наконец-то! — из лесу выдвинулись шведские пушки с желтыми лафетами и начали могучий разговор.. Тогда, — это он увидел ясно, — смешались ряды Меншикова.. Пора!. Горн отвернул от трубы морщинистое лицо и, показывая до зесен желтые зубы, сказал своему помощнику полковнику Маркварту:

— Приказываю: отворить ворота и атаковать правое крыло русских.

Загромыхали мосты, разом из четырех ворот выехали эскадроны кирасир, за

ними бегом — пехота. Полковник Маркварт вел, построенный клином, нарвский гарнизон так, чтобы — сналета перескочив через русские частоколы и рогатки — ударить Меншикова с тылу во фланг, прижать его к Шлиппенбаху и раздавить в железных объятиях.

То, что увидел Горн вподзорную трубу, вначале порадовало его, затем — смутило. Отряд полковника Маркварта быстро, без больших потерь, разметав русские рогатки, перелез через частоколы и оказался по ту сторону шанцев. Вслед за ним из ворот вышли — пешие и на телегах — нарвские жители, чтобы грабить русский лагерь. Беспорядочно галдящие из ружей батальоны Меншикова неожиданно начали делать мало понятное передвижение: их правый фланг, на который устремился Маркварт с нарвским гарнизоном, со всей поспешностью начал отступать к своим палисадам и рогаткам, левый же — дальний — с такой же поспешностью кинулся к шведам Шлиппенбаху, как бы намереваясь сдаваться в плен. Пушки с обеих сторон внезапно замолкли. Блестяще атакующий Маркварт оказался в чистом поле, в развилке между войсками Меншикова и Шлиппенбаха. Отсвечивающие панцирями эскадроны его кирасир начали сдерживать коней, разворачиваться в полудугу и остановились в нерешимости. Остановилась и подбежавшая к ним пехота...

— Ничего не понимаю! Что случилось, чорт бы взял этого Маркварта! — закричал Горн. Стоящий около адъютанта Бистрем ответил:

— Я так же не совсем понимаю, господин генерал.

Затем, все более торопливо вода трубой, Горн увидел Меншикова, — этот петух во весь конский мах сказал к шведам. Зачем? В плен? Узнав его, наперерез ему пропустили Маркварт с двумя кирасирами. Но Меншиков опередил и на травянистом пригорке соскочил с коня около кучки офицеров, — судя по их епанчам и по желтому — со вздыбленным львом — знамени это был штаб Шлиппенбаха... Но где же сам Шлиппенбах? Еще движение трубой и Горн увидел, как Маркварт, подсакавший в погоне за Меншиковым к той же кучке офицеров, странно замахаивая рукой, будто защищаясь от призрака, и попытался повернуть, но к нему подбежали и стащили с седа... На бугор поднимался всадник на большой вислouxой лошади, — знамя склонилось к нему. Это мог быть только Шлиппенбах... Слеза замутила глаз старику Горну, он сердито согнал ее и вжал медный окуляр в глазницу. Всадник на вислouxой лошади не был похож на Шлиппенбаха... Он походил больше всего...

— Господин генерал, измена! — невольно сурово проговорил адъютант Бистрем.

— Вижу и без вас, что это царь Петр, наряженный в шведский мундир.. Меня изрядно провели за нос, понимаю! без вашей помощи.. Прикажите подать мне кирасу и шпагу... — Генерал Горн оставил теперь уже бесполезную подзорную трубу и, как молодой, побежал по крутой лестнице с воротной башни.

Там на поле машкерадного боя началось то, что и должно было случиться: когда военачальника проведать зносом. Наряженные шведами Преображенцы и Ингерманландцы, драгуны Асафыва и Горбова, скрывавшиеся до времени в лесу, с другой стороны батальоны Меншикова кинулись со всей фuriей с двух сторон на шведов несчастного Маркварта, — который, отдав царю Петру шпагу, бросив медную каску на траву, стоял на бугре среди русских офицеров, в стыде и отчаянии опустив голову, чтобы не видеть, как гибнет его блестящий отряд, составлявший, по крайней мере, треть нарвского гарнизона.

Кирасиры его, прикрывавшие пехоту, некоторое время отступали, не теряя строя, огрызаясь короткими наездами. Но когда на них с тылу, из березовой рощи, помчался с драгунскими эскадронами полковник Рен, сидевший там в засаде, — началось свалка. Стрельба прекратилась. Только слышались ярые взвизги русских, рубящих с плеча, хриплые вскрики гибнущих шведов, лягз шпаг о кирасы и шлемы. Швизвались грызущиеся кони. Упало королевское знамя. Выскочившие из башенной свалки отдельные всадники скакали, как ослепшие, по лугу, сшибались, размахивая руки, валялись... Все русское войско вылезло на шанцы, как на масленицу, когда народ сбегается глядеть на травлю медведя... Солдаты улюлюкали, приплясывали, кидали вверх треухи, вопили: «Ваи, ваи!»

Только небольшой части шведского стряда удалось пробиться к Нарве. Все что мог сделать генерал Горн — это отстоять ворота, чтобы русские сналета не ворвались в город. Выхавшие грабить жители металась на телегах перед рвом. Солдаты перескакивали через палисады, сторяча не боясь стрельбы со стен, хватали немало нарвских жителей с телегами и лошадьми, привели их в лагерь для продажи господам офицерам.

Вечером в большом шатре у Меншикова был веселый ужин. Пили огненкый ром адмирала де Пру, ели ревельскую ветчину и — мало кем еще виденную — колченую камбалу, — разрывали ее руками, как чулок, стаскивали кожу. Рыбка повзвивала, но была хороша. Александр

ру Даниловичу отбили всю спину, выпивая за его хитроумие. «Поставил премудрому Горну изрядный нос! Истинно ты именинник сегодня!» — басил, подсакивая плечами от смеха, сильно выживший Петр Алексеевич — и кулаком, как молотом, бухал его между лопаток. «Бьюсь об заклад — ты бы мог перехирить само-го царя! Одиссея! — кричал Чамберс и тоже ударял в спину генерал-губернатора, — трудно представить себе людей, более хитрых, чем русские!»

Перебивая друг друга, — гости несколько раз принимались сочинять послание генералу Горну с пожалованием ему ордена «Большого Носа». Начало было складное: «Тебе, нарвскому сидельцу, замочившему штаны, старому дурню, холощеному коту, аки лев рыкающему...» Далее от пьяной неразберихи шли такие крепкие слова, что секретарь Макаров не знал даже, как и нанести их на бумагу.

Аникита Иванович Репнин, отсмеявшись козлиным голоском сколько нужно, сказал под конец:

— Петр Алексеевич, а стоит ли сра-миться то старика? Ведь дело еще не кончено...

На него застучали кулаками, закрича-ли. Петр Алексеевич взял у Макарова ведошисанное письмо, смял, сунул в гарман:

— Посмеялись, — будет...

Он поднялся, покачнулся, вцепился, Макарову в плечо, распустившиеся чер-ты круглого лица его с усилием отверде-ли, — вильнув длинной шеей, он, как всегда, овладел собой:

— Кончай гулять!

И вышел из шатра. Рассветало. От обильной росы трава казалась седой, по ней тянуло лагерным дымком. Петр Алексеевич глубоко вдохнул утреннюю свежесть:

— Ну, в добрый час... Пора! — И сей-час же к нему придвинулись из кучки военных, стоявших за спиной его, Ани-кита Иванович Репнин и полковник Рен. — Еще раз повторю обоим, — пышные реляции о победе мне не нужны. Не жду их. Дело предстоит тяжелое и кро-вавое. Его нужно так побить, чтоб он не мог уж более собраться с силами. На такое дело должны ожесточиться серд-цем... Побить и полонить все его войско. Ступайте...

Аникита Иванович Репнин и полков-ник Рен, низко поклонившись ему, пош-ли от шатра по колена в густой траве в темном лесу, где, снова переодетые в свое платье, ожидали выступления дра-гунские полки и пехота, посаженная на телеги — все участники вчерашнего маш-кератного боя. Сегодня их ждало не шу-точное дело: окружить под Везенбергом и уничтожить корпус Шлиппенбаха.

— Итак, господа, бывший король Ав-густ, которого мы считали приведенным в ничтожество, получил помощь от рус-ских и быстро двигается к Варшаве, — сказал молодой король Станислав Ле-щинский, открывая военный совет. Ко-роль был утомлен навязанными ему го-сударственными делами, тонкое надмен-ное, недоброе лицо его было бледно до синевы под опущенными ресницами, — он не поднимал глаз потому, что ему до от-вращения надоели напыщенные лица придворных, все разговоры о войне, деньгах, займах... Слабой рукой он пе-ребирал четки. Он был одет в польское платье, которое терпеть не мог, но с тех пор, как в Варшаве стоял шведский гар-низон под командой полковника Арведа Горна — племянника нарвекого героя, — польские магнаты и знатные пань пове-сили свои парики на подставках, пере-сыпали французские кафтаны табаком и ходили в жупанах с откидными рукава-ми, в бобровых шапках, в мягких са-пожках с многозвонными шпорами, вме-сто шпаг — опоясывались тяжелыми де-довскими саблями.

В Варшаве жили весело и беспечно под надежной охраной Арведа Горна, простив ему невежество, когда он заста-вил Сейм избрать в короли этого мало знатного, но изящно воспитанного моло-дого человека. Шведские офицеры были грубоваты и вгсокомерны, но зато в питье вин и медов не выдерживали боя с поляками, а в танцах и совсем усту-пали роскошным мазурщикам, — Виш-невцекому или Потоцкому. Была одна беда, — все меньше поступало денег из разоренных войною имений, но и это обстоятельство казалось так же скоро-преходящим: не вечно Карлу хозяйни-чать в Польше, когда-нибудь да уйдет он отсюда на Восток — расправляться с царем Петром.

И вот, не ждано не гадало, на Вар-шаву надвинулась черная туча. Август без боя захватил богатый Люблин и стремительно двинулся с шумным поль-ским конным войском по левому берегу Вислы на Варшаву; одноглазое страши-лице, атаман Данила Апостол с днепр-овскими казаками перебрался на прав-ый берег Вислы и приблизился к Пра-ге — варшавскому предместью; одинна-дцать русских пехотных полков очища-ли прибуговые городки от привержен-цев короля Станислава, уже заняли Брест и также поворачивали к Варшаве; а с запада к ней быстро шел саксон-ский корпус фельдмаршала Шуленбурга, обманувшего ловким маневром короля Карла, который искал его на другой дороге.

— Видит бог и пресвятая дева, я не

стремился надевать на себя польскую корону, такова была воля Сейма, — не поднимая глаз, говорил король Станислав с презрительной медленностью. На ковре у ног его лежала — мордой в лапы — белая борзая сука благороднейших кровей. — Кроме затруднений и неприятностей я покуда еще ничего не испытал в моем высоком сане. Я готов сложить с себя корону, если Сейм из чувства осторожности и благоразумия пожелает этого, чтобы не подвергать Варшаву злобе Августа. Несомненно, у него много оснований — испортить себе печень. Он честолюбив и упрям. Его союзник — царь Петр — еще более упрям и хитер, они будут драться, покуда не добьются своего, покуда мы все не будем вконец разорены. — Он положил ногу в сафьяновом сапожке на спину собаке, она повела лиловыми глазами на короля. — Право же я ни на чем настаиваю, я с восторгом удаюсь в Италию... Уражнения в Болонском университете восхищают меня...

Румяный, с бешено холодными глазами, плотный в своем зеленом, поношенном сюртуке, полковник Арвед Горн проворчал, сидя напротив короля на раскладном стуле.

— Это не военный совет, — позорная капитуляция...

— Король Станислав медленно прикрыл рот. Кардинал примас Радзиевский, лютый враг Августа, не слыша неприятного замечания шведа, сказал тем вкрадчивым, смиренно повелительным голосом, какому прилежно учат в иезуитских коллегиях со-времен Игнатия Лойолы. Он сказал:

— Желание вашего королевского величества уклониться от борьбы — не более чем минутная слабость... Цветы вашей души поникли под суровым ветром, — мы умиляемся... Но корона католического короля, в отличие от шляпы, снимается только вместе с головой. Или на то нужна особая булла его святейшего папы. Будем со всем мужеством говорить о сопротивлении узурпатору и врагу церкви, каков есть курфюрст саксонский Август, дурной католик. Мы послушаем, что скажет полковник Горн!

Кардинал примас, шурша шелком пышной пурпуровой рясы, отражавшейся в навощенном полу, грузно повернулся к шведу и повел рукой столь изысканно, будто предлагал ему сладчайшее кушанье. Полковник Горн толкнул стул, расставил крепкие ноги в смазных ботфортах (поношенный сюртук и грубые ботфорты с раструбами он носил, как все шведы, в подражание королю Карлу), сухо кашлянул, прочищая горло:

— Я повторяю: военный совет должен быть военным советом, а не разговором о цветочках. Я буду оборонять Варшаву

до последнего солдата, — такова воля моего короля. Я приказал, — наступлением темноты моим фузилерам стрелять в каждого, кто выходит за ворота. Ни одного труса не выпущу из Варшавы, — у меня и трусы будут драться! Мне смешно, — у нас не меньше войска, чем у Августа. Об этом лучше меня знает великий гетман князь Любомирский... Мне смешно, — Август нас окружает. Это лишь значит, что он дает нам возможность разбить себя по частям: ни юге — его пьяную шляхетскую конницу, на восток от Варшавы — атамана Данилу Апостола, казаки которого легко вооружены и не выдержат удара панцирных гусар... Фельдмаршал Шуленбург найдет свою могилу, не доходя до Варшавы, — за ним, несомненно, гонится мой король. Единственная значительная опасность — это одиннадцать русских полков князя Голицына, но покуда они тащатся пешком от Бреста, мы уже уничтожим Августа, им придется или отступать, или умирать. Я предлагаю князю Любомирскому нынче же ночью собрать в Варшаву все конные полки. Я предлагаю вашему величеству сейчас, покуда не догорели эти свечи, объявить посполдито рушение... Пускай возьмет меня чорт, если мы не выдержим у Августа все перья из хвоста...

Раздувая белокурые усы Арвед Горн засмеялся и сел. Теперь даже король поднял глаза на великого гетмана Любомирского, командующего всеми польскими и литовскими войсками. Во все время разговора он сидел по левую руку от короля в золоченом кресле, опустив лоб в ладони, так что была видна только его остриженная чуприной круглая голова, точно посыпанная перцем, да висящие, жидкие, длинные усы. Когда настала тишина, он, будто очнулся, вздохнул, выпрямился, — был он велик, костист, широкоплеч, — медленно положил руку на осыпанную алмазами булаву, засунутую за тканый драгоценный пояс. Горбоносое лицо его, тронутое оспой, со впавшими щеками, с натянутой на скулах воспаленной кожей, было так нелюdimо и гордо мрачно, что у короля затрепетали веки и он, нагнувшись, стал гладить собаку у ног своих. Великий гетман медленно поднялся. Для него настал долгожданный час расплаты.

Он был знатнейшим магнатом Польши, более властительным в своих обширных владениях, чем любой король. Когда он отправлялся на Сейм или в Ченстохов на богомолье — впереди его кареты и позади ехало верхами, в бричках или на телегах не менее пяти тысяч шляхтичей, одетых — один как один — в малиновые жупаны с лазоревыми отворотами на откидных рукавах. На посполдито рушение, — походы против бунтую-

шей Украины, или против татар, — он выводил свои три полка гусар в стальных кирасах с крыльями за плечами. Как Пяст по крови он считал себя первым претендентом на польский престол после низвержения Августа. Тогда, — в прошлом году, — уже две трети делегатов Сейма, слуга саблями, прокричали: «Хотим Любомирского!» Но этого не захотел король Карл, которому нужна была кукла. Полковник Горн окружил бующий Сейм своими фузилерами, — они запалили фитили и оскорбили торжественность греском барабанов. Горн, как бы вбивая каблуками гвозди, прошел к пустому тронному месту и крикнул: «Предлагаю Станислава Лещинского!»

Великий гетман затаил злобу. Никто и никогда не осмеливался затрагивать его честь. Это сделал король Карл, у которого пахотной земли и золотой посуды, наверно, было меньше, чем у Любомирских. Поводя диким темным взором, скребя ногтями яблоко булавы, он заговорил, с яростью, как змий, шипя согласными звуками:

— Ослышался я или почудилось: — мне, великому гетману, мне, князю Любомирскому, осмелился приказывать комендант гарнизона! Шутка? Или нахальство? (Король поднял руку с четками, кардинал подался вперед на стуле, загряс совиным обрюзгшим лицом, но гетман лишь угрожающе повысил голос). Здесь ждут моего совета. Я слушал вас, господа, я беседовал с моей совестью... Вот мой ответ. Наши войска ненадежны. Чтобы заставить их пролить свою и братскую кровь, нужно, чтобы сердце каждого шляхтича запело от восторга, а голова закружилась от гнева... Может быть, король Станислав знает такой боевой клич? Я не знаю, его... «Во имя бога, вперед, на смерть за славу Лещинских!» Не пойдут. «Во имя бога, вперед, за славу короля шведов»? Побросают сабли. Вести войска я не могу! Я более не гетман!

До косматых бровей побагровело искаженное лицо гетмана.

Не в силах сдерживать себя, он вытащил из-за пояса булаву и швырнул ее под ноги мальчишке — королю. Белая сука жалобно взвизгнула...

— Измена! — бешено крикнул Горн.

5.

Слово «берсеркиер», — или одержимый бешенством, — идет из глубокой древности, от обычной северных людей опьяняться грибом мухомором. Впоследствии, в средние века, берсеркиерами у норманов назывались воины, одержимые бешенством в бою, — они сражались без кольчуги, щита и шлема, в одних холщевых рубахах и были так страшны,

что, по преданию, например, двенадцать берсеркиеров, сыновей конунга Канута — плавали на отдельном корабле, так как сами норманы боялись их.

Припадок бешенства, случившийся с королем Карлом, можно было только назвать берсеркиерством, до такой степени все придворные, бывшие в это время в его шатре, были испуганы и подавлены, а граф Пипер даже не чаял остаться живым... Тогда, получив от графини Козельской голубиную депешу, Карл, наперекор мнению Пипера, фельдмаршала Реншельда и других генералов, остался непоколебим в мстительном желании теперь же доканать Августа, привести всю Польшу к покорности Станиславу Лещинскому, дать хороший отдых войскам и на будущий год, в одну летнюю кампанию, завершить восточную войну блестящим разгромом всех петровских полчищ. За судьбу Нарвы и Юрьева он не тревожился, — там были надежные гарнизоны и крепкие стены — не по зубам москвитам, там был отважнейший Шлишпенбах. А, помимо всего, пострадала бы гордость его, наследника славы Александра Македонского и Цезаря, смешавшего свои великие планы из-за какой-то голубиной депеши, да еще переданной распутной куртизанкой...

Весть о приходе в Сокаль русского вспомогательного войска и о неожиданном марше Августа на Варшаву из-под самого носа Карла (который, как сытый лев, лениво не торопился вонзить клыки в обреченного польского короля) привез тот самый шляхтич, что на пиру у пана Собецанского разрубил саблей блюдо с колбасой. Граф Пипер в смущении пошел будить короля, — было это на рассвете. Карл тихо спал на походной постели, положив на грудь скрещенные руки. Слабый огонек медной светильни озарял его большой нос с горбиной, аскетическую впадину щеки, плотно сжатые губы, — даже и во сне он хотел быть необыкновенным. Он походил на каменное изваяние рыцаря на саркофате.

Вначале граф Пипер положил надежду на королевского петуха, которому как раз приспело время загорланить во всю глотку. Но петуху приходилось разделять монашеское житие вместе с королем, он только повозился в клетке за парусиной шатра и хрипло выдал из горла что-то вроде — э-хе-хе...

— Ваше величество, проснитесь, — как можно мягче произнес граф Пипер, прибавляя огонек в светильне, — ваше величество, неприятное известие. (Карл, не шевелясь, открыл глаза). Август ушел от нас...

Карл тотчас сбросил на коврик ноги в холщевых исподних и шерстяных чулках, опираясь на кулаки, глядел на Пипера. Тот со всей придворной осторож-

ностью рассказал о счастливой перемене судьбы Августа.

— Мои ботфорты, штаны! — медленно произнес Карл, еще ужаснее раскрывая немигающие глаза, — они даже начали мерцать, или то было отражение в них огонька светильни, начавшего коптить. Пипер кинулся из шатра и тотчас вернулся с Беркенгельмом в нахлобученном кое-как парике. В палатку входили генералы. Карл надел штаны, задирая ноги, натянул ботфорты, застегнул сюртук, обломав два ногтя, и тогда только дал волю своей ярости.

— Вы проводите время с грязными девками, вы разжирили, как католический монах! — лающим голосом (потому что скулы у него сводило и зубы лязгали) кричал он ни в чем не виновному генералу Розену. — Сегодня день вашего позора, — повернувшись точно для удара шпагой, кричал он генералу Левенгаупту, — вам уместно тащиться нижним чином в обозе моей армии! Где ваша разведка? Я узнаю новости позже всех!.. Я узнаю важнейшие новости, от которых зависит судьба Европы, от какого-то пьяного шляхтича! Я узнаю их от куртизанок! Я смею! Я еще удивляюсь, почему меня сонного не утащили из шатра казаки и с веревкой на шее не отвезли в Москву! А вам, господин Пипер, советую заменить дурацким колпаком графскую корону на вашем гербе! Вы, пожиратель бекасов, вурлопак и прочей дичи, пьяница и осел! Не смейте изображать оскорбления! Я с удовольствием вас колесую и четвертую! Где ваши шпионы, я спрашиваю? Где ваши курьеры, которые должны сообщать мне о событиях за сутки раньше, чем они случаются? К черту! Я бросаю армию, я становлюсь частным лицом! Мне противно быть вашим королем! Вам нужен какой-нибудь толстоузый король Дагобер, который носил пивную кружку на голове.

Затем король Карл оторвал все пуговицы на своем сюртуке. Ударом ботфорта проткнул барабан. В клочья истрепал парик, стащив его с головы барона Беркенгельма. Ему никто не возражал, — он метался по шатру среди пятящихся придворных. Когда припадок берсеркьерства стал утихать, Карл завел руки за спину, нагнул голову и проговорил:

— Приказываю немедленно по тревоге поднять армию. Даю вам, господа, три часа на сборы. Я выступаю. Вы узнаете все из моего приказа. Оставьте мой шатер. Беркенгельм, перо, бумагу и чернила.

6.

— Это несомненно... Стоим, стоим целую вечность... Побольше решительности, хорошая атака, и сегодняшнюю ночь мог-

ли бы почевать в Варшаве, — ворчливо говорила графиня Козельская, глядя в окно кареты на бесчисленные огни костров, раскинувшиеся широкой дугой перед невидимым в ночной темноте городом. Графиня устала до потери сознания. Ее изящная карета с золотым купидоном сломалась на переправе через реченку и пришлось пересест в неудобный, трясучий, безобразный экипаж пани Анны Собещанской. Графиня была так зла, пани Анна казалась ей столь презренным существом, что она была даже любезна с этой захолустной полячкой.

— Карета короля стоит впереди нас, но его там нет!.. О чем он думает — самому богу неизвестно!.. Никаких приговоров к ужину и отдыху!..

Графиня с трудом, дергая за ремень, опустила окно кареты. Потянуло теплым запахом конского пота и сытным дымком солдатских кухонь. Ночь была полна лагерного шума, — переключались голоса, трещали сцепившиеся телеги, — крики, брань, хохот, конский топот, отдаленные выстрелы. Графине осточертели эти походные удовольствия, она подняла стекло. Откинулась в угол кареты, ей все мешало, — и сбившееся платье, и бурнус, и углы шкатулок, она бы с наслаждением кого-нибудь укусила до крови!..

— Боюсь, что королевский дворец мы найдем в полнейшем беспорядке, ограбленным!.. Семья Лещинских славится алчностью, и я слишком хорошо знаю Станислава, — ханжа, скуп и мелочен!.. Он бежал из Варшавы не с одним молитвенником в кармане. Советую вам, милая моя, иметь в запасе чей-нибудь партикулярный дом, если, конечно, у вас в Варшаве есть приличные знакомые!.. На короля Августа вы не очень то рассчитывайте!.. Боже, какой это негодяй!

Пани Анна наслаждалась беседами с графиней, — это была высшая школа светского воспитания. Пани Анна с юного девчества, едва только под сорочкой у нее стали заметны прелестные выпуклости, мечтала о необыкновенной жизни. Для этого стоило только поглядеться в зеркало: хороша, да не просто хорошенькая, а с перчиком, умна, остра, резва и неумолима. Родительский дом был беден. Отец разорившийся шляхтич; промышляла по ярмаркам да за карточными столами у богатых панов. Он редко бывал дома. В затрапезном кафтанчике, усталый, присмирелый, с помятым лицом, сидел у окошка и тихо глядел на бедное свое хозяйство. Анна, — единственная и любимая дочь, — приставала к нему, чтобы рассказывал про свои похождения. Отец, бывало, с неохотой, потом — разгорячась, начи-

вал хвастать подвигами и сильными накомствами. Как волшебную сказку мушала Анна были и небыллицы проудеса и роскошь князей Вишневецких, Хотюцких, Любомирских, Чарторийских... Когда отец, продав за карточный долг последнюю клячу со двора и съев последний куренка, просватал дочь за ожидлого пана Собещанского, — Анна не противилась, понимая, что этот брак лишь надежная ступень к будущему. Горчало ее только то, что муж уж лишком пылко, не по годам, влюбился. Сердце у нее было доброе, впрочем в одном подчинении у рассудка.

И вот, — случай вознес ее сразу на самый верх лестницы счастья. Король упал в ее сети. У пани Анны не закурилась голова, как у дурочки; острый ум ее стал шнырять; как мышь в темном закроме; — все надо было обдумать и предвидеть. Пану Собещанскому, который, обыкновенно, как влюбленный муж, ничего не понимал и не видел, она заявила ласково: «Хватит с меня переменной глуши! Вы сами, Иозеф, должны быть за меня счастливы: теперь я хочу быть первой дамой в Варшаве. Ни о чем не заботьтесь, пируйте себе и обжайте меня».

Сложно было другое: пережить пражинию Козельскую и безмятежно утешить ее, и самое, наконец, шепетильное, — не для минутной прихоти послужить королю, но привязать его прочно...

Для этого мало одной женской прелести, для этого нужен опыт. Пани Анна, не теряя времени, выведала у графини тайны обольщений.

— Ах, нет, любезная графиня, в Варшаве я готова жить в лачуге, лишь — близки вас, как серая пчелка близ розы, — говорила пани Анна, сидя с подкатыми ногами в другом углу кареты и мельком поглядывая на лицо графини с закрытыми глазами; оно то розовело от отблесков костров, то погружалось в тень (будто луна в облаках). — Ведь я еще совсем дитя. Я до сих пор прожужу, когда король заговаривает со мной, — не хочется ответить что-нибудь глупое или неприличное.

Графиня заговорила, будто отвечая на свои мысли, кислые как укус:

— Когда король голоден — он пожирает с одинаковым удовольствием ржаной хлеб и страсбургские пироги. В одном придорожном шинке он увязался за рябой казачкой, бегавшей как молния, через двор на погреб и опять в шинок с кувшинами... Она ему показала женщину... Только одно это имеет для него значение... О чудовище! Графиня Кенигсмарк взяла его тем, что во время танца показывала подвязки, —

черные бархатные ленточки, завязанные бантиками на розовых чулках...

— Иезус, Мария, и это так действует? — прошептала пани Анна.

Он, как скотина, влюбился в русскую боярыню Волкову; она во время бала несколько раз меняла платье и рубашку; он вбежал в комнату, схватил ее сорочку и вытер лотное лицо... Такая же история была в прошлом столетии с Филиппом Вторым — королем Франции... Но там это кончилось долгой привязанностью, а боярыня Волкова, ко всеобщему удовольствию улизнула у него из-под носа...

— Я ужасно глупа! — воскликнула пани Анна, — я не понимаю при чем же тут сорочка той особы?

— Не сорочка, важна кожа той особы, ей присущий запах... Кожа женщины тоже, что аромат для цветка, об этом знают все девчонки в школах при женских монастырях... Для такого развратника, как наш возлюбленный король, его нос решает его симпатии...

— О, пресвятая дева!

— Вы присматривались к его огромному носу, которым он очень гордится, находя, что это придает ему сходство с Генрихом Четвертым... Он все время раздувает ноздри, как лягавая собака, почуявшая куропатку...

— Значит, особенно важны духи, амбрные пудры, ароматические притирания? Так я поняла, любезная графиня? — Если вы читали Одиссею, должны помнить, что волшебница Цирцея превращала мужчин в свиней... Не притворяйтесь наивной, милая моя... А впрочем, все это достаточно противно, скучно и унижительно...

Графиня замолчала. Пани Анна принялась размышлять, — кто кого, собственно, сейчас пережил? За окном кареты показалась конская морда, рсяющая пену с черных губ. Подъехал король. Он соскочил с седла, раскрыл дверцу, — ноздри его были раздуты, крупное, оживленное лицо ослепительно улыбалось. При свете факела, которым светил верховой, он был так великолепен в легком золоченом шлеме, с закинутым наверх забралом, в пышно перекинутой через плечо пурпурной мантии, что пани Анна сказала себе: «Нет, нет, никаких глупостей...» Король воскликнул весело:

— Выходите, сударыни, вы будете присутствовать при историческом зрелище...

Пани Анна тотчас, тоненько вскрикнув, выпорхнула из кареты. Графиня сказала:

— У меня переломлена поясница, чего вы, несомненно, добивались, ваше величество. Я не одета и останусь здесь дремать на голодный желудок.

Король ответил резко:

— Если вам нужны носилки, я пришла...

— Носилки, мне? — От ударов зеленого света ее распахнувшихся глаз Август несколько попятился. Графиня, будучи с зажженным фитилем, вылетела из кареты, — в персиковом бурнесе, в огоньках драгоценных камней, дрожащих в ушах, на шее, на пальцах, с куафюрой потрепанной, но оттого не менее прелестной. — Всегда к вашим услугам! — и сунула голую руку под его локоть. Еще раз пани Анна поняла, как велико искусство этой женщины...

Втроем они пошли к королевской карете, где при свете факелов стоял на конях эскадрон отборной шляхетской конницы, — в кирасах с белыми лебедьими перьями, прикрепленными за плечами на железных ободах. Август и дамы, — по сторонам его и несколько позади, — сели в кресла на ковре. У пани Анны билось сердце; — ей представлялось, что обступившие их высокие всадники с крыльями, с бликами огня на кирасах и шлемах, — боژی ангелы, сошедшие на землю, чтобы вернуть Августу его варшавский дворец, славу и деньги... Она закрыла глаза и прочла короткую молитву:

— Да будет король в руках моих, как ягненок...

Послышался конский топот. Эскадрон расступился. Из темноты приближался великий гетман Любомирский со своим конвоем, также с крыльями за плечами, но лишь из черных перьев. Подъехав вплотную к королю, великий гетман рванул поводья, раздув епанчу, прынул с храпящего коня и на ковре преклонил колено перед Августом:

— Если можешь, король, прости мою измену...

Горячие темные глаза его глядели твердо, воспаленное лицо было мрачно, голос срывался. Он ломал свою гордость. Он не снял меховой шапки с алмазной гирляндой, лишь сухие руки его дрожали...

— Моя измена тебе — мое безумие, потемнение разума... Верь, — я все же ни часу не признавал королем Станислава... Обида терзала мои внутренности. Я дождался... Я бросил ему под ноги мою булаву... Я плюнула и вышла от него... На королевском дворе на меня напали солдаты коменданта... Слава богу, рука моя еще крепко держит саблю, — кровью проклятых я скрепил разрыв с Лещинским... Я предлагаю тебе мою жизнь.

Слушая его, Август медленно стаскивал железные перчатки. Уронил их на ковер, лицо его прояснилось. Он поднялся, протянул руки, потряс ими:

— Верю тебе, великий гетман... От всего сердца прощаю и обнимаю тебя...

И он со всей силой прижал его лицо к груди, к чеканным кентаврам и ним-

фам, изображенным на его панцире итальянской работы. Продержав его так прижатым, несколько дольше, чем следовало, Август приказал подать еще один стул. Но стул уже был подан. Великий гетман, время от времени трогая помятую щеку, стал рассказывать о варшавских событиях, произошедших после его отказа выступить против Августа и русских.

В Варшаве начался переполох. Кардинал примас Родзиевский, который в прошлом году на люблинском Сейме публично, на коленях перед распятием, клялся в верности Августу и свободе Речи Посполитой, а через месяц в Варшаве поцеловал лютеранское евангелие на верность королю Карлу, потребовал, — даже с пеной на губах, — декорации Августа, выдвинул кандидатом на престол князя Любомирского и тут же, по требованию Арведа Горна, предал и его, — этот трижды предатель первым бежал из Варшавы, ухитрясь при этом увезти несколько сундуков церковной казны.

Король Станислав три дня бродил по пустому дворцу, — с каждым утром все меньше придворных являлось к королевскому выходу. Арвед Горн не спускал его с глаз, — он поклялся ему удержать Варшаву с одним своим гарнизоном. Так как по правилам этикета он не мог присутствовать за королевским столом, поэтому в обед и ужин сидел рядом в комнате и позванивал шпорами. Станислав, чтобы не слышать досадливого позванивания, читал сам себе вслух по-латыни, между блюдами, стишки Апулея. На четвертую ночь он все же улизнул из дворца, — вместе со своим парикмахером и лакеем, — переодетый в деревенское платье, с наклеенной бородой. Он выехал за городские ворота на телеге с двумя бочками дегтя, где находилась вся королевская казна. Арвед Горн слишком поздно догадался, что король Станислав, — истинный Лещинский, — помимо чтения Апулея и скучливого шагания вместе со своей собакой по пустым залам, занимался в эти дни и еще кое-чем... Арвед Горн сорвал и растоптал занавеси с королевской постели, прогнул шпагой дворцового маршалка и расстрелял начальника ночной стражи. Но теперь уже ничто не могло остановить бегства из Варшавы знатных панов, так или иначе связанных с Лещинским.

Август хохотал над этими рассказами, стучал кулаками по ручкам кресла, обрачивался к дамам. Глаза графини Козельской выражали только холодное презрение, зато пани Анна заливалась смехом, как серебряный колокольчик.

— Какой же совет ты мне дашь, великий гетман? Осада или немедленный штурм?

— Только — штурм, милостливый ко-

роль. Гарнизон Арведа Горна невелик. Варшаву нужно взять до подхода короля Карла.

— Немедленный штурм, черт возьми! Мудрый совет. — Август воинственно громыхнул железными наплечниками. — Чтобы штурм был удачен — нужен хорошо накормить войско, хотя бы вареной гусятиной... По скромному счету пять тысяч гусей!.. Гм! — Он сморщил нос. — Неплохо также заплатить жалованье... Князь Дмитрий Михайлович Голицын смог выделить мне только двадцать тысяч ефимков... Гроши! Что касается денег — царь Петр не широк, нет — не широк! Я рассчитывал на кардинальскую и дворцовую казну... Украдена! — закричал он, багровея. — Не могу же я обложить контрибуцией мою же столицу!

Князь Любомирский все это выслушал, глядя себе под ноги и сказал тихо:

— Мой войсковой сундук еще не пуст... Прикажи только...

— Благодарю, охотно воспользуюсь, — несколько слишком торопливо, но с чисто версальской грацией ответил Август... — Мне нужно тысяч сто ефимков... Возвращу после штурма.. — Просияв, он поднялся и снова обнял гетмана, коснувшись щекой его щеки. — Иди, князь, и отдохни. И мы хотим отдохнуть.

Гетман вскочил на коня, не оборачиваясь, усакаал в темноту. Август повернулся к дамам.

— Сударыни, итак, ваше утомительное путешествие будет вознаграждено... Скажите мне лишь ваши желания... Первое из них и самое скромное, — я догадываюсь, — ужинать... Не подумайте, что я забыл о ваших удобствах и развлечениях... Таков долг короля, — никогда и ничего не забывать... Прошу в мою карету...

(Продолжение следует.)

КАПИТАН 1-го РАНГА

Роман

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

★

ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

I

Большой моторный катер, на котором я находился, вышел из гавани и, сделав крутой поворот, направился на запад. Слева, в открытые иллюминаторы, заглядывало летнее солнце, обдавая теплом. Под ясным небом сладостно нежилось море, сверкая словно безмерная шаль, вышитая золотыми узорами. Море и воздух казались неподвижными. Только под кормою кипел бурун и тянулся за нами треугольником волн.

Я ехал на линкор «Красный партизан». Со мною в каюте сидело несколько краснофлотцев. Здесь были артиллеристы, торпедисты, электрики, кочегары. Они знали меня и охотно со мною разговаривали.

— Вы бы описали нашего командира судна, — сказал артиллерийский старшина, хитровато улыбаясь тонкими губами.

— Почему именно его? — спросил я небрежно, полагая, что артиллерист сказал это ради шутки.

— Человек интересный. О нем можно целую книгу сочинить.

— А кто у вас командиром?

— Капитан 1-го ранга Куликов. Он участник гражданской войны. Отважный человек. Недаром правительство наградило его двумя орденами. Надо думать, что и орден Ленина получит.

— Ну как вы с ним живете?

— Хорошо. Команда очень довольна им.

— Вероятно, уже пожилой?

— Да, годков ему порядочно будст, наверно, вторую полсотню разменял. Только никак не хочет с этим примириться. И все удаль свою показывает. По физкультуре любого молодого замочает. Железный человек. Неделю тому назад он участвовал в состязании по заплыву. Расстояние было тысяча метров. И что же вы думаете? Занял второе место.

Рыжий кочегар, которого товарищи называли Галкиным, добавил:

— Наш командир любит также участвовать в гонках на гребных шлюпках. Это для него самое большое удовольствие. В таких случаях он сдает судно своему старшему помощнику и садится на весла. Ну, и сила же у него!

Я слушал эти отзывы и вспоминал прошлое. Мне, бывшему моряку, хорошо были известны порядки в царском флоте. Тогда не только командир, но и ни один мичман не мог сесть на весла наравне с матросами. В таких поступках офицера увидели бы подрыв дисциплины. А если бы это сделал глава судна, то такого начальника все офицеры сочли бы сумасшедшим или опасным нигилистом и, вероятнее всего, на него полетели бы в Главный морской штаб доносы. Нечего и говорить о том, чтобы командир того или другого корабля решился принять участие в состязаниях по плаванию. На высшую власть того времени это произвело бы ошеломляющее впечатление, равносильное сообщению о мятеже на каком-нибудь судне.

Командир Куликов начал интересоваться мной. Хотелось узнать о нем подробнее. Краснофлотцы охотно отвечали на мои расспросы.

Заговорил электрик Сигалов, низкорослый и большеголовый парень.

— С таким командиром можно служить: умный и справедливый человек. И что за голова у него! Ведь сколько людей на судне! А он знает почти каж-

* Среди рукописей, оставшихся после А. С. Новикова-Прибоя, оказалось восемь глав из второй, неоконченной части романа «Капитан 1-го ранга». С разрешения наших следников редакция печатает эти главы-фрагменты.

дого в лицо и по фамилии. Он часто обходит корабль. И у него такая привычка: где много людей, он присоединится к ним или даже присядет потолковать с краснофлотцами. Тут с ним можно говорить о чем угодно: о домашних делах, о колхозах, о танцах, о том, кто и чем займется после службы, у кого и где находится невеста. Иногда он обратится к краснофлотцу: «Ну, товарищ Поляков, что вам пишет Маруся?» А тот отвечает ему: «Это было, товарищ капитан 1-го ранга, в прошлом году». — «Так быстро угасла у вас любовь?» — «Ничего не поделаешь, товарищ капитан 1-го ранга. Если женское сердце сравнить с замком, то я к нему не мог подобрать ключа». А командир уже спрашивает другого: «Товарищ Дроздов, как ваш сынок Вася поживает? Растет?» Вот память! Уж что он услышал, то никогда не забудет. Бывает — командир сам начнет нам рассказывать что-нибудь такое, что мертвых рассмешит. А как встал и пошел, то опять он начальник. Этому командиру очки не вотрешь. Ты никак не узнаешь, когда ему вздумается облизать корабль: днем, ночью или перед рассветом. Таким образом и командный состав и краснофлотцы у нас всегда на-чеку.

Я спросил:

— Командир, видимо, живет с вами в хороших товарищеских отношениях. Но этим не снижает ли он себя в глазах своих подчиненных?

— Нисколько, — поспешил с ответом кочегар. — Он является для нас опытным и разумным начальником, каждое его слово для нас закон. А характером командир такой: сам он не врет и не любит тех, кто вздумает его обмануть. Случается, что человек совершит нечаянно какой-нибудь проступок по службе. Тогда лучше заранее иди к командиру и расскажи ему все по совести как было дело. Он во всем разберется и может простить тебя. Но если ты соврешь ему, то пощадя не жди. Больше тебе не придется с ним служить. У него лозунг такой: экипаж судна — это одна дружная и честная семья, а родина — ее мать.

Один из собеседников посоветовал мне:

— Когда вы познакомитесь с ним поближе, то расспросите его о гражданской войне. Вот порасскажет — заслушаетесь. Досталось от него белогвардейцам.

Чем больше я беседовал с краснофлотцами о командире Куликове, тем сильнее он возбуждал к себе мое любопытство. Судя по их восторженным отзывам, он, повидимому, пользовался среди своих подчиненных большой любовью. И авторитет его, как начальника, стоял чрезвычайно высоко. Насколько я понял, это был испытанный боец, проявивший себя

во время гражданской войны как великолепный стратег и тактик. А рассказы о его непомерной храбрости были похожи на легенды.

Через несколько часов наш моторный катер повернул влево. За это время солнце значительно склонилось к западу и теперь заглядывало в каюту справа. Попржнему зорчато искрилось море и казалось еще более приветливым. Голубели ясные дали, и, как всегда, манили душу моряка смутными обещаниями.

Вскоре за мысом, поросшим громадными соснами, показалась эскадра, стоявшая на якоре в просторной губе. Это постоянное ее местопребывание во время летних учений. Все яснее вырисовывались контуры кораблей. Здесь были линкоры, крейсера, эсминцы, посыльные суда. Ближе к берегу, разбившись на небольшие группы, выстроились рядами подводные лодки. Эти страшные боевые единицы теперь казались игрушечными суденышками, созданными как будто только для забавы человека. Среди них возвышались своими корпусами пароходы — это базы для подводников. Эскадра слегка дымилась. Не трудно было догадаться, что на судах лишь часть котлов находилась под парами, обслуживая вспомогательные механизмы.

Я с жадностью смотрел на корабли, и мысль невольно возвращалась к недавнему прошлому. Что было после гражданской войны? Часть судов была потоплена в сражениях, многие корабли белогвардейцы, изменив своей родине, увели за границу. В разоренной Советской стране остался небольшой флот, плохо обслуживаемый и не имевший даже возможности обеспечить себя топливом. Но теперь он сильно увеличился в своем составе, скреп и продолжает вырастать в могучую и грозную силу, охраняя водные рубежи социалистического отечества.

Катер с полного хода ловко пристал к правому трапу линкора «Красный партизан». Я взшел на верхнюю палубу. Меня встретил капитан 2-го ранга, откомендовавшийся старшим помощником командира Ложкиным. Он почтительно улыбался, сверкая золотыми коронками на передних зубах. Его высокая фигура на момент заслонила от меня всю палубу. Тут же со мною поздоровался лейтенант — вахтенный командир. Только теперь я заметил, как много людей на верхней палубе. Но еще больше удивило меня то, что из них только вахтенные были одеты по всей форме. А остальные не имели на себе ничего, кроме трусиков или плавок. Капитан 2-го ранга Ложкин, заметив мое изумление, пояснил мне:

— Это перед ужином приготовились купаться.

Оглянувшись, он осторожно взял меня

под локоть и подвел к пожилому человеку.

— Познакомьтесь — наш командир, капитан 1-го ранга Куликов. А это..

Старший помощник назвал мою фамилию.

Командир протянул руку и до боли сжал мои пальцы в своей широкой и сильной, как медвежья лапа, ладони.

— Очень рад с вами познакомиться, — заговорил он басом, вонзаясь в меня пытливым взглядом серых глаз. — Заочно я давно знаю вас по вашим произведениям. Приехали посмотреть, как мы живем?

— Совершенно верно, товарищ Куликов, — ответил я, в свою очередь оглядывая его с ног до головы.

Большая седеющая голова, подстриженная под ершика, уверенно покоилась на толстой шее. Лицо, гладко выбритое, безусое, продубленное солнцем и морскими ветрами, было кирпичного цвета. Он был среднего роста, широкоплеч, грудаст и твердо стоял на упругих ногах, немного расставив их, как привык это делать на мостике во время качки. Ему, вероятно, перевалило за пятьдесят лет, но его тело сохранило гибкость и молодость. Он то сдержанно улыбался, то сразу становился серьезным, выражая нетерпение скорее познать гостя.

— Может быть, и вы за компанию покупаетесь? С дороги это будет особенно полезно.

— Благодарю вас. Этим делом, с вашего разрешения, я займусь завтра.

Со мною здоровались какие-то еще люди, и каждый из них называл свое звание и свою фамилию. Так, помимо командира, со мною перезнакомились корабельный врач, инженер-механик, лейтенанты-артиллеристы, штурманы и политработники.

На палубе стояли во фронте краснофлотцы, разбившись на подразделения, объединенные одной какой-нибудь специальностью. Старшины групп проверяли наличие желавших купаться. Когда все было готово, вахтенный командир, взглянув на часы, приказал горнисту:

— Играть движение вперед.

Раздались звуки горна. Всегда привычные и знакомые, они в этот момент прозвучали по-особенному, взбудоражив жизнь на корабле. Сигнал внес необычное оживление среди людей. Смех и говор заполнили палубу, как будто сразу оборвалась дисциплина. Сотни моряков, блестя на солнце свежестею и здоровьем юношеских тел, устремились на старт купания. Одни спускались по трапам на нижние ступеньки — это были, вероятно, новички водного спорта. Другие, материые пловцы, становились в шеренгу по борту с солнечной стороны или при-

мачивались на откиннутые от бортов выстрелы*. Некоторые мастера прыжков в воду, взбирались на мостики, высота которых над морем равнялась самым высоким вышкам и трамплинам водных станций. Меня целиком захватила вся эта горячка приготовлений к купанию гонимой массы в разноцветных плавках и трусиках. Прежде чем войти в воду, многие, стоя у самых краев борта и мостиков, на выстрелах и на ступеньках трапа, продельвали всевозможныевольные гимнастические упражнения. Люди, словно проверяя свои физические силы, вытягивались на носках, трясли ногами, подтягивали животы, расправляли плечи, приседали, поджимали колени, размахивали руками, выбрасывали их вперед, назад, вверх, массировали мышцы груди. Корабль, облепленный обнаженными телами, теперь походил на спортивную водную станцию или школу плавания на Москва-реке. Так же, как и там, здесь борт, мостики, выстрелы и трапы служили вышками и трамплинами разной высоты.

От борта линкора отделились шляпки и направились в разные стороны.

Капитан 2-го ранга пояснил мне:

— Дежурные шляпки на случай оказания помощи тонущим. Это у нас всегда на купании. Наш освод.

От движения шляпок на спокойной воде расходились легкие волны, дробя солнечные блики. На поверхности моря вспыхивали беглые зайчики. От их ослепительных искр жмурились глаза стартовых купальщиков.

Вдруг, покрывая говор, раздались всплески падающих в воду тел.

Я увидел, как с мостика прыгнул головою вперед, поворачиваясь винтом, человек в голубых плавках. Одновременно с ним, согнувшись и поджав колени почти к груди, закувыркался двумя сальтами в воздухе еще человек в черных трусиках. Оба они шукой нырнули в глубину.

Капитан 2-го ранга не переставал пояснять мне:

— Это два из многих наших мастеров прыжка: в голубых плавках — машинист, в черных трусах — сигнальщик.

Я не успевал следить за множеством простых и сложных прыжков. Началось непрерывное мелькание бросающихся вниз тел, в разных замысловатых движениях. Меня удивляло, до чего многочисленны и разнообразны могут быть фигурные комбинации из человеческого тела. Конечно, не все моряки продельвали сложные и смелые прыжки. На-

* Выстрелом называется рангоутное дерево, которое во время якорной стоянки откидывается от борта и к которому привязываются шляпки.

блудались чередования простейших входов в воду без толчка, «спады» вниз головой и «соскоки» ногами. Но все это неударжимое стремление к воде настолько было заразительно, что мне самому хотелось, не раздеваясь, броситься с борта в прохладную влагу.

Залюбавшись воздушными полетами моряков, я забылся и потерял из виду самого командира.

На заднем мостике стоял инструктор по спорту, одетый в форму младшего командира. В руке он держал записную книжку, отмечая в ней свои наблюдения за купающимися.

Мне опять вспомнился царский флот. За шесть лет, проведенных мною на военных кораблях, я никогда не видел того, что пришлось наблюдать здесь. Лишь на некоторых судах раза два в месяц устраивались общие купания. Но в этом принимали участие не больше одной четвертой части команды. А остальные, не умея плавать, с завистью смотрели на своих товарищей, но продолжали оставаться на палубе боязливыми зрителями, изнывая от жары и пота. Для купающихся, чтобы они не могли утонуть, укрепляли за выстрелы сеть, горизонтально погруженную в море на глубину половины человеческого роста. Таким образом, раздольная ширь сводилась до масштаба деревенской лужи, где можно было только барахтаться, а не свободно плавать. Поэтому прыгать вниз головой с бортов, а тем более с мостиков, совсем никому не разрешалось. Еще хуже было на кораблях учебно-артиллерийского отряда. Каждый год этот отряд по три месяца проводил на Ревельском рейде. Адмиралу никогда и в голову не приходило разрешить команде купаться. Так же было и на кораблях минного отряда. Матросы могли позволить себе такое удовольствие только в тех случаях, когда их отпускали на берег. Неудивительно, что большинство из командны, прослужив на судах военного флота по семи лет, ни разу не испытали радости морского купания.

Начальство будто не понимало, какую пользу приносит людям купание. Совершенно иначе смотрят на это в советском флоте. Сейчас каждому пионеру известно, что ни один спорт не может так закалить человека, как купание. А все эти упражнения в прыжках развивают в моряке ценнейшие свойства: решимость, самообладание, настойчивость и умение добиться победы.

Я обратился к старшему помощнику Ложкину:

— А есть у вас из команды не умеющие плавать?

— Ни одного! — не без гордости ответил он. — А если из молодых краснофлотцев такие к нам попадут, то их обя-

зательно научат овладеть этим искусством. Моряк не должен бояться воды. Вы видите, с какой охотой все бросаются в море? Это вполне естественно. Молодежь всегда имеет желание помериться своими силами с другими. Добиться успеха в соревновании — вот одна из важных форм ее воспитания.

Вокруг линкора шумные всплески воды смешивались с человеческим гомоном. В косых лучах солнца радужно вспыхивали фонтаны брызг. Одни из моряков просто плавали, пользуясь для этого разными стилями, другие пускались на перегонки, соревнуясь между собою в быстроте и на дальность заплыва. Некоторые из купающихся, разбившись на кучки, сгрудившись, играли в водное поло. Ведя и перебрасывая резиновый шар, игроки действовали руками и головой. Можно сказать, все части тела пускались в бой. И выходило это у них с такой поразительной легкостью и свободой, словно они двигались не в море, а на суше. Поражало их мастерство держаться и двигаться на воде. В стороне от групповых заплывов видно было, как несколько виртуозов то состязались понырянию вдале, то показывали фокусы, перевортываясь в воде колесом, то неподвижными пластинами застывали на спине, ложась в дрейф. Под безоблачным небом, в лучах дневного светила море, ослепляя отраженным блеском, как бы кипело от множества барахтавшихся молодых, сытых и загорелых тел. В этом общем порыве возбужденного движения, казалось, принимали участие и чайки, с криком носившиеся над пловцами. Получалось впечатление, что эти люди выросли в самом море, оно стало для них родной стихией, и они, возбужденные, резвились в нем, как дельфины. Я слушал задорные выкрики и безудержный смех сотен моряков, и у меня возникла мысль, что так ярко веселиться не могли даже древние греки, родоначальники культуры водного спорта.

Я обратился к старшему помощнику:

— Часто бывают у вас такие купания?

— Во время стоянки на якорь каждый день перед обедом. Иногда и перед ужином еще раз купаются, как, например, сегодня.

Я посмотрел на другие корабли — вокруг них так же, как и здесь, купались люди.

По приказу вахтенного горнист проиграл сигнал купающимся. Моряки стали повертываться к линкору. По трапам и шторм-трапам они быстро взбирались на палубу. На них, словно утренняя роса, дрожали, излучаясь солнцем, капли морской влаги. Бодрые, налитые силой молодости, они разбегались по кораблю, торопясь одеться в морскую форму.

II

Мне дали отдельную небольшую каюту. Я с радостью поселился в ней. Столик, кресло, койка, диван, умывальник, шкаф для белья и одежды, книжные полки были так удобно размещены, что занимали мало места. А чтобы во время качки мебель не могла передвигаться, она была прикреплена к переборкам или к палубе. Мое помещение показалось мне достаточно уютным. Ночью оно освещалось электрической лампой, днем проникал свет через иллюминатор. Этот иллюминатор все время был у меня открыт, и я с наслаждением вдыхал соленый морской воздух.

Находясь в отдельной каюте, я не переставал ощущать биения пульса судовой жизни. Линкор, даже стоя на якоре, не замирал ни на одну минуту. Молчали лишь его главные машины, а вспомогательные механизмы продолжали работать. При них люди несли свою вахту. По временам до моего слуха доносились выкрики отдаваемых начальством распоряжений или топот ног пробегавшего по коридору человека.

Вчера после купания мне не удалось повидаться с командиром Куликовым. Он был чем-то занят и за весь вечер, запершись у себя в каюте, ни разу не показался на людях. А сегодня утром за мною прибежал вестовой и пригласил меня в салон. Там за круглым столом уже сидел командир. Он был одет в белый китель, в широкие темносиние брюки. Грудь его украшали два ордена Красного Знамени, на рукавах блестяли по одной широкой золотой нашивке, означая звание капитана 1-го ранга. При моем появлении он встал, поздоровался со мною и справился, как я спал и как я вообще чувствую себя на новом месте. На мои положительные ответы его загорелое и лоснящееся лицо слегка улыбнулось. Он пригласил меня за стол:

— Вместе подхарчимся.

Движения его были неторопливо-солидные. Но ел он хлеб с маслом, сыр, яйца и пил кофе с такой поспешностью, словно находился в буфете железнодорожной станции и боялся опоздать к поезду. Меня удивляло его молчание. По отзывам краснофлотцев он представлялся мне не таким. И почему-то он поглядывал на меня подозрительно, словно был недоволен мною. Что случилось? И только покочив с завтраком, Куликов вытер салфеткой губы и заговорил:

— Вы женаты?

Я растерялся от неожиданности такого вопроса и не сразу ответил, а он, как бы утешая меня, сказал:

— Ничего. Я тоже женат.

Озорной огонек сверкнул в его серых глазах. Мне показалось, что он понимает надо мною. Я хотел заметить ему, о нелепости его вопроса. Но он тепло улыбнулся и спросил:

— Как вам нравится наш линкор?

— Ничего не могу сказать, потому что не видел его как следует.

Он встал и вышел из-за стола.

— Мы с вами успеем о многом поговорить. А пока вот что — познакомьтесь кораблем. Я назначу вам толкового лейтенанта. Походите с ним по разным отделениям.

— Спасибо.

Командир продолжал:

— Современный линкор — это вам не прежние корабли. Ход его до двадцати пяти узлов. Он может поражать противника, еле видимого на горизонте. И вы знаете, какую энергию заключает в себе «Красный партизан»?

Я вопросительно поднял брови.

— Не меньше, чем Волховская гидроэлектрическая станция. Ничего себе, а?

— Да, наглядно.

Извинившись, Куликов удалился по своим делам.

Я остался в салоне один, размышляя о современном флоте. На подобных линкорах и других судах я и раньше бывал, но от этого у меня нисколько не утратился интерес к военному кораблю. А «Красный партизан» особенно занимал меня. Закованный в толстую броню, он сверху не имел никаких лишних надстроек. Башни, передний и задний мостики, две дымовые трубы, подъемные краны — вот все, что возвышалось над верхней палубой. С внешней стороны он напоминал громадный утюг длиной в одну пятую часть километра. Башни и борта линкора грозно ощерились дальнобойными и противоминными орудиями.

В салон вошел старший лейтенант художавый и стремительный человек лет тридцати семи. Скуластое, со впалыми щеками, его лицо приветливо улыбалось, из-под густых бровей, сросшихся над переносицей, бодро смотрели карие глаза. Протягивая мне руку, он браво отрекомендовался:

— Федор Матвеевич Пазухин. Назначен командиром в ваше распоряжение, чтобы познакомить вас с нашим линкором.

Я попросил его присесть и предложил ему папиросу. Пока мы курили, я узнал от него кое-что из его биографии. До службы он занимался со своим отцом рыболовством на Белом море. С малых лет он увлекался водной стихией. Поэтому по первому призыву ЦК комсомола он добровольно пошел во флот

Будучи на действительной службе, Пазухин прошел школу рулевых, а затем три года пробыл на сверхсрочной службе в звании младшего командира. За это время, посещая вечерние курсы по общеобразовательным предметам, он подготовился и поступил в Военно-морское училище. По окончании его стал штурманом. Но ему хотелось приобрести больше знаний. Этой весной он получил диплом об окончании академии по своей специальности.

Я спросил:

— Что это ваш командир такой необычайный? Никак к нему не подъедешь. Молчит. Всегда он такой?

Лейтенант Пазухин рассмеялся.

— Значит, присматривается к вам. Это будет продолжаться еще два-три дня. А в общем это замечательный командир: по службе суровый, но в жизни исключительно добряк. Великолепный организатор и боевой человек. Плавать с ним — это значит пройти хорошую морскую школу на практике.

Мы пошли осматривать линкор. Несколько «Красный партизан» казался мне прост с внешней стороны, настолько же все было в нем сложно внутри. Даже мне, побывавшему на многих военных кораблях, трудно было сразу разобраться в его железных лабиринтах. Мой проводник, лейтенант Пазухин, в некоторых помещениях на короткое время задерживался, давая объяснения на счет того или другого механизма, и торопливо шел дальше. Я едва поспевал за ним. Это был осмотр на скорую руку, поверхностный, лишь бы удовлетворить новизной впечатлений нетерпеливую жажду мозга. Немыслимо было охватить все в один раз. Чтобы облазить все палубы, отсеки, кубрики, машинные отделения, коцегарки, трюмы, мостики, штурманские рубки, боевые рубки, трапы, коридоры, бронированные башни, казематы противоминной артиллерии, кюит-камеры, бомбовые погреба, торпедные погреба, радиорубки, телефонные станции, электрические станции, отделения для сухой и сырой провизии, угольные ямы, канцелярии, каюты, помещения за двойным бортом, канатные ящики, коридоры, где вращаются гребные валы, — словом, чтобы заглянуть во все закоулки, в люки, горловины, вентиляционные отдушины, на это пришлось бы потратить несколько дней. Но еще больше потребовалось бы времени для выяснения работы главных машин и всевозможных вспомогательных механизмов, проводов, переборков, артиллерийских, торпедных, штурманских приборов, беспроводных телеграфов, электрических станций, всех бесчисленных манометров и других изобретений, необходимых для управления

боевым кораблем. Осматривая линкор, мы то поднимались ввысь на несколько этажей, то опускались в глубь его железных недр. Для этого нам приходилось пользоваться трапами или скобами, прикрепленными к вертикальной переборке, и только в тех случаях, когда нам нужно было попасть на мостик, прибегали к помощи лифта. Беседуя с лейтенантом Пазухиным, я с трудом, до боли в голове, осмысливал всю сложность современного корабля. Понятным становилось, почему для обслуживания его нужны не просто моряки, а люди высоких специальных знаний: инженеры, техники, машинисты, коцегары, артиллеристы, радисты, электрики, турбинисты, минеры, сигнальщики, дальномерщики. Им приходится иметь дело с различного рода механизмами и приборами.

Из радиорубки, проникая во все отделения судна, раздался повелительный голос:

— Внимание! Внимание! Говорит радиоузел линкора «Красный партизан». Прекратите занятия! Проветрите жилые помещения!

На время я расстался со своим командиром.

Командир Куликов на этот раз не присутствовал на купании и не обедал. Его зачем-то вызвали на флагманский корабль. А я с большим удовольствием освежился в море и затем плотно пообедал.

После обеда я с тем же лейтенантом возобновил осмотр судна. Мы порядочно задержались в одной из орудийных башен. Снаряды, приспособления для подачи их, сами орудия, всевозможные приборы для управления огнем — как все это усложнилось в сравнении с тем, что было раньше во время моей службы! А дальнობойность стрельбы стала такой громадной, что попадание снарядов может быть только при правильном определении расстояния до противника. Вот почему на судне установлены самые усовершенствованные дальномеры. Лейтенант Пазухин пояснил мне:

— Допустим, что противник находится от нас в ста двадцати кабельтовых. Хороший дальномерщик, овладев современным прибором, точно определит расстояние до него. Ошибка может быть допущена в полкабельтовых, не больше.

Мы еще долго ходили по разным закоулкам линкора. От впечатлений у меня трещала голова. И все же этот осмотр был очень begлым. Мы не могли останавливаться на деталях судна, насыщенного от киля и до самого клотика техническими изобретениями.

— Вы уже имеете некоторое представление о современном корабле, — говорил

лейтенант Пазухин. — Чтобы вся его материальная часть работала бесперебойно, требуется от личного состава очень много специальных знаний. Неудивительно, что число строевых краснофлотцев с течением времени все уменьшается. На их место становятся люди с техническим образованием.

Он привел меня в библиотеку. Заведующий ею был краснофлотец, развитой и разговорчивый человек. Он охотно и с любовью рассказывал нам о судовой книжной сокровищнице. Я слушал его и невольно вспоминал прошлое.

В царском флоте каждый корабль имел по две библиотеки: одна для начальства, другая для нижних чинов. Считалось хорошо, если в офицерской библиотеке находилось до тысячи томов. Тут были и научные книги, и беллетристика на разных европейских языках. При этом русские авторы пользовались меньшим почетом, чем французские. Что же касается матросской библиотеки, то она представляла собою жалкий вид, состоя из сотни брошюр. Здесь были всякого рода сказки, много раз проверенные военной цензурой, чтобы не проскочила в них какая-нибудь вредная идея; описания жития святых и великомучеников, проповеди Иоанна Кронштадтского, лубочные дешевки, ничего не дающие ни уму ни сердцу. В такой библиотеке нельзя было найти ни одной серьезной книги. Отсутствовала даже история России, казалось бы, так необходимая, чтобы пробудить у военного читателя любовь к своей родине. Вот почему более развитые матросы покупали книги на свои собственные гроши. Но и это давалось не так легко. С произведениями таких авторов как Лев Толстой и Максим Горький или с передовыми журналами люди из команды старались не попадаться на глаза начальства. Мало того, что они рисковали попасть в карцер, их могли еще взять под подозрение, как политических преступников. И все же, несмотря ни на что, матросы читали. Для этого им приходилось забираться либо за двойной борт, либо в подбашенное отделение и в другие такие места, куда не заглядывал офицерский глаз.

Не то стало теперь. На линкоре «Красный партизан», как и на всех судах советского флота, библиотека была общей для всего экипажа. Команда пользовалась ею наравне с начальствующим составом.

Я спросил у библиотекаря:

— Сколько у вас книг?

— Более двадцати тысяч томов.

Названная цифра меня удивила.

Мне было обидно за прошлое и радостно за настоящее. До неузнаваемости изменилась жизнь флота. Теперь не толь-

ко никто не преследует краснофлотца за чтение книг, но всячески это поощряется.

Я поблагодарил своего спутника, лейтенанта Пазухина, и, усталый, ушел к себе в каюту отдохнуть.

Вечером я ужинал с командиром Куликовым. Со мною он держался так же как и утром: был скуп на слова. Тогда сам стал приставать к нему с распросами главным образом по артиллерии. Его лицо приняло выражение настоятельной заинтересованности. Он отделился от моего любительского пытаясь общими фразами, не сообщая никаких конкретных данных. А когда я поинтересовался, насколько подготовлены командоры, он как будто не слышал меня и заговорил о другом:

— Странные бывают случаи в жизни.

— А именно?

— Несколькое лет тому назад я побывал в Ленинграде на кладбище. Дело было летом. Только что брызнул мелкий дождь и сейчас же небо очистилось от облаков поголубело. В ярких лучах солнца вся зелень деревьев и трав празднично расцвела каплями росы. Воздух был пропитан каким-то особым ароматом и свежестью, приятно щекотал ноздри и наливал тело здоровьем. Словом, кругом было разлитое столько сияющей радости, что даже не верилось, что находишься на месте человеческих страданий, горестных вздохов и горьких слез. Но, как и всегда на кладбище, невольно приходят мысли о бренности нашей жизни. Походив я между могил и холмов, поразмышляла, попустил. Потом со мною встретился кладбищенский сторож. Если мы на скамеечку, я угостил его папиросой. Разговорились. Старик имел за своими плечами семь десятков лет, но чувствовал себя, повидимому, еще бодро. Когда-то он был бондарем, но бросил свою профессию. Оказалось, лет тридцать назад он похоронил здесь свою любимую жену и с тех пор здесь же остался сторожем. Живет неважно и все же остался верным своей супруге. Бывают же на свете такие однолюбцы! Вспоминал он о ней с такой трогательной сердечностью, с таким глубоким чувством, как будто она была самая добрая женщина на всей земле. И я видел, как по его загорелым щекам покатались две крупные слезы. У него осталось одно желание — лечь в могилу рядом с женой. Покуриваем мы со сторожем, мирно беседуем. В это время появляется на кладбище старушка. Проходит она мимо могильных холмиков и памятников, вся горбленная, покачивает головою и смотрит по сторонам, точно приискивает себе местечко на вечный покой. На ней шляпка с широкими полями, украшенная полинявшими розами и ягодами вишен, и черное шелковое платье старомодного покроя. Все

это когда-то дорого стоило, но теперь и шляпку и платье давно бы нужно выбросить в мусорный ящик. Только туфельки на французских каблучках, бальные, отливающие серебром, сохранили изящный вид. Очевидно, они были связаны у нее с какими-то радостными воспоминаниями, и она надевала их только в исключительных случаях. По всему видно, что это бывшая барыня. Она бережно несла в горшочке гвоздику. Судя по ее бедному наряду, надо полагать, что она купила эти цветы за счет экономии на лице. Старушка подошла к могиле, чисто убранной, огороженной чугунной решеткой, за которой возвышался мраморный памятник и стояла зеленая скамеечка. Зайдя за решетку, эта сгорбленная женщина остановилась как бы в недоумении. Я ждал, что сейчас она разрыдается, оплакивая милое и дорогое существо, похороненное в этой могиле. Но она подозрительно оглянулась на нас. В этот момент я увидел ее лицо, желтое и сморщенное, как сухой гриб, и невероятно злое. Губы ее шевелились, она что-то шептала, но только не молитву. В этом я был убежден. Вдруг она повертывается и начинает что-то проворно хватать с могилы. И что же я вижу? Она рвет цветы и разбрасывает их в разные стороны, а баночки из-под них разбивает об ограду. Все это она проделывала с ненавистью. Потом она поставила на могилу свои цветы и уселась на скамеечку. Но от волнения седая голова старухи еще долго дергалась. Пораженный этим случаем, я обратился за разъяснением к сторожу. От него я все узнал. Под мраморным памятником покоится прах знаменитого певца. Было время, когда он шумел на всю страну. В театрах он своим необыкновенным голосом и художественным исполнением покорял зрителей. Все для меня стало понятным. Десять лет прошло, как зарыли знаменитого певца в землю, но бывшие барыни все еще приходят сюда, чтобы поклониться праху своего бывшего кумира. По словам кладбищенского сторожа, все они такие же ветхие, как и эта особа. Но ревность у них все еще не угасла. Почти все они приходят к этой могиле и уничтожают цветы, расставленные на ней другими. Иногда они сталкиваются здесь вместе, и тогда между ними происходит отчаянная ругань. Они готовы выцарапать друг у друга глаза. Очевидно, каждая из них думает, что он, кости которого давно истлели, любил ее одну и только ей одной принадлежал. Над кладбищем, стрелочка пропеллером, низко пролетел самолет. Старушка не обратила на него внимания. Она перестала трясти головою, замерла. В этот момент она была вся в прошлом. Может быть, в ее памяти всплывали те сладостные моменты, ка-

кие она переживала тридцать-сорок лет назад. Возможно, что при первой встрече и первых поцелуях с любимым она была в этих именно отливающих серебром туфельках. Время ничего не оставило для нее, кроме ярких, но уже оборванных лепестков воспоминаний.

Куликор замолчал. Я задумался над его рассказом. И вдруг мне стало досадно, почему я не получил ответа на свой вопрос. Мне показалось, что командир относится ко мне недоброжелательно. Я сказал: — Случай, какой вы наблюдали на кладбище, сам по себе интересный, а в вашей передаче особенно. Но какое это имеет отношение к линкору?

— Ах, да, линкор, — спохватился командир, вылезая из-за стола. — Знаете что? На осмотр его вам придется потратить еще не мало времени. Скажу о себе. Когда меня назначили на этот линкор командиром, то я по долгу службы решил облазить его весь, побывать во всех его отделениях. И каждый день я аккуратно записывал в блокнот, сколько на это у меня тратится времени. Когда такой осмотр был мною закончен, я подытожил свои записки. Получилось, что я потратил на это ровно два месяца. Вот что значит современный линкор.

Он ушел, оставив меня одного в салоне.

Мне начинал он казаться человеком очень интересным и сложным. В его сидящей, подстриженной под ерша, голове, как в надежном сейфе, вероятно, много ярких переживаний и всевозможных ценных наблюдений. Но он был осторожен со мной. Я вспомнил слова лейтенанта Пазухина и решил, вооружась терпением, ждать, когда он заговорит со мной языком простых человеческих отношений.

III

Меня интересовал вопрос: что это за люди, населяющие линкор «Красный партизан», и откуда они пришли?

В этом мне много помог комиссар линкора Ефим Савельевич Огородников. Высокий, жилистый, лет тридцати, с медлительной походкой, он показался мне при первом знакомстве человеком вялым. Но скоро я изменил о нем свое мнение. Воспитанник специальной академии, он хорошо разбирался в политике, обладал твердой волей и организаторскими способностями. А энергии в нем было заложено хоть отбавляй. Для него не существовало ночи, если предстояло срочное дело. На собраниях, когда он выступал с речью, его удлиненное, густобровое лицо становилось вдохновенным, глаза загорались синим блеском. Своею страстностью он заражал всех слушателей. Команду он знал не мень-

ше, чем командир, и среди нее также пользовался большим уважением.

Это были два главных лица на корабле: один ведал боевой подготовкой своих подчиненных, другой вырабатывал в них политическую и моральную стойкость. Оба, кстати сказать, дружили между собою и, в случае надобности, могли на время заменить один другого. Командир выполняет свою роль всегда на виду у всех, часто появляясь на мостике. Комиссар же как бы отодвигается на задний план, но он вникает во все подробности судовой жизни и выполняет напряженную большевистскую работу.

Как-то вечером я прохаживался с комиссаром Огородниковым по верхней палубе линкора. Он говорил мне о команде:

— С каждым годом состав команды все улучшается. Да иначе и не может быть. Возьмем для примера только пионерское движение, распространившееся по всей нашей стране. Вы, вероятно, сами видели, с каким энтузиазмом молодые ребята готовятся стать будущими моряками?

— Да, я видел их на Балтике, видел на Черном и Азовском морях, — согласился я. — В возрасте от двенадцати до пятнадцати лет они уже не боятся моря и катаются на шлюпках под парусами и на веслах, как заправские моряки. Они могут семафорить, управлять рулем и держать курс по компасу. А некоторые из них, наиболее развитые, даже разбираются в морских картах и умеют прокладывать по ним курс. Малограмотному и забитому матросу царского времени нужно было прослужить во флоте года два, чтобы сравняться знаниями в морском деле с нынешними пионерами.

— Правильно сказано, — подхватил комиссар, оживляясь. — Откуда у нашей молодежи такое желание попасть в Красную Армию и Флот? Стало великой честью быть воином в такой стране, как наша родина. Об этом вы сами хорошо знаете. Вот и стремятся к нам лучшие представители молодежи. Присмотритесь к ним. В связи с развитием школ в государстве и к нам поступают все более и более грамотные люди. У нас на корабле семь человек из команды с высшим образованием. А таких, которые кончили средние учебные заведения или разные техникумы, можно насчитать несколько десятков. Разве было что-либо подобное в царском флоте? Кроме того, сколько славных юношей, прошедших уже общественно-политическую школу, дали нам комсомольские организации. Среди команды вы много найдете и таких, которые до призыва работали на тракторах, на комбайнах и при сложных заводских и фабричных машинах. Словом, к нам приходят много развитых людей. А за время пребывания на корабле они еще больше приобретут специаль-

ных знаний и получат хорошую политическую шифровку.

Комиссар замолчал и посмотрел на запад. Солнце, спускаясь к горизонту, позолотило края облаков. С юга подул легкий ветерок и рассыпался по рейду себреистый рябью. От борга отвалил моторный баркас, увозя краснофлотцев, опущенных на берег. Огородников снова заговорил:

— Конечно, в семье да еще в такой большой, как наш экипаж, не без уroda. Иногда попадаются человечки неважные, любители выпить и лодыри. Приходится над ними много работать, чтобы выветрить из них эту дурь. В конце концов под действием дружного коллектива и они становятся порядочными людьми.

Мы стали разбирать начальствующий состав. В общем командиры происходили либо из рабочих, либо из крестьян. У многих из них родители были малограмотными или даже совсем неграмотными. А их сыновья, пользуясь тем, что просвещение стало доступно для всех, получили хорошее образование, включительно до академии. Они носят блестящую форму лейтенантов и капитанов разных рангов. Это энергичная и цветущая молодежь. Только командир линкора, старший механик и старший артиллерист представляли собою исключение.

— Вы, вероятно, познакомились со старшим механиком Остроумовым? — спросил комиссар.

— Да. Очень степенный и солидный человек. Мне показало, что он из «порядистых» людей.

— Ошибаетесь. При царском режиме он был машинистом самостоятельного управления. Но после революции он кончил институт инженеров. Партийный стаж у него более двадцати лет. Это человек исповоротливый, с ленцой. Впрочем, он великолепно выполняет свои обязанности. Во время похода линкора у нас не бывает перебоев в работе механизмов. Все недочеты в своей области он заранее устраняет.

Разбирая начальствующий состав, мы не могли миновать и старшего артиллериста Судакова. Роста выше среднего, плотный, он находился в расцвете своих сил. На его лице, полном, слегка рябватом, с коротко подстриженными черными усами, всегда играла безобидная усмешка. Это был балагур и весельчак, любитель поиграть на гармошке. Хотя он имел звание капитана 2-го ранга, я принимал его за легкомысленного человека. Но комиссар разубедил меня в этом:

— У Судакова есть свои недостатки. Он втихомолку выпивает, иногда у него прорывается резкая ругань. С этим мы боремся. Но в то же время он является исключительно талантливым артиллеристом. Любит свое дело. В старом

флоте он был только комендором-наводчиком. Дальше этого не пошел. И только светская власть дала ему возможность кончить Военно-морское училище, а затем артиллерийский факультет Военно-морской академии. Пусть кто-либо из его подчиненных попробует втереть ему очки. Ничего из этого не выйдет. Судаков, мне кажется, может в абсолютной темноте разобрать и собрать любую пушку. Если вам удастся побывать на стрельбище, вы увидите, как под его управлением будет действовать наш огонь. Жаль, что Судаков, вероятно, скоро от нас уйдет.

— Куда?

— В Морскую академию. Ему предлагают кафедру по артиллерийской части. Только в нашей стране может так быть: человек от комендора-наводчика поднимается до звания профессора.

Я заговорил о главе судна:

— Ваш командир Куликов, повидимому, любопытный человек, но уж очень не разговорчивый.

Комиссар рассмеялся:

— Это он то неразговорчивый? Редкостный рассказчик. Говорит, как по книге читает. Послушать его интереснее, чем читать повести и романы.

К Огородникову подлетел краснофлотец и, вытянувшись, бойко заговорил:

— Разрешите, товарищ комиссар, доложить.

— В чем дело?

— Партактив весь в еборе. Ждут вас.

— Иду.

Комиссар отправился в ленинский дурачок, а я — к себе в каюту. Около уперой своей каюты я неожиданно встретился с командиром линкора. Я сказал:

— Может быть, ко мне зайдете, товарищ Куликов? Покурим.

— С удовольствием.

В каюте он расположился на диване, я уселся на стуле. Закурили. Я рассказал ему о своей беседе с комиссаром о личном составе. Куликов кое-что добавил от себя для характеристики некоторых командиров, а потом заговорил об Огородникове:

— Бывший подпасок, а здорово умственно развился. Этот человек далеко пойдет. Отец его с трудом научился читать на курсах по ликвидации безграмотности. Дело было в приморском городе, куда он попал в качестве простого землекопа. В деревне у него никого не осталось. Захватил он с собою и сына. Мальчик увидел море и, кажется, влюбился в него на всю жизнь. Через свои комсомольские организации он окончил среднюю школу отличником. А теперь, как вы видите, стал моряком.

Я слушал командира и смотрел на его лоснящееся от здоровья лицо с тем лю-

бопытством, какое возбуждают необычные люди. А он мне казался именно таким. Между нами сложились странные отношения. Часто бывало так: я заговорю об одном, а он отвечает мне совсем другое; то он насупится и молчит, словно я сделал ему какую-то гадость, то старается быть очень предупредительным. Иногда мне казалось, что он подсмеивается надо мною. Я даже решил про себя: должно быть он из бывших офицеров, и ему, несмотря на его партийность, тошно говорить с бывшим матросом. А когда он бывал ласков со мною, то во всем его облике было что-то родное и близкое, как будто я давно уже был с ним знаком. Так или иначе, но меня почему-то неудержимо тянуло к нему. На этот раз он был в хорошем настроении. Я спросил:

— А вы не служили в царском флоте?

Куликов в свою очередь спросил меня:

— Разве вы ничего не знаете об этом?

— Нет.

Он внимательно посмотрел на меня и, словно в чем-то убедившись, ласково улыбнулся.

— Года два тому назад я прочитал одну из ваших книг. Она навела меня на верную догадку. Я сейчас же написал вам письмо. В этом письме я все изложил о себе. Но вы не удостоили меня ответом, и я решил про себя: вероятно человек загордился или зазнался, если не откликается на мое дружеское послание.

Я сразу понял, вот почему Куликов до сих пор относился ко мне холодно и с какой-то недоверчивостью.

— Смею вас уверить, что никакого письма я от вас не получал. Уж кому другому, а моряку я не мог бы не ответить. А зазнайство — это не мой стиль.

Куликов еще больше обрадовался. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он знает, в каком экипаже я служил и в какой роте с новобранства обучался, и даже назвал фамилию инструктора. Он напомнил мне при этом о таких подробностях моей службы, о каких даже я стал забывать. Мой взгляд сосредоточился на его лице, смутно улавливая знакомые черты. Несомненно было, что где-то я встречался с этим человеком.

— Откуда все это вам известно, товарищ Куликов? Может быть, и вы в этой же роте обучались одновременно со мною?

— Да, уважаемый приятель! Можно еще кое-что вам напомнить. Я хорошо знал одного вашего ученика. Вы ему помогали по арифметике и русскому языку. Потом он служил вестовым у капитана 1-го ранга Лезвина. Вы продолжали с ним дружить. Это был мой тезка — Захар Псалтырев. Он благополучно здравствует до сих пор.

Я таращил глаза на командира, а при последних словах его вскрикнул:

— Скажите, что вы знаете о нем? Что с ним стало? Где он? Ведь Псалтырев — это мой задушевный друг.

Я заерзал на стуле, ожидая скорейшего ответа, а командир, словно наслаждаясь моим нетерпением, неторопливо достал из серебряного портсигара папиросу, закурил и спокойно сказал:

— Он много поработал для революции, не раз бывал на волоске от смерти, но и революция не обидела его. Она дала ему то, что ему даже не снилось во сне. В настоящее время он имеет звание капитана 1-го ранга и командует советским кораблем.

— Каким?

— Линкором «Красный партизан».

Ошеломленный, я несколько секунд сидел молча, все еще не веря в превращение одного человека в другого. В памяти моей замаячил новобранец, который явился на флотскую службу в рваном полушубке, в облезлой заячьей шапке, в лаптях. Потом, приняв присягу, он служил вестовым. Но это не мешало ему до самозабвения любить море и корабли. Парень был талантлив на все руки. С этой стороны у него имелись все данные на то, чтобы теперь, при советской власти, занять высокий пост командира судна. Но тот человек щеголял большими черными усами, носил другую фамилию и только какими-то отдаленными чертами напоминал этого солидного капитана 1-го ранга. Я растерянно забормотал:

— Это вы и есть тот самый Псалтырев?..

— Да, тот самый.

— Который...

— Да, который.

— А почему фамилия теперь другая?

— Когда призвали меня на военную службу, я был записан по уличной кличке. А после революции я восстановил настоящую свою фамилию: стал Куликовым. Зачем же мне носить уличную кличку, да еще церковную? А вы, как видно, все еще сомневаетесь? Неужели я настолько изменился, что вы не узнаете своего друга?

— Захар! — вырвалось у меня.

— Алексей! — оглушил меня басистый голос.

Мы бросились друг к другу в объятия и крепко расцеловались. Это был момент такой искренней радости, словно мы обрели величайшее счастье. Чувство дружбы, угасшее было за длительное время нашей разлуки, снова властно вспыхнуло в душе. Вся официальность сразу исчезла, как не любимый моряками туман.

— Почему, Захар, ты в первый же день не открылся передо мною? — возбужденно упрекал я Куликова. — Зачем тебе понадобилось морочить мне голову?

Он задушевно смеялся, прищурив сияющие срые глаза.

— Во всяком деле прежде всего нужна выдержка. Кроме того, у меня было основание не сразу открыться перед тобой. Пойми, разве не обидно было, что ты ничего не ответил на мое письмо? Да и присмотреться нужно было к тебе: остался ли ты тем же человеком, каким я знал тебя на военной службе, или изменился к худшему.

— Ну, и что же?

— Нашел все в порядке.

Распахнув душу друг перед другом, мы еще долго восторгались нашей неожиданной встречей.

(Окончание следует.)

ИЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА

В. ГЛОТОВ

★

ПРИСЯГА

У знамени суров и строен,
Земли одной, крови одной,
Стоял перед бойцами воин
И присягал стране родной.

А день бросал лучи косые.
И в ноги кланялась трава.
И молча слушала Россия
Простые твердые слова.

СКРИПКА

Мы без слов друг друга понимали,
Вместе закалялись и мужали,
Жили вместе, воевали вместе,
Он скучал немного о невесте.
И всегда, от радости и скуки,
Скрипку брал в обветренные руки,
И в руках его, переживая,
Пела скрипка, пела, как живая.
Только раз в бою — у перевала,
Пулей сердце парню разорвало,
Он ничком приткнулся к пулемету,
Мы вернулись без героя в роту.
Нет на лицах радостной улыбки:
Тосковали мы о песнях скрипки.
И когда в сердцах кипела вьюга —
Уходили на могилу друга.
Тут пришел к нам пулеметчик новый:
Забайкалец — парень чернобровый,
Понял он и нас и наши муки,
Глубоко вздохнул, взял скрипку в руки.
И сказал он, инструмент настроив:
— Не умрут ни песни, ни герои...
И в руках его, переживая,
Вновь запела скрипка, как живая.

АНФИСА НИКИТИШНА

Рассказ

ЛОЛАХАН ТУМАНОВА

★

1.

Не стара годами, стара бедами», — это еще покойница-бабушка говаривала. А уж покойнице-бабушке — да будет земля ей пухом! — можно поверить: во всем селе первой хозяйкой была.

Оно и на самом деле — пятьдесят девять лет — много ли? Не случись этой войны, не напади этот Гитлер окаанный, Анфиса Никитишна не токмо одну коровенку да телку, а и пять голов прокормила бы, не считая овец. Не токмо пуд, а и два зараз подняла бы, и не двести шагов, а полверсты с теми пудами отмахла б без роздыха. Их порода крепкая.

Теперь не то. Съели заботушки силу.

Два сына у нее, у Анфисы Никитишны, оба на фронте.

Лешенька — старший, карточка вон у зеркала, бумажная роза сверху приколотая. На инженера учился, год всего и осталось до выпуска.

«Я, маманя, за ваши старанья-заботы на машине возить вас буду», — скажет, бывало, Алеша. А глаз такой голубой, приветный, такой безобманный, что как теперь вспомнишь, так по сердцу и заскребет. Заскребет, хоть вырви сердце да брось. Это к тому говорил он, Лешенька, что мать батрачила, пока сыновья учились...

Второй — младший Сашенька. В отца кучеряв, оком да волосом темен.

Работлив, гармонист... Такой говорун да дивной! А вот, поди ж ты: сколько Анфиса Никитишна ни горевала, сколько приказов ему ни давала — на инженера, как Леша, либо на доктора — не захотел!

«Желательно мне, маманя, по рекам нашим поплавать», — поступил в судомеханики. «И вот вам, маманя, мое комсомольское: в капитаны я выйду».

И вышел бы, не будь войны, — бойкий такой, расторопный. Ростом в отца — высокий...

Пока, слава богу, живы, здоровы, оба весело пишут. Намедни, в четверг, при-

шло письмо от Алеши. И не гляди, что Лешенька тихий, а награду за боевые дела получил!

«Поздравьте меня, маманя! Порадуйтесь вместе со мной!» Как прочитала Анфиса Никитишна, ну, конечно, поплакала, поцеловала, поздравила карточку. Даже про Сашеньку чуть не забыла! Потом спохватилась, прощенья просила:

— Любый ты мой сыночек, Сашенька! И ты народу заслужишь, награду получишь, горячий ты мой...

Если по правде сказать, то уж слишком горячий. В детстве, бывало: обидит ли кто кого понапрасну, или другое что, — Сашенька тут. А немец-то подлый, вдвоиrot обижает. Не сашенькину оку на то глядеть, не сашенькину сердцу то вытерпеть, — на пятерых один выйдет. Пуля же, она безрассудная: что сокола, что ворону...

Поплакала, поговорила с сынами, на место убрала карточки. А думы с души не уходят. Скучлива Анфиса Никитишна. И сильней всех дума такая: вот ты, мать, — старая, далеко ты от фронта... И чем ты сынам своим, старая мать, поможешь? Чем ты их потетишь?

Сыночки мои дорогие, Лешенька, Сашенька... Ну, чем я, старуха, могу вас обрадовать? Что я, бессильная, сделаю? И такая тоска нападёт, что ни цветок чертогон (от дурного глазу на притолку вешают), ни уговоры людские не помогают.

2.

А тут поздней осенью Таленька-дочка с внучатами прибыла. Не ждано, не гадино: бомбили под Ленинградом. Как душу вынесли, — сами не помнят.

Таленька (Наталя, полное имя — Наталя Петровна, по мужу Кудрявцева, в девичестве — Белкина) за здешнего замуж вышла. Только после смерти свекрови уехали — деверь ее в Ленинграде работал.

На одном заводе с мужем устроились,

дивно жила: квартирка о двух комнатах, посуды всякой, машинка, конечно, швейная... Все там осталось, будь они прокляты, немцы! И от мужа известий весту — как пошел рыть окопы, так и пропал. Может, убит, может, жив, в окружении, кто его знает!..

Была бы Таля одна, — другой разговор. Одна — не беда: легла — свернулась, встала — встряхнулась, никого перед ней, никого нет за ней. А тут целых четверо!..

Оно конечно, внучата завидные, врать же приходится. Витенька — старший, в девятый класс перешел, пионер-мальчик, умница. Воды ли принести, в лавку ли за хлебом сбегают...

«Вам, бабонька, трудно, устали. А я сидеть притомился. Уроки долго учил» — первый отличник Витенька. Жалко его, станет — бледненький, худенький, по ночам до сих пор беспокоится: «Тревога, мама. Скорее!» — бомбы боится. Глазки большие станут, губы трясуся, пропади они пропадом, немцы окаятные!

Ну, успокойшь, конечно: «Витенька, батюшка, спи, мой родимый». В постельку обратно уложишь: «Не дрожи, моя ясочка, — дядя тебя защищают: дядя Сашенька, дядя Лешенька!!» А у самой слезы так и бегут, так и бегут... Стара, видно, стала...

Девочек трое. Рита — хоть не отличница, а учится, Лизанка — средняя, Галенька — младшая. Бойкая Галенька — диву даешься, стишки знает и про березаньку, и про скворца! Самый же лучший стих — это про танкиста, про героя народного.

«Чуешь, Галенька, о ком читаешь? О дяде Саше, голубчике, дядя Саша — танкист. А дядя Леша — по артиллерии».

Талья скоро на место устроилась — не такое время теперь, чтоб молодая женщина без службы сидела. Воспитателем в детский сад назначили.

К детям Талья приветная, что свой, что чужой — одинаково. Ну, занавесочки там навесила; если чулок у кого порвался — заштопает. Матери, ясно, довольны, благодарность ей вынесли. И не то, чтобы премией Анфиса Никитишна больно гордилась (в премию Тале оклад за месяц постановили), а человек, коли его похваляешь, еще с большей душой на работу кидается. По себе Анфиса Никитишна знает.

3.

Улица их Комсомольская, дом номер сто четыре. Раньше звалась Широкой, теперь Комсомольская.

К слову сказать, правильно переименовали. Улица, правда, широкая, чистая: возле ворот Анфисы Никитишны в зеленый лужок разливается. А комсомол, — он широким, чистым путем-дорогой идет. И

Саша сейчас в комсомоле, и Лешенька был. Теперь Леша в партии.

Как выйдете на лужок, так по тропке к Каме не спускайтесь. Сверните немного в сторонку, в проулок. Если собачка залает, рыженый песик (дети Рыжиком прозвали), тогда стукните цепкой. Анфиса Никитишна мигом выйдет, либо Риту пошлет.

Сараюшка для дров налево, прямо — хлев для коровушек, в дом же, в сенцы — направо.

Из сеней — прямо в кухню, из кухни — в горницу. Занавески на окнах тюлевые, на тумбе герань, красавица-роза, граммофончики тоже. Шикарнейший цвет — граммофончики, алым и желтым цветут. За горницей спальня Анфисы Никитишны: кровать нарядная с пищечкой, пять подушек, конечно, — внизу побольше, вверху поменьше, все, как у людей полагается. Да вот, тесновато — печь много места берет, по-старомодному сложена.

— Непременно ее, маманя, сломаю, — грозился Леша.

— А пироги где же печь, Алешенька?

— Не обязательно в русской печи, маманя. В духовке отлично можно.

— А старику где же спать, Лешенька? Чай, не мальчишка.

Ох ты, беда! Опять старик позади остается. Всегда старик позади остается, хоть и ростом под потолок, и щеки румяные, и в бороде только чуть седины посыпано. Про все расскажут, про всех помянут, его одного забудут. А он ничего, молчит да молчит. И не то, чтоб сердится, или со скуки, нет, просто привычка такая. Будто и не отец сынам-соколам, не муж Анфисы Никитишны.

— Бездушевный ты, безжалостный ты! — рассердится часом Анфиса Никитишна. — Прожила с тобой век за холщевый за мех! Заботы на сердце ты не кладешь, работы не любишь. Сам был в пеленках, а лень с тельца. Тысячу раз тебе говорить, чтобы хлев ты вычистил?..

И что бы вы думали? Возьмет молча лопату, пойдет. Такой озорник супротивный!

Тут уж Анфиса Никитишна так рассердится, что непременно во двор побежит. А старик-озорник уже хлев и вычистил, ей на досаду.

— Все успел?

— Сама погляди.

— Соломы постала? Без чистой соломы ни корова, ни телка в хлев не взойдут, такие барыни!

— Сама погляди.

Вот, ведь, тиран бездушевный! И слова ему не скажи, и полсловечка ему не вымоли.

— Вилы, небось, без толка-порядка оставил?

Нет, и вилы в солому воткнул. И когда

поспел — диву даешься. Даже, вроде, досадно. И кабы не сапоги...

— Сапоги зачем надел рваные? Чай, не нищий какой, не бездомный. Отец сыновей фронтовых, пенсионер почетный! Не бездельник какой: тридцать семь лет, как один годок, отмахал — и механиком, и боцманом, и капитаном. Зачем сапоги надел старые, я тебя спрашиваю?

— Ты же велела.

— Я велела?... Что-то не помню. А если велела, так то ведь поутру, когда роса.

И что бы вы думали? Пойдет, сапоги молча снимет, трубку закурит! Такой человек беспощадный, что хоть кто угодно будь на месте Анфисы Никитишной, а и то не удержится: возьмет молока крынку и поставит перед ним:

— Пей, не мучь, не терзай, губитель жестокий!

Молоко старик пуше всего кушать любит, зараз целую крынку выпьет. И нет ему дела-заботы, что с молоком оказия вышла. Хотя, конечно, если признается, то старик про оказию даже не знает. И знать ему нечего: Анфиса Никитишна сама в ту трату вошла, сама из той траты и выйдет. И другие не знают, и знать им не надо, потому что это дело особое, тонкое...

4.

Началось все с галстуха Леша. Таленька-дочь о ту пору еще в Ленинграде жила — перед самой войной дело было. Надо вам доложить — дети Анфисы Никитишной всегда хорошо одевались. Всегда либо костюмчик бостон, либо белые брюки, либо летний кофейный. Шуба с воротником, пальто — драп изрядный. Все в сундуке лежит, приедут сыны — пожалуйте.

Только последним летом перед войной замечать начала Анфиса Никитишна: скажем, вчера надел рубашку в полодку — шелк полотно, — сегодня зеленую требует. Галстухов целая куча, а пошел новый купил. Духи, конечно, флакон «Гиацинт». От материнского ока, сколь ни тай, все равно не укроешься...

— Куда ты собрался, Алеша?

— В парк, маманя. Из Казани артисты приехали.

— Счастливой дороги тебе, Алешенька. Веселó воротиться.

Сказала, а у самой сердце дергает: что-то не то с парнем, и перед зеркалом долго стоял. Не то!

Воротился часу во втором, светать начинается, скоро коров пора выгонять.

— Я помогу вам, маманя.

— Спасибо, Алешенька. Хорошо артисты играли?

— Подходяще, маманя.

Только всего и сказал. Скрытный такой, молчаливый, в отца. Ладно... День проходит, другой. Сели обедать. Мясные

щи, на второе — вареники. Когда Сашка дома, вареников лучше не подавай: не любит. Теперь же Сашенька в плавани.

— Скоро тебе двадцать четыре годочка, Алеша. Пора бы хоть и жениться, — это Анфиса Никитишна говорит. Узнать ей больно охота.

Ничего не ответил Лешенька (плохо, что не ответил — крепко, видать, задумано). Пообедал, спасибо сказал — спасибо всегда говорит, с детства приучены.

— Достаньте, маманя, мне белый костюм.

— Что так рано, Алеша? В театре спектакли вечером.

— Сначала на лодке поеду, маманя. Затем уже в парк.

Только ушел, а золовка Дарья Кузьминишна и подкакишь. Все на свете знает Дарья Кузьминишна — кто где родился, кто с кем любился, кто где умрет. Языката... Слрв, что тебе чурбаков в половодье. Нипочем ты не скажешь, что старик — е брат родимый. Высока, костиста, шаль персидскую носит.

— Здравствуй, Никитишна.

— Здравствуйте, Дарья Кузьминишна. Вареников, милости просим.

— Что же, вареники — славно. А новостей не слыхала, Никитишна? Новости! Не оберешься.

И вареников Дарья Кузьминишна хочется, и рассказать ей не терпится, вспотела даже, носом зашмыгала.

— Лешка-то наш, Алексей Петрович, с кузнецовой Гранюшкой крутится!

Тут Анфиса Никитишна, как стояла, так на скамейку и села.

— И не грех тебе, Дарья Кузьминишна, за слова твои? Чтобы мой Леша Граню Семенову взял? Разве она ему пара? И лицом-то она не дивная — вроде яичка лицо, округлости нету. И глаз незавидный — черный. И бровь густая, как у мальчишки, и всего семилетку окончила, а Лешенька мой инженер и в партии!

— Приворожила, видать, — сказала Дарья Кузьминишна, за вареники принялась. И как ей только вареники в горло лезут!

Вы, может, осудите: на старости лет одурела Анфиса Никитишна, по музыкам-паркам пошла шататься. Но мать поймет, не осудит.

Народищу — тьма. Где в таком гулянье сыскать? Да материнское сердце вешун — прямо к скамейке и привело. Сидят, разговоры ведут, смеются. На ней платье неважное — сарпинка в полоску красную. Волосы лентой кверху подняты, ленточка тоже красная. Посмеялись, поговорили, потом взял ее за руки и тащовать. А у ней на ногах простые тапочки!

Воротилась домой Анфиса Никитишна, ума не приложит, что теперь делать. Ста-

рику говорить, — что в гости эхо кликать, Поглядит молча, скажет:

— Не наше дело. Их, молодое.

Это как же не наше? Не сын тебе, что ли, Лешенька? Не про нас пословица, что ли, сказана: детей малых пестовать — горе, вырастут — вдвое! Разве сорока ледью пара? Отец — и кузнец второсортный, и запивает. Домишко невидный, сама даже не в комсомоле, кассиршей в бане работает. И Дарья Кузьминишна на той неделе ходила, справлялась — грудью вроде болеет, кашляет. Оно, положим, золушке нашей Дарье Кузьминишне и соврать не в зазор, а все же, чтобы Граня Семенова Анфису Никитишну маманей назвала — этому не бывать. И не будет!.. Потужила, конечно, погоревала, однако Леше сказать не сказала. С ним надо исподволь — сам обходительный и от других не потерпит грубости. «Как придет состязанье футбольное, так с ним и объяснюся» — сама себе срок наметила. В этот день Лешенька добрый, хлебом его не корми. Загадала она, задумала, а вышло-то как несподручно: война началась! Разве до Грани? И только на пристани, когда уж совсем прощались, сказал ей он тихо:

— Не оставляйте, маманя, Граню Семенову.

Как от сыновней груди оторвали, не помнит Анфиса Никитишна. Как старик домой ее вел, тоже не помнит. А вот лицо его нежное — лешино, глаз его дорогой, голубой, во век она не забудет. Стоит на палубе, ручкой машет голубчик Алеша... Коли вы мать, то поймете. Коли не мать — поверите.

5.

Слова же те: «Граню Семенову не оставляйте, маманя», словно пчелы возле ушей жужжать принялись.

Что значит не оставляйте? Да разве где видано-слыхано, чтобы старуха к девчонке молоденькой шла на поклон? Ни в жизнь, никогда!

Не оставляйте, маманя... А, может, стыдится? Может, правда, грудью болеет?..

И в среду, когда бани нет (выходной у Грани), собралась Анфиса Никитишна. И кузнец в этот час на работе. Кузнец, пока не запьет, человек ничего. Запьет же... Как девушке с пьяницей жить? Не подходяще, совсем неловко.

Огород полола Граня. Ноги босые, тонкие, юбочка подоткнута. Волосы, как и на вечере, лентой подобраны. На вид лет семнадцать, не больше. На самом же деле двадцатый пошел, золовка Дарья Кузьминишна знает. Огород же дивненько выполот, Анфису Никитишну не проведешь.

— Здравствуйте, гражданочка Граня. Шла мимоходом и завернула.

Гранины щеки бледные — уж и прав-

да, не грудью ли болеет? — а тут зарумянились, вспыхнули. Видно, с совестью девушка, хоть и не пара Лешеньке.

— Садитесь, Анфиса Никитишна, сюда на скамейку, — рукой пыль обмахнула.

— Ничего, я ненадолго, шла мимоходом и завернула.

В огороде ж и репка, и свекла, и пастернак. И салат английский посеян. Для кого же салат посеян? Здесь у них в городе не уважают, один Лешенька кушает. Взяла себе то на заметку Анфиса Никитишна.

— Цветы обожаете, Граня, или не очень? — Гвоздика, левкой, настурция. Леша гвоздику любил — вкусы, значит, похожие. Опять на заметку взяла Анфиса Никитишна, хотя, по правде сказать, и брать не хотелось: не пара, не пара!

— Не от вас ли, гражданочка Граня, семена граммофончиков Алексей Петрович принес?

Тут глаза у нее (глаза большущие, черные... И наврала Дарья Кузьминишна — глаза совсем не плохие) слезами заплыли. Видно, про Лешеньку вспомнила.

Ох, слеза ты женская, слеза ты горючая, чьего сердца ты не растопишь? Кого, слеза, ты не помиришь? Да и делить-то им нечего: обе по Леше скучают, тоскуют.

— Не горюй, голубушка Граня, немца побьют и придет.

— И я так надеюсь, маманя. Однако печаль не, ветошка, не выкинешь.

И как она назвала тут маманей, так веселее, будто, сделалаось. Будто Лешенька с палубы ручкой махнул!..

И опять же наврала Дарья Кузьминишна: совсем не так незавидна. Локон черный, густой, по плечу рассыпается. А что станом тонка, так ее дело девичье, и подкормить всегда можно. Зато зубы, как сахарные, светятся.

— Ты скажи мне, голубушка Граня, может, мечту какую имеешь? — Может, питание тебе не подходит?

— За питанием я не гоняюсь, маманя.

И ступни, и пальцы рук длинные, тонкие. Видать, работливая девушка. Грудь же вылечить можно, тигун на язык ей, этой Дарье Кузьминишне!

Глупышка ты, девушка. Питание — первое дело. А мечту носит Граня хорошую. На медфак в Казань ей хочется.

— Доктором буду, маманя. Хоть я семилетку окончила, а за десять сдала.

— Славно это, приветственно, Гранечка. Только в Казани теперь трудно: отец тебе не помощник, сама понимаешь. Одеяться к тому же надо, за лето грудь свою подкрепить тебе надо...

— Так, ведь это только моя мечта, маманя.

— Мечта — мечтой, Гранечка. Однако смотри, наблюдай, чтобы никто о том не дознался. Особенно Дарья Кузьминишна.

На прощанье цветочков нарвала Гранечка — нашей золовке Дарье Кузьминишне и не понять...

Идет Анфиса Никитишна, розу-настурцию нюхает. Эка, ведь, куда хватила Гранечка! Шутка подумать — Казань! С другой же стороны взглянуть — что такое мечта? Разве теперь такое время, чтобы мечта мечтой оставалась? Разве в старые годы живем? Как вы это находите?

6.

С питанья, конечно, начали. Творожку, сметанки, маслица сбила Анфиса Никитишна. Молока свою долю отдала — старик пусть не знает, его не касается. Потому что и так беспокоиться начал:

— Что ты, мать, все хлопочешь? Зачем на заре косить одна собралась?

До того старикашка дерзостный! Во все норовит проникнуть. Чуть было не рассердилась Анфиса Никитишна, чуть было не сорвалась:

— Безобразник ты, тиран ты зловредный! Или понять не можешь? Чем корову больше кормить, тем молока дает больше. В Казань, чай, ехать — не на полатях лежать.

Однако, слава богу, сдержалась, не поддалась стариковым хитростям.

Только месяц прошел, поправляться начала Гранечка. В конце второго шутить начала: подойдет неслышно сзади и поцелует.

— Экая ты озорница, Гранечка! Девушка ты неслепая! — И снова будто Лешенька с палубы машет, приказ дает матери: — Собирайте, маманя, в Казань.

Легко говорится — в Казань. Девка — не парень — майку надел и в Казань. Туфли, перчатки... Без платья, без джемпера тоже в путь не отправишься. Хорошо, прошлогодняя шерсть осталась. Да и такой завидной красавице Гране в чем зря ходить не пристало. Насчет пальто подумать, конечно, пришлось. Лешино перешивать не подходит: вернется Лешенька — самому будет надо. Из драпа Анфисы Никитишны сшили — Сашенька, чай, не обидится, что подарком его, как задумалось, распорядилась.

— Поезжай, голубушка Граня, поезжай, моя мышка черная, чтобы и я, и Леша тобой гордились. Чтобы народ по тебе видал, чего наша женщина может достигнуть. А чтобы ты себя не стесняла, буду каждый месяц тебе высылать.

Отошел пароход. Граня на палубе стоит, плачет, смеется, прощается. Сколько гляди, лучше девушки нет: глаза из-под шляпки, как на картинке.

— Пиши, пиши, Гранечка, не забывай!

Потом и лица не стало видно, потом и фигура пропала, словно пустой пароход по реке уходит. Потом и дымок за берег

завернул. Скучно стало Анфисе Никитишне, скучно, на сердце темно. Время теперь военное, кто на фронте, кто здесь, кто в Казани для пользы народной строится. Одна она, старая, без толку ходит... Заскучала Анфиса Никитишна, а тут и Саша приехал прощаться — тоже на фронт.

Сокол ты мой дорогой, Сашенька мой ненаглядный! На сраженье идешь ты великое, чем я, старая мать, тебе помогу? Чем тебя, детку, потешу?..

Опустел дом, словно гнездо птицы-ласточки в осень, и кабы не Таля с внучатами, захирела б совсем Анфиса Никитишна.

7.

А про то, что каждый месяц она Гранечке деньги шлет, про то никто не знает. Старик молчит. Внуки малы; Таленька может Дарье Кузьминишне рассказать, а Дарья Кузьминишна — целому городу. А не для города дело сделано.

Зимой, конечно, потяжелее пришлось — коровушка перестает доиться, дрова нужны. Семь ртов — не один.

Принялись корзинки плести. Из ивы. Респторг охотно берет. Лозы старик заготовил еще по осени. Таля на службе, Риточка с Витенькой в школе, Лизанька азбуку учит, Галя стишки говорит. И про березаньку, и про танкиста.

— Чуешь, дедушка Петр Кузьмич? Сидим мы тут, корзинки плетем, а на поле, в сраженье — танкисты. Сашенька наш, голубчик! И выходит, старик, будто ничем мы войне не помогаем, будто не люди советские.

Смолчит старик, не ответит. Молча на плечи корзины возьмет, в Респторг понесет — сегодня заказ надо сдать к двенадцати.

— Будем срочный товар посылать, — сказал директор.

— Замолчи ты, Галенька, девочка ты неумная. Не расстраивай ты бабоньку милую, говори про березаньку, не про танкиста.

А березанька тоже, ведь, наша! Проклятый немец ее ломает, лужок, на котором она растет, сапожниками топчет! Как же тут о войне-сраженье не думать, когда каждое слово, каждая вещь тебе о сынах говорит? Говорят, укоряют: чем ты, старая мать, соколом родишь? Чем дитяткам своим поможешь?

Принесет старик из Респторга деньги: — На, получай, Никитишна. Эко ты тратишь, Никитишна!

Ах, ты, чудак непутевый! В Казани, чай, не родима сторонущка — доктором Гранечка будет! — подумает только Анфиса Никитишна, а сказать не скажет: старик он дотошный, догадается мигом.

Впрочем, этому делу скоро конец: пришло вчера извещение от Граня.

«Учусь отличницей. С нового месяца не присылайте — стипендиатом назначили. В комсомол меня приняли. Что вы на это, маманя, скажете?»

«Что же скажу, Граня, дочка моя»? — села сегодня Анфиса Никитишна Гране отписывать. — «Конечно, стара я стала. Ты же молодая, жизнь пред тобой расстилается. Береги эту жизнь, не порочь. Я хоть и темная, и неученая, однако словом тебе объясню: в прежние времена женщина шага ступить не могла, а ты будешь доктором. По причине такой высоко держи себя, Гранечка... Зла на людей не таи, кроме немца, конечно, врага проклятого»...

Написала Анфиса Никитишна, перечла и задумалась. Как же это выходит? А сама она разве зла не таит? Вот соседка Кланька Сорокина. Такая же, как Анфиса Никитишна, вместе в одном селе жили, такой же сын у нее на фронте воюет. Почему же тогда, как цветок — гарь, как петух — реку, как птица-ласточка — зиму, почему ненавидит так Анфиса Никитишна Кланьку Сорокину?

Ну, уж, коли спросили, коли затронули... На то причина имеется. И пусть это грех, пусть прогив воли людской, против воли сынов-соколов, а с соседкой Клавдей Сорокиной Анфисе Никитишне Белкиной на дороге одной не стоять, в доме одном не гулять, из одной посуды не кушать. Так тому быть. А чтобы вы толком поняли, Анфиса Никитишна толком вам и расскажет.

8.

Не всегда была стара, не всегда поясницу ломило, не всегда Никитишной звали.

Было время, когда величали Фисушкой-девушкой. Когда выйдешь, бывало, по утру коров выгонять — заря разливается, а на душе у тебя веселей той зари золотой. Шиповник, розовый цвет — натирают им щеки девушки, — а лицо у нее того цвета нежнее. Трава под легким шагом и не пригнетса, вода на коромыслах не шелохнется, роса ногу торопит, ветер на перегонки зовт. Пастух в рожок заиграл, сердце откликнулось песней. Для тебя река Кама блестяет, для тебя луна-звезды светятся. О ту пору семнадцатый год пошел.

Село их Змеево, на горке, над самой Камой стоит. Летом купаться ль, на сенокосе ли — лошадей Анфисушка ждть не стант. Зимой по дрова, иль на салазках — никто ее не догонит.

— Фисушка, матушка, чай, не железная, — скажет, бывало, покойница-мать (да будет земля ей пухом). — Чай, не сон, работа тебя дожидается.

Работы, к слову сказать, доставалось. Одна заря вгонит, другая выгонит. И газь, и косить, и домой отвозить. Зимой пестрадей наткет, чисто тебе шотландки!

Варежки, валенки, платочки — и те с узором!

И обхожденью, конечно, учили. Бывало, покойник тятенька (да будет земля ему пухом) взглянет эдак сурово:

— Без обхожденья девица, что колос без зернышка. Подружку встретишь, приветно ей улыбнися; старикам поклонися; парня увидишь, головку потупь.

Парни же, было дело, глядели. И даже подружки-девки, и те не сердились! Дунька богачка, и та под конец смирилась, хотя долго Дунька нос кверху держала, до той самой поры, пока не снялася Анфиса Никитишна.

Снялася, спору нет, на загляденье. Платье — сатин голубой, на голове два бумажных розана. В одной руке ваза, в другой портманета, в портманете двадцать рублей, как одна копеечка!..

Так и жила до семнадцати лет: во всем селе первая. Однако не даром в песне поется: собиралися тучки на небе ясном...

Откуда Кланька (тогда не Сорокина — Бокова) — так доподлинно и не дознались. Говорят — оттуда, где чуваши живут, а кто ее ведаст, может, и врет. Погорели они на родине, или другое что, только купили возле оврага домок, переселились. Отец, бондарь, вскоре помер, мать с дочкой остались.

Оно и видно — не дешенного рода: не рукодельницы, не огородницы, к колодцу и то не так ходят!

Старика Кланька встретит, дерзостно взглянет; с подругами зубы оскалит; на парней глаза пялит, чисто не девушка. А передразнивать!.. Стороной обходи, не гляди. Попа и того задевала! Попа, правда, в Змееве не больно любили — скаредный поп был, недивный, под проценты деньги давал. Но чтобы передразнивать, — да так похоже, что все со смеху покатытся, — это уж срам.

И лицом была не больно спесива. У Анфисы Никитишны личико — яблочко: кругло, румяно, да бело. Глаза голубые, рот ягодкой — маленький. Оно, конечно, себя неповодно хвалит, да теперь уже время прошлое. Да и к тому это сказано, чтоб понять вы могли, как все дело происходило.

У Кланьки щеки худые — то ли больна чем была, то ли порода такая, — взгляд, как у кошки, зеленый. Рот большой, брови гордо подымет... А хуже всего — рыжий волос. На солнце — медь и медь. Однажды летом, в ночь на Ивана Кулала, гуляли, так не поймешь — где язык от костра, где ее, кланькины, косы вьются.

Зато ростом, да пляской взяла. Анфиса Никитишна, спора нет, и личиком, и обхождением. А вот, ростом мала, по плечо этой самой Кланьке. Теперь попривыкла, конечно, с молоду ж было обидно.

И Кланька, она без стыда — так прямо в круг и выперла. На святках это случи-

лось, в избе у Дуньки-богачки. Парни тогда собрались, с гармошкой, с песнями, с пляской.

— Выходи, Фиса, первая.

Ну, конечно, девушка с толком сразу тебе не выйдет: попроси раза три, четыре.

— Выходи, не стесняйся, Фисушка.

Опустила глаза Анфиса Никитишна, поднять не успела и ахнула: в самом что есть кругу, на самой середке избы — рывая Кланька!

— Вот как у нас подружки танцуют! — и пошла, пошла каблуками!

Сдержаться бы надо Анфисе Никитишне. И тятя покойник учил: козь обиду имеешь, людям зря не показывая. Да нет, нет, сердце по своему перекутило. И будто кто за нее слово вымолвил:

— В плохой кампании мне не гулять!

— С дороги, короткие ноги! — это Кланька ответила. И, что зазорней всего, передразнила. Всех передразнивать лютая, тут же со злости, больно похоже. И все видали, и все слышали, и Константин Сорокин смеялся!

9.

Конечно, в Змееве своих парней немало. Константин же Сорокин из города. Младшим приказчиком у купца богатея Челищевца жил. Теперь в доме Челищевца детский сад шикарный, комнат, поди, с двадцать будет.

Константин Алексееч Сорокин одевался по-модному, по-городскому: кольцо с бирюзой, по жилету — цепочка, волос крылом вороним на лоб набегает.

Взглянет — глаза невеселые, серые — так тебя ими и охватит. И уже не для людю смутиться, по-настоящему. И хотя молодой, а губы вроде в усмешке всегда опущены. Папиросы «Моя услада» курил.

— Есть у меня две услады, Фиса. Одна во рту, другая кто — угадайте! — И снова сердце, будто под самую Каму в обрыв покатится.

— Мы, Фиса, много женского пола видали, в красоте разбираться умеем. Для кого же в Змеево жожу, разбираю калоши, мне то известно. — От их Змеева до города верст десять будет, сперва лугами, потом лесочком. — Понятно вам, Фиса?

Понятно, ох и понятно... Зачем только душу тревожил, намеки давал? На стыд, на срам девицу наталкивал?.. Взять хотя бы тогда, на святках. Коли по правде задумал, вышел бы вслед за Анфисой Никитишной. А тут нет, остался. Глянул на Кланьку, чисто кочет, охоршился. Дунька потом прибежала, рассказывала.

И пошло, и пошло с той поры. Ты от горя, оно за тобою.

— Фисушка, детушка, уж не больна ли? — спросит, бывало, покойница-мать.

— Маменька, милая, разве от этой на-

пасти лекарство имеется? Подружки смеются, парни с жалостью смотрят.

А вчера он сказал ей, рыжей:

— Второе кольцо покупаю, барышня Кланя. Камень — рубин заграничный. Чтоб это значило?

Значило это... Впрочем, правда, раз еще подошел, помани, как прежде:

— Разговор к вам, Фиса, имею.

Картуз в руках держит, козырек-лак на солнце блестит, пальцы жесткие, цепкие — от них внутри все вроде болит. сжимается. Уйти бы, не слушать, взгляда того не видеть — а воли нету противить. За скирды отошли, он папиросу «Моя услада» вынул.

— Хочу посватать вас, Фиса. За друга мово, за Петра Кузьмича, за водника Белкина.

Много лет с той поры утекло, но до сих пор Анфиса Никитишна помнит: и картуз, и скирды, и коробку «Услада». И гордость свою девичью. Гордость, она и ответить заставила:

— Петр Кузьмич, водник Белкин, может, лучше других человек!

Поведал ли, нет ли Петру Кузьмичу, только в скорости сватов послали. И свои, и чужие, все в один голос наказывали: у Белкина Петьки в городе домик. Человек работающий, хороший. Нет, не пошла бы Анфиса Никитишна, да Кланька ей по дороге встретилась:

— Приходи на свадьбу, Анфиса. Мы с Костей жениться задумали.

Так и согласие дала... Не знала последней обиды, что дом Константина Сорокина рядом с домом Петра Кузьмича. Обманула золовка Дарья Кузьминишна.

— У тебя, Петька, дом незавидный, еще, может, откажут. Приводи сватов в мой — совет, значит, брату дала. И тогда была языкатая, на хитрости ловкая, только персидскую шаль не носила.

У нее, у Дарьи Кузьминишны, и жили после свадьбы неделю. На вторую голубушка кланяется:

— Теперь обкрутились, уйти не уйдешь, пора и до дома. На улицу вашу, на Широкую, значит!

Ох, ты золовка Дарья Кузьминишна, что ж ты наделала, злая? Выйдет утром Анфиса Никитишна — напротив крыльцо Константина Сорокина. В полдень двери откроет — кланькина песня так и льется, и душит. Вечер звезды на небе выпит, лампа в окне Сорокиных звезды те забивает. И сын Андрюша — первый тогда родился — немилый, и глядеть на него не хочется. А глядела бы днями на сына Кланьки Сорокиной — потому на Коську похожий. А ненависть, вроде любви, она жгучая... Молчал, молчал Петр Кузьмич — и с молодю был терпеливый, да тихий — наконец не вытерпел, вымолвил:

— Уедем отсюда, Анфиса.

— Это как же гнездо свое оставлять? Что мы, кукушки бездомные? — Тут впер-

ые вдруг и заметила: статный, да рослый, да карие очи...

Через год родилась дочка Поля. Пожила месяцев с десять и померла, как Андруша, — недолговечные первые были. С той поры лет семь детей не носила.

— Кланька во всем виновата, — злится золовка Дарья Кузьминишна. — И первых двоих она уморила, и порчу на скот напустила. И Сашка через нее непокорный, у Алешки веснушки, у Натальи коса не выдалась. И сейчас на тебя тоску напускает. Ты, Анфисушка, с ней не водися, в избу к ней не ходи, посуды ее не бери, одежду свою от нее хорони — порча с тебя и спалится, тосковать перестанешь.

Советы твои, Дарья Кузьминишна, поздние. Сама ты про это знаешь, зря только треплешься. Знаешь, что лет уже двадцать Анфиса Никитишна с Кланькой не водится, в сторону дома ее не глядит, на улице встретится — не примечает. И Петру Кузьмичу наказала, и родне своей, что в Змееве, и детям сынам-соколам, и внучатам теперь наказывает. Потому что ненависть хуже бурьяна: не вырви сразу — заполонит, оплетет, и нет с нею сладу.

И тоска нынешняя у нее, у Анфисы Никитишны, не от порчи, не Кланькой напущена. Тоска человекья — по сынам голубчикам. По той самой причине тоска, что не может Анфиса Никитишна детям своим в сраженья помочь.

В колдовство же Анфиса Никитишна больше не верит. Сашенька с Лешей смеются, да и сама она видит — была бы Кланька колдунья, заворожила бы долю себе посветлее. А то всего годика два и пожилы с Костькой ладно. Гулять начал, пить. На глазах у целого города с бабами свадьбы крутил!

Она, конечно, сперва на дыбы. Да по старому времени разве жена — человек? Анфиса Никитишна глядеть не глядела, зато Дарья Кузьминишна бегала. Бил до того, что дитём скинула! Бил, когда первый сын при смерти лежал — так дитя и скончалось при отцовском при крике, при матерщине! Ну, понятно, не вынесла Кланька, сбежала. На канате ее обратно привел, в избу ночевать не пускал. Забил, аж высохла вся! Может, внутри что опши, кто его знает... Сам же вдруг и пропал. Родила она Генку; последнего, того, что теперь танкистом вместе с Сашенькой борется. А сам-то, Костя, в город Царицын собрался. Не по делу купца Челищова (Челищев о ту пору его уже за пьянство погнал), по своим каким-то заботам. Наддал жене на прощанье, уехал. А только домой не вернулся. Говорят, в драке-пьянке в Волге-реке утонул, вот тебе и камень-рубин заграничный!

Остаась с двумя: старшая дочка Варвара да Генка, а в доме — шаром пока-

ти. Ей бы согнуться, в несчастье своем покориться. Так нет! На улицу выйдет, голову кверху, хотя волос лет в тридцать седой уже стал. И походка попрежнему гордая, и к соседям своим неприятная, а Дарью Кузьминишну, ту даже выгнала!

Выгнал бы кто другой, Анфиса Никитишна, признаться, и посмеялась бы — не больно любит золовку Дарью Кузьминишну. Ну, а тут, известно, старое дело, крепко корни пустило. Поругались Анфиса Никитишна с Кланькой, посрамили друг друга, отвернулись пуще прежнего.

Кроме того, надо вам доложить, сын кланькин Генка в точности мать! Рыжий, глаза зеленые, пересмешник, танцор, балагур. И поговорка та же противная: «С дороги, короткие ноги!».

10.

Зима в этом году нелегкая выдалась — воробьи на лету замерзали. Снег не скрипит под ногами — звенит. И дома, и пароходы в затоне, вроде все хрупкое стало, дотронься — рассыпятся. Вечерами луна поднимается красная, в дымке висит. Дрова, чисто стеклянные, под топором разлетаются. Как в эдакой стуже на фронте? Как там сынам-соколам, голубчикам?

Ты тут на печке сидишь с внучатами, старик самовар поставит, а Сашенька с Лешенькой, может, в лесу пробираются? Может, по полю бегут? Немца проклятого гонят. Потому что в эдаком холоде, в этой страшнейшей стуже, слава богу, погнали мы немца!

Сидишь на печи, рукавички в мыслях сынам надеваешь, тулупчик на них застегиваешь, а самой тебе на сердце так зябко станет, что не удержишься, кликнешь Петра Кузьмича.

— Живем мы, старик, с тобой никудышные. Ничем мы Сашеньке с Лешей помочь не можем!

И старик тоже задумается, невесело и ему. В эту лютую зиму Клавде Сорокиной черная новость с фронта пришла: угнали немцы ее Варвару! В свою сторону угнали, на работу, на каторжную!

Сашенька с Генкой про то узнали. В город Калугу пошли, детей варваринных освободили — Людку да Светку, племянниц рыжего Генки. Старшая — Людка — от страха дурная сделалаась: как увидит кого, так и затрясется, заплачет, дядю своего, рыжего Генку, и то сначала боялась!

Висит пелена — марево зимнее. К колдцу пойдешь, вода в ведрах стынет; птица-ворон и та притаилась. Клавдии в силах ли одной про дочку Варвару правду узнать?.. Раздумалась Анфиса Никитишна, да голос золовки Дарьи Кузьминишны мысли те и спугнул.

— Клянет, клянет все Кланька Сорокина! Клянет, проклинает. Сынов твоих, Сашку да Лешку клянет!

Это за что же клянет?

— Клянет, клянет, проклинает! Не ходи к ней, невестушка Фиса. Смотри, заколдует и Сашку, и Лешку.

Теперь, конечно, стыдно признаться, а тогда не пошла: за детей испугалась. И от Лешки, от Саши утаила, и от Тали — дочки родимой, и от Грани, дочки названной, и Петру Кузьмичу не сказала. А старому сердцу, когда утаишь, невесело. Зимнее марево, вроде, на сердце ложится...

В скорости и Людка со Светкой приехали. Тихие, немцем запуганные. Рыжий Генка распорядился домой их послать, к бабке, значит, к Кланьке Сорокиной.

Не утерпела Анфиса Никитишна, распросить хотела про город Калугу, про то, как мы город Калугу взяли. Про танкиста, про Александра Петровича Белкина. — Ты Расскажи мне, Людьянка, матушка...

— Людка! — окликнула Клавдия Сорокина, двери прихлопнула, не захотела. Такая гордячка! От нее только хуже на сердце ложится марево; ложится, тоску нагоняет...

11.

Потом и весна подошла.

Весна в Прикамье у нас хитрая — нет того, чтобы сразу: нате, любуйтесь.

Сперва потихонечку ветром повеет: чуйте, люди, земля просыпается! Сосулькой большущей повиснет, небом высоким вдруг развернется. Или, словно пастушка гусей, облака погонит. А там и ручьи побегут, сначала под снегом, конечно. Ледяная кромка вокруг, чисто кружево тонкое.

— И у нас, маманя, весна! И у нас, маманя, весна, — бегут ручьи, голосами дятльчыми кличут, сашиным, лешиным.

— И у нас, маманя, грачи! И у нас скоро почка-листок развернется!..

Лешенька! Саша!.. Полегела бы я тем граченком, зашумела бы той водой весенней, чтобы вы знали, мои сыночки, как по вас я тоскую, помочь вам желаю!

Убежал снег ручьями, земля зачернела, травой запахла. В Каме вода прибывала, леса стоят легкие — ждут, дожидаются. Тут тебе самое время и огород распахать. Огород же, к слову сказать, у Анфисы Никитишны добрый — и под картошку, и под капусту, и даже цветную для Саши садила! Одно плохо: бок-о-бок огород соседки Сорокиной.

— Ты погляди, старик, что за диво! Весна уже в полной своей силе, а люди нашлася — землю лопатой не ковырнули! — это Анфиса Никитишна про Кланьку Сорокину, значит.

— Да, с опозданием нынче, — ответил

Петр Кузьмич. Неохотно ответил: и он же любит соседки.

Вспахали, проборонили. Денечка двенадцать полегит земля-матушка, потом и картошку садить. Кланька ж Сорокина — и что только с ней приключилось? — на свой клочок не выходит. Анфисе Никитишны дела, конечно, нету до Кланьки Сорокиной, а все же любопытно — почему не выходит?

Ну, с Петром Кузьмичем говорить об этом неловко: с самой со свадьбы фамилию, имя Сорокиных не поминает. Внучка же Галя — дитяtko малое, что знает, то и выложит,

— Галенька, сколько я тебя ни корила, а все ты со Светкой Сорокиной бегаешь. Скажи мне, голубушка, почему огорода копать не выходят?

— Больны они, бабушка, и бабушка Кланя, и Людка.

Вот оно что. Больны. Видит бог правду: отливается слезка ее горемычная!.. Дала внучке Гале ватрушку, пошла с Петром Кузьмичем на своем огороде садить.

Земля лежит черная, сытая — снега протаяли дружно, красиво. Повернуть же с другой стороны, на кланькин кусочек взглянуть — разве порядок, чтобы земля пустовала?

— Бог шельму метит: больны. А чем огород виноватый?

Ничего не ответил Петр Кузьмич, глаза опустил, потупил. И будто не по себе получилось, будто не то сказала Анфиса Никитишна. И на улице солнце играет, и небо высокое, а на Петра Кузьмича взглянуть не хочется. Так и садили молча, и домой повернули, молчали.

Только дня через три — словно нарочно эти три дня Анфиса Никитишна на огород не ходила — через три дня глядят: огород Сорокиных вспахан, отделан, заборонен лежит.

— Галенька, внучка, или они поправились?

— Хуже им, бабонька, бабушке Кланя и Людке.

— То-есть как это хуже? Что же такое выходит? Кто здесь насмешку творил? Отвечай мне, Петр Кузьмич. Отвечай, человек бездушный.

— Сама ты велела.

— Я? — Задохнулась Анфиса Никитишна, глотнула воздуха. А воздух весенний, чистый.

— Или ты что? одурел? Прожила я свой век за холщевый за мех...

Ухватила она за деревцо вишенку, а почка на вишенке на той веселая, словно сашенькин карий глазок. И птицы стрекочут, щебечут, как стрекотали в детстве Саша да Леша. А разве мать может сердиться, когда голоса дитячьих услышит?

Махнула рукой, оперлась на плетень, посмотрела.

— Чем засаживать будут? Картошки у

аих ни меры, я знаю.—И опять не ответил Петр Кузьмич. Такой старикашка ехидный! Даже там, где не просят, намеки дает!

Ночью поднялись звезды, луна. Луна точь в точь заколка серебряная — Леша из Крыма привез. Может, и правда, сыны на луну ту, на звезды глядят, стариков вспоминают?

— Петр Кузьмич, почему ты не спишь, зорочаешься?

— Не хочется, мать, не дремлетса.

— А как ты думаешь, Петр Кузьмич, что бы сыны сказали?

— Сказали бы: ты хозяйка!

Вот как ответил, судите сами. Ну, не старик ли отчаянный!

Заглянула луна в окошко. Раз, когда Саша горлом болев, луна так же светила.

— Тяжело, маманя, больному лежать. Одному больному, без помощи!—Сашенька ли промолвил, или пригрезилось? Не разберет Анфиса Никитишна.

Часы идут, тикают.

— Тик-так, тик-так... Не упускайте время, маманя, — говорил часто Лешенька.

— А как вдруг увидят, Алеша?

— Тик-так, тик-так... Ночью все спят, маманя. А коли увидят, свою, чай, картошку садите.

— А не темно, Лешенька?

— Тик-так, тик-так... Картошка, небось, в кладовке стоит, приготовлена. Тик-так, тик-так... Месяц — фонарь небесный — засветит.

Фу ты, беда! Никак она задремала? Разве могут часы говорить алешиним голосом?

— Петр Кузьмич, а Петр Кузьмич! Даром землю вспахивать грех. Как ты находишь?

— Тебе, мать, виднее.

И снова, будто, сашенькин голос:

— Тяжело больному, маманя...

И снова часы затикали:

— Тик-так, тик-так... Картошка в кладовке, маманя. Тик-так, тик-так... Луна — небесный фонарь — посветит.

— Петр Кузьмич, а Петр Кузьмич! Не ливися, отец, что я скажу...

— Стар я мать, чтобы дивиться.

Так и сажали во тьме, словно тати-разбойники, словно не свой картофель с кладовки.

Обидно, конечно, сами поймете. До того обидно, что слезы того и гляди из глаз покаются.

Да, видно, в ту ночь содеялось что-то — нету слез, не бегут. Провалиться б тебе со стыда, что на старости лет одурела... А деревья веткой тебе помагают, стыд отгоняют. А на ветке листок зеленый, веселый, клейкий. И река кругом разлилась, луга затопила: вода стоит поляя.

— Люблю, маманя, полуую воду, — скажет, бывало Лешенька. Одобряет, вроде, сыночек. Вроде, не сердится...

И только через неделю заплакала, ког-

да из Казани Граня письмо прислала.

«В этом году не смогу к вам приехать, маманя, — пишет Гранечка. — Не обижайтесь за это: летом в колхозе работать буду».

За что ж обижаться? Будь молода Анфиса Никитишна, сама бы в колхоз поехала. За дело Анфиса Никитишна не обижается, хоть, может, и ожидала тебя, моя доченька. А вот несурзичу ты написала, это уж стыдно! «Поздравляю, маманя, с командой Тимура. Вы — основатель команды, ее голова».

Какой такой основатель?! Или в Казани дурманом тебя опоили, Гранечка, что посмела старуху, названную мать, так обидеть? И кто тебе рассказал такие глупости?

— Витя, иди сюда, внучек. Кто про команду Тимура Гране в Казань отписал?

— Я писал, бабонька. — И глазом широким глядит и не стесняется.

— Что ж за ребенок ты неумный? Да как же посмел ты, негодник? Какой я тебе Тимур?! Какой основатель? Говори, как было дело?

— Прочли мы, бабонька, книгу «Команда Тимура». Понравилась нам. А вы рядом сидите и говорите: — Отсталый тот человек, кто фронту сейчас не поможет. — Мы и надумали: разве не помощь фронту, если другим помочь? Воды принеешь, картошку посадишь...

Закружилось все в голове у Анфисы Никитишны.

— Ах, ты неладный! Не внук ты мне больше и видеть тебя не желаю! Бабке твоей шестьдесят первый год на плечи садится, а ты себе позволяешь?! Да как ты посмел про картошку?.. Ты сперва проживи с нашу долю, потом и суди, и намеки делай.

Теперь, небось, весь город знает, что ночью, как тать-разбойник, картошку садила. И Кланька знает и, верно, смеется надо мною.

— Галечка, внучка, нишкни!.. Что говорила соседка?

— Сказала, бабонька: век за того молиться буду.

— Погоди, погоди, внучка глупая. Не хорошо ты омоловилась. Чтобы Кланька Сорокина, та, что навеки обидела? Вспоминать начала Анфиса Никитишна, в прошлое кинулась.

Только, видно, эта картошка, этот Тимур их несчастный, память совсем закружили.

Потускнел будто лак-козырек на фуражке Коськи Сорокина, не стучат каблучки Кланьки по сердцу: туманом, будто, покрылось прошлое, туманом весенним...

А туман этот сильный, потому что весна из девчонки красавицу вырастила.

Убралась весна в сережки черемухи-дерева, надушилась сиренью-ландышем, в траву-бархат густой нарядилась.

— О такую пору нельзя сердиться, ма-
маня, — говаривал Лешенька.

Верно, Алеша, нельзя...

«Оттого, так и быть, прощаю тебя, Гра-
нуша. Прощаю, письмо тебе посылаю. А
с письмом шиповника розовый цвет. На-
чала вода на Каме спадать, поехала я,
набрала для тебя, насушила. Вернешься
в колхозе с работы, умоешься — будет
личико бело, румяно. О траве же нынче
не беспокойся, Гранечка, — в лугах трава
выше колен. Подорожник-лист шире ла-
дони!..»

Пока же еще не время косить. Пока по-
лынок собираем горький, траву-череду,
зверобой, — говорят, бойцам помогает в
болезни. Может, Сашеньке с Лешей —
господь их храни, будет нужно...»

Захлавила, марку нашла.

— Риточка, сбегай скорее к докторше.
Уезжает сегодня в Казань, отвезет пись-
мо то.

А только зря торопилась. В этот вечер
событие было, событие это порадует Гра-
ну.

12.

Приходит, значит, под вечер Таленька-
дочка домой. Листок в конверте прино-
сит.

— Приглашение вам, маманя, в наш
детский сад.

Ишь ты, придумала — приглашение ста-
рухе! А кто квашенку поставит, кто вну-
ков спать уложит?

— Деда попросим остаться по хозяй-
ству. Вам же быть непременно!»

Ишь ты как — непременно! А все-таки,
знаете, лестно. Когда стариками будете,
тогда только поймете, что значит — «быть
непренежно!»

Полушалою надела шелковый, черный в
лиловую крапку, жакеточку синюю —
дети завидно одеты, ей чумичкой ходить,
их срамить, не приходится. В зале же
детского сада народа полно.

И все с приветом: «Товарищ Белкина!»
В первый ряд привели, посадили! Это вы
тоже поймете полностью только к старос-
ти — что значит в первый ряд «това-
рища Белкину!»...

Ну, толкуют, конечно, все о понятном —
о работ, о детском саде. Известно, у ка-
ждого сердце болит, чтобы детям бойцов
фронтовых как можно лучше помочь.

— И особое наше спасибо товарищам, —
тем, кто не работает в детском саду, а,
все же, о наших детях заботится, — гово-
рит завдомом.

Ну, захолопали все. И Анфиса Ники-
тишина хлопает — хоть и старуха, а, чай,
не какая отсталая.

— Спасибо товарищу Белкиной, Анфисе
Никитишне!

Испугалась. Руки на месте застыли,
сердце вот как пошло! Или смеются?.. Мо-
жет, кофточка грязная? Снимала квашен-
ку с печи, со слепу сажи и подхватила.

— Просим товарища Белкину к нам
президиум.

Нет, не смеются. Улыбаются, правда, а
не смеются. И Таленька дочка довольная

— Идите, маманя, когда вас просят.

— Да за что же это, господи, боже ты
мой? Да разве я?..

— А платьица детские штопали?

— Да, ведь, то вечером, когда делати
ничего.

— Носочки для третьей группы вязали?
Когда заболела няня Степановна, всду
для кухни носили?

— Да ведь то... А слезы бегут и бегут.
Из-за них, из-за слез, и угоститься, как
следует, не угостились! Мясо с картош-
кой было, пряники были, конфеты-подуш-
ки!

— Уж вы, как хотите, мои дорогие, а
старику и внучатам конфет захвачу.
Пусть едят, знают: ишь, куда залетела
Анфиса Никитишна!

И не зря говорила — воротилась до-
мой с двумя кулечками. Отворяй, старик,
ворота пошире: идет активистка детского
сада номер седьмой. Поглядела бы
Кланька Сорокина!.. Впрочем, но надо.
Сейчас на душе легко, приятно, ну, его,
старое! Да и посмотреть Сорокина Клабдя
не может — на той неделе в больницу
свезли. Ее и Людку в больницу, млад-
шую Светку пока в детский дом. А по
старой пословице так говорится: лежаче-
го ты не бей, малого не обижай.

— Натe гостинца, ребятам-зверята. По-
душка-конфет отличный. И ты еще, Петр
Кузьмич. Бери, тестомес, не стесняйся.
Вот получил какое прозвание за то, что
квашенку ставил!

— Смейся, мать, смейся. Сашка не да-
ром учил: со смехом ляжешь, со смехом
встанешь.

— А ты что думал, старик? Умносе на-
ших сынов на свете не сыщешь!

И поверите, нет ли, а встали на утро
веселые. Солнце еще не всходило, по об-
лакам же заметно: не хуже вчерашнего
выпадет день.

— Ты, старик, не буди рано Витю: се-
годня последний экзамен. — к тому это
она, что в десятый класс переходит
Витенька, — сами картошку окучим, у-
равимся.

А картошка, надо вам доложить... Нету
завидней картошки. И на их огороде, и
на сорокинском.

Поглядел старик Петр Кузьмич на со-
рокинский, задумался:

— Коль замахнулся, так и руби.

Анфиса Никитишна цапку отставила:

— Это к чему такой разговор?

— А к тому, что луны дожидаться
долго. Пока народится месяц, пока раз-
вернется... Всякий же плод во-время лю-
бит уход — картошка окучки требует.
Да и соседей нету, разве что Витька за-
метит?

Рассердилась Анфиса Никитишна:

— Вы с вашим Витькой оба хорошие. Старый да малый — одного сукна онучи. Побоялась я вашего Витьки! Не хочется только возиться, а то бы я тоже ему рассказала... Думает — старая бабка ослепла, не видит: и воду носил для Сорокиных, и в больницу везти команда их хлопотала. Меня в президиум выбрали: «Спасибо товарищу Белкиной!», а вы мне указывать станете? Идем сей момент на тот огород. Пока тот не окучу, своего не начну! Плевать я хотела на вашего Витьку!

Вот до чего рассердилась! А старик, известно, какой — нипочем не удержит, отпора не даст. Ну, и пошли на сорокинский...

— Окучивай, Петр Кузьмич, с того боку, я возьму с этого. Облака, гляди, закуривались — часов семь, поди, будет.

— Кто его знает? Я радио выключил, пусть паренек поспит перед экзаменом.

— Мне-то какая забота? Спит ли, нет ли... Не жалко, пусть спит. — А сама цапкой мах да мах: чтоб поскорее. С огородом с этим дожили до дела хорошего... Галенька встала:

— Вы, бабонька, здесь?

— Не суй носа, куда не просили. Видишь — роса давно высохла. Чай, уже поздно.

— Витя сказал: скоро девять. Попил молока и ушел.

— Ушел? Это на что же похоже? Дедушка, слышишь? Ушел!..

Вот тут-то и зародилась мысль: заглянул в огород, увидел на сорокинском и, чтобы покрепче над бабкой властвовать, ушел, не сказавшись.

— Отойди, неумемная внучка, не лезь мне под ноги. Разбаловал вас старик, нету сладу с детьми. Попил молока и ушел! Разве он чего понимает? Экзамен сдает, а не видит: весна уже кончилась. Летом какая окучка?..

— А когда весна кончилась, бабонька?

— Сторонись, я тебе говорю. Отхвачу ноги цапкой. Когда фиалку-цветок принесли, тогда и кончилась. Коли запахнет днем ночная фиалка — тут тебе и весне окончанье. Лето, значит, взошло. Косить, значит, скоро пора, а он тебя на смех, что на сорокинском!?..

13.

Косить, косить пора, бабонька!

Ну, и чудные ребята! Кричат — косить, сами косы держать не умеют. В Ленинграде где научиться?

— Никого не возьму, с дедом вдвоем поедем.

— Бабонька, я перешел в десятый! — попросил Витенька. И до чего на Лешу похож этот Витька!

— Так и быть, беру с собой Виктора.

— А я, бабонька, — в пятый! — вслед за ним Риточка.

— Витю и Риту. Приготовьте для ягод корзинки.

А Лиза на будущий год пойдет в школу... А Галя так разревелась, что деду ночью пришлось плести для нее корзинку.

— На, получай, не ори, Истомила деда до утра! Бери, Виктор, весла.

— А для полного нашего удовольствия возьмем с нами, бабонька, Степку, Танюшку, да Гришку, да Зойку Ползухину. Мы с Гришкой будем грести.

Никакого сладу с ребятами, поналезли в лодку, как мураши.

— Ничего, не далеко, бабонька.

Далеко оно не далеко — рекой версты, поди, три. А только дед во всем виноватый — разбаловал, теперь не отмашешься.

— Чего ж не отмашешься? Догребли быстрее моего. — Это дедушка, значит, заступник. — Вытаскивай лодку, ребята, в ивняк.

Лука ж развернулись!.. Чисто ковры изумрудные. Желтун-трава выше пояса, стебель сочный, густой. Зонтик душистый с тарелку, ирис степной синее. Ромашка, пырей, златоцвет... И все это пахнет, все это медом налит! На краю озера цветков незабудка, а и та уродилась крупнее ногтя! А повыше на гриве — клубника. В кустах земляника-ягода; ветер подует, сразу почувешь, куда итти, где искать... А поверх лугов небо синее, да ярко, да — чтобы не было скучно в облачках, чисто в перышках! Лето оно богатое, на дары-красоту тароватое.

— С корзинками, детки, ступайте прямо. Ежевика ползучья-колючая в кустах, черника любит посуше, земляника-ягода возле пеньков, на полянке.

Нет, не уходят. Стоят, с ноги на ногу переминаются.

— Что с вами, детки? Риточка, что с тобой, милая?

— Я, бабонька только... Коза...

Удивилась Анфиса Никитишна. Какая такая коза?

— Что ты городишь, глупая? Да говори, когда тебя бабка спросила.

— Не могу без команды открыться, бабонька.

Ага, опять он, значит, этот Тимур? Хорошо, поглядим, увидим! Кто у вас главный в вашей команде? Ага, значит, Витя? Хорошо, поглядим, посмотрим...

— Витя, иди-ка сюда. Что за коза? Говори.

— Работали мы в совхозе, бабонька... Помните?

— Ну, помню. Весной садили овощи.

— Заработали мы тогда, вся команда каша, козу. Теперь нам дали участок, видите вон, за кустами? И мы просим вас, вся команда прссит — Гришка, и

Таня, и Степка — чтоб научили вы нас косить. Для козы нужно сено.

— Что-то мне невдомек. Зачем вам коза?

— Этого, бабонька, я не скажу. Могу сказать только члену команды.

— Вот оно как? Ну, спасибо тебе, милый внучек. Уважил старуху! Дедушка, Петр Кузьмич, собирайся на наш участок. Теперь молодежь стариков ни во что не ставит.

— Бабонька! Бабушка! — И все разом глядят, и каждый чем-то похож на Лешу. То ли смотрел так же Лешенька, когда просить приходилось?..

— Мальчик ты глупый, Витя! Говори, зачем вам коза? И научу вас, и накошу вам сена. Не хочешь, значит, команда тебе милее? Идем, дед, Петр Кузьмич!

— Вы не уйдете, бабонька!

Подумайте только — в точности Сашка! Раз приехали с Сашкой в луга... И недавно описывал Сашенька: небось, цветут они, заливные?.. А горько-то как, когда вспомнишь, что отказала в чем сыновьям!..

— Поди сюда, Витя, в сторонку. Скажешь мне или нет?

И губу, чисто Саша, поджал. А в мае пошел семнадцатый, может, тоже придется расстаться?!

— Ну, ты, недивный мальчик... Ну, ведь ты сам говорил... Сам написал тете Гране, что я голова...

— Ура! Ура нашей бабоньке!

Это ль не глупые дети?.. А козу они заработали для той же Сорокиной. От команды Тимура подарок.

— Вернутся они из больницы, бабонька, будут пить молоко.

Что вы на это скажете? Не пойти? Не показывать, как косить надо? Значит, вы плохо знаете старуху Анфису Никитишну. Она сроду словом своим не бросалась!

Жих, жих... — трава под косой ровной грядой ложится. Вот как надо работать, ребятушки! Жих, жих... Козе много ли надо?

— Отвезем их долю, старик, отвяжемся. Завтра за свой участок примемся. Все равно потеряли время.

— Мы вам завтра поможем, бабонька.

Набили лодку!.. Вот, вот борта зачерпнут. На корме Анфиса Никитишна, дедушка с веслами. Ребята берегом пешие.

— Осторожнее, Петр Кузьмич, как бы нам не свалиться.

— Ничего, мать, доедем.

Все ему ничего, лишь бы внукам своим угодить. Хорошо еще нынче река, как зеркало. Облака в воде отражаются, на том берегу камыши. В заводях лилиякувшинка белет.

— Старик, а старик! Что-то сегодня мне все о сынах говорит? Помню — срезал Алеша из камыша, из того, себе дудку-свирель. «Как сыграю на ней, маманя,

так вы на все уступки пойдете», — смеялся, бывало, Алеша.

— Эка что вспомнила, мать! К чему бы такое?

К чему — ни к чему. Однако, когда камыши проезжали, подумала: «Сыночек мой Леша! Разве я не пошла на уступку? Не накосила им сена? Лодку понаду лодку большую...»

14.

А потом и совсем закружилась. Заплати на две головы — на коровушку с телкой — не то, что козу прокормить. Обещала, конечно, команда помочь, да всех по колхозам послали, — остались опять вдвоем с дедом, с Петром Кузьмичем.

Накосить, посушить, домой отвезти — в скирдах хорошо, а все дома лучше. И овощ тоже ухода требует. Помидора в этом году громадная; огурец... — не сорви сегодня, завтра — не тот огурец.

А, может, сыны вернутся, покушают!..

«Начали бить мы немца. Бьем пододяще, крепко», — отписал в последний раз Леша.

Может, и правда, побьют и приедут! Уважает черемуху Сашенька, кисель из черники — Алеша. Заготовить надо. А там и малина пошла лесная.

«Малина, ягодка сладкая! Кто тебя скушает, повеселеет» — это и в песне поется. Разве упустишь такую ягоду?

Завертелась Анфиса Никитишна и не заметила: груздь, гриб шикарный, по лесу пошел. Осень, значит, настала. Есть такие, кто и скачет осенью — холода значит, близкие, пора скоро зимняя. А только Анфисе Никитишне осень нравится.

Вы посмотрите, воздух какой особенный, чистый! Скирды золотые на синем на небе, рябина-ягода словно из меди вылита. Леса стоят, шелестят... Шелестят листом желтым, коричневым, красным. Шиповник созрел — чисто алмаз гроздь на ветках, крики птиц перелетных слышатся... Красивое время!

Спора нету, оно красивое, да не всем да красу ту заметишь: и грибов на суши, и груздей на соли; тоже пудов, поди, пять набрали шиповника — бойцам, говорят, помогает. И картошку пора собирать... Не знаю, как бы с дедом одни уладились, если б команда их не вернулась с колхозов.

— Коли я вам голова, то быть вам здесь завтра всем по утру. Один рыть, другой собирать, третий мешки увязывать. Отнесете сначала с того огорода.

— А бабушка Кланя вчера из больницы вернулась, бабонька.

— А это меня не касается.

Без злости сказала, потому что, как ни чудно, а злости на Кланьку Сороки

ну больше нету. А когда злости нет, на душе веселее.

И утро веселое выдалось. Дым столбом идет сверху — ветра нет. На крыше сарайчика — тыквы разложены. Одно замеченье: янтарные да налитые, одному нипочем не поднять. Красный перец на полке сушится... Красный да желтый — цвета приятные. А вокруг тебя эти малые собрались, чисто маки белые, — ходко работа зашпорилась.

— Заходи, команда, вперед.

— Один мешок... три...

— Смотрите, картошка какая крупная! Десять мешков на сорокинском огороде собрали!

— Тащите, ребята, тележку. Ты что смотришь, Риточка?

— Почтальон идет, бабонька.

— Стойте! Когда почтальон...

— Может, сыны с фронта пишут? Пишут, дают матери выговор: и так вы, маманя, нас ничем не потешили, а теперь и писать забываете?!

«Комсомольская, сто четыре, Анфисе Никитишне Белкиной». Рука незнакомая, и кого бы такое?

— Что-то мне, старик, боязно.

— А ты, мать, открой поскорее. Увидишь подпись, узнаешь.

Подпись: «танкисты энской части, товарищи вашего сына Александра Петровича Белкина».

Задрожало внутри, опустело. Сашенька мой голубчик!..

— Погоди, мать, зря плакать. Прочти поскорее, узнаешь.

«Шлем мы вам братский, красноармейский привет, мамаша Анфиса Никитишна», — это, значит, танкисты энской части, товарищи Сашеньки пишут. — «И наш сын Александр Петрович Белкин шлет вам привет, и сосед его, то-есть танкист Геннадий Сорокин. И спешим мы уведомить вас, мамаша Анфиса Никитишна... — пишут танкисты энской части, товарищи Сашин... — «Спешим мы уведомить, что продвигаемся мы с успехом и бьем врага беспощадно.

И вчера в наступление забрали много орудий и пленных.» — Трофеев, значит, много они забрали, танкисты, товарищи Сашеньки. — «И в том, что мы хорошо наступаем, и ваша доля, мамаша, имеется» — это пишут они, товарищи Сашиньки. — «Потому что Геннадий Сорокин, нам все рассказал о поведении о нашем, мамаша. И о гражданочке Гране Семеновой (Граня Семенова с ним знакома и все ему отписала), и о детях в детском саду, и о том, как картошку садили. И когда мы узнали об этом, мамаша, так веселее нам стало, и погнали мы немца еще крепче, потому что такие матери нам на фронте — большая помога. А Сорокин, когда в бой пошел, тот даже крикнул: за родину нашу, за матерей дорогих!...»

Вот что в письме написано было. Написали, конечно, танкисты энской части складнее — Анфиса Никитишна, если желаете, письмо вам потом покажут — но суть, сердцевина письма такая.

— Старик, а старик! Что-то не можется мне. Придвинь мешок, посижу.

А слезы, чисто ручьи в половодье. Оттого, должно быть, когда поглядела — и тыквы на крыше за пять солнц золотых показались; и перец тот красный вроде цветка распустился...

— Погоди плакать, мать. Песмотри, кто пришел!

А возле калитки стоит с письмом соседка, Сорокина, Клавдия Максимовна. Видать, тоже с фронта письмо получила, может, от сына, а может, и от танкистов, из энской части.

— Фисушка! Матушка!..

О чем говорили, догадаетесь сами. Только теперь Анфиса Никитишна знает: и старый, и малый, каждый может фронту помочь, когда пожелает.

— Лишь бы охота, — говорила покойница бабушка. А уж покойнице бабушке — да будет земля ей пухом! — можно поверить: во всем селе первой хозяйкой была.

ПУШКИ ВЫДВИГАЮТ

*Исторический роман**

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

★

3

Когда Надя вернулась от Сыромолотова домой, то первое, что она сказала сестре Нюре, было:

— Вот что, Нюрочка, нам с тобой надо ехать в Петербург.

— Так рано? — удивилась Нюра.

— Ну, не так и рано, положим, а главное надо не опоздать.

Что Нюра поступит тоже на Бестужевские курсы и будет жить в одной комнате с Надей, это уж было решено, конечно, гораздо раньше, но ехать думали в конце июля, а теперь не было еще и половины месяца.

— Как так опоздать? Куда опоздать? Почему опоздать? — зачастила вопросами Нюра.

Но Надя была настроена так, что благодушно ответить на них не смогла, — она возмущалась даже, что сестра ее так легкомысленна.

— Ты что в самом деле, Нюрка, — пяти лет, что ли? Должна уж понимать, в какое время живешь, гимназию кончила!

— А в какое такое особенное? — удивилась Нюра.

— Здравствуйте, хорошо ли вам спалось!... В Петербурге забастовки, ульти-

матум Сербии объявлен, а она говорит «в какое»?!

— Что же я, не знаю, что ли? — почти обиделась Нюра. — Какая же тут новость?

— Вот такая, что надо ехать, пока не поздно... Соберемся и поедем.

— Подумаешь, долго как собираться надо!

От братьев Коли и Пети давно уже не было писем, и в семье Невредимовых не знали, что это значит. Даже и старик беспокоился и, подрагивая головой, ворчал за обедом, ни к кому не обращаясь:

— Молодость-молодость!... Куда ветер дует, туда и она гнется... Костяка-то этого самого нет еще, а без него что же? — Та же трава... Надо послать телеграмму, что с ними.

Дарья Семеновна, конечно, беспокоилась тоже, но она подходила ближе к возможной опасности и спрашивала своих студентов:

— Вот бастуют себе рабочие, — хорошо, — а как же инженеру тогда быть? С кем же Коля быть должен: с ними ли, или, я так думаю, хозяйскую руку он должен держать, иначе как же? Иначе его должны непременно уволить с завода.

На этот деловой вопрос один из студентов, — высокий Саша, — отвечал без малейшего затруднения, как об очень хорошо ему известном:

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1—2, 4—5, 1944 г.

— Инженеры, мама, по самой сути своей — офицеры производственной армии, поэтому, конечно, ни бастовать, ни бунтовать им не полагается по уставу... Однако мало ли чего не полагается делать, однако делается.

А другой студент — невысокий Геня, — добавил к этому, чтобы успокоить мать:

— Наш Коля, мама, не из таких, чтобы не понимать, что ему надо делать.

— А Петя? — тут же спросила Дарья Семеновна, но на это ответили сразу и Саша, и Геня:

— Что ты, мама! Пете разве есть время?... Ему некогда, — ему дипломную работу сдавать надо.

Четверо молодых, пятая — старая, а шестой — совсем уже древний, с головкой белой и дрожащей, как папка одуванчика под легким ветерком, готовая облететь, — они каждый по-своему переживали внятное уже прикосновение чего-то большого и зловещего, что надвигалось. Молодым хотелось поднять головы выше, чтобы разглядеть лучше; старой — втянуть голову в плечи, а древнему зачем-то понадобилось тут же после обеда подойти к сараю, остановиться в его полуоткрытых широких дверях и начать приглядываться к тому, что в нем было наставлено. ся к тому, что в нем было наставлено.

Обычно после обеда Петр Афанасьевич спал часа полтора, иногда и два и потом поднимался бодрый, умывался, шел в сад и там говорил самому себе, однако вслух:

— Вдруг вот так возьму да и доживу до ста лет, а?... Все может быть... Ведь доживают же другие... Еще и побольше ста лет живут, но это уж, это уж я нахожу излишним, а до ста лет отчего же нет? Вполне по-моему возможно... Никаких так называемых кахектических болезней у меня нет, стало быть... стало быть, вполне могу...

И в такие бодрые минуты он подходил к каждому дереву в саду своем, как к старинному другу или как отец к детям: ведь каждое сажал он сам, и каждое помнил, каким оно было, когда его ставили в ямку и засыпали землей, причем он каждое старательно пригаптывал, чтобы не раскачало его ветром. Он о каждом своем дереве знал, чем оно болело, если болело, какое было особенно плодоносным, какое не очень, какое росло буйно, а какое с оглядкой, какое с каким вело долгую борьбу там, в земле, где захватывало как можно больше земли корнями, и здесь, где раскидывало как можно шире крону, чтобы впитать в себя побольше солнца, творящего ткань растений.

Вдоль ограды сада стояли у него тополи и вязы — деревья-завоеватели: они летом сбрасывали с себя так неисчислимо много летучек, что те, подхваченные ветром, засыпали всю землю далеко кру-

гом. Если бы от каждой такой летучки пошло новое дерево, то за сорок лет, когда начали они впервые цвести, они покорили бы и весь город, и все окрестности его верст на тридцать кругом: везде были бы только тополи и вязы с их зеленой мощью, с их чудеснейшим переплетом ветвей, у каждого из всех тополей и у каждого из всех вязов совершенно особенным, неповторимым!

Но в этот день после обеда, уйдя к сараю, Петр Афанасьевич не посмотрел ни на тополи, ни на могучие вязы, ни на яблоны и груши, и вишни в своем саду. Его мысли заняты были теперь другим тем же самым, чем были заняты они лет семнадцать назад: присматриваясь к разному хламу в сарае, он искал глазами тот дубовый, когда-то отлакированный, прочный гроб, который сам для себя приготовил в ожидании близкой смерти.

Это был приступ не то что тоски, щемящей сердце, а вполне отчетливого желанья уйти в тень, посторониться от чего-то уже громыхающего, как отдаленный гул грома.

Не найдя глазами гроба, он испугался, как будто потерял самое необходимое, и как же без него теперь? Он уже от сарая начал кричать, повернувшись к отворенным окнам дома:

— Дарья Семеновна! Да-арья Семеновна-а!...

Та выскочила в испуге:

— Господи-Сусе! Что с вами?

— Где же он? Куда вы его дели? — накинулся на нее древний.

— Кто это? Кого дела? — не сразу поняла Дарья Семеновна.

— Как «кто это»? Гроб, конечно! А что же еще?

— Гро-об?... Что это вы о нем вздумали?

— Где он? Вы что же это? Продали его? А?

— Да, батюшки, — где стоял, там и стоит, — что вы! Стану я его продавать! И кому, — в самом деле так рассудить, — он нужен, — гро-об?... Подумаешь, зависть на него у людей, что ли?

— А что же я его не вижу совсем, а?

— Заставили кое чем всяким, — вот и не видите... Теперь уж сушки вишневой в нем держу, — он и без надобности.

И, немного отойдя от сильной оторопи, добавила, крестясь:

— Вот до чего же вы меня напугали, Петр Афанасьевич! Разве же так можно? Я ведь тоже года уж не маленькие имею... У меня сердце уж стало, небось, все, равно, как тряпочка, а вы меня так разволновали своим криком, что и не знаю как!

Успокоившись несколько, оттого что гроб оказался на месте и даже разгля-

дев, наконец, из-под каких-то ящиков его бронзовую или медную ручку, Петр Афанасьевич ничего не нашел больше сказать ей по поводу ее волнения, как только это:

— Как же можно было на гроб ящики какие-то ставить?... Гроб, это последнее жилище, а ящики что же такое, зачем? В печку их, на кухню, и все... Поколоть топором, и на кухню.

Так увлекся, что в забывчивости еще несколько раз повторил: «Поколоть и на кухню», когда пошел уже от сарая в дом. Лег было по долголетней привычке у себя в кабинете на «самосоне», но и самосон не помог, — не заснул.

А четверо молодых, разойдясь после обеда по своим комнатам, — так как братья обычно редко когда говорили с сестрами, считая их интересы гораздо более мелкими, чем свои, занялись тем же, на чем застал их час обеда, и Надя продолжала убеждать Нюру, что медлить с отъездом в Петербург теперь уж нельзя.

— Может быть очень большой наплыв на курсы, — говорила она, — и ты рискуешь остаться за флагом, если поздно поедешь.

— Ну, вот, глупости какие, — остаться за флагом! — упорствовала Нюра.

— Не понимаю, чего ты здесь, наконец, так прилипла! — начинала уж раздражаться Надя. — Что ты здесь такого не знаешь? Все знаешь, и все уж тебе должно надоесть, а там теперь одни белые ночи чего стоят!... В Эрмитаж сходим, в музей Александра III пойдем, — сколько картин ты увидишь! Люди из-за одного этого туда нарочно бог знает откуда, из Сибири туда едут, а ты уперлась, как все равно ослица какая, а чего уперлась — неизвестно!

— Да я совсем не уперлась, что ты! — слабо уже защищалась Нюра. — Откуда ты взяла?

— Ну, прилипла, как муха к меду! Там, ты пойми, вся жизнь, — вся, какая только быть может. А здесь что? Буквально, муха прилипшая!

— Я и не прилипла, — не выдумывай, пожалуйста, — а дней десять еще бы можно ведь погодить.

— Ну, если ты так, я и одна могу поехать, — внезапно решила Надя, — а ты уж сама потом приезжай.

— Выдумала тоже!

— А что же ты думаешь, это шуточки, что от Коли с Петей вот уж две недели нет писем?

— Подумаешь! Люди и по месяцу не пишут... О чем и писать, когда не о чем?

— А если они арестованы оба, — в гюрье сидят? — шопотом проговорила Надя.

— Ну, да, еще чего — «арестованы», — также шопотом пыталась отрицать воз-

можность этого Нюра, пытаясь в то же время вглядываясь в глаза сестры.

— Ничего невозможного нет, раз там такие везде демонстрации... И вот они где-нибудь там одни, бедные, в камере сидят и написать, конечно, оттуда ничего нам не могут.

— А Ксения, может быть, уже приехала из-за границы, — последнее что могла, высказала Нюра.

Ксению, как старшую, обе сестры младшие называли почтительно полным именем. Она еще в начале каникул уехала из Петербурга, в заграничную экскурсию вместе с несколькими десятками еще учителей и учителей из разных концов России. Она служила в одной из женских гимназий Смоленска, но возвращаться из-за границы ей нужно было через Петербург. В последней своей открытке из Берна она писала, что экскурсия уже на подъеме домой, так как и каникулы на исходе и все издержались.

Наде, конечно, никакого труда не стоило доказать Нюре, что Ксения, если даже успела уже с экскурсией вернуться в Петербург, едва ли одна что-нибудь может сделать в пользу братьев, если они действительно сидят оба, а втроем они, конечно, могли бы добиться, чтобы их освободили.

К вечеру Нюра начала уж укладывать в корзину свои книги и в чемодан белье и платья. А на другой день, — кстати, это был тот день, когда в городе известное стало, что Россия выразила намерение притти на помощь Сербии, если она подвергнется нападению Австрии, — обе сестры уже садилась в поезд, который должен был довести их до Петербурга.

Петр Афанасьевич только благословил обоих и всплакнул при этом, расставаясь с Нюрой, но на вокзал не поехал, хотя поезд отходил днем, а Дарья Семеновна расплакалась на вокзале, прощаясь с дочерьми так, как будто отчаялась уже когда-нибудь их увидеть.

4.

Володя Худолей тоже готовился в это время ехать в Харьков: несколько десятков рублей для этой цели дали его отцу из «офицерского заемного капитала» в штабе полка.

Однако командир полка Черепанов, распорядившись выдать ему деньги, сказал:

— Придется и нам с вами готовиться к отправке.

— К отправке? Куда именно? — спросил Иван Васильевич, надеясь услышать от своего начальника точный ответ, так как насчет отправки вообще были разговоры в полку, но все какие-то смутные.

Однако и Черепанов, — высокий человек, с глухаринными бровями и слишком

длинной, черной с проседью бородой, — сказал только:

— Куда прикажут, туда нас и повезут... А мы все должны быть готовы, — вот и все.

— Но ведь может и так быть, господин полковник, что никуда не отправят, потому что незачем будет, — попытался уяснить свое будущее Худолей.

Черепанов задумчиво побарабанил длинными павцами по столу, за которым сидел, и ответил:

— Хорошо бы, разумеется, только еда ли.

Потом добавил:

— Ваше дело пока маленькое, — вы в обозе с лазаретными линейками... А в случае военных действий — на вас большая ответственность ляжет, имейте это в виду. Опыта же у вас в этом нет: вы — врач мирного времени, а к вам на перевязочный пункт будут везти и нести тяжело раненных... Легко раненные не в счет, — этим только перевязка, — а тем операции придется, пожалуй, делать, а? Вы же ведь совсем не хирург.

И Черепанов, который сколько уже лет относился к нему хорошо, никогда не вспоминая о том, что он не хирург, теперь смотрел на него недовольно, сдвигая к переносью дюжего носа густые брови.

— На перевязочном пункте операций делать не придется ведь, господин полковник, — коротко отозвался на это Худолей, но Черепанов заметил еще недовольнее, как будто Худолей виноват в этом:

— И младший врач тоже не хирург, — так нельзя! Остается войти с ходатайством, чтобы дали хирурга.

Худолей знал, что Черепанов, обеспокоенный трагической в своем полку, сам часто заворачивал верхние веки солдатам в роты, но не было такого случая, чтобы хоть два слова он сказал ему когда-нибудь насчет хирургии. Из этого он сделал вывод, что какие-то секретные приказы по поводу войны уже получены в штабе полка, и поэтому думать над вопросом, будет или нет война, теперь уже лишнее будет.

И не только сам Черепанов, но и полковой адъютант поручик Мирный, у которого был такой же янтарный мундштук, как у командира, вдруг из самоуверенно-благодушного стал раздражительным и крикливым.

Прежде он говорил со всеми просто поучительным тоном, только иногда вставляя в свою речь:

— Приказ по полку, господа, надо читать, а не «думать» и в облаках не парить.

Теперь же он, когда к нему обращались с расспросами, отвечал раздражительно:

— Готовиться надо, и все... И не о чем больше думать!

Длинный и с длинным бритым лицом, с высокомерным жестким рыжеватым ежом на узкой голове, поручик Мирный всем своим видом теперь как будто даже стремился показать, что вот-вот полк ринется куда-то в бой.

Не удивился поэтому Худолей, когда подошел к нему потом, в лагере, поручик Середа-Сорокин, охотник, обладатель двух борзых собак пегой масти и двух гончаков. Вытянув гусачью шею, искалеченным тоном сказал ему Середа-Сорокин:

— Доктор, — у вас ведь дом есть, хозяйство, — вам, наверное, нужна собака, а?

— Как вам сказать, право, не знаю, — боясь его обидеть отказом, отвечал Иван Васильевич.

— Что же тут не знать? Понятно, нужна... Я вам приведу одну борзую, а? Привести?

— Не знаю, как жена, вот что я хотел сказать. Она собак никаких не любит... И до сего времени обходились ведь без собаки, — ничего.

— Ну, как же можно, послушайте: иметь свой дом и не иметь собаки! Я могу и гончую вам дать на время войны, разумеется, а потом возьму обратно. — Да нет, знаете ли, лучше не надо, — и пытался уйти от поручика Худолей, но тот был неотступен.

— Двух уж пристроил к месту, — говорил он, — только две остались: борзая и гончак. Прекрасный гончак, вы убедитесь, — а если хотите борзую, то отчего же: приведу борзую.

Так как Худолей хорошо знал свою Зинаиду Ефимовну, то, несмотря на весь свой талант жалости, не решился все-таки пожалеть Середу-Сорокина и постарался спастись от него, нырнув в дверь околотка, где совсем не было больных в этот день, и только классный фельдшер Грабовский сидел на табуретке и читал газету по старой привычке своей интересоваться политикой.

Проверив опытными пальцами, так ли, как надо, лежат его усы, Грабовский, губернский секретарь по чину, имевший поэтому две звездочки на погонах, сказал значительным тоном:

— Двое суток, — срок ультиматума, — прошло уж Иван Васильевич! Теперь думайте, что хотите. Может быть, там уж началось, только что мы не знаем.

— Нет, это не может быть так скоро, — решительно отверг опасность Худолей. — Ультиматум — одно, а военные действия — совсем другое... Я убежден, что договорятся в конце-концов.

Грабовский улыбнулся снисходительно: в вопросах политики старший врач полка казался ему сущим младенцем; и Худолей признавал его над собой превосходство в этих вопросах, однако те-

перь ему не хотелось уступать своему классному фельдшеру, и он добавил:

— Сколько на свете мирных людей и сколько воинственных, — попробуйте-ка прикинуть на счетах.

— Ваша правда, Иван Васильич, — мирных, может быть, в двести раз больше, только власть-то не в их руках, — вот в чем заковычка! — победоносно возразил Грабовский. — Потому-то у нас и начинают уж проявлять энергию... Даже вот Акинфиев идет сюда! — и кивнул на открытое полотнище палатки.

Акинфиев, младший врач, ежедневно заходил в полк, и совсем не нужно было вставать «даже», но несколько насмешливое отношение сорокалетнего уже фельдшера к молодому врачу, с одной стороны, и необычайность момента — с другой, подсказало ему именно это словечко.

Высокий, но узкий и сутулый, в дымчатых очках, так как глаза его боялись слишком яркого здесь летнего солнца, Акинфиев имел вид больного, желавшего, чтобы его уверили в скором выздоровлении.

— Что это, Иван Васильич, суета такая в полку, будто тревога объявлена? — спросил он, войдя поспешно и улыбаясь робко.

— Неужели суета? Я что-то не заметил, — сказал Худoley.

— Да и мне, пожалуй, так только показалось, — тут же согласился с ним Акинфиев и благодарно посмотрел на Грабовского, который заметил, глядя в газету:

— Сказать, чтобы особая какая-нибудь суета, этого нельзя: идет подготовка, конечно, на всякий случай...

— Я тоже думаю, что это еще суета не то, чтобы настоящая... Именно на всякий случай. — тут же согласился Акинфиев, а Худoley, вспоминая, что услышал от полковника Черепанова, но не желая говорить об этом, вставил будто бы между прочим:

— Хирурга нам должны бы прислать, а то ведь ни я, ни вы, не сильны в хирургии.

— Мало того, — запасных должны пригнать тысячи две, чтобы полк был по военному составу, а не по мирному, — сказал Грабовский и выпятил грудь: у него была выправка.

— Запасных? — удивленно повторил Акинфиев. — Ведь это бывает, когда уж мобилизация...

— Вот тебе на! — Удивился и Грабовский. — Конечно же, раз война, то и мобилизация!

Но то, что было ясно для одного, — оказалось и темно и непостижимо для другого.

— Однако же в японскую войну так не было, — это я отлично помню, —

сказал Акинфиев. — Война уж шла, а мобилизацию потом объявили.

— Кажется, именно так и было, — под держал его, впрочем, весьма неуверенно Худoley, но Грабовский вскинулся, — фельдшер-политик на двух врачей, не привыкших читать газеты:

— Как же это вы судите, не понимаю. Ту войну японцы начали как? Как ни кто ее не начинал никогда, — вот как. Пока наши только еще ворон ловили, ты уж армию свою высадили, — получайте! — Да-а, — протянул весьма неопределенно Худoley. — Что-то в этом роде, действительно, было... Но в общем, если полку суета, то, значит, надо суетиться и нам... Пойти хотеть свои лазаретные ли нейки посмотреть?

— А что же их смотреть? — сказал на это Грабовский и потом снова сел на табурет и уткнулся в газету, когда Худoley, взяв под руку Акинфиева, вышел из околотка.

— Вот беда, Иван Васильич, если и в самом деле война начнется, — доверительно и вполголоса обратился Акинфиев к Худoley, направляясь с ним в сторону обоза. — Расстроится тогда моя свадьба!

Худoley ни разу не слышал от него раньше, что у него есть невеста, поэтому ему удивился, но не успел спросить, кто же именно: очень зычно заорал дневальный десятый роты, ходивший со штыком на поясе по передней линейке:

— Кап-те-нармусов ротных выслать на середину полка-а-а!

Крик этот тут же был подхвачен дневальным одиннадцатой роты, потом двенадцатой, потом перекинулся в четвертый батальон. Дневальные вели обычную перепалку, и были похожи на утренних петухов, но в этот день все почему-то казалось очень значительным.

— Каптенармусов на середину полка вызывают, — зачем же это? — спросил Худoley вместо того, чтобы спросить своего младшего врача о его невесте.

— Получать что-нибудь из полкового цейхгауза, — подумав, ответил Акинфиев.

— То-то и дело, что получать, а что именно? Не для запасных ли что-нибудь такое, а?

И как-раз в это время, так как недалеко было до обоза, раздался оттуда начальственно-хриповатый голос капитана Золотухи 1-го, командира нестройной роты:

— Отчего колеса у аптечных двуколов не подмазаны, а?

Худoley и Акинфиев переглянулись, и первый сказал второму:

— Слыхали? Колеса уж подмазывать требуют!

— Вот в том-то и дело, — упавшим голосом отозвался второй.

— Говорится: не подмажешь — не поедешь.

— Понятно: собираются ехать.

Но на пути к Золотухе 1-му попался командир шестнадцатой роты Золотуха 2-й, тоже капитан и брат 1-го, такой же бородатый и черный, с таким же хрипатым рыком.

— Что, уже колеса подмазывают? — таинственным голосом спросил его Худoley, кивнув в сторону обоза, но Золотуха 2-й или не понял, или не захотел понять намека. Его рота была выстроена перед палатками и делала ружейные приемы под команду фельдфебеля Фурсы.

Низенький, но очень плотно сбитый, Фурса скомандовал:

— Начальник слева! — Слуша-ай, на кра-ул!

И на Худoleyа, звякнув винтовками, выкатила глаза вся рота, так как именно он, в сопровождении Акинфиева, пошел в это время слева.

Фурса должно быть просто хотел воспользоваться случаем, чтобы солдаты его роты действительно видели кого-то, подошедшего слева, но, видимо, это не понравилось Золотухе 2-му, почему он и неприязненно встретил Худoleyа.

— Какие колеса? — спросил он хмуро.

— Обозные, — пояснил Худoley.

— Так что? Подмазывают?.. Колеса ни на то и существуют, чтобы их подмазывали, — что же тут такого?

— Однако же, если их не подмазывать раньше, значит, не нужно было, — оостарался еще ближе к делу подойти Худoley, но Золотуха 2-й вдруг закричал неистово своему фельдфебелю:

— Вся середина первой шеренги штывки завалила, а ты куда смотришь! — и ринулся к роте.

Канцелярия полка и летом продолжала оставаться в городе, там же, где была и зимою, но из этого не вытекало никаких неудобств: дом стоял на окраине, среди других домов казарменного квартала, а лагерь начинался недалеко от казарм.

Худoley давно уже помнил этот лагерь, однако в первый год его службы в полку, тополи, со всех четырех сторон замкнутые лагерь, были только-что посажены, теперь же они встали четырехмя высокими стенами, отрезавшими этот мирок от остального мира. Если в остальном мире кругом было множество интересов, разнообразно переплетающихся между собою, то здесь плохо ли, хорошо ли делали только одно: готовили полторы тысячи людей к сражениям. Была даже одна команда: «К бою готовься!», по которой штывк грозно оборачивался в сторону возможного врага, ведущего лобовую атаку.

Здесь кололи соломенные чучела с разбега, занимались самоокапыванием, пуская в ход свои саперные лопатки, брали

на ура земляные валы и деревянные заборы — укрепления противника..

Главное, здесь было поле кругом, гораздо более похожее на поле сражения, чем зимняя казарма. Поэтому Худoleyа всегда казалось странным видеть и в лагере те же ружейные приемы, как и на дворе казарм, но теперь эту заботу Золотухи 2-го о чистоте приема «Слушай, на кра-ул!» он принял за упорное нежелание знать, чем взволнован весь мир.

Впрочем, из шестнадцати ротных командиров полка, Золотуха 2-й казался всегда ему едва ли не самым отсталым, недалеким, наименее склонным к какой-бы то ни было новизне, к какой-нибудь, хотя бы самой небожкой игре мысли.

Однако и другие пятнадцать командиров рот были капитаны, как капитаны, — довольно прочно сработанные люди.

Один, впрочем, капитан Диков любил вырезывать лобзиком рамки для фотографий, но Худoleyа затруднялся решить, — очень лучше это, чем игра в преферанс, или не очень; во всяком случае, это не увеличивало его чисто военных знаний.

Как врач, он больше знал офицеров полка и их семейства со стороны здоровья, но отойдя от шестнадцатой роты настолько, что его не могли бы услышать ни Золотуха 2-й, ни двое его полуротных, ни Фурса, он неожиданно для себя сказал Акинфиеву:

— Ведь это вот, что мы с вами видим, и есть именно будущее России!

— То-есть, как будущее? — не понял Акинфиев.

— Ну, в общем, я хотел сказать: то, от чего зависит наше будущее, — и мое, и всех ста семидесяти или восьмидесяти миллионов, сколько их там считается граждан России, — уточнил Худoleyа.

Эта простая мысль осенила его внезапно и удивила его: никогда раньше не приходилось ему задумываться над этим: и некогда было, и как-то не было подходящего случая. Но Акинфиев все-таки смотрел на него с недоумением, почему он и продолжал, воодушевляясь:

— Представьте хоть на одну минуту такую картину... При Николае I говорили: «Сорок тысяч столоначальников, — то-есть, разных там титулярных советников, мелких чинушек, — управляет Россией...» Вообразите же сорок тысяч ротных командиров, и скажите, пожалуйста, не в их ли руки будет отдана судьба России, если начнется война?

— Отчасти, конечно, в их руки... — начал было возражать Акинфиев, но Худoleyа перебил:

— Как же так «отчасти»? Не отчасти, а вполне! Без капитанов нет полков, без полков не будет дивизий... Капитан это — альфа и омега армии, все равно, что николаевский столоначальник?

— А командиры полков, бригад и прочие?

— Приказывать будут, а выполнять их приказы — на это имеется капитан Золотуха... Он не болеет золотухой, но, может быть, лучше бы было, если бы болел и не служил поэтому в армии, а на его месте был бы кто-нибудь другой — и помоложе, и поумнее.

— Вот как вы уж теперь рассуждать стали, Иван Васильич, — удивленно сказал на это Акинфиев, остановясь: ему никогда прежде не приходилось слышать подобное от своего прямого начальника, который был чрезвычайно снисходителен к людям. — Может быть, вас чем-нибудь обидел Золотуха?

— Чем же он мог бы меня обидеть? — удивился в свою очередь Худолей. — Нет, ничем... Разве что самым фактом своего существования...

— Насколько мне известно, он существует в полку лет двадцать, однако же...

— В обстановке мирного времени, — перебил Худолей. — Но ведь в обстановке мирного времени все вообще военные только исключение. В Англии нет воинской повинности, и там, говорят, встречаются на улицах военные совсем не так часто, как у нас... Но вот, пожалуйте, война, и у нас их, может быть, в десять раз будет больше... В чьих же руках будущее России? — Вот только это я и хотел сказать...

Он двинулся с места, чтобы на ходу закруглить свою мысль, но из деревянной палатки, в которых поселялись на лагерное время батальонные командиры, вышел подполковник Швачка, ведавший четвертым батальоном, и сказал как бы расслабленно:

— Вот говорится: на лодца и зверь бежит... Это правильно, господа медики.. Зайдите-ка на минутку.

Медики переглянулись и зашли в маленький барак Швачки, в котором помещались только стол, стул и койка, и очень трудно было бы поместить что-нибудь еще. Два окошечка прорезаны были по сторонам двери, а пол был выкрашен красной охрой. Несколько кустов розовой мальвы росло около барака, и это было все украшение подполковничьей летней здесь жизни.

Швачка был тучный опавший старик, однако Худолей не помнил, чтобы он жаловался ему на болезни; теперь же он, впустив обоих врачей и заботливо прикрыв за ними дверь, сказал вдруг вполголоса:

— Плох я стал, господа медики... Откровенно говоря, — ни-ку-да!.. Послушали бы вы в свои... как они называются?

— Стетоскопы, — подсказал Акинфиев. — У меня, к сожалению, нет.

— И я не захватил. Но это, в сущности, ничего не значит, — решил Худолей. — У каждого из нас есть уши.

— Что же, снимите рубаху, послушаем.

До предельного возраста для подполковников Швачке оставалось всего два три месяца, — это знал Худолей, как знал и то, что вообще подполковники так же, как и капитаны, «предельного возраста» не любят: с ним связана стипендия и пенсия, на которую трудно прожить.

Однако в эти тревожные дни мог быть спасителем и «предельный возраст» и могли быть желательны часто связанные с ним болезни. Расспрашивать о чем-нибудь Худолей счел излишним. Перед ним стоял покорно снявший рубаху, жирнотелый, с волосатой выпуклой грудью человек, — весьма поживший, лысый, с тусклыми глазами, с сединой в бороде и усах, по строевой привычке старавшийся держаться прямо, но чуть только память подсказывала ему, зачем он пригласил врачей, вдруг начинавший сутулить спину и шею.

Худолей стучал пальцами в его грудь, прикладывая к ней ухо и говорил то «Дышите!», то «Не дышите!», то «Вздыхайте глубже!... Наконец, отошел на шаг и уступил свое место Акинфиеву, который тоже стучал пальцами и слушал.

— Приляжьте-ка, — обратился потом к шивали: «Больно?», на что подполковностью, которой требовал от него этот важный в его жизни осмотр, грузно улегся на заскрипевшую койку.

Поочередно мяли ему живот и спрашивали: «Больно?», на что подполковник предпочитал отвечать, что больно вообще и везде больно.

— Явная эмфизема легких, — сказал после всех своих действий Акинфиев, — а также и гипертрофия сердца.

— Кроме того, цирроз печени, — добавил Худолей. — Можете надеть рубашку.

— И как же все это, господа — серьезно? — спросил Швачка, поднявшись и натягивая рубашку.

— Еще бы не серьезно, — утешил его Акинфиев.

— Разумеется, — окончательно ободрил его Худолей. — Притом же это ведь поверхностный осмотр, а если более детальный, то к трем основным дефектам может ведь присовокупиться и еще...

— А разве трех этих, как вы их называли, не будет довольно? — на всякий случай спросил Швачка.

— Вполне довольно, — успокоил его сомнение Худолей; Акинфиев же пояснил:

— Важна ведь степень запущенности болезней... Может быть и одна болезнь, да зато в такой сильной степени, что... А тем более если три.

Когда благодарно пожимал руки врачей Швачка и отворял перед ними дверь своего барака, оживленным стало его

широкое лицо и помолодел голос. Когда же на его вопрос:

— Как же думаете, Иван Васильич, могут меня оставить здесь командиром запасного батальона?

— Какого запасного батальона? — не сразу понял Худолей.

— Нашего полка, конечно: полк уйдет, — а маршевые команды к нему на фронт откуда же посылаться будут? — Из запасного ведь батальона.

— Ах, да, — как в Японскую кампанию было... Отчего же не могут! Вполне могут. Вы скажите об этом командиру полка.

— Да я уж говорил, и даже почти обнадежен, — решил теперь улыбнуться Швачка.

— Сегодня мне попенял командир полка, что мы с вами оба — не хирурги, — сказал Худолей Акинфиеву, направляясь к обозу, — а между тем, конечно, война, это — сплошное увечье человеческих тел... Не хирурги, да, но мелкие операции можем все-таки делать, а вот один командир батальона счел за благо остаться в тылу...

— Иван Васильич! — вдруг просительным тоном отозвался на это Акинфиев. — В самом деле ведь, запасной батальон как же может обойтись без врача? Не могу ли я остаться здесь врачом в запасном батальоне, а?

Так непосредственно это было сказано, с такою верой в только-что явившуюся мысль глядел младший врач на старшего, что Иван Васильич даже отвернулся сконфуженно.

— Запасному батальону никакого врача особого не полагается, — ответил он и добавил: — А нам с вами еще рано отлынивать... Швачке все равно подходит уж предельный возраст, а вам что такое?... Ах, да, — жениться захотели?... Стоит ли перед войной жениться, — подумайте-ка. По-моему, подождать бы до конца войны.

— Да ведь войны, может быть, и не будет, — сказал на это Акинфиев, чтобы сказать что-нибудь.

— Может быть, и не будет, — счел нужным согласиться Худолей, чтобы загладить неловкость. А в обозе тем временем уже шла война: там развевался Золотуха 1-й, и хрипучий голос его тяжело реял над линейками и двуколками, выкрашенными в прочный зеленый цвет и с толстыми железными шинами новых дебелых колес.

5.

Не потому только, что здесь стояло два полка, — пехотный и кавалерийский, — успело докатиться сюда слово «мобилизация», дня за три до того прозвучавшее в Красносельском дворце: слухом многих касалась эта военная мера, чтобы ее соблюдали, как строгую

тайну, пока она не была бы объявлена всем.

— Вот штука-то! Будто бы не один только запас, а даже и ополченцев первого разряда брать будут! — войдя в свою квартиру, сказал Макухин Наталья Львовне, сидевшей на балконе с Дивеевым.

Бывают такие новости, которые высказывают только затем, чтобы начали яростно опровергать их, — иначе они слишком пугают. Макухин не то, чтобы надеялся на это со стороны жены или Алексея Ивановича, которые знали по части запаса и ополчения гораздо меньше, чем он, но даже услышать энергично сказанное кем-нибудь из них слово «чепуха» для него было бы как вода во время жажды.

И Наталья Львовна первая сказала: — Чепуха, должно быть! Болтают лишь бы побольше наболтать.

— Это о чем? — осведомился Дивеев.

— Будто бы и ополченцев брать будут, — повторил Макухин.

— Ополченцев? — Дивеев задумался на секунду и спросил: — Когда же их? В конце войны?

— В том-то и дело, что будто бы не в конце, а в самом начале: запас и ополчение в один день.

— Никогда этого не было! Никогда не слышал я, чтобы... Нет, это — явная, действительно, чепуха, Федор Петрович!.. Ополченцы, ведь это что же такое? Это — бороды по пояс и топоры за поясом... На какой-то картине я видел, — в двенадцатом году такие были, — сто лет назад.. Как же можно, — даже и подумать смешно! Нет, ты не верь!

Алексей Иванович даже и руки поднял вровень с лицом, чтобы защитить себя от чепухи явной и недвусмысленной и оберечь от нее Макухина.

— Я и сам тоже думаю, — какая же такая крайность, чтобы тут тебе сразу и запас, и ополчение, — решительно чтобы всех? — начал рассуждать, перейдя с балкона в комнату, Макухин. — Кормить ополченцев нужно? — А как же не кормить? — Это денег будет стоить? — Еще бы нет! — Раз!.. Помещение для них надо заготовить? — Полагать надо, что не на свежем воздухе будут они жить. Это тоже каади на счеты... Да если все как есть, что для них, для ополченцев, требуется, на счеты положить, — в казне и денег нехватит! Не считая того, что от дела их оторвут, — прямо сказать, миллионы людей, а толку от них никакого: молодых обучать еще строить там, стрельбе и прочему надо, а стариков переобучивать... По всем видимостям выходит, — кто-то зрящий слух об этом пустил, а людям разве втолкуешь? Прямо, как перед светопреставлением каким все головы потеряли!.. Полезнова сейчас видал, — говорил с ним, и тот туда же: — «А что, говорит, если и мои года брать

будут?» — А ему уж пятьдесят, — и то страшится: «Детишки, говорит, только еще ползать начали, а ходить еще не ходят, — вдруг прикажут: «Надевай шинель!»... Конечно, об деле нашем он теперь вовсе молчок. — «Слава богу, говорит, что не начал!»

Дивеев вскопал и начал ходить из угла в угол, ступая очень быстро, что было у него признаком охватившего его волнения.

— Я был в тюрьме, — заговорил он, — а потом в каком-то маленьком сумасшедшем доме, — помню, помню... Однако, позвольте, чем же отличается это? Там — маленький, а здесь — большой, — только, только. Дело в размерах, и, кроме того, там, в общем, безвредно было... Пользы, разумеется, никому никакой, зато хоть явного вреда не было. А что же такое теперь собирается начаться, а?... Австрия, Германия, Сербия, Франция, — все, все, — вся Европа! А потом еще какая-нибудь комета явится посмотреть, как Земля с ума сойдет!.. Комета с двумя хвостами... А хотя бы и с одним, все равно... Войны нет пока, однако почему же это, почему же допускают так много разговоров всяких о ней, а? В газетах умные люди или нет сидят? В дипломатах, в министрах умные люди? С генеральскими эполетами, со звездами налево направо от лент через плечо, а?... Нет?... Тогда почему же такой начинается всевропейский погром здравого рассудка?... Федор Петров! Быть этого не может, чтобы началась война! Не верь!..

— Да ведь кому же хочется верить? И я не верю, — упираюсь, конечно, изо всех сил, а как ежели по затылку стукнет, тут уж не в веру будет значение, а в силу, — проговорил Макухин, все-таки несколько ободренный беспорядочными словами бывшего архитектора.

— В мире чего больше, скажи: ума или глупости? — схватив его за плечи, спросил горячо Дивеев.

— Да ведь глупости, конечно, тоже хватит, — понимая, к чему этот вопрос, уклончиво ответил Макухин.

— Нет-с ума! Все-таки ума, иначе не было бы совсем жизни! — выкрикнул Дивеев. — В двести раз больше ума, чем глупости, откуда же, скажи, может взяться война?

— Смотря, что перетянет, — хотел сдаться, но намеренно тормозил себя Макухин. — Пудовая гирия, — она ведь невидная, или камень-дикарь возьми, а половы, скажем, овсяной, ее на пуд сколько пойдет? Мешок половы на спину вскинь, — тебя за этим мешком и видно не будет... Знаешь, как Адам в раю пару волов своих обманул, на которых там земаю пахал?

— Нет, не знаю, — опешил несколько Дивеев.

— Это мне татарин один рассказы-вал... Волы, конечно, трудились, — при-

шел им черед хлеб молотить своими ногами, — обмолотили... Вот какая кучка того хлеба лежит, вон какой омет соломы наворочен. Ну, Адам, конечно, и спрашивает: «Чем хотите кормиться, — выбирайте... Что себе выберете, то и будете от меня получать каждый день». Волы смотря на хлеб, — так себе гучечка незавидная; смотрят на солому, — прямо целый дом стоит, и запах от этой соломы вкусный. Пошли мычать вперебой: — Вот это нам давай! — и рогами в солому уперлись. Адам, конечно, тому и рад: «Это и будете от меня получать, — я своему слову верный»... Кинули волы к той соломе — вот хрумчат и вполне довольны, Адам же тот хлеб свой поскорее с ихних глаз долой, на толок зерна в ступе да лавашу себе напек... Так точно и это, что ты говоришь

— Что же тут такого «так точно»? Я тебе об уме и о глупости, а ты мне какую-то сказку про белых бычков! — почти рассердился Алексей Иванович.

Не знаю уж, белые они были или же серые, а только ежели счастье Адама за умного, а волов его, конечно, за дураков, то посчитай, на сколько в Адаме весу, да сколько в паре тех волов, хотя бы и райских.

— К чему же ты клонишь, не понимаю? — недовольно спросил Дивеев.

— Да к чему же мне больше клонить, как не к уму да глупости? Ведь я твоя же слова повторяю, — отозвался Макухин.

— Хорошо «повторяю»! Разве так повторяют? — вмешалась Наталья Львовна.

— Я ведь неученый, что же с меня взять, — угромо улыбнулся Макухин.

— Как умею, так и повторяю... А как если ополченцев брать будут, значит, придется тогда итти.

— Как это так «придется итти»? Ты что это глупости говоришь? — возмутилась Наталья Львовна, докурившая в тому времени папиросу и бросившая в угол окурков.

— От нескольких человек слышал.

— От таких, каким нужна война? — резко спросила Наталья Львовна.

— Кому же она тут нужна?

— Ну, да, конечно, кому же она тут нужна? — поддержал Макухина Алексей Иванович. — Тут пушечных королей нет.

— Иль Лепетову нужна, — вот кому! У него, как известно, большие планы, — сказала Наталья Львовна.

— Кроме того... Кроме Ильи... тут еще кое-какие заводилки есть, — пробормотал Дивеев не совсем внятно.

— Вот видишь, — заводилки, — подхватил, обращаясь к нему, Макухин.

— А они что же, как по твоему, — ум или глупость?

— Однако старая рана в сердце Алексея Ивановича была уже вновь разбережена

ыкриком Наталии Львовны, и он ответил не на вопрос Макухина, а на свой:

— Илье, конечно, бесспорно, ему война, да, ему... Он в ней разберется, как в собственном доме... Она — для него... Для таких, как он, я хочу сказать... Однако разве Илья Лепетов это — ум? Это только подлость с открытой харей, а совсем не ум!... Он подойдет, да, он вывернется из любых тисков, и он достигнет... Несмотря ни на что, или... Или благодаря всему... Даже и войне тоже. Он приспособит к себе войну, — вот в чем его ум: в том, чтобы приспособить мерзость, тюрьму, сумасшедший дом!..

Это был вечерний уже час, когда слепая спала после обеда, а полковник Добычин выходил на прогулку. Если не с кем было гулять, он уходил один, и вот теперь в прихожей раздалось шлепанье туфель спешившей на его звонок прислуги, потом стало слышно, как он превеличленно бодро почему-то крикнул... Таким бодрым и кричающим он и вошел в комнату, где говорилим трое, волнуясь.

— Вот какую новость подхватил я прямо, можно сказать, на улице! — начал он сразу, как только вошел. — Австрия-то какова? — объявила уж, говорят, войну Сербии!

— Как так объявила? — почти шопотом прошелестела Наталия Львовна.

— Очень просто: взяла и объявила! Ведь срок ультиматума прошел, а как же!... Значит, Сербия чем-то не угодила, — вот и начали.

— Да от кого же это вы? — изумился Макухин. — Отчего же я не слышал? Я ведь только-что сам пришел, — Другое слышал, а этого нет.

— А что такое ты слышал? — любопытно спросил Добычин.

— А вы от кого слышали про войну? — захотел сначала удостовериться Макухин.

— Грек один говорил в табачной лавке, что уж будто австрийцы стрельбу через Дунай по Белграду открыли, — вот откуда.

— А грек этот откуда же мог узнать? — усомнился Алексей Иванович.

— Как же так откуда? Греки чтобы не знали! — не сдавался полковник. — Да они всю подноготную знают.

— Однако же никаких телеграмм...

— А, может быть, у них свой телеграф, — кабель какой-нибудь в Черном море!.. Вообще, греки, это я вам скажу... А что ты слышал? — обратилась полковник к Макухину.

— Я — плохое... Будто ополченцев первый разряд призывать вместе с запасными будут...

Макухин думал, конечно, что его тесть возмутится этим так же, как жена и Алексей Иванович, но увидел, что полковник как-то вытянулся вдруг и посмотрел почему-то молодцевато.

— Ополченцев? — раздельно спросил он.

— В том-то и дело.

— Составлять, значит, дружины ополченские думают? По регламенту Александра Первого? Тысяча девяносто шесть человек в дружине?... Вот это, это, действительно, новости! От кого же ты это слышал?

С каждым своим восклицанием полковник выпрямлялся и, наконец, даже как будто попробовал выпятить грудь.

— Нескольким людям говорило, — не от одного слышал.

— Но ведь в таком случае, — знаешь ли ты, что я состою в списке штаб-офицеров, пред-назначенных к занятию должностей командиров дружин?

— Папа! Вот как? — удивилась Наталия Львовна. — Отчего же я об этом не знала?

— Неужели я не говорил? Говорил, должно быть, да ты недостаточно вслушалась в мои слова, почему и забыла... Да-с, вот, именно так: могу быть командиром дружины. А ты, значит, будешь у меня под командой, если тебя возьмут.

И полковник покровительственно положил руку на спину зятя и добавил:

— Неловко, конечно, нижний чин ты, — ну, что делать, — как-нибудь тебя устрою...

— Выходит, Лев Анисимович, что вы как будто бы даже... ничего не имеете против войны? — спросил Дивеев.

— Причем же тут война, братец? — прогудел начальственно Добычин. — Война и дружина! Дружина будет себе в тылу, хотя бы здесь, нести гарнизонную службу, и все... И никто с нее ничего больше не спросит.

Глава восьмая

ИСПУГАВШИСЬ ДОЖДЯ, ПРЫГНУЛА В ВОДУ

1.

Надя и Нюра, отправляясь в Петербург, сели не на курьерский, а на почтовый поезд, однако вместо двух с половиной они пробыли в дороге почти четыре дня: почему-то очень долго стояла на узловых станциях их поезд, пропуская вперед какие-то другие, большей частью товарные поезда — красные вагоны и платформы. Надя строила сначала догадки, что простои на узловых станциях от заставок, так что эти задержки на пути в бастующую столицу только поднимали ее настроение. Но, проехав Харьков и Курск, она, как и другие пассажиры, убедилась в том, что мешают движению их поездов военные поезда, которые идут не в целях подавления забастовки.

Выходя кое-где на станциях с чайником за кипятком, Надя очень вниматель-

но смотрела по сторонам и вслушивалась в разговоры, однако пока все еще оставалось прежним — и станции с их суе-той, и разговоры.

В Поньях, здесь на перроне толпилось много солдат, Надя спросила одного, ве-селого с виду:

— Далеко едете?

— Куда везут, туда и едем, — ответил веселый.

— Куда же вас везут?

— Про это начальство знает, — сказал веселый; но пригляделся к ней другой, с тяжелым взглядом, с серебряным коль-цом на указательном пальце и с одним лычком на погоне, и спросил ее сам:

— А вам, барышня, зачем же это тре-буется знать?

— Так себе, — сказала простосердечно Надя.

— А «так себе», значит, это вам ни к чему, — загадочно решил ефрейтор, но смотрел на нее при этом так неприяз-ненно, что она только вздернула плечом и отошла.

В отношении Нюры она вела себя под-линной старшей сестрой. В дороге это было тем более к месту, что Нюра в первый раз выехала из Крыма, а Наде было уже знакомо много станций и, хотя из окна вагона, но она уже видела рань-ше и не один раз многие города по ма-гистралах Петербург — Севастополь, и с каждым у нее уже было связано кое-что.

Так, когда подъехали к Павлограду, она говорила Нюре:

— Там возле станции шпал очень много лежит, — шпалопропиточный за-вод рядом, а города не видно совсем: он где-то там за дубовым лесом...

Когда подъезжали к Харькову, предуп-редила:

— Тут такой запутанный вокзал, — столько платформ в разные стороны, что тебе одной нельзя там и выходить!

— Ну, вот «нельзя!» — обижалась Ню-ра. — Почему это нельзя?

— Потому и нельзя. Заблудишься там и попадешь как-раз не в свой поезд... Тем более, что там поезд передвигают почему-то с одной платформы на дру-гую — то туда, то сюда.

— А город видно?

— Еще бы не видно, когда там универ-ситет!

— Когда после Харькова поезд минов-ал Казачью и Веселую Лопань, Надя говорила:

— Сейчас Белгород. Обрати внимание: церквей в нем, — и сосчитать нельзя!

— А почему он Белгород?

— Как же так «почему»? Он же весь на меловых горах стоит... Конечно, это не то, что наши Крымские горы, а так себе, ну, все-таки весь мел, каким ты на доске в классах писала, не иначе как оттуда шел.

Курск очень понравился Нюре.

— Вот это красивый город, — говорила

она. — Этот, действительно, на го-р стоит.

— А река, мне говорили, там мален-кая, вроде нашего Саалгура.

— Какая? Как название?

— Название... Я сейчас вспомню... Ка-кое-то очень чудное...

И Надя долго силилась вспомнить щелкала пальцами, делала досадливы-гримасы, наконец, — выкрикнула:

— Тускарь, Тускарь! Речка Тускарь. Дальше будет Орел, — там Ока, а Курск — Тускарь.

И добавила с большим оживлением.

— А гусей белых ты увидишь, когда мы между Курском и Орлом будем ехать прямо миллионы! Как в Белгороде горят все белые, так там прямо лугов из-за гусей не видать: все решительно, как молоком залиты, — везде гуси!

Надя не просто показывала младшей сестре страну, в которой они жили, она не была бесстрастным путеводителем, она сама упивалась просторами, красотой богатством земли, расстилавшейся впра-во и влево от железной дороги, перере-завшей с севера на юг русскую равнину.

Больше того: Надя чувствовала себя совсем по-хозяйски, и так начала чув-ствовать только теперь, когда взяла Петербург, столицу России, Нюру, ни когда до того не выдавшую просторы России.

Она как будто сама росла и очень стремительно, переживая вновь то, что уже было ей известно, но впитывая его в себя гораздо глубже. Она следила при этом и за сестрой, и ей чуть ли не пре-ступлением казалось, когда замечала она рассеянный, полусонный взгляд Нюры стоявшей у окна в коридоре вагона, у окна, за которым — море чудес.

Она понимала, конечно, что обилие впечатлений могло утомить сестру, но самой ей все хотелось в кажущемся однообразии картин отыскать новое и новое.

Она везла новое в себе самой; она одаряла этим своим новым сестру, но готова была одарить и всех кругом, и всё кругом. Она оказалась самой словоохотливой в своем купе и во всем вагоне.

Спала она мало, тем более, что июль-ские ночи, чем дальше к северу, стано-вятся все короче; вскакивала чем свет, выходила на площадку вагона и спра-шивала кондуктора:

— Это мы на какой станции стоим?

По ночам поезд больше стоял, чем шел. Что-то совершалось под прикры-тием ночей, — Надя ощущала это, хотя и не могла осмыслить. Совершалось что-то большое, творилась чья-то воля, перевертывалась страница истории пока еще с легким шелестом.

В Москве пришлось спать: поезд при-шел туда поздно вечером и простоял там всю ночь. Так как вагон, в котором еха-ли Надя с Нюрой, был прямого сообще-

ния до Петербурга, то его вместе с другими подобными прицепили к паровозу и перевезли по окружной дороге в состав петербургского поезда. Однако тронулся этот поезд не так рано, — часов в девять, так что по вагонам уже пробежали мальчуганы с только-что вышедшими московскими газетами.

Надя успела уже заметить за свою короткую пока жизнь, что в поездах у людей появляется почему-то чудовищный аппетит и непреодолимая тяга ко сну; газеты же, если и покупались, то исключительно в хозяйственных целях, как оберточная бумага; едва брали их в руки люди, расположившиеся на верхних полках, как тут же засыпали, не успев прочитать и десяти строк.

К удивлению своему, она наблюдала то и теперь, несмотря на то, что день только еще начался, а в газетах, хотя бы и между строк, можно было найти объяснение тому, что их почтовый поезд не спешил, спешили же, напротив, товарные поезда, которые везли на платформах что-то очень тщательно прикрытое брезентами и охраняемое солдатами.

Та московская газета, которую купила Надя у разносчика мальчишки, наполовину состояла из объявлений. В них не заглядывала она, но зато прочитала все остальное, и это была первая газета, которую Надя прочитала с передовой статьи до объявлений.

Она думала, что прежде всего ей бросится в глаза со столбцов газеты знакомый уже заголовок: «Забастовка в Петербурге»; однако о забастовках на всех восьми страницах не было ни слова. Зато вверху одной из страниц была «шапка», набранная очень крупными буквами: «Угроза европейскому миру», и вся эта страница переполнена была чрезвычайно важным.

Прежде всего сообщалось о расколе в тройственном союзе. Крупным шрифтом было напечатано извещение «по телефону из Петербурга»:

«Римский кабинет в определенной и ясной форме заявил, что если Австрия начнет войну против Сербии, то Италия не окажет Австрии никакой военной помощи, так как это не входит в круг обязанностей Италии, обусловленных союзным договором между нею и Австрией».

И еще тем же шрифтом:

«Германия, как это точно установлено, была отлично осведомлена отоне и сущности требований австрийского ультиматума, и выступление Австрии состоялось с ведома и согласия берлинского кабинета. Момент вручения ноты был выбран Германией и Австрией по общему соглашению».

И несколько ниже, но в том же столбце:

«Англия через своего посла в Берлине только-что сделала германскому пра-

вительству заявление, что в случае европейской войны Англия станет на сторону России».

— Нюра, слушай! — то-и-дело обрадовалась Надя к сестре, читая ей новость за новостью, одна важнее другой.

Сообщалось, что в Мюнхене немцы разгромили кафе, где обычными посетителями были сербы: перебили посуду, мебель, зеркала, люстры, окна, а сербов избили. В Берлине отмечались демонстрации перед русским посольством: огромные толпы целый день собирались там и кричали: «Долой Россию! Долой сербов!»

Главное же были помещены на этой емкой странице ответы: сербского правительства на ультиматум и австрийского — на сербский ответ.

Надя напряженно вчитывалась в тот и другой.

Дважды перечитывала она сербскую ответную ноту и возмущенно сказала Нюре:

— Ну, это я даже не знаю, что это такое! По-моему, сербы себя страшно унижили. Я их считала храбрыми, а это уж называется извиняться во всем, в чем даже не виноват!

— На что же они согласились? — спросила Нюра.

— На всё, — понимаешь, — на всё решительно! И чтобы в газетах сербских против Австрии ничего не писали, и чтобы офицеры и чиновники сербские против Австрии ничего не говорили, а иначе против них приняты будут суровые меры; и если кто уличен будет, что так или иначе в Сараевском убийстве участвовал, то предан будет суду... Ну, одним словом, на всё соглашаются, прямо досадно!.. Только вот разве это одно: «Что же касается расследования агентов австро-венгерских властей, которые были бы откомандированы с этой целью... то королевское правительство не может на это согласиться, так как это было бы нарушением конституции и законов об уголовном судопроизводстве». И, понимаешь, за это-то именно и ухватились австрийцы! «Под ничтожным предлогом, — они пишут, — совершенно отклонено наше требование об участии австро-венгерских органов в розыске находящихся на сербской территории участников заговора»... И конечно! Значит, ответная нота найдена австрийцами неподходящей!.. А сами они что сделали? Вот смотри: — «За несколько часов до истечения срока ультиматума в Будапеште был арестован начальник штаба сербской армии генерал Путник, находившийся в целях лечения на одном из австро-венгерских курортов». Вот тебе и ожидали ответа на ультиматум! Очень он им был нужен, этот ответ! А ты знаешь, что это за шишка такая начальник штаба армии? Это все равно, что армии голову отсечь!

— Ну-у, поло-ожим!—недоверчиво про-
тянула Нюра.

— Вот тебе и «положим»!.. Его, правда, потом все-таки освободили, но это уж по требованию русского правительства, — сами бы они законопатили его куда-нибудь подальше... А сербское правительство предлагает австрийскому пойти на третейский суд, если оно того хочет.

— А, может быть, все-таки пойдут на третейский суд, хотя... Вот тут австрийцы пишут в ответе на сербскую ноту, будто за три часа до передачи ноты сербы уж мобилизацию объявили...

Надя не решалась прямо ответить сестре, что война стоит уже на пороге и может войти в любой момент. Как-раз в это время читала она «правительственное сообщение», которым запрещалось говорить в газетах обо всем, что касалось числа и состава воинских частей, их передвижения, вооружения и прочего, и вспоминала свой вопрос, заданный в Понырях веселому солдатику. Поэтому она сказала Нюре:

— Ты только смотри где-нибудь на станции не задавай никаких вопросов солдатам, а то тебя еще за австрийскую шпионку примут и арестуют.

2.

Пуанкаре успел побывать только в Стокгольме: Для Норвегии и Дании не оставалось уже времени, — события развивались слишком быстро и настоятельно требовали возвращения президента Франции в Париж.

Вернулся из уютных фиордов Норвегии в Берлин и Вильгельм. Наступали решающие дни, так как дипломатические ходы Бетман — Гользегга не удались.

Всю свою логику пустил в дело Бетман, чтобы отколоть Францию от России, но Франция ко всем увещаниям его отнеслась совершенно спокойно. Он получил не одно уверение из Лондона в том, что Англия ни за что не ввяжется в средневропейский конфликт, но она тем не менее привела весь свой флот в полную боевую готовность, а лондонские газеты начали уже писать, что «Сербия — не остров где-нибудь в Тихом океане, а европейское государство, и Англия не имеет права безучастно относиться к ее судьбе».

Лишь только появился в Берлине Вильгельм, появилась у некоторых надежда, что он, человек неограниченного самолюбия, может и не позволить военной партии Вены распоряжаться Германией, как своею шпагой. Однако так могли рассуждать только те, кто не то чтобы мало знали Вильгельма, а старались в меру своих желаний урезать его личность, обкарнать ее, приспособить к своим взглядам.

Если готовилась Франция к реваншу, то Германия готовилась к тому, чтобы проглотить Францию, и если во Франции за долгие годы подготовки часто менялись люди, стоявшие у власти, то Вильгельм жил бесцельной идеей мирового господства десятки лет, а главное, так верил в себя, что доходил до самообожествления.

Однажды в Потсдаме он обратился к рекрутам, только-что принявшим присягу:

— Дети моей гвардии! Вы теперь мои солдаты, вы принадлежите мне телом и душой. Вы принесли клятву повиноваться мне во всем. Вы должны исполнять приказания мои без малейшего ропота. С этого дня у вас только один враг: это — мой враг. И если когда-нибудь я прикажу вам стрелять в вашу собственную семью, в ваших сестер, в ваших братьев, вспомните тогда вашу клятву, данную мне!

Эта речь его была тогда же напечатана во всех газетах Германии.

Еще в 1897 году в Кобленце Вильгельм произнес знаменитую проповедь о заповедях божьих, в которой называл себя «наместником бога». Тогда кое-кто в Берлине дал ему кличку «вице-король господ — бога», однако это не оскорбило Вильгельма, говорить же проповеди было его страстью, так как с церковной кафедры и, прибегая к библейским метафорам, он действовал непосредственно на своих подданных, своих «детей», внушая им те же мысли, какими безраздельно охвачен был сам.

— Всемогущий бог был неизменным союзником Пруссии и передвигал для нее тучи на небе! — так восклицал он в одной из подобных проповедей.

Будучи протестантом по религии, он также считал себя и представителем всех католиков Германии, то-есть, государем и протестантским и католическим в одно и то же время. Но при посещении мусульманских стран он вел себя так, как будто получил особые полномочия от самого Магомета или даже Аллаха.

Можно ли было удивляться тому, что, вернувшись из Норвегии в Берлин, Вильгельм приказал подать себе несколько десятков экземпляров дешевых библий и начал каждую из них украшать однообразной надписью: «Я пойду среди вас, и я буду вашим богом, и вы будете моим народом».

Эти книги предназначались им для раздачи солдатам в начале войны.

Однако, несмотря на всю свою «божественность», на всю уверенность в том, что бог снова, как и раньше, начнет «передвигать тучи на небе», действуя в пользу Пруссии, Вильгельм все-таки ясно представлял опасность для Германии одновременной войны на два фронта, и, если Бетману не удалось отколоть Францию от России, то со всей отли-

чавшей его энергией Вильгельм пустился воздействовать на Николая, стремясь внушить ему, что он должен предоставить Сербию своей участи, иначе начнется европейский пожар.

«С глубоким сожалением я узнал о впечатлении, произведенном в твоей стране, — писал он в телеграмме Николаю, — выступлением Австрии против Сербии. Недобросовестная агитация, которая велась в Сербии в продолжение многих лет, завершилась гнусным преступлением, жертвой которого пал эрцгерцог Франц-Фердинанд. Состояние умов, приведшее сербов к убийству их собственного короля и его жены, все господствует в стране. Без сомнения ты согласишься со мною, что наши общие интересы, твои и мои, как и интересы других правителей, заставляют нас настаивать на том, чтобы все лица, морально ответственные за это жестокое убийство, понесли бы заслуженное наказание. В этом случае политика не играет никакой роли. С другой стороны, я вполне понимаю, как трудно тебе и твоему правительству противостоять силе общественного мнения. Поэтому, принимая во внимание сердечную и нежную дружбу, связывающую нас крепкими узами в продолжение многих лет, я употребляю все свое влияние для того, чтобы заставить австрийцев действовать открыто, чтобы была возможность притти к удовлетворяющему обе стороны соглашению с тобой. Я искренно надеюсь, что ты придешь мне на помощь в моих усилиях сгладить затруднения, которые все еще могут возникнуть.

Твой искренний и преданный друг и кузен Вилли».

Пока Николай еще обдумывал ответ на эту телеграмму своего «преданного друга», Австрия, внимая совету Вильгельма «действовать открыто», объявила Сербии войну.

Казалось бы, все в сербской ответной ноте было сказано так, чтобы не возбудить гнева сильного противника; австрийским дипломатам не за что было ухватиться, кроме разве одного только недоумения сербов, по поводу желанья Вены лично и своими силами и средствами произвести следствие в Сербии. Вена за это и ухватилась: поставив знак равенства между началом следствия и началом военных действий, она открыла артиллерийский обстрел Белграда.

Это сделалось известным в Петербурге после полудня 15 (28) июля, и Николай немедленно ответил Вильгельму:

«Рад твоему возвращению. В этот особенно серьезный момент я прибегаю к твоей помощи. Позорная война была объявлена слабой стране. Возмущение в России, вполне разделяемое мною, безусловно. Предвижу, что очень скоро, уступая производящемуся на меня давлению, я буду вынужден принять крайние

меры, которые поведут к войне. Стремясь предотвратить такое бедствие, как Европейская война, я умоляю тебя во имя нашей старой дружбы, сделать все возможное в целях недопущения твоих союзников зайти слишком далеко».

Война началась так, как ее задумали в Вене и Берлине, то-есть, в целях приобщить Сербию к землям короны Габсбургов, и в этом направлении сделан был первый «открытый» шаг. Этот шаг был подсказан вернувшимся в Берлин Вильгельмом, а Николай «умолял» его воздействовать на Франца-Иосифа, чтобы тот не делал второго шага.

Вильгельм считался конституционным монархом, однако на борьбу с рейхстагом он затрачивал много своей изворотливости. «Негодяи из рейхстага не дают мне достаточно денег», — написал он однажды в телеграмме к своему брату Генриху, и был доволен, когда эта телеграмма проникла в газеты и вызвала бурю негодования во всей Германии.

— Der Hieb hat Cetraffen! (Удар попал!) — повторял он тогда вполне удовлетворенно. «Удар попал!» — мог бы так же точно сказать он и теперь, когда увидел «умоляю» в телеграмме своего кузена и друга Ники.

Он довольно потирал своей деятельной правой рукой почти неподвижную левую и поучал Бетмана:

— Вся русская политика строилась только на том, что в Вене испугаются петербургских угроз, пошипят-пошипят и притихнут. Однако вот теперь Николай просит меня остановить то, что началось на Дунае.

— Русский император упоминает о том, что «вынужден будет принять крайние меры», как я слышал от вас же ваше величество, — встревоженно заметил Бетман, но много презрения вложил Вильгельм в свой ответ канцлеру:

— Кое-какие громкие фразы, — ведь это все, что ему осталось!.. Россия не готова к войне. Может быть, в семнадцатом, в крайнем случае, в шестнадцатом году, но не теперь, когда забастовки охватывают там так много промышленных центров. Россия, быть может, стоит на пороге революции, как в 1905 году.

— Возможно, вы правы, ваше величество, — сказал на это Бетман. — Во всяком случае, одним из аргументов Сазонова в разговоре с ним графа Пурталеса была такой: нужно пощадить Сербию, иначе там может возникнуть революционный режим, гораздо более опасный, чем нынешний.

— Вот видите! — подхватил Вильгельм. — Что у кого болит, тот о том и говорит.

— Однако, ваше величество, по всем сведениям, Россия спешно и очень энергично вооружается...

— Она всегда вооружалась, — на это

нечего обращать внимание, — досадливо перебил Вильгельм, — а ответную телеграмму Николаю надо составить так, чтобы она не возбуждала в нем никаких подозрений.

Телеграмма именно в таких выражениях и была составлена и послана в тот же день. Но кроме переговоров, которые взялся вести сам русский император с императором германским, велись в то же самое время переговоры между Сазоновым и графом Пурталесом.

Переговоры эти зашли в тупик, как только в Петербурге узнали о том, что Австрия объявила войну Сербии. Действительно, о чем еще можно было говорить дипломатам, когда совершилось уже то, что они тщетно пытались задержать, если не предотвратить? Сазонов не задавался уже больше целью сдерживаться и дал волю своему темпераменту, обвиняя во всем двуличную политику Берлина; Пурталес вспылал в свою очередь и вышел из кабинета Сазонова, не протрившись с министром. Об этом стало известно царю, и он в ответной телеграмме Вильгельму писал:

«Благодарю за примирительную и дружественную телеграмму. Официальное заявление, сделанное сегодня твоим послом моему министру, носит совершенно иной характер. Прошу тебя разъяснить это разногласие. Было бы правильно австро-сербский вопрос передать Гаагской конференции, чтобы избежать кровопролития. Доверяюсь твоей мудрости и дружбе».

О том, чтобы австро-сербский вопрос обсудить если не на Гаагской конференции, то на съезде представителей четырех держав: Великобритания, Германия, Франция и Италия, высказался и английский министр иностранных дел Эдуард Грей. Казалось, что спасательный круг тонущему в Европе миру был брошен, но это были слишком напряженные, угарные дни, когда мир в Европе, а значит и всюду, куда проник европейский прогресс, был похож на самоубийцу, спасать которого совершенно напрасный труд.

3.

Стеял ясный, почти безоблачный день, когда поезд, возвший Надю и Нюру, подходил к Твери, так что лето казалось как лето в Крыму, и здесь, где так часты дожди, и Нюра, попавшая сюда с первого раз, готова была не видеть разницы между очень уже далеким теперь родным ее Крымом и Тверской землей..

Она смотрела в окошко вагона с ненасытным любопытством, отмечая про себя, что крыши деревенских изб пошли здесь не только деревянные, но и очень крутые, что чернолесье остается уж позади, а на смену ему все больше и гуще выдвигаются сосны и елки.

— Что я, собственно, знала о Тверской губернии? — говорила Нюра сестре. — Что здесь было когда-то Тверское княжество удельное, что князь какой-то кричал: «Тверичи, не выдавайте!» и что Волга вытекает отсюда из озера Селигер.. Больше я что-то решительно не помню.

— Вот видишь! А теперь по Тверской губернии едешь и можешь все видеть своими глазами, — покровительственно замечала Надя, — а потом по Новгородской поедешь, по Петербургской..

— Огромная все-таки какая наша земля!

— Это что!.. А вот у нас есть одна курьезка из Благовощенска, так толь две недели приходится до Петербурга ехать.

— Куда же, в таком случае, суются против нас итти немцы?

— Не сунутся, небось! Немцы не дураки ведь, — знают, куда им нечего свататься..

Надя оставалась упорной в своем убеждении, что, несмотря ни на что, войны все-таки не будет. Объяснить ни комунибудь, ни себе самой она не могла бы, откуда у нее такое упорство, но каким «угрозам европейской войны», о которых писали газеты, все-таки не хотела верить.

— В Твери долго будем стоять? — спросила она у кондуктора, когда показался уже здали город.

— Ну, а то не долго. — буркнул, прохотя, кондуктор-старик. — Везде чтобы долго, а в Твери чтобы пять минут, новости какие!

— Что он сказал? — спросила сестру Нюру.

— Говорит, что всю Тверь пешком исследовать можно, пока поезд тронется, — ответила Надя.

— Ну, что же, — и в самом деле, мы там ходим — посмотрим, а чемоданы авось не сопрут, — комунибудь их поручим, правда?

Возможность походить вволю по старинному городу, о котором говорились в отделе «Удельная Русь» гимназического учебника Иловойского, очень радовала Нюру, и Надя тоже склонялась к мысли: отчего бы и в самом деле, если не походить, то взять за двугривенный извозчика и проехаться по главным улицам? Однако в дело вмешалась неожиданность и повернула по своему.

Когда остановился у перрона тверского вокзала поезд, сестры уже договорились с усидчивой раскидистой мамашей двух небольших детей, что она никуда не будет выходить из купе и присмотрит за их двумя чемоданами и корзинкой. Они считали себя совершенно свободными от всяких докучностей по крайней мере на целый час и, взявшись за руки, ринулись было через вокзал туда, где около всех вообще порядочных вокзалов стоят

обыкновенно извозчики, как вдруг остановив их громкий и радостный окрик из густой толпы:

— Надя! Нюрка!

Они остановились на месте с открытыми ртами и увидели, — протискиваясь к ним брат Петя. Он был в своей старой студенческой тужурке и в форменной, тоже старой фуражке, и первое, что он спросил, когда дотискался до сестер, было удивленное:

— Как же вы меня не узнали?

— Да мы ведь по сторонам не смотрели, а только вперед, — сказала Надя.

— Мы хотели Тверь посмотреть, — сказала Нюра.

Поцеловавшись, отошли к сторонке, и зачались расспросы:

— Ты как здесь?

— Еду же в Москву.

— В Москву? Зачем?

— За песнями, — зачем же еще! Конечно, по делу. На завод. Товарищ один вызвал телеграммой.

— А домой почему телеграммы не послал?

— Послал же! Вчера послал. Как только Колю освободили.

— Вот видишь! Значит, сидел?

— Еще бы не сидел! Спасибо, что только неделю продержали.

— Где же он теперь? Дома?

— Конечно, дома.

— А ты не врешь?

— Зачем же мне врать? — Приедете, увидите.

— Мы так и думали, что посадили... Только мы думали, что обоих.

— Ну, вот, обоих! Жирно будет по целому таракану, — хватит и по лапке.. Я дипломную работу сдавал, мне некогда было.

— Сдал все-таки?

— Ну, еще бы нет! Теперь конечно, — инженер, с чем можете и поздравить.

— Поздравляем! Поздравляем!

— Да что же толку-то, когда война подоспела!

— Неужели будет?

— Прикажи, чтобы не было... А тебя, Надюха, кто же надоумил теперь Нюрку в Питер везти?

— Сама надоумилась. А что?

— Ничего, неплохо... Позже, пожалуй, труднее было бы.

— Труднее? Я тоже так думала. А почему труднее?

— Вот тебе на, — «почему!» Завирюха же, конечно, начнется... А мама как?

— Ничего, и мама, и бабушка... О вас беспокоились.

— Ну, понимаешь, нельзя же было писать: арестован, и так далее... Обошлось все-таки, и ладно. А Сапа с Геней когда едут?

Даже при самом беглом взгляде, какими обычно обмениваются друг с другом люди в тесной вокзальной толпе, всякий мог бы безошибочно решить, что разго-

варивают так оживленно брат и сестры: Петя был очень похож на Надю и Нюру и ростом только немного повыше их; круглое румяное лицо, круглые черные глаза, — этим все трое они вышли в мать.

— Где же твой поезд? — спросила Надя.

— А там, на четвертой платформе, — неопределенно мотнула куда-то головой Петя. — Больше часа стоим, и никто не знает, сколько еще стоять будем... Вы тоже тут застрянете надолго... Так что я, пожалуй, вполне успел бы взять билет обратно поехать с вами.

— Поедем, Петя, в Петербург! — радостно вскрикнула Нюра, но Надя оказалась строже сестры.

— Как же так, Петя, — ведь тебе же надо в Москву? — спросила она, сделав ударение на «надо».

— Надо-то надо, да признаться, это я больше на радостях, что Колю отпустили с подпиской о невыезде. Ему, дескать, нельзя никуда уехать, а мне можно, — вот и поеду... А то, в сущности, едва ли стоит ехать.

— А что? Почему не стоит?

— Да ведь завод-то немецкий, — точнее, хозяева немцы, а вот-вот война с немцами... Получается дыня с квасом... Говорят люди, что завод этот тогда неминуемо прикроют... Или, может быть, в лучшем случае, отберут.

— Ну, что же, — это хорошо будет, если отберут, — пылко сказала Нюра.

— Хорошо-то хорошо, да ведь и меня тоже отобрать могут.

— Куда, Петя, отобрать?

— Как куда? В армию, конечно...

— Неужели! Ведь ты уж инженер теперь, Петя!

— Что из того, что инженер... У нас, в Крыму, тоже инженеры были из немец-колонистов, — Кун, например, электрик, Тоальберг, тоже электрик, и другие, — их уже вызвали в Германию служить в армии.

— Как так в Германию вызвали? Почему в Германию? — удивилась Надя и добавила: — И откуда ты это знаешь, что их в Германию вызвали?

— Знаю. Писали мне. Теперь уж их нет в Симферополе. Они ведь отбывали воинскую повинность в Германии и Австрии, там так: запасным посылается карточка, где бы они ни жили, и — пожалуйста на цугундер. Двадцать пять корпусов Германия имеет кадровых войск, а двадцать пять корпусов еще у нее будет без объявления мобилизации из этих вот самых, запасных, какие по карточкам явятся. Вот тебе и два миллиона войска налицо!.. Это ведь не зря говорится у нас: немец и обезьянку выдумал!.. Я такие источники раскопал, когда дипломную работу готовил, что прямо малина! Как-раз мне к теме это пришлось, только что писать об этом тогда нельзя еще было, тем более,

что из профессоров трое — немцы, — неудобно было... Такие открылись горизонты, что как же и не быть войне!.. В Петербурге это понимают, конечно: приедете, — увидите, что там творится.

— А что, Петя, а что именно? — взволновалась Надя.

— Манифестации! Даже дамы, и те зонтиками машут и тоже кричат: «Долой немцев!» — И, признайся, пора, если только не поздно. Немцы-то ведь считают, что мы уж у них в кармане, остается только этот карман застегнуть аккуратно на пуговицу, и вся недолга.

— Мы? Огромная страна такая? — запальчиво вскрикнула Нюра.

— Вот тебе и огромная!.. Два с лишком миллиона у нас немцев колонистов. Это — немцы германские считают — передовая их армия, — авангард, и он уже сидит крепко в своих траншеях. Я несколько книг и брошюр прочитал на эту тему; у меня теперь от этого голова — во, — как котла стала! У нас мужики в Сибирь переселяются, а русские старинные земли немцы захватили. На Волыни — немцы, в Подолии — немцы, на Волге — немцы, на Кубани — немцы, в Крыму — немцы, по дороге на Киев — немцы, по дороге на Москву — немцы, о Петербурге и говорить нечего — кругом расселись немцы и только знака ждут, когда им действовать, а как именно действовать, это они отлично все знают. Не зря немецкие газеты теперь пишут: «Мы в России найдем земляков, на которых вполне можем опереться»... Немцы имеют огромнейшие колонии в Африке и в других частях света, однако там их живет всего только двадцать тысяч человек, а у нас — два с лишком миллиона, — это считая одних только колонистов, — вот и отгадай, моя родная, почему это!.. Для них Россия — главная колония, — так они открыто и пишут. Остается только сделать последний шаг, — и вот мы отброшены за Волгу, даже и за Урал. Возле всех наших крепостей против Германии, — а возле Брест-Литовска и Ковно особенно, — сидят себе, как миленькие, немецкие помещики, а на чьи же деньги земли они там купили? — Германская казна дала: — покупай, дескать, и пока что разводи там свою немецкую антимонию, а потом мы придем, — армия, — и на тебя обопремся!.. А заводов сколько немецких! А чиновников сколько немцев, а генералов и офицеров в нашей армии!

Очень большая толчея была на вокзале оттого, что два поезда стояли здесь в ожидании отправки; однако, кроме пассажирских, тут был еще и воинский поезд и два поезда товарных, но с военным грузом. На такое обилие людей тверской вокзал не был рассчитан, поэтому, кое-как вырвавшись из давки на двор со стороны города, именно туда, куда

устремилась было Надя и Нюра, все трое вздохнули гораздо свободнее.

— Еще войны нет, а уж такая бестолочь, — сказал Петя, — а что будет, если война начнется! Наши немцы пострадают так нам нагадить, что трудным будет. Изнутри нас могут взорвать

— Как это изнутри взорвать? — б поняла Нюра.

— Как? Во исполнение приказа и своего фатерланда, а приказ этот такой: — я его запомнил в точности: «Россия должна сделаться достойным немцев миссия которых — властвовать в этой стране и просвещать ее». Слова эти принадлежат не кому другому, как родившемуся в России и достигшему в ней генеральского чина действительного статского советника — господину Гену, который, видишь ли, имел ученую степень доктора философии! Если уж доктора философии таким языком говорят, то что же можно услышать от наших заводчиков-немцев, от наших помещиков-немцев, от генералов-немцев?... Волинскую губернию и теперь уж немцы называют «Wolinland»; там больше восьмисот немецких колоний и имеют они свыше миллиона десятин земли!..

— Да ты прямо лекции публичные можешь читать об этом, Петя! — здру восхитилась братом Нюра.

— Лекций мне читать не придется, конечно, а призвать меня в армию, думаю так, на этих же днях могут, — отозвался Петя не то, чтобы очень радостно, но, гсраздо более оживленно продолжал: — Ну, одним словом, немцы знают, что они хотят сделать. Россия, дескать, велика, и пришло уж время ее разделить между Германией и Австрией, но это временно, конечно, пока существует Австрия, пока она тоже не отойдет к Германии. Дальше уж будет просто одна Германия — мировое государство. Россия будет отброшена за Урал, в Сибирь, — ссыльная будет со всеми своими потрохами, а русских крестьян переселить думают немцы из наших западных и южных губерний к себе в качестве батраков. И вот тогда-то начнется полное раздолье у нас для немцев-колонистов: бери себе, Куны и Тольберги, земли сколько вам угодно, плодитесь и размножайтесь, и Вильгельм II, потом Вильгельм III, четвертый, пятый, двадцатый — будут володети вами до скотчания света, аминь!

— Это, может быть, у нас там в Петербурге только пропаганду такую разводят, а? — осторожно спросила Надя, пытаясь взглядываясь в брата.

— Какая там пропаганда! — возмутился Петя. — Разве публично позволяют так говорить, что ты! Сейчас же полиция тебя спапаст, начини-ка ты так говорить на митинге. Пока только ходят с портретами царя да сербских офицеров на фронт в Сербию провожают с подобаю-

щими речами. Кровожадной Австрии еще можно кое-что всыпать словесно и вообще там в защиту славян, а что касается немцев германских, а тем более, боже сохрани, наших немцев, об этих — молчок! Это я говорю только вам, а не попадись мне этих материалов, я бы и сам оставался овца-овцой. Но все-таки что же мне делать в самом деле? Ехать ли в Москву, или с вами назад?

— Бери билет, Петя — голубчик, поезжай с нами! — тут же отозвалась на это Нюра, но Надя, сделав строгое лицо, заметила:

— А если там, в Москве, ты место потеряешь?

— Да теперь ведь, кажется, все места потеряют, — вздохнул Петя.

— Ну, это ведь только твое личное мнение такое.

— Ничего-ничего, приедешь в Петербург, и твое личное мнение станет такое же!

Петя похлопал слегка по плечу Надю, раздумывая, а в это время на вокзале зазвякала колокольчик швейцара, и раздались тягучий басовый голос:

— По-езду на Москву перь-вый зво-нок!

— Ого! Вот так штука! — встрепенулся Петя. — Наш поезд желает двинуться!.. В таком случае, так и быть уж, поезду!

— Неужели поедешь? — удивилась больше, чем опечалилась Нюра, а Надя сказала:

— Поезжай, конечно! В случае чего, приехать в Петербург всегда успеешь.

— Резон, — одобрил ее Петя и, взяв подруки сестер, снова втиснулся с ними в гушину вокзала.

4.

Как ни медленно шел почтовый поезд на Петербург, как ни долго стоял он на станциях, все же в десятом часу утра он дотаячился до Николаевского вокзала, и первое, чем встретил Надю этот вокзал, на нем почему-то было непривычно мало носильщиков. Пришлось самим взять чемоданы и корзину и медленно вслед за другими, тоже отягощенными своим багажом пассажирами, двигаться от поезда к выходу на Знаменскую площадь.

Зато тут, около входных дверей на вокзал с площади, Надя и Нюра увидели первую петербургскую толпу, внимательно читавшую какое-то длинное, видимо, свежее-наклеенное объявление.

— Что это? — спросила Надя, кивнув на эту толпу какому-то железнодорожнику.

— Мобилизация, — строго ответил железнодорожник.

— Мобилизация? Нюра, слышишь? — Мобилизация! — Пойдем читать!

И обе как были, с чемоданами, вместо того, чтобы идти к длинному ряду извозчиков и ехать тут же на Пески, на

квартиру Коли и Пети, сестры подошли к толпе и подняли головы к белому листу, помещенному достаточно высоко, чтобы передние ряды читающих не могли помешать задним; очень крупны и четки были и буквы, так что легко читались слова, сколь бы ни была тяжол и зловещ их смысл.

«Именной Высочайший Указ Правительствующему Сенату.

Признав необходимым привести на военное положение часть армии и флота, для выполнения сего, согласно с указом, данным нами сего числа Военному и Морскому Министрам, повелеваем:

1. Призвать на действительную службу, согласно действующему мобилизационному расписанию 1910 года нижних чинов запасов и поставить в войска лошадей, повозки и упряжь от населения:

а) во всех уездах губерний: Костромской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической и Астраханской.

— А Петербургской? — спросила вслух Надя.

— Петербургская дальше, — ответил ей кто-то, — тут только во флот призывают.

Действительно, дальше Надя нашла и восемь уездов Петербургской губернии, которые должны были дать пополнение флоту.

В общем же Указ был длинный, на четырех столбцах, и касался он если не всех уездов в губерниях, то все-таки всех почти губерний. Значительность этого указа Надя и Нюра видели по всем лицам толпы: они были сосредоточенно хмуры.

Хмурой была и погода.

Еще на ночь в вагоне пришлось им достать и надеть теплые кофточки, но здесь было холодновато и в них. Сеялся мелкий дождик: дул порывистый ветер.

— Ну, вот видишь, — это тебе не Крым, — говорила Надя, отходя с Нюрой к извозчикам.

— Еще бы не Крым, когда теперь уж ясно, что война, — сказала Нюра.

Это стало ясно и Наде, что Крым в ее душе, Крым, как солнечность, нежность, живая легенда, почти сказка, чарующая музыка, красота. «Майское утро» на стене в мастерской художника Сыромолотова, «Демонстрация», в центре которой молодая смелая девушка — она, Надя, — идет отдавать свое все, свою жизнь за дело народной свободы, — это конечно теперь. Влаомилось непрощенное в дом и начинает уже бить посуду.

Извозчики знали, что объявлена мобилизация, поэтому начали запрашивать втрое дороже обычного, и напрасно Надя ссылалась на таксу, — пришлось на-

бавить. Зато сестер ожидала удача: Коля, который мог ведь и уйти куда-нибудь, оказался дома и был заметно рад их приезду.

В глазах Нади он был героем: он сделал то, что мечтала сделать она; он мог вполне попасть на новую картину Сыромолотова, — заслужил это, в то время, как она только еще собиралась заслужить и похоронила уж сегодня утром эту надежду.

Благодаря тому, что потолки комнаты в квартире Коли были низковаты, он показался очень высоким не выдавшей его больше года Нюре, и раза три повторила она:

— Какой ты огромный, Коля!

Даже и Надя, приглядываясь к нему, решила, что он все-таки выше и Саши, и Васи, и плотнее их.

— Плотность — дело наживное, — шуточно отозвался на это Коля. — Студентам, разумеется, полагается быть поджарыми, а инженеру можно уж и мясо наживать.

Легко, как книги, переставил он с места на место их чемоданы и корзину, которые казались им такими увесистыми, почти неодолимыми, когда тащили эти их с поезда на вокзал.

— Коля, а тебя как арестовали, расскажи, — обратилась к старшему брату Надя, когда он усадил уже обеих сестер за чай.

— Что же тут рассказывать, — усмехнулся Коля. — Арестовали, как обыкновенно, на улице, вместе с другими, каких загнали в тупичок, вот и все. Деваться там было некуда, пришлось совершить прогулку в участок.

— А тебя там не били? — не удержалась, чтобы не спросить, Надя.

— Нет, со мной обошлись без физического воздействия, — улыбнулся ей Коля и добавил: — Все-таки я — инженер, телесным наказанием не подлежу.

— Значит меня бы били, если бы я им попалась? — с живейшим любопытством спросила снова Надя.

— Поскольку ты — курсистка, девица образованная, то едва ли бы начали бить, — подумав, сказал Коля, — а вот рабочих били, я это слышал, хотя и не видел, — криков было много.

— Что же ты? Как же ты на это?

— Протестовал, разумеется, как мог.

— А они что на это?

— Что? Разумеется, сказали, чтобы я их не учил, что они сами знают, что делают.

— А тебя что же все-таки судить будут? — допытывалась Надя.

— Кто их знает. Если война, то, я думаю, подождут с этим занятием. — Впрочем, не знаю как.

— А место твое на заводе?

— Занято, конечно, кем-то другим, более благонадежным.

— Послушай, Коля, как же так, — раз-

волновалась вдруг Надя, — в таком случае, если ты не на заводе, тебя ведь могут взять по мобилизации?

— Пока еще только берут запасные во флот, но в общем что же тут так?!

5.

Конечно, указ царя о мобилизации был объявлен в этот день, 17 июля, в всех газетах, но в этот же день газеты поместили и манифест императора Франца-Иосифа о войне с Сербией хотя австрийские пушки уже целые сутки громили Белград, нанеся ему множество разрушений.

Из трех императоров первым выступил на мировую арену бесчисленных убийств, увечий, уничтожений самый старый, наполовину уничтоженный уже сам, придавленный к земле тяжким бременем восьмидесяти четырех лет.

Это вышло зловеще для человечества Будто сама ее величество Смерть подписала смертный приговор целому государству, дав этим сигнал для начала такого истребления людей в Европе, какого не видал еще мир со времени всемирного потопа.

День 17 (30) июля принес людям такую метель достоверных, самых достоверных и наидостовернейших слухов вперемежку с тем, что уж не подлежало ни малейшему сомнению — с указами приказами и сообщениями правительства крупнейших европейских стран.

Прежде всего провалилось предложение сэра Эдуарда Грея о конференции четырех держав по австро-сербскому вопросу: не до конференции уж было, когда военные действия начались, а Германия отказалась от участия в конференции еще до начала бомбардировки Белграда. Наивными оказались надежды кое-каких подернутых плесенью политиков, что вот придет из Норвегии Вильгельм в Берлин, и он, «известный» своим миролюбием, сразу переложит руль с войны на мир. Вильгельм приехал не для того, чтобы отдалить, а чтобы ускорить войну.

Все, чем жил он долгие годы, совершилось: Германия имела могучую армию, она имела военно-морской флот второй по силе после английского, но могущий уже соперничать с английским; она имела тяжелую промышленность, превосходившую по своим размерам промышленность Англии, не говоря о других европейских странах, и она имела еще своего прусского бога, который «передвигал для нее тучи на небе»... Ее готовность к войне достигла предела, и Вильгельм, второй по старшинству лет император Европы, зорко следил только за действиями третьего императора — Николая, чтобы тому не вздумалось как-нибудь предупредить его, война, гения героя!

Что германская армия, готова» «тять»

действующей, уже удваивалась, благодаря тайной мобилизации, это считалось Вильгельмом в порядке вещей; что Николай предлагал ему обратиться для решения австро-сербской распри к Гаагской конференции, это ожидалось Вильгельмом; разные мелкие распоряжения русского правительства, вроде погашения маячных огней в районе Севастополя или введения военной охраны на железных дорогах, его не обеспокоили.

Он только усмехнулся, когда Бетман ему поднес при докладе о положении в России только-что опубликованное в Петербурге «правительственное сообщение» от 15 (28) июля такого содержания:

«Многочисленные патриотические манифестации, происходившие за последние дни в столицах и в других местах империи, показывают, что твердая и спокойная политика правительства нашла сочувственный отклик в широких кругах населения. Правительство надеется, однако, что эти выражения народных чувств стюдь не примут оттенка недоброжелательства по отношению к державам, с коими Россия находится и неизменно желает находиться в мире. Черпая силу в подьеме народного духа и призывая русских людей к сдержанности и спокойствию, императорское правительство стоит на страже достоинства и интересов России».

Еще бы не желало «императорское правительство» России находиться в мире с Германией! Было бы, напротив, полным безумием стремиться к войне с ней.

И вдруг мобилизация в России, — не тайная, а явная, объявленная с высоты трестала!

Было отчего притти в крайнюю степень негодования Вильгельму...

Весь план войны на два фронта — против Франции и России — строился только на том, что Россия при жалкой сети железных дорог на своих огромных пространствах, при неспособности и пролжности чиновников, непременно запоздает с мобилизацией настолько, что позволит разбить Францию, взять Париж, заключить мир с побежденными и бросить все свои силы на Вислу, чтобы покончить на русской равнине всё «до осеннего листопада». Мобилизация в России пугала все эти расчеты.

Телеграммы, которыми обменивались Вильгельм с Николаем, были немногословны, переговоры же, которые вел Пурталес с Сазоновым, длились часами. Как все споры между людьми ведутся обычно из-за разного понимания слов, так и тут Пурталес и Сазонов неодинаково понимали слово «мобилизация». По Пурталесу выходило, что мобилизация в России означает уже начало войны, так как должна вызвать и вызовет непременно мобилизацию в Германии. А Сазонов смялся доказать ему, что раз мо-

билизация была проведена в Австрии, то это, конечно, должно было вызвать и вызвало мобилизацию в России, но «мобилизованная русская армия может, в случае нужды, хоть целые недели стоять с ружьем у ноги, так как в России мобилизация еще далеко не означает войны».

В то же время Сазонов выставлял и такой довод в пользу мобилизации: венский кабинет «категорически отклонил непосредственный обмен мнений с Петербургом».

Таким образом получалось, что «разговор вчетвером», предложенный Лондоном, отклонил Берлин, разговор с Веной, предложенный Петербургом, отклонил Вена, а Белград тем временем разрушался разговором австрийских пушек.

Но на Пурталеса, на его несговорчивость жаловался в своей телеграмме Вильгельм Николай, поэтому Вильгельм, уже издав указ о военном положении в своей стране, телеграфировал Николаю:

«Не может быть и речи о том, чтобы слова моего посла были в противоречии с содержанием моей телеграммы. Графу Пурталесу было предписано обратить внимание твоего правительства на опасность и серьезные последствия, которые может повлечь за собою мобилизация. То же самое я говорил в моей телеграмме к тебе. Австрия мобилизовала только часть своей армии и только против Сербии. Если, как видно из сообщения твоего и твоего правительства, Россия мобилизуется против Австрии, то моя деятельность в роли посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на себя по твоей усиленной просьбе, будет затруднена, если не станет совершенно невозможной. Вопрос о принятии того или другого решения ложится теперь всей своей тяжестью исключительно на тебя, и ты несешь ответственность за войну или мир».

Последние слова этой телеграммы имели целью запугать Николая. Почетно «нести ответственность» за мир, но совсем другое дело быть виновником всевропейской войны. Предостережение «преданного друга и кузена Виллы» должно было прозвучать библейски-грозно.

Но император Николай был прекрасно воспитан. Никто бы не мог не признать за ним выдержки и полного умения владеть собой.

Вместо того, чтобы как-нибудь отозваться на угрозу в конце телеграммы императора Германии, он сделал вид, что совсем не заметил ее. Он ответил утром 18 (31) июля:

«Сердечно благодарен тебе за посредничество, которое начинает подавать надежды на мирный исход кризиса. По техническим условиям невозможно приостановить наши военные приготовления, которые явились неизбежными по-

следствием мобилизации Австрии. Мы далеки от того, чтобы желать войны. Пока будут даваться переговоры с Австрией по сербскому вопросу, мои войска не предпримут никаких вызывающих действий. Даю тебе в этом мое слово. Я верю в божье милосердие и надеюсь на успешность твоего посредничества в Вене на пользу наших государств и европейского мира.

Преданный тебе Н.

Мир уже дрогнул во всех своих финансовых операциях в предчувствии войны, которая встала во весь рост у всех на глазах и заполняла собой горизонты.

Ввиду полного хаоса и банкротства крупных банков, лондонская биржа закрылась. Закрытие биржи вызвало всеобщую панику. Публика штурмовала банки, требуя размена кредиток на золото.

В магазинах, ресторанах, кафе, даже в кассах железных дорог Парижа были уже выставлены плакаты: «Платите звонкой монетой, — бумажек не принимаем!»

Даже в финансовых кругах очень далекого от Европы Нью-Йорка началась паника.

Вследствие небывалого падения ценностей многие крупные фирмы прекратили платежи. С часу на час ожидалось банкротство целого ряда банков.

Наконец, и в Берлине, где так методично, с немецким педантизмом все готовились к войне, публика неистовствовала, требуя полностью свои вклады из сберегательных касс, а известный в Берлине банкир Бибер, разоренный биржевой паникой, покончил самоубийством, отравившись вместе с женой...

Главный двигательный нерв войны — деньги, чувствовали, что война вот-вот разразится, что до начала ее оставались, может быть, не дни уже, а только часы. В самой России отдавались одно за другим приказания то о полной отмене дачных поездов, то о сокращении пассажирского движения, чтобы беспрепятственно гнать и гнать военные поезда к западной границе... 18 июля было объявлено первым днем мобилизации не только запасных, но даже и ратников ополчения первого разряда...

Спешили в России, потому что спешили в Австрии и в Германии, спешили во Франции и в Англии, потому что спешили в Германии... Спешили везде, спешили все, потому что всеми владела острейшая боязнь опоздать, но опоздать к чему же именно? — К началу европейской войны!..

6.

— Петербурга нельзя узнать! — изумленно говорила Надя сестре, выйдя с нею на улицы.

Она привыкла к Петербургу чиновно-

сухому, подтянутому, с чопорно сжатыми губами. Публика в трамваях была вежлива, но безмолвна; публика на тротуарах ходила стремительно, глядела бегло, безучастно. Провинциалов из теплосердечных, неторопливосолнечных губерний обдавало здесь в первые дни совершенно непривычным холодом, точно попали они не в свою столицу, а в огромный город какой-то чужой страны. Таким строго холодным он и остался в представлении Нади, проведеншей в нем почти год на курсах.

Для Нюры она уже заготовила про себя кучу всяких объяснений, почему Петербург такой какой-то с первого взгляда совсем нерусский город и почему все-таки это совсем не так плохо, как может показаться какому-нибудь растяпе из Тетюшей или Царевкокшайска, или даже, чтобы недалеко ходить, — Москвы.

И вдруг Петербург точно потеплел, неожиданно преобразился, разжал строгие губы, обрусел, как не могла бы и вообразить Надя раньше, когда она ехала сюда.

По улицам шли огромные толпы народа, и полицейские не только не разгоняли их, но, стоя на своих постах, то и дело прикладывали руки к козырькам фуражек.

Всюду плескались трехцветные русские флаги, — бело-красно-синие, — которые обычно появлялись на домах по высокаторжественным дням, но не в толпе в будни; и, кроме флагов, совершенно невиданные плакаты пестрели над толпами людей: «Да здравствует Сербия, Франция, Россия!», «Да здравствует русская армия!», «Долой Австрию!», «Да здравствует Сербия, Англия, Франция!», «Да здравствует славянство!»...

Разве могли удержаться Надя и Нюра, чтобы с тротуара не броситься в одну из толп?

Вот почему-то остановилось шествие. Кому там впереди кричат «ура»?... Оказалось, что навстречу шла рота солдат при офицерах, поэтому загремело ура, и снова летят вверх фуражки и шляпы... Допели до конца гимна, однако, толпа не движется, и не движется рота... Там, впереди — братание, — там целуются, как на Пасху, с офицерами и солдатами, там у людей влажные глаза, — у петербуржцев!

Вот кто-то средних лет, русобородый, с откинутыми назад волосами, каким-то образом поднявшись над толпой, так что видны и плечи его и даже спина почти до пояса, выкрикивает, поворачивая голову вправо и влево:

— ...«Нападение австрийцев на Сербию, это — давно задуманный план тевтонским колышком сдвинуть славянство! Исторический момент этот — важности первостепенной! Сплотись все славяне.

от болгар до поляков, от словенцев до русских, сплотись перед натиском тевтонов, иначе будете раздавлены поодиночке! Помните клич Александра Невского: «Не в силе бог, а в правде!» «Дадим немцам такой же отпор, какой дал им доблестный русский князь!»...

— Ты слышишь? Ты хорошо слышишь? — спрашивала Надя Нюру сквозь слезы.

— Да слышу же, — сквозь слезы отзывалась Нюра.

А впереди опять загремело «ура» и покатилося к задним рядам...

Часов в 6 вечера толпа подошла к дому военного министерства на Мойке.

— Да здравствует русская армия! — беспорядочно, но внушительно кричала толпа.

Около часа спустя толпа была вблизи дома австрийского посольства, где уже стояло много народа и то-и-дело гремели выкрики: «Долой Австрию!»

— Почему мы остановились? — спросила Нюра.

— Почему?... Наверное, полиция, — догадалась Надя.

— Что там? Полиция? — спросила Нюра у своего соседа.

— А вы что бы думали? Разумеется, полиция охраняет, — устранил все сомнения сосед. — Иначе бы весь дом развалили к чертям... А дом все же таки ведь наш, русский.

Когда часам к восьми вечера Надя и Нюра добрались домой, их встретил Коля, добродушно улыбаясь:

— Что, нашлались?... А я, пока вы шались, призывную карточку получил.

— Какую карточку призывную? — не поняла Надя.

— Такую самую. Призываюсь в полк, — приподнятым тоном объявил Коля, не переставая улыбаться.

7.

Не только с графом Пурталесом, но и с графом Сапари, послом Австро-Венгрии, ежедневно вел длительные переговоры Сазонов.

Мобилизация русская касалась в первую голову его, графа Сапари, так как предназначалась для защиты Сербии от Австрии, и в то же время Сазонов уверял его, что к приказу о мобилизации будет добавлено объяснение, что Россия не намерена вести войну, а желает только занять положение вооруженного нейтралитета. Сазонов предложил послам Австрии и Германии согласиться с таким его предложением:

«Если Австрия, признавая, что ее конфликт с Сербией принял характер общеевропейского интереса, заявит о своей готовности исключить из своего ультиматума пункты, посягающие на суверени-

тет Сербии, Россия обязуется прекратить всякого рода военные приготовления».

Казалось бы, чего лучше? — Австрия заявляет о своей готовности, занесенный над головой Сербии меч вкладывается в ножны, мобилизация в России отменяется.

Но Австрия наотрез отказалась вложить меч в ножны, и Германия в лице своих дипломатов вполне согласилась с нею. И с какой бы стороны ни подходили к заколдованному кругу, он оказывался непреодолим, и дипломаты отлично понимали, что топчутся на месте, но в силу обстоятельств ревностно продолжали топтаться.

Война созрела и, как спелый плод чувовищной формы, готова уж была свалиться на человечество, но для этого нужен был последний толчок.

Дипломаты и политики всех стран, витающие в сфере строгих силлогизмов; миллиардеры и миллионеры, признающие только одно, что война — деньги, деньги и деньги; моралисты, число которых в те годы было еще достаточно велико; рабочие и крестьяне, которым суждено было на своих плечах вынести всю страшную тяжесть наступающей войны, — все ждали с большим или меньшим волнением, который из венценосцев решится сказать: «Я начинаю!»

18 (31) июля Вильгельм из своего Нового дворца послал в Петергоф Николаю такое предупреждение: «Вследствие твоего обращения к моей дружбе и твоей просьбы о помощи, я выступал в роли посредника между твоим и Австро-Венгерским правительством. В то время, когда еще шли переговоры, твои войска были мобилизованы против Австро-Венгрии, моей союзницы, благодаря чему, как я уже тебе указал, мое посредничество стало почти призрачным. Тем не менее я продолжал действовать, а теперь получил достоверные известия о серьезных приготовлениях к войне на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять предварительные меры защиты. В моих усилиях сохранить всеобщий мир, я дошел до возможных пределов, и ответственность за бедствие, угрожающее всему человечеству, падет не на меня. В настоящий момент все еще в твоей власти предотвратить его. Никто не угрожает могуществу и чести России, и она свободно может выждать результатов моего посредничества. Моя дружба к тебе и твоему государству, завещанная мне дедом на смертном одре, всегда была для меня священна, и я не раз честно поддерживал Россию в моменты серьезных затруднений, в особенности во время последней войны. Европейский мир все еще может быть сохранен тобой, если только Россия согласится приостановить военные приготовления, угрожающие Германии и Австро-Венгрии.

Вилли».

Мобилизация Австрии родила мобилизацию России, мобилизация России вызвала мобилизацию Германии, — так хотелось представить для суда истории это дело Вильгельму.

«На меня готовятся напасть, — я обязан защищать свою границу», — и правая, деятельная рука хитреца торжествующе потирает левую, сухую, руку, а прищуренные стального цвета глаза над желтыми, вскинутыми кверху усами удаваемомерно подмигивают в сторону Петербурга.

Сделав вид, что забыта, совершенно выскочила из памяти мобилизация промышленных и военных сил страны, длившаяся десятки лет и приведшая, наконец, в ужас всю Европу, Вильгельм пытался еще убедить Николая, что он, Николай, вынуждает его «принять предварительные меры защиты»; сделал вид, что дружба его не только к Николаю, но и к России остается непоколебимой, как и была (!), он призвал для доказательства этого даже тень Вильгельма I, своего деда, действительно завещавшего на смертном своем одре ему, Вильгельму II, — тогда еще только принцу, но уже готовящемуся стать и кронпринцем, и императором ввиду безнадежной болезни отца, — не нарушать мира с Россией.

Это было давно, — тридцать лет назад, — и тогда было явное превосходство сил на стороне России.

Телеграмма Вильгельма получена была в Петергофе вечером, а утром 19 июля (1 августа) Николай послал своему «другу» такой ответ:

«Я получил твою телеграмму. Понимаю, что ты должен мобилизовать свои войска, но желаю иметь с твоей стороны такие же гарантии, какие я дал тебе, — то-есть, что эти военные приготовления не означают войны, и что мы будем продолжать переговоры ради благополучия наших государств и всеобщего мира, дорогого для всех нас. Наша долго испытанная дружба должна, с божьей помощью, предотвратить кровопролитие. С нетерпением и надеждой жду твоего ответа.

Ники».

Слова потеряли уж свою полновесность, стали шелухой, мякиной, ненужным сором, отяжкой действий грозных и сокрушительных.

А между тем накануне Николай дал аудиенцию послу Пурталесу, с которым говорил, как с представителем Вильгельма, о мобилизации в России.

Пурталес не поспешил на выражения, чтобы запугать царя, он не остановился даже и перед тем, чтобы сделать последний вывод: русская мобилизация не больше не меньше, как личное оскорбление, нанесенное германскому императору.

— В самом деле вы так думаете? совершенно спокойно, точно речь шла прошлогоднем снеге, спросил Николай.

Даже выдавший виды Пурталес был изумлен таким тоном царя и не знал, чему приписать это: исключительности самообладанию или полному непониманию того, что происходит.

— Только отмена приказа вашего величества о мобилизации может быть еще будет в состоянии предотвратить войну, — вот что я думаю, ваше величество, — ответил на это Пурталес.

— Вы — бывший офицер, — заметил на это Николай, — как же можете вы говорить, что легко это сделать: сначала дать приказ о мобилизации, потом вдруг отменить этот приказ. Даже просто по техническим причинам это совершенно невозможно.

Это было сказано без малейшего повышения голоса так же, как и то, что затем добавил:

— Вот я написал телеграмму императору Вильгельму с объяснениями настоящего положения вещей.

При этом он положил руку на черновик телеграммы, лежавшей перед ним на столе, и придвинул ее к послу Вильгельма.

— По глубокому убеждению моему, ваше величество, — горячо возразил Пурталес, прорезав глазами телеграмму, — всякие вообще телеграфные объяснения настоящего положения вещей совершенно запоздали!

— Вы так думаете? — прежним бесстрастным тоном отозвался на это Николай.

— Я думаю также, ваше величество, что европейская война, если она только начнется, неизбежно явится сильнейшей угрозой монархическому началу, — нажимом сказал Пурталес.

— Может быть, вы правы, — сказал царь, — но я думаю все-таки, что вы устроитесь лучше, чем полагаете вы.

— Лучше? Но каким же образом это возможно? — совершенно озадачился Пурталес. — Никакой поворот к лучшему невозможен, если не будет приостановлена русская мобилизация!

Николай чуть заметно, в усы, улыбнулся такой горячности посла Вильгельма и сказал, указав пальцем вверх:

— Ну, если так, то помочь может только один бог.

И протянул ему руку для прощания. Аудиенция кончилась ничем.

Послав телеграмму 19 июля утром Николай ждал от Вильгельма ответный день, но вместо того германский статс-секретарь по иностранным делам фон-Ягов прислал Пурталесу такую телеграмму, пришедшую в Петербург около 6 часов вечера:

«Императорское правительство царя»

лось с начала кризиса привести его к мирному разрешению. Идя навстречу желанию, высказанному его величеством императором всероссийским, его величество император германский, в согласии с Англией, прилагала старания к осуществлению роли посредника между венскими и петербургским кабинетами, когда Россия, не дожидаясь их результата, приступила к мобилизации всей совокупности своих сухопутных и морских сил. Вследствие этой угрожающей меры, не вызванной никакими военными приготовлениями Германии, Германская империя оказалась перед серьезной и непосредственной опасностью. Если бы императорское правительство не приняло мер к предотвращению этой опасности, оно подорвало бы безопасность и самое существование Германии. Германское правительство поэтому нашло себя вынужденным обратиться к правительству его величества императора всероссийского, настаивая на прекращении помянутых мер. Ввиду того, что Россия отказалась удовлетворить это пожелание и выказала этим отказом, что ее выступление направлено против Германии, я имею честь, по приказанию моего правительства сообщить вашему правительству нижеследующее: его величество император, мой августейший повелитель, от имени империи, принимая вызов, считает себя в состоянии войны с Россией».

Содержание этой телеграммы было тут же передано Пурталесом Сазонову в 7 часов 10 минут вечера. Таким образом, Германия объявила войну России.

И только в 10 часов 55 минут вечера обратился Вильгельм ответить на последнюю телеграмму Николаю, и только во втором часу этот ответ был получен в Петергофе.

Несмотря на то, что война Германией была уже объявлена, Вильгельм сделал вид, что это ему совершенно пока неизвестно и писал так:

«Благодарю за твою телеграмму. Вчера я указал твоему правительству единственный путь, которым можно избежать войны. Несмотря на то, что я требовал ответа сегодня к полудню, я еще до сих пор не получил от моего посла телеграммы, содержащей ответ твоего правительства. Ввиду этого я был принужден мобилизовать свою армию. Немедленный, утвердительный, ясный и точный ответ от твоего правительства — единственный путь избежать неисчислимых бедствия. До получения этого ответа я не могу обсуждать вопроса, поставленного твоей телеграммой. Во всяком случае я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам ни в каком случае не переходить нашей границы».

Вилли».

Николаю, получившему такую телеграмму со словами «я требовал» и особенно с этим великолепным заключением: «Я должен просить тебя немедленно отдать приказ твоим войскам ни в каком случае не переходить нашей границы», — ничего не оставалось больше, как написать на телеграфном бланке карандашом: «Получена после объявления войны».

Что же касалось просьбы русским войскам не переходить границы с Германией, то Николаю очень хорошо было известно, как несколько дней уже полным ходом шло сосредоточение немецких войск, в избытке снабженных всем необходимым для начала военных действий в любой момент.

Николай знал, что его «преданный друг и кузен» успел уже закончить мобилизацию своей армии в то время, когда только начал угрожать ей, если не будет отставлена мобилизация в России.

8.

Прошло всего только три дня с времени объявления Германией войны России, но за это короткое время совершилось много, так как германский генеральный штаб бурно принялся выполнять свой давно взлелеянный план молниеносной войны на два фронта.

Германия так спешила разбить Францию и Россию до осеннего листопада, что, во-первых, «рыцарски заступаясь» за своего союзника Австрию, она объявила войну России: во-вторых, почти все свои силы направляя прежде всего против Франции, чтобы через две недели занять уже Париж, она только через сутки после объявления войны России вспомнила, что не объявила еще войны французам и постаралась исправить эту оплошность.

Вышло все-таки так, что Россия и Австрия не были еще в состоянии войны друг с другом, когда Германии напомнил о себе третий член Антанты — Англия, державшаяся несколько в тени после того, как было отвергнуто канцлером Бетман-Гольвергом предложение Грея о «разговоре четырех».

Один совершенно ничем не замечательный французский офицер сказал немецкому врачу в лазарете ядовитометную фразу: *Vos armées sont terribles, mais votre diplomatie, c'est un éclat de rire*. («Ваши армии наводят ужас, но ваша дипломатия вызывает взрыв смеха»). Даже Вильгельм, отличавшийся своей прямолинейностью, был поражен теми ошибками, какие, по его мнению, наделал Бетман, пока сам он плавал в норвежских фиордах. Однако и Вильгельм вполне согласился с его убеждением, что Англия в затеваемой европейской войне останется нейтральной.

В этом взгляде особенно укрепило его то, что 16 (29) июля прибыл в Потсдам принц Генрих с извещением от Георга V, что в случае, если разразится война, Англия останется нейтральной. Склонный к театральности выражений Вильгельм воскликнул: «Я имею слово короля, и этого с меня довольно».

Но в Англии, стране старой конституции, насчитывавшей несколько веков существования, кроме короля был парламент, был премьер-министр Асквит, был министр иностранных дел Грей, был Ллойд-Джорж, был морской министр Черчилль, уже успевший привести военно-морской флот в состояние боевой готовности на всякий случай,—было много государственных людей, испытанных во всех тонкостях дипломатии, был, наконец, лондонский квартал Сити, способный финансировать войну гигантских масштабов...

Отклонивший предложение Грея о конференции, Бетман во всем остальном был чрезвычайно предупредителен к Англии. Он выразил даже готовность не выпускать немецкого флота из Балтийского моря, чтобы не возбуждать у англичан никаких подозрений, и Вильгельм распорядился уже, что германский флот будет действовать только против России.

Ослепленные своей «удачей» в отношении Англии, устроили, как они думали, Англию на все время войны, кайзер и канцлер не задумывались даже над тем, что, объявляя первыми войну как России, так и Франции, они сами отбрасывают Италию и Румынию, как союзников, потому что те, если и обязывались выступить по договорам в защиту центральных держав, то в том лишь случае, если им объявят войну, на них нападут.

Однако Англия тоже имела договор с Бельгией, по которому должна была прийти к ней на помощь, если на нее нападет «одна из европейских держав», то-есть, Германия.

Знали об этом кайзер и канцлер? — Конечно, знали. — Знали они о том, что Бельгия спешно мобилизует на случай нападения на нее свою маленькую армию, во главе которой изъявил желание стать сам бельгийский король Альберт? — Конечно, знали. И все-таки громадные, неслыханные до того миллионные вооруженные силы Германии вторглись в Бельгию, чтобы на-

пасть не на нее ведь, — на Францию, — так выходило по логике немцев.

Но Бельгия была ведь суверенная нейтральная страна. Давала ли она согласие на пропуск германских войск для нападения на Францию? — Нет, и с нею даже не говорили об этом, считая этот разговор совершенно излишним, только ненужно-осложняющим дело.

В самом деле, — смешно было бы и думать, чтобы маленькая Бельгия с ее игрушечной армией, состоящей в большинстве из ополченцев, спешно поставленных в строй, могла сопротивляться двух-миллионной лавине немецких солдат, и все-таки, опираясь на свои ничтожные крепостцы, эта армия вздумала сопротивляться! — Почему же? — Потому что за спиной Бельгии стояла Англия, связанная с нею договором.

«Разговор четырех», задуманный Грессом, не удался, зато удался разговор английского посла в Берлине Гошена с германским канцлером.

Этот разговор, во время которого Гошен с полнейшим хладнокровием заявил, что нарушение нейтралитета Бельгии вынуждает Англию объявить войну Германии, совершенно вывел из себя Бетмана. В сильнейшем волнении подымая обе руки кверху, Бетман кричал, что поведение Англии неслыханно по своей гнусности, что это удар ножом в спину Германии, что последствия этого шага будут ужасны для обеих стран, живших до сего в мире, что договор с Бельгией, на который ссылается Гошен, не больше как ничтожный клочок бумаги...

— Мы в Англии думаем об этом договоре совершенно иначе, — не теряя хладнокровия, заявил в ответ на весь этот поток упреков и угроз Гошен и покинул кабинет Бетмана.

В ночь на 23 июля (4 августа) Англия объявила войну Германии.

Но объявив войну Германии, Англия имела, конечно, в виду и колонии немцев в Африке, в Океании, на берегах Тихого океана. Она рассчитывала в этом на помощь также и своей союзницы Японии, которая не могла, конечно, спокойно смотреть на то, что немцы так прочно укоренились в Цзинь-Тау, арендованном на 99 лет у Китая...

Так едва началась европейская война 1914 года, как она уже переросла в мировую, которой суждено было всего только через четверть века получить название «Первой».

Май—август 1943 г.

Конец первой части.

КЛЮЧИ

АНАТОЛИЙ КУДРЕЙКО

★

Лежим в засаде. Вековая
Настала тишина в ночи.
Позванивают, не смолкая,
Одни беспутные ключи.

Чем неприметней в чаще леса
Ключ меж уступов из камней
Голубоватых и белесых,
Тем он в звучании сильнее.

Посмотришь, где берет силенки, —
Едва протиснулся на свет,
А вот играет на гребенке
Никто не скажет сколько лет.

И что ни шаг, то россыпь терций,
А глянешь: лес и пуст, и мглист.
Но песни — те идут от сердца
И у людей и у земли.

★

ЯБЛОКИ

ВЕРОНИКА ТУШНОВА

★

Ты яблоки привез на самолете
Из Самарканда лютою зимой.
Холодными, избытыми в полете
Мы принесли их вечером домой.
Нет, не домой. Наш дом был так далеко,
Что я в него не верила сама,
А здесь цвела на стеклах синих окон
Косматая сибирская зима.
Как на друзей забытых, я глядела
На яблоки, склоняясь над столом,
И трогала упругое их тело,
Пронизанное светом и теплом.
И целовала шелковую кожу,
И свежий запах медленно пила.
Их желтизна, казалось мне, похожа
На солнечные зайчики была.

В ту ночь мне снилось — я живу у моря.
Над морем зной. На свете нет войны.
И сад шумит. И шуму сада вторит
Блаженное мурлыканье волны.
Я видела осеннюю прогулку,
Сырой асфальт и листья без числа...
Я шла родным московским переулком
И яблоки такие же несла.
Потом в рассветом ворвались заботы.
В углах синел и колыхался чад...
Топили печь... и в коридоре кто-то
Сказал: «По Реомюру — пятьдесят».
Но как порою надо нам немного:
Среди разлук, тревоги и невзгод
Мне легче сделал трудную дорогу
Осколок солнца, заключенный в плод.

„СУХИЕ ГВОЗДИ“

Рассказ

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА

★

Он сидел в большой четырехугольной палатке перед столиком с перевязочным материалом и инструментами, в смятой задранной вверх рубашке и, большой и широкий, застенчиво смотрел на нас. Могучая его грудь, перевязанная ситцевой полосатой тряпичей, напоминала грудь Лаокоона. На шее под широкой русской бородой запекалась кровь. Глаза были серые, умные, внимательные.

— Пустыковина.. маленько чмокнуло.. — говорил он протяжным густым голосом, пока сестра, попробовав развязать розовую его тряпку и не сумев справиться с туго затянутым узлом, разрешила ее ножницами и хотела было снять, как увидела яркую и свежую струйку крови, потянувшуюся по белой здоровой его коже, и прижала повязку рукой.

— Не бойся, — сказал он, — гяни. Я ее рану-то заткнул.

Доктор подошел, сказал хирургической сестре, что ему могут понадобиться большие салфеточки и, не трогая чисто вымытыми, стерильными руками грязной тряпки, показал сестре, что можно ее снять.. Сестра отняла повязку.. Струйка крови медленно потекла из раны, заткнутой куском тряпки, как пробкой.

— Легкое пробито, — сказал доктор, маленький, худощавый и молодой, но перед этим цветущим телом он вдруг показался нам не очень молодым. — Трудно дышать было, когда ранило?

— Трудно, — согласился раненый, — даже просто захватило дух.

— А говорите пустяковина.

— А тб нет? Вот у меня что было, и то обшлось. — Он сдвинул еще ниже на правом боку серые свои холостинковые штаны и показал огромный рубец, похожий на красноватый выпуклый серп.

— Что же это? — спросил врач.

— Бургомистерство принимал, — усмехнулся раненый, — здесь в Смоленской области бургомистером ставили..

— И что же?

— Да не подошло мне дело-то!.. — улынулся он и все увидели, что он человек веселый..

— Так вы смоленский? — спросила сестра.

— Смоленский.. но в это время доктор обратил внимание на кровь, заекшуюся на шее, тронул пинцетом и увидел глубокую борозду, проведенную чиркующим осколком. Он занялся обработкой раны и разговор прекратился, только слышалось покряхтывание раненого, когда иод пробирался в рану.

— Живое мясо иода боится, — сказал он.

Ему пришлось сделать операцию: вынуть осколок и подтянуть края легкого, сократившегося под давлением вошедшего в рану воздуха. После операции его отнесли в нашу избу. Предназначенную для раненых, не требующих немедленной эвакуации. На листке с его историей болезни доктор мелко написал, что им произведена операция «открытого пневмоторакса» левого легкого и перевязка поверхностного ранения шеи под правой ключицей. Наверху, где заполняется фамилия и имя, стояло: Коробков, Степан Игнатьевич, 58 лет, русский, уроженец Смоленской области, колхозник, беспартийный.

Вечером глаза его лихорадочно блестя, лицо порозовело: Температура была высокая. Он не хотел или не мог лежать: Все поднимался на кровати, спускал босые, по его росту небольшие ноги и сидел, положив руки на колени. Кисти рук у него, как и широкое его лицо, были как бы темнее и старше тела, и на них обозначались вены.

— Нет привычки лежать, — сказал он. — Я не болен сроду. А то, думается, ляжешь и не встанешь...

— Но ведь лежали же вы после того, как бургомистерство принимали?

— Полежал маленько, — опять согласился он, — тут уж нельзя было вставать.

Этот случай его, кажется, убедил. Он лег на кровать и присмирел, так что нам стало его жалко. Но ему надо было лежать, и, увидев по глазам, что он хочет попросить о чем-то, я подумала, что все равно не разрешу ему встать.

— Сестрица, я так не поправлюсь... Доскажите мне полстаканчика спирта...

— Что вы, разве это можно!

— А можно! Ей-богу, можно: Подумайка! Меня лекарствами не возьмешь ничем.

Мне показалось, что, может быть, и впрямь можно, такой убедительный был у него голос.

— Вот доктор выпишет вам виноградного вина. Это можно.

Он горестно махнул рукой.

— Портвейны эти я не уважаю. Ну, ваше дело. — Он, видимо, начал убеждать, что тут действительно не его дело и ему придется подчиниться.

— Утром уйду! — пообещал он и забился.

Всю ночь он беспокоился и бредил. К утру температура стала падать, лоб под густыми, подстриженными по-любительски волосами стал влажным и прохладным. У крыльев широкого крупного носа появились капельки пота. Когда сквозь запотевшие холодные стекла, стали видны спокойные недвижно дремлющие деревья с прозрачной лимонно-желтой листвой, он открыл глаза, обвел избу, спящего на лавке санитары и сказал: «Угодило же меня сюда!»

«Угодил» он очень просто. Недалеко от аэродрома около села шла молотья: немецкий самолет сбросил бомбы и ушел. Непонятным осталось — нащупали он аэродром, или сбросил бомбы, уходя от города, где его встретил огонь зениток. Степан Игнатьевич заткнул рану тряпочкой, и одна из женщин перевязала ее своим фаруком. Уходя домой он не собирался и еще с полчаса продолжал руководить работой бригады, пока его не «обнесло». Тогда на перемычный пункт аэродрома прибежал запыхавшийся парнишка, и за раненым послали машину с санитаром.

— Ни в кого боле, а только в меня, — самодовольно сказал он. — Мишень, конечно, очень видная — Похоже было, он думал, что немец бросал бомбы специально в него Я ему сказала об этом.

— А и вполне возможно. — ответил он. — Я им урону нанес... Конечно, это

и говорю шутейно, но только за бургомистра я им дал...

За дверью послышались торопливые шаги. Дверь открылась, и женщина лет сорока в распахнутой ватной телогрейке шагнула в избу. Увидев необычайное для избы: женщину в белом халате, столик, покрытый простыней, лежащего на кровати раненого, она остановилась и смущенным голосом спросила:

— Мужик мой тут, у вас? — хотя видела, что он тут, собственной персоной.

Через несколько минут, сняв телогрейку, она уже помогала санитару кипятить чай, подходила к мужу, спрашивала у нас, какая у него рана, рассказывала, как, упавшись с молотья; дома все наладила и под утро побежала проведать.

— Мы из Орловской эвакуировались, да тут вот пока и работаем, — говорила она. — Меня с дочерью и внуком вперед отправил, а сам, — говорит, — я с последним эшелонном поеду. Он чудак, муж-то. «Капитану, — говорит, — последнему с мостика указано сходить». Да и досиделся до последнего. Скота отправили, народ кто на конях, кто пеший ушел, а он, видишь, остался, чтобы сено в скирдах попать. Как отехали мы, на станции начали сгонять вагоны под другой поезд, а немецкий самолет, вон как давеча, бомбы бросил на станцию, рельсы разворотил. Эшелон-то никакого хода и нет: Ребятенки на станции, женщины. Мой-то, — вон он какой! — с гордостью показала она в сторону мужа. Он лежал сейчас с расчесанными волосами и бородой, выпростав руки поверх серого красноармейского одеяла, и глядел на нее снисходительно, с легким пренебрежением: — Ну; он ребятишек таскать; матерям помогать, туда-сюда... Ночью ему бы уйти с людьми, а он обратно остался. Ну и... — Ну и будем толковать больную с подкарем, а дело стоять будет? — строго сказал Степан Игнатьевич. — Погостила и ступай. Скажи, — бригадир сам завтра будет.

Я вышла проводить женщину, чтобы сказать ей, что ни завтра, ни послезавтра бригадир не будет, а разве что через неделю доктор отпустит его домой.

— Господи, да разве я не понимаю! — сказала женщина. — Поди с ним поговори! Ему только не перечить, а там делай с ним что хочешь. — Хитро и молодого блеснули серые лукавые глаза. — Он-то ведь упрямый, а на упрямых аэду возят... Да что было-то с ним! Ему живот ножом располосовали... А он двоих немцев убил да ушел...

Как можно было уйти с такой раной, понять было трудно. Я решила как-нибудь сходить в село и расспросить жен-

щину. Но Степан Игнатьевич сам расказал мне об этом.

—... Служил я у него в приказчиках. Лавка была, все, что тебе угодно было. Крупа и сахар, и соль, и мыло, и гвозди, и кожа.. Хомуты, уздечки, — ну все; что требуется; весь подбор. Прозвал его народ — «Маркел-сухие гвозди». Ну — как приклеили: не было у него того, чтобы не обвесить, не обмерить. Говорили ему люди: «Маркел Назарыч, ты, ведь, не довесил мне муки-то. Полфунта нехватает». — «Это, — говорит усушка произошла».. — «Ладно, — люди говорят, — усушка на муку — пускай, а неужели же и на гвозди усушка?» — Да так и прозвали «Маркел-сухие гвозди». И сам видом он, как гвоздь согнутый был, — бессмертный кашей.. Я, конечно, служу и по хозяину лажу: «Чтобы у тебя этой блажи не было, Степан! Смотри, как я вешаю, и понимай!» Я, конечно, и смолоду понятливый был. Пришелся ему по душе. Хозяин обвесит, и я норовлю. «Ну, — говорит, — будет из тебя толк. Купцом будешь. В компанию возьму»... Иной раз иду по селу, слышу про моего хозяина говорят: «Маркел-сухие гвозди». Правильно, думаю, говорят..

Понравилась мне тут девица одна. Это я нынче остарел, а была я прямо Еруслан Лазаревич. Стал за ней похаживать. Она и лицом взяла, и работница, и танцоватая, и смеяться — на все хороша. Помещичишко у нас был, — так у него на скотном дворе работала. Глаз таких я во всю жизнь не увидел боле: глядит и греет глазами-то. Как, думаю, ей понравиться? Я — медведь-медведем. Выходит — надо мне танцам обучаться. Стал глядеть, как городские приказчики танцуют: мудрено, не могу примениться. А у меня в городе, в Рославле-то, брат двоюродный тоже в приказчиках. — «Ты, — говорит, — вот как учись: полечку хочешь? Повторяй: рупь шесть гривен, два с полтиной.. рупь шесть гривен, два с полтиной; Смекаешь?» И оно правильно: как напеваешь, ноги сами идут. А если вальс, то: рупь двадцать, рупь тридцать, рупь семьдесят пять! — И верно, так тебя и кружит, никакой музыки не надо. Слышишь, как оно различается? — Степан Игнатьевич проговорил скороговоркой, напевая: — Рупь двадцать, рупь тридцать, рупь семьдесят пять!

Выучился! Одеваюсь чисто, а она не смотрит. Что за оказия? Раз вечером я ей стал объяснять: «Я не для баловства женюсь, мне жену надо». А она смеется «Не смейся, — говорю, — не гордись. Ты хороша, и я не хуже. Рассмотри, — говорю, — поближе». — «Я уже рассмотрела, — говорит, — в яблоч-

ке-то червоточинка есть». — «Неужели? А все-таки пойдешь за меня?» — «Нет, не пойду. У тебя клычка очень нехорошая». — Какая же, — спрашиваю, — клычка? Я не собака, чтоб кликали..» — «Маркел-сухие гвозди». Так тебя по хозяину кличут». И убежала Меня как будто обухом по голове..

Ты думаешь, я это дело сразу понял? То-то и есть, что не сразу Поболе года я еще круче с народа золотники хозяину собирал: прежде-то все фунты да золотники были. Озверел. Меня уже в глаза «Сухие гвозди» называют. Ненавишь какая-то во мне появилась, а самому хоть удавиться, — совестно. А Маркел в городе хвалится, что приказчик хорош: все дела на меня полагает, доверился. Дом он в ту пору себе построил под железной крышей, о двух этажах.

Раз заходит Маринушка в лавку, покупает сахар — пшенок Я вешаю а она, будто ей совестно, смотрит в сторону. «Посмотрите, — говорю, — в аккурат!» Она и взглянула на меня. Я, как вышел из-за прилавка, подошел к ней, говорю: «А коли беглость одолит, не покаешься? Все брошь, гори оно ясным огнем».. А она испугалась. — «Что ты, Степан! Да я ведь месяц замужем. Вот муж за сахаром послаа»... — «Значит, — говорю, — славакья вача жичн? А я то как же?» — Степан Игнатьевич помолчал, вспоминая.

В тот день я Маркела побил, будто он виноват, что я сам дурэком был. Много я тут куролесил. И уж жизнь потом сколько ни ломала, и на германской войне был, а как вернулся, народ все клычку помнит. «Сухие гвозди», — говорят, — вернуся». — А уж и на бессмертного Кашея нашлась утица, а в утице яйцо, а в нем Кашеева погибель! Ну, тут я дичать не стал. Стал я себя показывать в работе — идет дело полным ходом. Женился — дети пошли. Одно только: мозолит мне глаза Маркелов дом, да и только. Шел с войны домой, думал — спалить его, да и шабаш! Нет, нельзя. Мы же сами под школу его определили.. Ну, ладно, думаю, стой, пока не сгинеш. Клычку-то я реже слышу, да реже. Скоро забудут, думаю. Хотя нет..нет, да и скажут. «Это — пускай «Сухие гвозди», — то, бишь, извините, — Степан Игнатов, пусть провернет»..

Как стали немцы к селу подходить, я свою семью с нашими колхозниками вперед отправил, сам пошел скирды зажигать: богатое сено было. Прямо рука не поднималась, но пришлось.. Подпалили все до одного и пошел задворками мимо села к станции.

Подошел к Маркеловскому дому так в сумерках. «А что, — думаю, — теперь его

вполне возможно спалить: немцам такое помещение оставлять нечего. Не будешь ты, проклятый, стоять на земле». Да и шагнул во двор.

Гляжу перед домом машина стоит не наша, немецкая. Неужели немцы? Они и есть! Ихний солдат с крыльца спускается. «Хальт!» кричит и ружье на меня повернул.

«Эге, — думаю, — этого случая пропустить нельзя. Иду во двор, будто я сам пришел и вовсе его не опасаясь. Не стреляет, глядит на меня. А ружье все на меня направляет. Тут из дома выходит тощий, худой, вроде — офицер. Солдат ему докладывает. Офицер что-то сказал ему. Солдат подошел ко мне, по карманам похлопал, обыскал — не нашел ничего. Офицер и говорит мне русским языком: «Иди сюда».

Зашел в избу: Сидит немец, важный, толстый, похоже, чином повыше, чем тот, тощий. А на лавке... мать честная, сидит один человечиска городской. — «Эге! — думаю, — вот ты кто оказался! Изменник родине!» Да какая ему может быть родина, подлому человеку?

Главный немец показывает на меня и спрашивает городского, а офицер переводит

— Что вы про него скажете? Может, он бургомистером быть?

— Вполне ручаюсь, — отвечает: — В этом самом доме уважаемый купец жил, Маркел Назарович, а этот человек у него приказчиком был. Хозяин его чравой рукой своей считал.

«Ах ты, — думаю, — когда же мне бог грехи простит?» Чую, во мне злоба закипела...

— Ну, вот что, — говорит офицер, — ты будешь бургомистером у вас в селе. Будешь следить, чтобы правильно исполнялись приказы немецкого командования, о всех случаях неповиновения дол-

жен сообщать немецкому командованию, то-есть мне. — И, слышу, говорит городскому этому: «У него вид представительный». От меня, видишь, представления ожидали! Ну я и показал им представление. И начал крушить. Не помню уж, чего и было. Пришиб я обоих немцев. Опомнился, — у меня револьвер в руке: я их, значит, рукояткой и бил. Стреляли они, да в суматохе мимо пришлось. Стою, ошупываю себя: все цело, чуть только корябнуло по плечу. А тут из-под стола человечиска тот городской меня и полоснул кинжалом.

Надо уходить; а дело мое дрянь... Я над окошком шильце усмотрел, и там же дратва висит. Зашил себе рану двумя швами, затынула полотенцем и пошел. Со ступеней пришлось на карачках. Поднялся все-таки; а ходу нет. Гляжу — солдат убитый у крыльца и Семен, мужик наш; стоит. Весь белый даже стал:

— Пойдем, — говорит, — Степан Игнатьевич, — опирайся на меня. Жалко я к последнему действию угодил...

— Видел, — говорю, — как я их раздела?..

— Видел, — отвечает, — маленько застал. Ну, — говорит, — в жизнь не забуду, как тебе брюхо располосовали. Я думал, ты кончился. А не заходил в избу, — оглядывался, не бежит ли кто. Выстрелы были. Нет, никого пока не видать.

Доплелись мы с ним до станции — паровоз под парами. Они с машинистом меня и посадили. Дом зажечь не пришлось, да я как немцев увидал, у меня на них сердце зашлось...

Степан Игнатьевич откинулся на подушку и удовлетворенно сказал:

— Ну зато после никто более «Сухих гвоздей» и не поминает.

ГОРНАЯ НЕВЕСТА

К. МУРЗИДИ

★

Посвящается П. Бажову — автору сказов о хозяйке Медной горы.

I.

Земные — что! Она волшебней...
Пройдя породю пустой,
Следы оставила на щебне
И поманила высотой.

Земные — что! Она упрямей...
Она задумала пройти
Сквозь эти горы, словно впрямь ей
Иного не было пути.

Ей — высота. Земным — равнина...
И торопясь, на гром ружья,
К огням разведчиков ревнива,
Нас повела ворожея.

Наворожила, в самом деле,
Наобещала, а сама
Вошла в зеленые метели,
Листвой засыпала с холма.

Темнеют медью на безводьи
Березы в щебне, искривясь;
Она берет их, вместе сводит,
В одну запутывает связь
И вяжет желтые листы их
Узлом со стеблями травы..

Но есть царапины простые
На медной зелени листвы,
Но есть в руках стальные клинья,
Чтоб шаи разведчики верней,
Чтоб среди каменного ливня,
Среди кипения кремней,
Вперед пробилась мы, как песня,
И, в скалы белые ломаясь,
Не для девического перстня,
А для резца нашли алмаз.

II.

Она забыла об отряде.
Склонила голову к плечу,
Щекой касаясь русой пряди,
Такой густой (молчу... молчу...).
Она скромнее самых скромных,
И даже грусть затаена
В ее глазах больших и темных,
Хотя ресницами она
Их влажный блеск не затенила
И вслед вечернему лучу
Приподняла и удлинила
Такую бровь (молчу... молчу...).
И этой бровью полукруглой,
Едва ль не видной вдальске,
И этим пятнышком на смуглой

Не зацелованной щеке,
И этим влажным ровным светом
Зовет к алмазному ключу.
И так зовет она, что в этом
Изгибе губ (молчу... молчу...),
Еще не тронутых улылкой,
Но еле сомкнутых, видна,
Как и во всей фигуре гибкой,
Ее любовь — она одна.
И потеряв тропу лесную,
Бреду, расстраивая ряд;
Ее люблю я как земную,
А мне ребята говорят:
— Ты вспомнил милую.. Но дай нам
Пройти хоть раз путем иным;
Мы приобщимся к новым тайнам,
Но не изменим тем, земным.

III.

И гул долин в предгорьях громок,
Но горы громче тех долин,
А их призыв неодолим..
Опять заветрело до кромок,
Заледенило все кусты..
Хотя бы знать — не первый ты,
Хотя бы след, пускай не броско,
Едва-едва.. И вдруг — бороздка
В снегу на гребне высоты.
Так, значит, этот дальний адрес,
Так этот ход в гнездо камней
Уже однажды знала храбрость,
И я теперь иду за ней!
Иду, и пригоршнями снега
Меня забрасывает с неба,
Я отбиваюсь, пью слезу.
Но — ниже острые сугробы
И горы вдруг не так суровы,
Как это кажется внизу.

IV.

Мне тридцать лет. Я знал войну
И плохо верю в тишину.
Какой бы ни была она —
За ней тревога иль война.
И ты, прокладывая путь,
Ведя тропинкою лесной,
Меня не сможешь обмануть
Высокогорной тишиной.
Вот мы взойдем на перевал,
Где я не раз уже бывал,
И, убегая, сдвинешь ты
Шиханов гулькие щиты.

Я это знаю, но иду,
Обвал и тот не страшен мне.
Ловя следы твои, я жду
Твоих признаний в тишине.

Но если сердцем не со мной,
Тогда не мучай тишиной,
Тогда камнями загреми —
Я сам найду тебя, пойми!

Я верю в то, что ты моя,
Что на пути, пускай в конце,
Улыбку вдруг увижу я
На заброшенном лице.

V.

Прости мне... Ты все-таки женщина
И, может быть, тоже изменчива...
— Не смейся. Я верная спутница,
Не знаю — плохая ль, хорошая,
Но все, что случайно забудется,
Под ноги разведчику брошу я.
Спроси у любого разведчика:
Как только терялась их линия,
Лесная светила им свечечка,
Звенела хрустальная лилия.

Она замолчала, и сели мы
У самого края расселины.
И тут я с улыбкой спросил ее:
Быть может, отсюда не видно ей,
Какую становятся силою
Ее огоньки безобидные?
Ответа хотелось мне скорого,
И вот она, краткая речь ее:
— Еще бомбардиры Суворова
Фитиль поджигали той свечкою.

VI.

Пока вполголоса в душе
Пою, взволнованный весной,
О ней, о той, что надо мною
Живет на сотом этаже.
Забой — на первом... Знаю сам,
Что слишком труден путь к высотам,
Что мы — внизу, а там — на сотом
Немного ближе к небесам.
И нам дано ломать руду
И, глыбы складывая к месту,
Глядеть на горную невесту,
Как на далекую звезду.
У нас на первом полутьма
И вечный шум забоев тесных,
Но почему с высот небесных
Она сбегает к нам сама?
Не потому ли, что всегда,
Устав от ясности холодной,
От жизни тягостно-свободной,
На землю падает звезда?
Не потому ли, что она
Решила нам в любви признаться,
Сказать, что внукам рудознатцев
Она попрежнему верна?
Не потому ли, что деля
С ветрами каменное ложе,
Она уверена, что все же
Основа радости — земля?!

VII.

Я только с ней могу оттаивать.
И старый друг ворчит, сугуясь:
«Смотрите, кажется, лета его,
Давно минувшие, вернулись.
Как видно, мастер знает снадобье —
Не постарел, а стал моложе».
Они завидуют, а надо бы
И им — сугулым — сделать то же.
К чему терзаться мыслью вздорною?
Не годы вновь ко мне вернулись,
А я влюблен в невесту горную,
Влюблен в мечту горячких улиц,
Другие в ней давно изверились
И отворачивают лица.
Она немножечко из ветренниц,
Но не настолько, чтобы злиться.
Она одна подруга храбрости:
Пройдет дорогою ночью
И в гости к вам заглянет запросто,
Как вот теперь зашла за мною.
Вглядитесь в милую, запомните...
Уже давно темно и поздно;
Так пусть же будет в каждой комнате,
Как в этой, радостно и звездно.
Пройдем за нею тропкой горною,
А станет ветренно и снежно,
Опять окликнет дева горная:
— Ты любишь все еще? — Конечно...

VIII.

Рыхлый снег. Угловатые синие крыши,
Словно подступы, словно ступени к тебе,
К дальней башне твоей, что воздвигнута
выше
Этих низких домов... Я иду по тропе.
Говорят, что земными грехами
навьючась,
Я напрасно пытаюсь достичь высоты,
И что стану потом проклинать свою
участь
И ребячью улыбку последней мечты.
Говорят, что земля не отпустит далеко
И в дорогу не даст ни огня, ни луны;
Чтобы я не ушел, крепко держит за
локоть
И, влюбленная, смотрит глазами жены;
Желтой звездочкой лампы домой меня
манит,
Ну а если решусь я уйти навсегда,
То земля ко мне детские руки протянет,
Залепечет, и я не уйду никуда.
Но, как видно, боясь, что и этого мало,
На прощанье они уверяют меня,
Будто ты за другого меня принимала
И всегда избегаешь земного огня.
Разве ты оттолкнешь меня? Нет, ты не
в силах
Отказать мне в любви, упрекнуть за
жену,
Потому что, узнав и веселых и милых,
Выше всех я поставил тебя лишь одну,

Чтоб всю жизнь проходить по высокой
 дороге,
 Чтобы желтую звездочку лампы ночной
 Занести в твою башню, присесть на
 пороге
 Отдохнуть, закурить по привычке
 земной;
 Сквозь табачный дымок поглядеть на
 равнину
 И еще раз глазами измерить подъем,
 А потом, оглядевшись, позвать свою
 Нину,
 Познакомить с тобой и оставить вдвоем.
 И она, я уверен, украдкой спросит,
 Чем могла ты увлечь меня так за собой.
 Ты откроешь ей тайну, и пусть она
 бросит
 Ревновать и пойдет этой новой тропой.
 И мы станем втроем подниматься все
 выше,
 Чтобы жизнь провести в постоянной
 борьбе.
 Рыхлый снег. Угловатые синие крыши —
 Эти подступы, эти ступени к тебе.

IX.

Ты, летом памятным, когда-то
 Меня любила молодого.
 Ответь мне: примешь ли солдата
 И поцелуешь ли — седого?
 Не за себя прошу — за многих,
 Чьи годы днями пролетели,
 Кто на заснеженных дорогах
 Входил когда-нибудь в метели.
 А нас немало. Если нужно,
 Мы встанем, словно в карауле.
 Не думай, нет — в полях не выжно, —
 То мы шинели распахнули.
 Теперь ты видишь нас, конечно;
 Мы строй недаром подравняли.
 Не думай, нет — в полях не снежно, —
 То мы фуражки приподняли.

И ты поймешь; огнем лалимы,
 Забыв сердечные тревоги,
 Всегда в сраженьи — не могли мы
 На полпути свернуть с дороги.
 Верны суровому приказу,
 Мы знали долгие походы,
 Но ни один тебе ни разу
 Не изменил за эти годы.
 И все, что с горечью томилось
 К твоей щеке припасть готово.
 Так неужели же как милость
 Ты бросишь ласковое слово?
 Взгляни на нас: мы молодые,
 Взгляни еще раз и доверься
 За наши головы седые,
 За нерастраченное сердце!

X.

Мне говорят, что я, любя
 Одну причудницу земную,
 С досады выдумал тебя,

Во всем не здешнюю, иную,
 И сделал это для того,
 Чтобы меня не позабыли
 И после все до одного
 Страдали, мучились, любили,
 Терялись в поисках мечты...
 А между тем, ты и не Ольга
 И не Татьяна... Кто же ты?
 Всего лишь выдумка, и только.
 Выходит так, что я солгал
 Во имя почестей поэта,
 Неуловимую создал
 Из ветра, облачка и света.
 Но можно ль выдумать тебя,
 Обожестьвить на горе людям?
 Неправда. Нет. Одну любя,
 Об остальных мы позабудем.
 И вот из ревности они
 В живом живого не заметят.
 А мне смешно. А ну взгляни
 В лицо им — пусть они ответят:
 Возможно ль выдумать тебя?
 Был, дескать, скульптор и, рубя
 Для статуи мраморные глыбы,
 Бродя в тени прибрежных скал,
 Еще не знал, что будет после,
 Потом, увлекшись, высекал,
 Смотрел и думал: удалась ли?
 Опять настойчиво рубил,
 Ваял Венеру иль Данаю
 И глянул вдруг и полюбил
 Точеный мрамор.. Помню. Знаю.
 Так неужели же и мы
 Влюбились в стройность мертвых линий
 И потянулись на холмы,
 Забыв о тех, кто там в долине?
 Или с досадой, может быть,
 Идем туда, где горя меньше —
 Подальше в горы, чтоб забыть
 Измены жен, причуды женщин,
 Насмешки девушек чужих,
 Которым мы уж тем не милы,
 Что, как на грех, в таких больших,
 В нас больше нежности, чем силы.
 Не верю. Лгут. Выходишь ты,
 Когда рассвет еще не брезжит.
 А там, на гребне высоты,
 Нас, беспокорных, что нас нежит?
 Мы снова в горы за тобой
 Уходим, руды открывая,
 Чтобы гремел в долинах бой, —
 И мы — сильные, и ты — живая.
 А тем — земным — скажи им ты,
 Скажи, что любим их не меньше,
 Коль придаем тебе черты
 Своих причудниц — милых женщин
 И научи их быть сильней,
 Но не затем, чтоб хлопать дверью;
 Одну — особенно. За ней
 (Ты не ревнуешь? Верю, верю) —
 За ней тянусь я вновь и вновь —
 По сердцу ведомой причине.
 Нужна высокая любовь
 Солдату, мастеру, мужчине.

ЗАПИСКИ ПАРТИЗАНА*

П. К. ИГНАТОВ

★

1942 год

16.X.

В лагере на поляне повзводно выстроен отряд. Комиссар открывает траурный митинг. Выступления кратки. Но скупые слова идут от сердца.

Превозмогая боль, говорит Елена Ивановна:

— Все наше счастье было в детях. Они погибли. Если погребутся, мы с отцом отдадим и свои жизни за родину. Но мы стоим, — жестоко отомстим врагу за поруганную Кубань, за смерть наших ребят. Клянусь...

Елена Ивановна пошатнулась. Ее бережно поддержали...

Командование объявляет в приказе благодарность ряду партизан и представление к правительственной награде погибших братьев Игнатовых, командира первого взвода Янукевича, минировавшего профиль, старшего минера Кириченко, вместе с Евгением закладывавшего первую мину на железной дороге, и Павлика Сахатского, спасшего командира отряда.

На открытом собрании после митинга принимается решение просить командование куста партизанских отрядов присвоить отряду название «Отряд имени братьев Игнатовых», зимний лагерь на горе Стрепет, организованный Евгением, назвать его именем и представить к правительственной награде командира отряда, лично руководившего первой на Кубани крупной минно-диверсионной операцией...

17.X.

Как ни крепилась Елена Ивановна, но смерть ребят дала себя знать: у нее отнялась левая половина тела, она поте-

рела сон. От нее не отходят Сафронов и Слещев.

Дакс понимает, что Женя больше не вернется, — и всю свою преданную собачью любовь перенес на Елену Ивановну. Он ходит за ней по пятам. Он лежит около нее и смотрит умными, понимающими глазами.

Чужому теперь невозможно подойти к Елене Ивановне: шерсть у Дакса поднимается дыбом, он показывает свои клыки и грозно рычит...

18.X.

Елене Ивановне попростому плохо. Ей надо переместить обстановку: здесь, в лагере, каждый кустик, каждый камень напоминает ребят.

Мы решили отправить ее на стоянку в Крепостную. Благо начальником ее — Сафронов.

Встлугин, Янукевич, Еременко, Кириченко, Литвинов — все друзья Евгения — буквально осаждают меня:

— Батя, когда же?

Создается впечатление, будто я сознательно задерживаю следующую операцию. Но если бы знали они, как я мечтаю о мести!

Спешить нельзя. Пусть пройдет несколько лишних дней, но удар должен быть нанесен неожиданно и точно, без суевы, без торопливости, без жертв, — на смерть, как говорил Евгений...

Наши разведчики уже вышли на работу.

19.X.

В лагерь пришла тяжелая весть: погиб Григорий Дмитриевич Конопотченко, старожил станицы Имеретинской и председатель колхоза.

Конопотченко — человек громадного роста, косая сажень в плечах, тяжелый, медлительный степной великан. При взгляде на него невольно бросаются в глаза большие мускулистые руки, быст-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4-5, 1944 г.

рые и гибкие, как-то особенно ловко берущие вещи, и резкие складки у рта. Эти складки появились, когда в зареве пожара была занята немцами родная станица, когда он ушел в лес и стал командиром партизанского отряда имеретинцев.

Не раз отряды немецких автоматчиков и полицейских шли в леса и плотным кольцом окружали его группу. Но всякий раз вырывался на волю Конотопченко, громил немцев, гнал их обратно в станицу, — и опять бесследно исчезали германские заставы, и в придорожных канавах лежали разбитые машины.

Не сумев взять в бою, фашисты с помощью одного предателя заманили Конотопченко в засаду.

Вечером в густом орешнике у плетня хаты, на Конотопченко с двумя бойцами набросились двадцать рыжих немецких автоматчиков и полицейских.

Ночью немцы торжественно вводят пленных в станицу. Сзади санитары на носилках несут семь трупов германских солдат, — партизаны дорого продали свою свободу.

Три дня пытаются партизан в охранке — жгут каленым железом, вбивают иглы под ногти.

На станичной площади стучат топоры: немцы готовят виселицы.

Завтра — казнь.

Ночью на станичных улицах неожиданно разгорается бой: это имеретинцы ворвались в родную станицу спасать своего командира.

Хату за хатой, квартал за кварталом захватывают партизаны. Уже близок сарай, где заперт Конотопченко. Но из соседних хуторов к станице подходят десятки машин. Кольцом окружают враги Имеретинскую. Они уже перерезали дорогу в лес.

Захватив раненых, партизаны, им одним знакомыми лезами, уходят из станицы.

На утро Имеретинская наводнена немецкими войсками, занимающими круговую оборону: здесь даже минометы и легкая артиллерия.

Поднимается солнце.

По широкой пустынной улице, под конвоем идет Конотопченко с двумя товарищами. Спутались, запеклись в крови его густые светлые волосы. Лицо — сплошной кровоподтек. Страшно, неестественно висят персбитые руки вдоль израненного, исполосованного тела. На шее — доска с надписью: «Я партизан, убивал немецких солдат». Но голова гордо поднята. И кажется, это не фашисты ведут на казнь партизана, а он — непокоренный, негибачаемый, уверенный в победе — ведет их к суровой, неизбежной расплате.

На площади, у виселицы, усиленный караул. Чуть поодаль, сбившись в кучу, стоят старики, женщины, дети: их на-

сильно пригнали к месту казни. Лица суровы и сумрачны.

К Георгию Дмитриевичу подходит полицейский — сейчас он набросит петлю на эту непокорную партизанскую голову.

Собрав последние силы, Конотопченко резким ударом ноги бьет полицейского в живот. С диким криком предатель катится по земле.

Германский офицер нетерпеливо дает знак палачам.

Выбита табуретка. Громадное тело качается в петле. Кажется, перекладина не выдержит этой тяжести.

В толпе раздается резкий крик. Мелькают сжатые кулаки. Трещит плетень — кто-то выламывает кол. Толпа, — будто это не десятки разных, непохожих друг на друга людей, а одна напряженная, сжатая, как пружина, человеческая воля, — бросается к виселице.

Немцы стреляют в воздух. Это не залп — это беспорядочная стрельба перепуганных на-смерть палачей.

Фашистские пулеметчики, лежащие на окраине станицы, слышат выстрелы на площади.

— Партизаны! — проносится по цепи. — В станице партизаны!

Охранение открывает беглый огонь. Пулеметчики стреляют по кустам, по далекому лесу, по белым хатам.

В станице — паника. Караул у виселицы бежит к околице. В упор по нему бьют пулеметы охранения.

Через полчаса все выясняется. Офицер спешит на площадь.

Площадь пуста. Деревки на виселице срезаны. Это односельчане, воспользовавшись паникой, рискнув жизнью, пытались спасти повешенных. Друзья опоздали на несколько секунд...

Офицер не решается подойти к трупам и показать снова взлернуть их на виселицу. И три дня лежат мертвые партизаны на опеленной немцами пустынной станичной площади. Шурша, падают на них золотые листья с родных тополей, и ветер предгорий приносит к ним запах далекого леса.

В ночь на четвертые сутки трупы казненных бесследно исчезают.:

20. X.

Приехал в Крепостную — проведать Елену Ивановну. Она чувствует себя плохо: ее попрежнему мучает бессонница. Чтобы как-нибудь забыться, она работает, не покладая рук шьет и возится с ранеными.

Наша Крепостная превратилась в своеобразный районный госпиталь: сюда, к Елене Ивановне, обращаются за медицинской помощью партизаны соседних отрядов, и Елена Ивановна раскинула здесь настоящий лазарет.

Командант Крепостной, Владимир Ни-

колаевич Сафронов, показывал мне сегодня свое хозяйство.

Прежде всего, он организовал выработку кожи из шкур нашего стада на сапоги, полушубки и шапки. Начал валять валенки. Заготавливает на зиму овощи и дичок. У него на Крепостной хранятся наши основные запасы сена и зерна для лошадей. И только ему одному мы обязаны тем, что можем совершать длительные походы верхами и имеем свой обзобный транспорт.

Мы долго говорили с Владимиром Николаевичем о делах его «фактории».

Это название прочно прижилось к нашим стоянкам — на хуторе Красном под Крепостной, на Планческой.

Немцы проведали про них и оказывают им особое внимание.

Вот и сегодня, пролетая над Крепостной, немецкий бомбардировщик сбросил две бомбы — они упали в лощины недалеко от хуторка.

Это далеко не первый налет: Владимир Николаевич уже потерял счет бомбежкам. Немцы посылают сюда своих диверсантов. И нередко на подступах к хутору разгораются горячие схватки.

Жизнь в наших факториях хлопотливая и беспокойная. Но я не могу отказаться от них. Они нужны нам, как воздух. Здесь мы проводим окончательную подготовку к диверсиям, довооружаемся взрывчаткой и патронами, запасаемся продуктами и отсиживаемся, ожидая, когда легче можно проскочить мимо населенных пунктов, занятых немцами. Здесь же, возвращаясь с операций, мы отдыхаем, здесь нам как следует перевязывают раны и лечат наши недуги.

Нет, до тех пор, пока нас силой не вышибут из наших факторий, мы будем хранить их, как зеницу ока.

21. X.

Весть о расправе в Имеретинской быстро разносится по предгорьям. О ней узнают смольчане, северчане, моряки Ейска.

Первыми выходят мстить ейчане с группой партизан станицы Смоленской.

Во главе ейчан матрос-комиссар.

У шоссе, недалеко от станицы Смоленской, партизаны ложатся в кустах у обочины: смольчане — ближе к станице, моряки — чуть дальше, за крутым поворотом.

Партизаны ждут двое суток.

По шоссе проходят немецкие армейские части. Пронесются машины с автоматчиками, боеприпасами, продовольствием. Пылят мотоциклисты.

Нет, все это не то.

Отряд ждет.

На рассвете третьего дня, когда за далекими синими горами поднималось солнце и расплавленным золотом загора-

лись на тополях последние листья, со стороны Смоленской в облаке пыли выросла колонна.

Шли штрафники-офицеры. Их прислали сюда, в штрафной батальон, из-под Туапсе и Новороссийска, из-под Ростова и Воронежа. Только особым — редким даже в звериной фашистской армии — зверством по отношению к мирным станичникам, к пленным и раненым красноармейцам, только безоговорочным, слепым выполнением любого приказа могут они добиться прощения. И нет такой изощренной нечеловеческой пытки, которой бы не щеголяли друг перед другом штрафники-офицеры.

Их-то и ожидают смольчане и матросы Ейска. Особенно их ждет моряк-комиссар — у него со штрафниками особый разговор.

Под барабан, четко отбивая шаг, высоко вскидывая ноги и задрав голову кверху, широко размахивая левой рукой, идут штрафники мимо смольчан.

Вот сейчас бы рвануться на шоссе! Но смольчане ждут: первыми должны ударить моряки.

Колонна скрывается за поворотом.

Матросы тоже ждут. Ближе всех к обочине дороги лежит комиссар, крепко сжимая в руке гранату.

Колонна идет мимо него. В центре — толстый офицер с нафабренными рыжими усами.

Вот такой же рыжий обер-лейтенант был комендантом Ейска. Он изнасиловал молодую рыбачку, отрубил ей пальцы на руках и, опозоренную, истерзанную, вздернул на виселицу...

Комиссар швыряет гранату. Потом, рванув с плеч бушлат, в одной полосатой матросской тельняшке — чтобы знала враг, с кем имеет дело, — с ножом бросается на шоссе. За ним поднимаются из кустов и все остальные моряки.

Толстый офицер жив. Он чудом спасся от гранаты. Прямо на него, чуть пригнувшись к земле, бежит комиссар. Откуда здесь, вдали от моря, среди широких полей перезревшей пшеницы, «черная матросская смерть»?

Офицер вскидывает автомат. Очередь захлебывается: как внезапно отпущенная пружина, матрос прыгает на офицера.

Они падают вместе. Комиссар поднимается. Тельняшка залита кровью.

Мгновение матрос смотрит в остеклевшие мертвые глаза офицера и бросается в гущу схватки.

Страшен этот молчаливый стремительный натиск. Офицеры бегут к станице, бегут без оглядки, хотя и знают — за бегство с поля боя их, штрафников, ждет неизбежный расстрел.

За поворотом из кустов поднимаются

смольчане. Среди бегущих штрафников рвутся гранаты.

Из кольца вырываются только несколько десятков офицеров. Их настигают моряки. Прыжок, короткий удар ножа — и новые трупы падают на шоссе.

Уже видна станица — белые хаты, фруктовые сады, золотые тополя.

Из заставы у околицы грохает одиночный выстрел, и тотчас же вслед за ним длинная пулеметная очередь: фашисты бьют в упор по страшному человеческому клубку, что в облаке пыли несется прямо на них.

Резко повернув вправо, матросы исчезают в кустах...

.....
Утром Крепостную опять жестоко бомбили.

Сегодня мы решили с Еленой Ивановой усыновить Валерия: он не спасал мою жизнь и чем-то напоминает нам Геню...

22.X.

Сегодня отдал приказ о второй минной диверсии. Операция предстоит большая и сложная: взорвать поезд и машины на железной дороге между Ильской и Северной и на шоссе, идущем параллельно дороге.

Старшим минером и руководителем минных операций назначен Ветлугин. Для взрыва поезда выделен Еременко. Минирование шоссе поручено лично Ветлугину вместе с Литвиновым и Малышевым. «Практикантом» идет Власов.

На операцию выходим вместе с партизанским отрядом «Игл» из жителей района станицы Ильской.

Решено применить те же мины, что и на четвертом километре — с предохранителями.

— Не беспокойтесь, Батя, — сказал мне сегодня утром Геронтий Ветлугин. — Все будет сделано так, как будто Женя с нами.

Сегодня со мной говорили Ветлугин, Еременко, Кириченко. Они настоятельно просили разрешения открыть при нашем отряде «минно-диверсионный вуз».

— Об этом, Батенька, мечтал Евгений перед смертью, — горячо говорил Геронтий Николаевич. — Но тогда еще было рано. А сейчас пора: у нас есть и наша новая автоматическая мина, и опыт первых крупных диверсий. И кому же, как не нам, инженерам, начать это дело?..

Затея серьезная: надо посоветоваться с командованием куста.

25.X.

Группа инженера Ельникова вышла на ответственную минно-диверсионную операцию. Группа должна пройти через Крымскую Поляну, обогнуть Сибирбаш, пройти Убинку и за Дербенкой про-

браться через расположения немцев и железной дороге. Три дня назад ушла группа дальней разведки.

Тяжелый, трудный путь предстоит Ельникову...

Это будет нашей первой мстью за ребят.

26.X.

Три дня подряд Крепостную бомбил с воздуха. Бедный Владимир Николаевич долго не знал, куда ему спрятать наш тол, и в конце-концов нашел ему «самое безопасное место» в подвале под домом фактории.

— Это место заговоренное, — уверенно заявил он. — В него никакая бомба не попадет. А уж если и случится такой пассаж, то взлетим на воздух вместе с толом. Все же это будет легче, чем доложить Бате, что сам жив, а тол не уберег...

28.X.

Дорога между Смоленской и Григорьевской проходит пустым лесом. В обеих станицах крупные части немцев. На дороге — оживленное движение автомашин.

Приказал группе минеров во главе с Николаем Ефимовичем Кириченко взорвать мост на Афиписе со стороны Григорьевской и заодно в нескольких местах заминировать шоссе.

Сегодня группа вышла на операцию.

29.X.

В тенистом саду, на окраине станицы Ново-Дмитриевская, стоит большой старый дом, занятый штабом германской литерной дивизии. Со стороны улицы он защищен колючей проволокой. В саду, окруженном забором, круглые сутки ходят часовые.

В бурьяне у забора недвижно лежат четверо наших партизан. Лежат и слушают.

Веселые пьяные голоса доносятся из дома. Снуют ординарцы. Вводят под конвоем молодого парня. Через несколько минут раздается страшный нечеловеческий крик, возня, грубый смех. И снова тихо...

Уже перевалило далеко за полночь. Сияют звезды в темном высоком небе. Спит старый дом. Спит станица. Только часовые попрежнему ходят по дорожкам. И попрежнему лежат партизаны в бурьяне.

Скучно часовым. Шесть часов надо ходить по этому проклятому саду и охранять покой пьяных штабных офицеров. Ни поболтать, ни покурить...

Но что, если отойти в дальний конец сада, где буйно растет малина, присесть в кустах и быстро выкурить папироску? Офицеры спят. Начальник караула только что прошел с обходом. Никто не заметит...

Часовые входят в малинник. Вспыхивает огонек зажигалки.

На заборе появляются две тени. Они камнем падают вниз. Сдавленный хрип. И снова все тихо. Сияют звезды в высоком небе. Спит старый дом. Спит стаица.

Партизаны в саду. Они лежат уже в кустах у крыльца. Лежат и ждут.

Скоро рассвет. Еще час — и придется уходить.

Щелкает ключ в замке, скрипит дверь. На крыльцо выходит немецкий офицер. Он в одном белье. Потягивается, зевает, ежится от утреннего холода и быстро идет по дорожке к уборной.

Из кустов у крыльца бесшумно поднимаются три фигуры и быстро исчезают за вервью. Четвертая ползет за офицером.

В доме глухая гонья — там орудут только ножами. Что-то мягкое тяжело падает на пол. Трещат вскрываемые ящики. Шуршит бумага.

С мешками в руках партизаны выходят на крыльцо. Пригнувшись, бегут по саду. Быстро перебегают через забор и, прижимаясь к изгородям палисадных, радуются по широкой пустынной улице.

Вдруг сзади, в саду штаба, раздается шум. Кто-то колотит в дверь уборной и вопит истошным голосом:

— Hilfe! Hilfe! *

Один из партизан останавливается.

— Забыл проклятого. Я сейчас...

Он бросается назад.

— Стой! Поздно. Бегом!

Они бегут по улице, прижимаясь к домам.

У штаба грохает выстрел. За ним второй, третий. В небе взмывает ракета. Она висит над станицей и залихват ярким светом белые казачьи хаты, высокие тополя и четверку бегущих людей.

Сзади уже слышен шум погони.

У старого тополя партизаны бросаются в калитку. На огороде их ждут кочи. Наметом они выносят партизан к спасительному лесу.

— Ума не приложу, как это получилось. — уже в лагере смущенно оправдывается партизан. — Не успел догнать его до уборной и решил подождать, когда выйдет. А он зашел и не выходит. Случу, в доме возня идет. Я тихонько подпер дверь колом и боосился помогать: думаю, на обратном пути рассчитаюсь. А когда вышли — збыл. Первый раз со мной такая промашка...

... Мешки с документами сегодня переправлены за линию фронта.

30.X.

Два дня назад мы получили вызов от командования куста на совещание командиров отрядов и руководителей штабов.

В лагере отряда «Грозный» разместился прибывший сюда штаб куста.

На поляне группами лежали командиры партизанских отрядов, разговаривали, курили, играли в домино.

Нас встретили очень радушно. Многие хорошо знали Евгения. Все подходили к нам, выражали соболезнование, поздравляли с операцией, предлагали на следующие диверсии идти вместе.

К нам подошел человек в кубанке. Изпод распахнутой шинели на гимнастерке виднелся орден Красного Знамени. Это был командующий нашего «куста» — соединений наших партизанских отрядов, секретарь краевого комитета ВКП(б) товарищ Поздняк.

Он отозвал меня в сторону, и мы долго говорили с ним о работе нашего отряда, о планах на будущее и о предложениях Ветлугина, Еременко и Кириченко осуществить мечту Евгения — организовать минный партизанский взв.

Совещание состоялось на той же полянке. Товарищ Поздняк говорил о будущей работе отрядов, о возможностях лесной горной войны партизан, отрезанных от частей Красной Армии, и о нашей минной школе. Эта школа, по мнению Поздняка, в первую очередь должна схватить партизан Краснодарского куста. Для начала каждый отряд выделит по меньшей мере двух лучших партизан для учебы в нашем вузе.

После обеда мы отдыхали у костров. Кто-то запел старую кубанскую песню. Ее подхватили десятки голосов...

31.X.

Сегодня группа Ельникова наконец вернулась из операции.

... К концу вторых суток наши добрались до Дербенки. Ильцы встретили радушно.

— Даже как-то неудобно было, — рассказывал Ветлугин. — Будто героев встречают. Это же — четвертый километр. Батенька. Но когда зашла речь о новой диверсии, ильцы привыкли. У них миллион опасений и страхов, и подобраться-то нельзя к этому 6 километровой участку между Ильской и Северной — немцы так дзоты построили, и шоссе-то отстоит от железной дороги на расстоянии двух с лишним километров, — уйти, дескать, не успеем, перехватят, и не знают они, чем рвать и как рвать, и полнолуние наступило. Одним словом, хоть обратно уходи. Вижу, дело дрянь. Собрал совещание минеров и командиров езезда. И представьте, Батенька, через какой-нибудь час все утрясилось: ильцы прямо рвутся в бой...

На следующий день вышла разведка обоих отрядов на поиски лучших подходов к шоссе и железной дороге. От нашего отряда разведкой руководил инженер Ельников. Первое, что он сделал, — просил ильцев предупредить о движении

* На помощь! На помощь!

разведки все соседние партизанские отряды. Ильцы заверили, что все будет выполнено.

Весь вечер прошел в наблюдениях. Из глубины гор и с переднего края наши наблюдатели уже трое суток внимательно изучали в бинокли расположение немцев, следили за движением постов и караулов, пытались уяснить себе законсервованность в этих передвижениях.

Ночью отправились искать проходов. Но лишь только вошли в кусты, как справа заговорили тяжелые пулеметы. Это были заставы соседнего партизанского отряда, так и не предупрежденного ильцами о движении нашей разведки.

Партизанские пулеметы всполошили немцев — фашисты открыли убийственный заградительный огонь. Стонали и выли мины. Взошла луна. Лунный свет скользя по кустам, по прогалинам, по купам деревьев.

Ельников, искусно маневрируя, без потерь вывел разведку из-под перекрестного огня.

На следующий день Ветлугин лично проверил, действительно ли предупреждены соседи о нашей операции, и в сумерки Ельников опять вышел со своими разведчиками.

Тихо, — так тихо, что партизанские заставы даже не услышали шороха, — разведчики подползли к кустам у дороги.

Ночь. Холодное небо в редких крупных звездах. Луна окружена белыми легкими облаками.

В лунном свете Ельников отчетливо увидел мощную линию дзотов. Ильцы были правы — на этом участке не подползти к полотну железной дороги.

Но Ельников упрям и настойчив. Два часа ведет он наблюдение за дзотами и вдруг, неожиданно для самого себя, обнаруживает, что добрая половина их — фальшивки: вместо пушек, грозно смотрящих из амбразур, стоят искусно замаскированные стволы деревьев, вместо часовых — соломенные чучела.

И все-таки, получив подробные обстоятельные донесения Ельникова, Геронтий Николаевич еще не решает выступить на операцию. Снято блюдя традиции Евгения, он высылает последнюю минную разведку, чтобы наметить места взрывов. И опять беззвучно подползают партизаны к железной дороге, опять лежат они в ольшаннике у шоссе. Залитые лунным светом, стоят перед ними настоящие и фальшивые дзоты, сменяются немецкие караулы, проходят патрули.

Теперь, наконец, картина абсолютно ясна.

Движение по шоссе и железной дороге проходит только днем. Каждые сутки шоссе пропускает несколько сот машин; по железной дороге поезда идут строго по расписанию — утром и вечером.

Подходы точно намечены. Роли распределены. Время непосредственного мини-

рования и отхода установлено на семью и девять часов вечера — отчала темноты до восхода луны.

— Одним словом, Батенька, — говорю мне сегодня Ветлугин, — если бы на карту разведки увидел Евгений, даю честное слово, он бы остался доволен.

Точно в назначенное время наши подпали линию немецких дзотов и разделились на две группы.

Минеры Еременко направились к железной дороге. Минеры Ветлугина остались у шоссе.

Ветлугина охраняли три группы прикрытия: группа Ельникова залегла с правой стороны дзотов, Мусьяченко отошел со своими влево, а в тылу лежала группа Причины.

Геронтий Николаевич заметно нервничал: это была его первая самостоятельная крупная операция. Но Литвинев, Малышев, Власов работали безкоризненно. Мины были заложены вовремя. Ветлугин сам заложил две мины, тщательно проверил маскировку остальных мин, дал сигнал отхода.

Вокруг было тихо и темно — луна еще не поднималась.

Минеры ждут. Проходит полчаса минут. Скоро взойдет луна, а Еременко не Люди влануются. Ветлугин приказывает залечь и, в случае чего, огнем прикрыть отход наших от железной дороги.

А в это время группа Еременко ползает к железной дороге, дожидается, когда пройдут часовые, и начинает минировать.

Все идет нормально.

— Патруль, — неожиданно шепчет дозорный.

Еременко подает сигнал. Все скатывается в кювет.

Лежат, дышать бояться.

— И вдруг снова толчок в плечо, — рассказывает Еременко. — Поднимаю голову и глужу...

Нет, Батя, этого не расскажешь — это надо видеть самому. Представляет себя на полотне стоит наш часовой. Опустился на одно колено — и стоит. Ну, прост хоть картину пиши... До сих пор не понимаю, почему он окаменел: то ли сигнала не услышал, то ли растерялся. Ну, думаю, конец!..

Румынский патруль подходит все ближе. Идут, как плагаются, по-гусиному, и оживленно разговаривают. И — я знаю, этому трудно поверить — проходят мимо нашего часового по другой стороне полотна, не замечая его.

Должен признаться вам, Батя: подползал к нему и так обругал, что он даже заморгал от удивления... Снова начал укладывать тоа. Спешу, нервничаю. Грунт тяжелый, каменистый. А этот самый часовой стоит около меня и шепчет:

— Кончай, Еременко, — сейчас луна выйдет. Кончай...

Раз сказал, два сказал, а на третий я

к обозлился, что поднял гранату, раз-
хнулся и отпалил ему:

— Еще слово — и на части разорву!
Кончилась я, когда уже всходила луна,
мы поползли обратно. Было светло,
как днем... Добрались до первых взгорий,
а небе уже гасли последние звезды. Все
рослились в траву. Тело ныло. Мучи-
тельно хотелось спать. Наступила реак-
ция...

— В 6 10 я проснулся, — рассказывал
Келугин. — До прохода поезда сталось
сидеть минут. Устроился поудобнее,
взружился биноклем и стал ждать.
Сидеть минут оказались ужасно длин-
ными. Степан Сергеевич сидел рядом. На
цы смотрел через каждые три минуты.
На пятнадцатой минуте твердо решил,
то часы испортились. Наконец, справа,
за деревьями, показалась струйка дыма.
решен, — мне показалось, что поезд бла-
гополучно прошел то место, где работал
ременко. Я взглянул на него: он сидел
медный, как полено. Мне его стало
важно — я хорошо понимал, что было на
сердце Степана И пока я жалел Степу,
вздыхая глухой взрыв. В бинокль было
очевидно видно, как паровоз упал на
бок, разломавшись пополам. Вагоны лез-
ли друг на друга. Над местом взрыва
пошло в воздухе серое облачко дыма и
шум. Я подчитал: из тридцати трех ва-
гонов уцелело только четыре хвостовых.
Остальные — вдребезги.

— И пока я подчитывал вагоны, я
прозевал момент второго взрыва. Мне
далось увидеть только облачко дыма над
лесом и оторванный переделок грузовика,
лежащий на дороге. Пока все шло по
программе. Мы комфортабельно сидели
на горке и любовались. Минут через
пятьдесят показалась горячая машина. Она
была нагружена ящиками. На ящиках
сидели немецкие автоматчики. Надо ду-
мать, в ящиках были снаряды, — взрыв
был грандиозный. Маленькие фигурки
солдат отлетели очень далеко. От маши-
ны ровно ничего не осталось. Мы про-
должали сидеть и ждать. Еще одна мина
досталась многоместной легковой штаб-
ной машине. Движение окончательно
остановилось. Больше ждать было нечего.
И тут случилось самое неприятное: нас
Еременко схватили и начали качать. Я
кричал благим матом, болтал руками и
ногами, и мне казалось, что все кишки в
кивоте переболтаны. До сих пор живот
ноет. А Еременко — такой хитрючий! —
вытянула руки по швам, и, как кукла, пе-
ревертывался в воздухе в разные сторо-
ны. И утверждал потом, что никаких бо-
лей не чувствовал. Имейте это в виду,
Батенька: когда вас будут качать, ведите
себя, как Еременко.

— Скоро к нам на горку прибежали на-
чальники соседних отрядов. Узнали, в
чем дело, и хотели нас снова качать. Но
я категорически воспротивился. Вот, Ба-

тенька, и все. Мне кажется, операция
прошла не плохо.

31. X.

Из партизанского лагеря северчан на
закате солнца выходят три подростка, три
комсомольца.

С высокого холма видны у самого го-
ризонта в туманной дымке полоски топо-
лей — двумя рядами они вытянулись
вдоль железнодорожной линии.

Перед полотном дороги, чуть ближе к
горам, среди фруктовых садов стоит их
родная станция Северская.

Комсомольцы идут туда, чтобы взор-
вать поезд, — как эстафету подхватить
опыт братьев Игнатовых и отомстить за
казнь имеретинцев.

Ребята идут налегке: в карманах толь-
ко гранаты и у пояса под одеждой ре-
вольверы. Но они непременно взорвут
поезд: у немцев много тола, а у ребят в
станции остались друзья. Значит, — бу-
дет тол, будут мины. К тому же, у одно-
го из ребят — у сероглазого вихрастого
Андрейки — отец в станции.

Андрей сам не понимает, почему так
крепко надеется он на отцовскую по-
мощь.

Они никогда не были друзьями. Су-
мрачный, вечно всем недовольный, суро-
вый отец не замечал сына. Мальчик ни-
когда не видел его ласки, не знал, что
думает, чем дышит, чем живет отец.

И все-таки она любила отца. Его суровая
грубость, холодная замкнутость казались
Андрею проявлением большой мужской
силы, собранности, воли. И сейчас он ду-
мал о том, как рука об руку со смелым и
сильным отцом они выйдут на полотно,
взорвут поезд и вместе уйдут в горы.

Был Андрей мечтателем и до сих пор
любил и помнил сказки, которые так хо-
рошо рассказывала ему мать в детстве.
Забитая, молчаливая, тихая, с морщина-
ми вокруг потускневших раньше времени
глаз, она казалась такой безответной бес-
помощной, слабой, способной только рас-
сказывать свои всегда чуть грустные чу-
десные сказки.

Андрей любил свою мать. Но она ни-
чем не сможет помочь в его трудном и
опасном деле. Андрей мечтает только о
встрече с отцом.

...Немцы захватили Северскую нежи-
данно. В тот страшный день Андрей не
видел отца и не сумел сказать ему, что
уходит в горы. Только мать знала об
этом.

— Значит, судьба, — сказала она ему
на прощанье, обняла и перекрестила...

В глухую темень ребята пробираются
в станцию.

Андрей тихо стучит в окно родной ха-
ты.

На крыльцо выходит мать в темном
платке.

— Андрейка! Живой! Родной мой!.. Нет, нет, не ходи в хату. Не надо.

Она закрывает его платком и, обняв, уводит в дальний конец густого, запущенного сада. И здесь Андрейка узнает страшную новость.

Никогда вместе с отцом он не выйдет на полотно, чтобы взорвать поезд. Никогда не почувствует на своем плече ласковую отцовскую руку. Отец изменил тому, что для Андрея дороже жизни. За корову он продал свою честь: отец — полицейский...

— Уходи, Андрейка, уходи, мой хороший!

— Нет, мама, я не уйду.

И Андрей откровенно рассказывает матери, зачем он пришел в станицу и как мечтал он вместе с отцом бить немцев.

Мать снова крестит Андрейку.

— Старая я, темная. Но если нужна тебе моя бабуля помощь, — шепни, сынок..

В эту ночь Андрей не смыкает глаз. Он думает об отце, которого еще вчера он любил доверчивой детской любовью и который за корову продал свою честь и вместо недавней любви пробудил в сердце сына холодную злую ненависть. И подумал Андрей, что только сегодня он впервые по-настоящему понял мать.

За эту ночь потемнели серые глаза Андрейки, он перестал быть юнцом, — стал мужчиной..

Станица попрежнему живет своей обычной жизнью. А по вечерам, когда с далеких гор ползут сумерки, к дому полицейского подходят ребятишки, еще несколько месяцев назад носившие на шею красный пионерский галстук. Их встречает тетя Катя. Она все такая же молчаливая, тихая, неозвончивая, зыбучая в темный старушечий платок. Она берет у ребятишек корзины — в них лежат яблоки, иногда яйца или просто свежее душистое сено.

Тетя Катя несет корзины в сарай. На дне корзины она находит желтоватые брусочки, похожие на мыло, тщательно свернутый шнур, какие-то капсулы. Все это она осторожно складывает в дальний угол сарая, где лежат старые хомуты, ржавые ободья для колес, поломанные лопаты, тряпье...

— Завтра еще принесем, тетя Катя, — шепчут ребятишки..

Глухой ночью на маленьком мостике у самой станицы взлетает на воздух поезд с немецкими автоматчиками.

Два дня фашисты прочесывают лес и кусты у станицы, проедают повальные обыски, расстреливают тридцать человек своей железнодорожной охраны. Не сумевших уберечь важный воинский эшелон. Но никому из немцев не приходит в голову, что босоногие ребятишки, у которых одна забота — глади, лапта, удочки, рискуя жизнью, выкрали в них же тол, взрыватели, капсулы, снесли все это

тете Кате и что в сарае у полицейского еще и сейчас лежит добрый запас взрывчатки.

Через несколько дней новый взрыв гремит над Северной: все на том же месте взлетает на воздух состав с боевыми припасами.

Зарезо полыхает над станицей. А в тихом саду у забора стоит тетя Катя Широкий крестным знаменем осеняя она далекие темные горы.

— Храни тебя господь, Андрейка мой!

2. XI.

Вечером вернулась группа Кириченко. Вернулась ни с чем. Минируя шоссе они напоролась на румын. Завязалась перестрелка. Работу пришлось прекратить. Но все же на единственной мине которую удалось заложить, подорвался автомобиль с автоматчиками. Кириченко ушел искать профилированную дорогу и пропал. Группа всринулась без него.

Короче говоря, получилось безобразие. Разберусь потом, кто прав и кто виноват. А сейчас приказал Янукевичу отобрать лучших людей в отряде: завтра пойду с ними искать Кириченко.

3. XI.

Николай Ефимович вернулся живым и невредимым. Вернулся как раз в тот момент, когда мы собирались уходить на поиски.

Оказалось, все было не совсем так, как коротко доложили мне вчера.

Пришли они к шоссе и, как обычно, начали наблюдение. На рассвете преобразились к намеченным местам, подтянулись к шоссе мины из леса. Кириченко с Поддубным начали готовить сюрпризы на крутом спуске, что у самой Григорьевской.

На взгорье, охраняя их, дожал парный дозор. Старшим — Сергей Мартыненко.

Трудно понять, как это произошло — то ли замечтался Сергей, то ли загляделся на минеров, — но только, оглянувшись, увидел, что у самого его носа прямо на Кириченко идет группа румын.

По нашим правилам Сергей должен был открьть стонь, принять удар на себя и этим предупредить минеров. А он растерялся и пропустил румын.

Незадолго до этого Поддубный ушел в лес за второй миной Кириченко сидел на коточках и преспокойно маскировал бумажником заложённую мину.

Полнял глаза и видит: румыны стоят рядом и направили на него винтовки.

— Савай!*

Это было так неожиданно, что Кириченко не успел ничего лучшего, как продолжать работать, и ужасно глупо ответил:

— Угу

Румыны снова:

— * Стой! — По-румынски — савай!

— Савай!

А он им:

— Ага.

На его счастье вышел из леса Поддубный и вскинул карабин. Двое упали, а двое других спрятались в кусты и открыли огонь по Поддубному. Теперь уже Кириченко пришлось снять их.

Вдруг снова выстрел. Оказывается, раненый румын поднялся из кювета и взял Кириченко на мушку. Но Поддубный, почти не целясь, заставил его лечь навсегда.

С румынами было покончено. Но и минирование надо было кончать: уже мчались немецкие автомашины. К счастью первая же машина с автоматчиками наскочила на единственную заложённую мину и взлетела на воздух.

Было обидно тащить обратно мины, и Кириченко решил отыскать проселочную дорогу (по его расчетам она должна была быть где-то рядом) и заминировать на ней хоть какой-нибудь мостик.

Пошел искать дорогу, закружился в лесу, спутал направление и вышел под самую Григорьевскую.

Подошел к колмику и слышит — румыны разговаривают. Свернул влево — опять румыны. Повернул вправо — и снова в кустах румынский говор.

Дело дошло. Отыскал дупло, залез в него и всю ночь просидел в нем, как белка.

На рассвете выполз из дупла, забрался на высокое дерево и видит: прямо перед ним гора Папай, а слева — Саб. Родными показались ему эти горы.

— Дальше рассказывать, Батя, нечего: добрался, как видите, благополучно.

Я приказал выстроить всю группу, ходившую на диверсию, и перед строем объявил строгий выговор Сергею Мартыненко.

Откровенно говоря, до сих пор не понимаю, как все это произошло: Сергей — храбрый опытный охотник, спокойный, выдержанный: Ну, прямо «бес попутал»...

4.XI

Вернулся Павлик из контрольной разведки. Группа Ельников хорошо поработала: убито 647, тяжело ранено свыше 400.

— Но это не все, Батя, — и глаза Павлика сияют. — Приплюсуйте к ним еще шестьдесят пять. И при том не только рядовых, но офицеров и важных чиновников.

Оказывается, Павлик после разведки увидел: от Георгие-Афипской движется белая процессия — под конвоем эсэсовцы ведут солдат, офицеров, чиновников. Руки связаны веревками.

Процессия подходит к рву на опушке леса. Приговоренных ставят у края.

После третьего залпа все кончено. Офицер обходит тех, кто не свалился в

ров, и добывает раненых из пистолета. Потом прибегают полицейские и забрасывают ров землей.

Павлик, конечно, не удержался и отправился к своим друзьям, в Георгие-Афипскую.

Оказывается, расстреляны те, кто, по мнению немецкого командования, прозевал и допустил взрывы на железной дороге и шоссе. Попали не только охранники, но и чиновники из Краснодара.

.....
Учебный план нашего минного вуза готов.

Весь курс рассчитан на шестьдесят лекционных часов. После этого — учебная практика на минодроме и выходы на боевые операции.

К боевой практике допускаются только те из наших «студентов», кто сдал экзамены по теоретическому курсу.

Теорию будет читать Ветлугин. Руководители практики — Еременко и Кириченко. Председатель экзаменационной комиссии — я.

Минный вуз будет размещен в нашей фактории на Плянческой.

Здесь, на горной поляне, до войны работал небольшой лесозавод.

В одном из рабочих барачков и разместится минная школа.

«Учебный корпус» будет в то же время и общежитием наших студентов: вдоль северной стены оборудованы сплошные нары на тридцать человек, вдоль окон стоит большой длинный стол, за которым будут проходить теоретические занятия. В нашем вузе есть даже классная доска — ее раздобыла Елена Ивановна.

Для через два к нам приедут первые «студенты».

5.XI.

Жизнь — всюду жизнь...

Когда в Краснодаре мы с Евгением подбিরали людей в отряд, мы обращали особое внимание на то, чтобы в нашей будущей глухомачи не было нечюдицы из-за женщин. Все семь женщин нашего отряда были семейные, и пять из них пошли партизанить со своими мужьями. И все-таки без романа не обошлось...

Уже несколько дней я замечаю, что Ельников ходит сам не свой: все забывает, путает, то мрачнеет, как туча, то необыкновенно весел без всякой видимой причины.

Вот и сейчас он проходит мимо нас с Ветлугиным и ульчается своим мыслям.

— Геронтий Николаевич, что это с нашим Георгием Ивановичем?

— Болен, Батенька; сердце у него пошаливает, — серьезно отвечает Ветлугин.

— Так чего же он, чудак, к Елене Ивановне не обратится?

— Тут, Батенька, Елена Ивановна бесильна. Болезнь слишком серьезна.

— Не загадывайте загадок, Георгий Николаевич...

— А вот полюбуйтесь, Батенька.

Навстречу Ельникову идет Мария Ивановна Петряева, медсестра второго взвода, — инженер Гидрзавода. Они оглядываются по сторонам и, никого не заметив, целуются.

— Перед самым выступлением из Краснодара Мария Ивановна овдовела, — шепчет мне Ветлугин. — То же самое произошло и с Георгием Ивановичем. Короче, — оба они свободны, как ветер степной. А так как каждому бычку рано или поздно быть на веревочке, то они и решили пожениться тут же, в отряде...

— Что ж они мне ничего не сказали?

— Конфузятся, Батенька, ужасно конфузятся... Вы позволите мне быть их сватом?

Минут через пять Ветлугин подводит смущенную чету и торжественно говорит: — Благословите, Батенька...

Сегодня к ужину Ефросинья Михайловна преподнесла молодым сладкий пирог.

6.XI.

Наши соседи — марьянцы прислали связного: у них на хуторе Азэвка появилась какая-то неведомая болезнь. Они зовут к себе Елену Ивановну: слава о ее врачебальном искусстве гремит по предгорьям.

Сегодня рано утром, взгромоздившись на свою рыженькую лошадку и захватив трех санитаров-помощников, Елена Ивановна отправилась в Азовку.

А наш лагерь похож на потревоженный муравейник: мы готовимся к празднованию 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Главные распорядители — Мусьяченко и Суглобов.

В столовой уже сооружен помост для президиума. Сцена и стены украшены лозунгами и гирляндами из хвои. В центре — портреты Ленина и Сталина. Около них самодельные канделябры для свечей.

Стол сервируется на шестьдесят персон — и на кухне второй день пекут, варят, жарят. Командует парадом раскрасневшаяся, как маков цвет, Ефросинья Михайловна.

Во взводных казармах бреются, чистятся и моются наши стрелки, минеры, разведчики.

В помещении дальней разведки идут репетиции струнного оркестра и певцов.

Дорожки в лагере посыпаны чистым песком — его специально принесли на гору с речки

— Ну, точь-в-точь, как в Краснодаре, на комбинате, — смеется Геронтий Николаевич.

В шесть часов вечера помещение второго взвода, где установлен радиоприемник, набито доотказа.

В репродукторе раздается знакомый, родной голос:

«Товарищи!

Сегодня мы празднуем 25-летие победы советской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас Советский строй. Мы стоим на пороге следующего, 26-го года существования Советского строя»...

Где-то далеко, в ущелье, грохнул выстрел, эхо тревожно повторило его в горах, но никто не шевельнулся: говорила Москва, говорил Сталин...

Сталин кончил свою речь.

Будто река прорвала плотину — загремели аплодисменты. Первые аплодисменты здесь, в горной глуши, в партизанском гнезде.

Ко мне подошел взволнованный Ветлугин:

— Вы слышали, Батенька, что сказал Сталин? «Нашим партизанам и партизанкам — слава!» Эту славу надо заслужить.

У меня к вам есть разговор, Батенька. Но говорить с Геронтием Николаевичем мне не удалось — начался доклад, а после доклада — художественная часть.

Концерт открыл хозяин лагеря, наш комендант и эконо́м Леонид Антонович Кузнецов, принявший на себя обязанности конференсье И я впервые узнал какие таланты скрывались до сих пор в нашем отряде.

Мусьяченко, Лагунов и Федосев оказались певцами. А Леонид Федорович Лу́ста отбил такую чететку, что ему пришлось бисеровать.

«Гвоздем» второго отделения концерта было выступление Суглобова с чтением юмористических рассказов и «трепач» Сафронова. Почтенный псалмист Владимир Николаевич, несмотря на большое сердце, как молодой парубок носился по сцене, и благодарная публика наградила его бурными аплодисментами.

Концерт кончился далеко за полночь.

У командного пункта меня поджидали Ветлугин и Янукевич.

— Мы хотели с вами поговорить, Батенька, — сказал Геронтий Николаевич, — но Виктор Иванович полагает, что сегодня уже поздно. Он, пожалуй, прав: разговор будет долгий. Вы позвольте — мы к вам завтра утром нагрянем. Можно?

7.XI

Передо мной лежит знакомая карта кавказских предгорий: зеленые пятна лесов, коричневые горы, голубые реки, желтые пашни, черные кружочки станиц, и через все это — зигзагами, петлями, острыми углами — прочерчена резкая красная линия.

Линия начинается на южном склоне горы Стрепет. Отсюда она идет на юго-восток. Ее длина — сто километров.

Сто километров по тылам врага, по кручам, болотам, колючему терну, через бурные горные реки, через укрепленные полессы врага, мимо дзотов и скрытых за

сад. Только по дерзости смелый горный охотник, с детства знающий предгорья Кавказа, может решиться на этот путь. А его выбрали для себя два интеллигента, два мирных горожанина, всю жизнь свою прожившие в городе и только сейчас, четыре месяца назад, по-настоящему узнавшие, что такое горы, предательские броды горных рек, взрывы мины на кабаньей тропе, сухая автоматная очередь вражеской засады. У одного из них легкие поражены туберкулезом. Другой кажется таким щуплым, что неизвестно, в чем душа у него держится.

Они явились ко мне сегодня рано утром.

— Мы пришли за справедливостью, Батенька.

Ветлугин серьезен, строг, официален. Он по-военному вытянулся передо мной, и это так не вяжется с его сугубо штатской фигурой. Но в его глазах вспыхивают веселые искорки и чуть дрожат края губ. Ясно — Героша придумал что-то новое.

— Мы несправедливы, Батенька, — продолжает Ветлугин. — Судите сами: мы проявляем такую редкую заботливость к нашим ближайшим соседям, а о бедных фрицах, которых судьба забросила далеко на юг, мы забыли, не правда ли, Виктор Иванович?

— Ну, конечно, — улыбается Янукевич. — Но давайте говорить серьезно, Геронтий Николаевич. Дело вот в чем, Батенька. Мы, действительно, увлеклись диверсиями в непосредственной близости от лагеря. Естественно, фашисты заволновались. Вы сами знаете, Батя, как охраняют они теперь каждый километр дороги. Проводить операции становится трудно. Так вот мы и думаем с Геронтием Николаевичем, что было бы разумно временно оставить в покое ближайшие районы и ударить там, где пока относительно спокойно и фашисты нас не ждут.

— Одним словом, мы предлагаем дальнее путешествие, Батенька.

Ветлугин раскрывает передо мной карту.

Мы сидим за картой до глубокого вечера. Несколько раз меняем углы и петли красной линии. Намечаем места дневков. Спорим о каждом килограмме багажа. Ветлугин заучивает наизусть адреса, имена, фамилии наших друзей в станциях. Еще и еще раз меняем на карте направление красной линии.

XXI.

Разведка принесла тревожное известие: в ночь на седьмое крупная немецкая часть, подержанная артиллерией и танками, обрушилась на Азовку. Всю ночь шел бой. К рассвету марьянцы отошли в горы. Хутор горит.

Что с Елсной Ивановной? Удалось ли ей уйти?

.....
Занятия в минной школе идут полным ходом.

Сегодня я был в «учебном корпусе». Наши студенты чинно сидели за столом, разложив перед собой тетради, и внимательно слушали Геронтия Николаевича. Когда он задавал им вопросы, они вставали по старой школьной привычке: большинство наших «студентов» — молодежь школьного возраста. Правда, среди них есть и пожилые инженеры, но они подчиняются общим правилам и так же почтительно встают, отвечая Ветлугину.

Геронтий Николаевич читает блестяще. Его способы расчета образны, просты и легко запоминаются.

К концу лекции на Планческую налетел немецкий самолет и сбросил две бомбы. Жлобно дребезжали окна. Дрожали стены нашего «учебного корпуса». Но Геронтий Николаевич продолжал спокойно чертить на доске схему минирования моста, занятия не прерывались...

9.XI

Недалеко от разъезда Энем, на территории бывшей МТС, стоит крупный немецкий склад. В нем хранятся боеприпасы. Здания складов огорожены колючей проволокой. На угловых башенках стоят тяжелые пулеметы. Вокруг — голая ровная степь.

Подобраться к складам невозможно. Павлик Худоерко несколько дней бродит вокруг, как кот около сливок, и ломает голову, как бы проникнуть за колючую изгородь.

В одну из разведок Павлик знакомится с молодой казачкой Зиной. Сердце не камень, а у молодого, горячего Павлика — особенно. И он добивается у Зины свидания: оно назначено вечером у старого платана, что растет за околицей хутора.

Зина на свидание не приходит.

Павлик — чернее тучи.

На третий день, рано утром, он случайно встречает девушку у колодца. Объясниться им не удастся — вокруг чужие, посторонние люди, — и Зина успевает только шепнуть Павлику, что будет ждать его вечером все у того же платана.

На этот раз молодая казачка приходит первой. Зина просит простить ее: она не хотела обманывать Павлика, она не пришла в этот вечер потому, что немцы погнались ее убирать склады — выметать какую-то вонючую промасленную бумагу. И она не знает, когда они увидятся еще раз: проклятые фрицы затеяли генеральную уборку, и теперь каждый день ей с девушками придется ходить на склад.

— И еще веники заставляют приносить с собой, окажные!

Павлик приходит в дикий восторг.

— Вы ходите на склад со своими ве-

никами Зинуша? Так ведь это же великолепно! Лучше не надо!

Девушка ничего не понимает.

— Зина, дорогая, не сердись. Завтра... нет, послезавтра я прибегу к тебе. И может быть, принесу подарок. Жди!

И Павлик убегает. Девушка думает — не сошел ли ее милый с ума.

А на следующий день на Планческой уже идет совещание: собрались Литвинов, Ветлугин, Еремико.

Геронтий Николаевич торжественно объявляет:

— Товарищи! Научную конференцию считаю открытой. На повестке доклад нашего уважаемого химика, Михаила Денисовича Литвинова.

Всю ночь рассчитывают и мастерят друзья новую портативную кислотную мину, которая легко могла бы разместиться в ручке веника: кислоту мы прихватили с собой еще в Краснодаре.

Поздно вечером Павлик вызывает Зину к сколице и торжественно, как величайшую драгоценность, преподносит любимой... связку веников.

Утром, как обычно, молодые казачки приходят убирать склад. Они приносят с собой веники — прекрасные ногые веники с необычно тяжелыми ручками.

В этот день девушки работают не за страх, а за совесть: они залезают в самые отдаленные уголки склада, они выметают сор из узких щелей и, уходя, оставляют несколько веников между ящиками.

Спускаются сумерки. В кустах у хутора лежат Павлик, Ветлугин, Литвинов.

Геронтий Николаевич смотрит на часы. — Ваш расчет неверен, Михаил Денисович, сейчас 22 00. Опоздание 30 минут. Литвинов молчит.

Проходит еще час, томительный, долгий час.

— Веники отказали, Михаил Денисович..

Оглушительно грохочет взрыв. К небу над складом взвивается огненный столб. Он ярко освещает поле, кустарник, строения на разезде.

Гремят новые взрывы — это рвутся в огне боеприпасы.

На разезде и на хуторах переполох. В небо взмывают ракеты, гудят машины, раздается суматошная стрельба, голубоватый луч прожектора мечется по полю..

— Веники не могли отказать, Геронтий Николаевич, — говорит Литвинов. — Мне не была известна концентрация кислотного раствора, и я не мог точно рассчитывать, как скоро кислота разест стеники metallических трубочек. Да эта скрупулезная точность в конце-концов и не была нужна. Мне важно было другое: мины должны были взорваться после того, как девушки уйдут из склада, и до того, как завтра они вернутся на склад.

Мне это удалось: веники сработали во время.

— Я уверен, Михаил Денисович, что после войны за работу над вениками вы присудят большую золотую медаль имени Менделеева, — смеется Ветлугин.

10.XI

На новую диверсию выходит цвет нашего отряда: Ветлугин, Янукевич, Литвинов, Сафронов, Слащев, Понжайки. С ними вместе идет Мария Алексеевна Янукевич.

Задача группы: выйти к железной дороге Белореченская—Туапсе и к шоссейной Майкоп—Новосибирск и взорвать поезда и автомобильные колонны немцев.

В последний момент в группу включен Дмитрий Дмитриевич Конотопченко, родной брат Григория Конотопченко, повешенного в Имеретинской: ему хорошо знакомы места будущих диверсий — много лет он работал там секретарем райкома..

11.XI

Вернулась Елена Ивановна — возбужденная, переполненная впечатлениями недавнего боя..

Они ехали спокойно, не спеша. Пересекли лес, обогнули два хутора, заняты немцами. Смеркалось. Когда въехали в густой орешник, услышали со стороны Азовки частую стрельбу очередями.

У опушки встретили двух дозорных. Они только что были в Азовке и коротко рассказали: немцы, решив, очевидно, что марьянцы будут заняты празднованием Октябрьской годовщины, повели наступление. Пока бои идут на подступах к хутору. Схватка жестокая. В Азовке уже есть раненые.

В Азовку прискакали, когда из-за гор только что показалась луна. Справа от хутора, на взгорье, что подковой окружает Азовку, шел бой: били тяжелые пулеметы, визжали мины.

В штабе Елена Ивановна застала командира марьянцев. Он сказал, что положение тяжелое: силы слишком неравны — из соседней станицы вышли немецкие танки.

В хату внесли раненого. Рана была тяжелой — надо немедленно оперировать.

Операция оказалась сложной. Елена Ивановна вынула, наконец, осколок, промыла, перевязала рану и только тогда поняла, что бой идет уже в самом хуторе. Вышла Светло, как днем. Сияет луна. Горят хаты. Где-то совсем рядом бьет пулемет. По улице несется тяжелый танк.

Елена Ивановна видит, как рядом с ней, словно из-под земли, вырастает один из марьянцев. Он поднимает гранату. Но очевидно, из танка его заметили. Короткая пулеметная очередь — и партизан падает прямо под гусеницы танка.

никами Зинуша? Так ведь это же великолепно! Лучше не надо!

Девушка ничего не понимает.

— Зина, дорогая, не сердись. Завтра... нет, послезавтра я прибегу к тебе. И может быть, принесу подарок. Жди!

И Цавлик убегает. Девушка думает — не сошел ли ее милый с ума.

А на следующий день на Планческой уже идет совещание: собрались Литвинов, Ветлугин, Еремсико.

Геронтий Николаевич торжественно объявляет:

— Товарищи! Научную конференцию считая открытой. На повестке доклад нашего уважаемого химика, Михаила Денисовича Литвинова.

Всю ночь рассчитывают и мастерят друзья новую портативную кислородную мину, которая легко могла бы разместиться в ручке веника: кислоты мы прихватили с собой еще в Краснодаре.

Поздно вечером Павлик вызывает Зину к сколке и торжественно, как величайшую драгоценность, преподносит любимой... связку веников.

Утром, как обычно, молодые казачки приходят убирать склад. Они приносят с собой веники — прекрасные новые веники с необычно тяжелыми ручками.

В этот день девушки работают не за страх, а за совесть: они залезают в самые отдаленные уголки склада, они выметают сор из узких щелей и, уходя, оставляют несколько веников между ящиками.

Спускаются сумерки. В кустах у хутора лежат Павлик, Ветлугин, Литвинов.

Геронтий Николаевич смотрит на часы.

— Ваш расчет неверен, Михаил Денисович, сейчас 22 00. Опоздание 30 минут. Литвинов молчит.

Проходит еще час, томительный, долгий час.

— Веники отказали, Михаил Денисович...

Оглушительно грохочет взрыв. К небу над складом взвивается огненный столб. Он ярко освещает поле, кустарник, строения на разъезде.

Гремят новые взрывы — это рвутся в огне боеприпасы.

На разъезде и на хуторах переполох. В небо взмывают ракеты, гудят машины, раздается суматошная стрельба, голубоватый луч прожектора метается по полю.

— Веники не могли отказаться, Геронтий Николаевич, — говорит Литвинов. — Мне не была известна концентрация кислотного раствора, и я не мог точно рассчитать, как скоро кислота разъест стенки металлических трубочек. Да эта скрупулезная точность в конце-концов и не была нужна. Мне важно было другое: мины должны были взорваться после того, как девушки уйдут из склада, и до того, как завтра они вернутся на склад.

Мне это удалось: веники сработали во время.

— Я уверен, Михаил Денисович, что после войны за работу над вениками вас присудят большую золотую медаль имени Менделеева, — смеется Ветлугин.

10.XI

На новую диверсию выходит цвет нашего отряда: Ветлугин, Янукевич, Литвинов, Сафронов, Слащев, Понжайло. С ними вместе идет Мария Алексеевна Янукевич.

Задача группы: выйти к железной дороге Белореченская—Туапсе и к шоссе Майкоп—Новосибирск и взорвать поезда и автомобильные колонны немцев.

В последний момент в группу включает Дмитрий Дмитриевич Конотопченко, родной брат Григория Конотопченко, повешенного в Имеретинской: ему хорошо знакомы места будущих диверсий — много лет он работал там секретарем райкома...

11.XI

Вернулась Елена Ивановна — возбужденная, переполненная впечатлениями недавнего боя...

Они ехали спокойно, не спеша. Пересекли лес, обогнули два хутора, заняты немцами, Смеркалось. Когда въехали в густой орешник, услышали со стороны Азовки частую стрельбу очередями.

У опушки встретили двух дозорных. Они только что были в Азовке и коротко рассказали: немцы, решив, очевидно, что маршину будут заняты празднованием Октябрьской годовщины, повели наступление. Пока бои идут на подступах к хутору. Схватка жестокая. В Азовке уже есть раненые.

В Азовку прискакали, когда из-за гор только что показалась луна. Справа от хутора, на взгорье, что подковой окружает Азовку, шел бой: били тяжелые пулеметы, визжали мины.

В штабе Елена Ивановна застала командира маршнцев. Он сказал, что положение тяжелое: силы слишком неравны — из соседней станицы вышли немецкие танки.

В хату внесли раненого. Рана была тяжелой — надо немедленно оперировать.

Операция оказалась сложной. Елена Ивановна вынула, наконец, осколок, промыла, перевязала рану и только тогда поняла, что бой идет уже в самом хуторе. Вышла. Светло, как днем. Сияет луна. Горят хаты. Где-то совсем рядом бьет пулемет. По улице несется тяжелый танк.

Елена Ивановна видит, как рядом с ней, словно из-под земли, вырастает один из маршнцев. Он поднимает гранату. Но, очевидно, из танка его заметили. Короткая пулеметная очередь — и партизан падает прямо под гусеницы танка.

Жена бросается к нему, схватывает за ногу, тянет на себя. Танк пронеслся в метре от них.

Марьинен ранен в голову. Надо немедленно наложить перевязку. А рядом уже грохочет второй танк, за ним третий, четвертый...

Подбегают санитары, уносят раненого. Мельников хватает жену за руку и тащит обратно в штаб.

Мимо мелькает какая-то фигура. Взрыв. Елена Ивановна оборачивается: танк пылает, гусеницы перебиты гранатой.

Наши грузят раненых на подводы, увозят трупы убитых, подбирают все оружие — жена захватывает даже охотничью двустволку и финский нож, оставленный кем-то в штабе — и уходят в горы, куда немцам не пройти...

Азовка пылает. Немцам достается только пожарище, подбитый танк и трупы своих солдат.

В лесу жена организовывает по всем правилам походный госпиталь. Даже с еливанием противостолбнячной сыворотки...

— Сейчас переоденусь, чуть-чуть отдохну, — и снова к ним; работы по горло, — говорит Елена Ивановна.

12.XI

Немцы, очевидно, засекали координаты нашей фактории под Крепостной и сейчас регулярно велют обстрел хуторка из дальнобойных орудий.

И все-таки наша фактория живет и будет жить!

13.XI

Степан Сергеевич Еременко сегодня «научил», как говаривал когда-то Геня...

Дело было так.

Идут обычные практические занятия в нашей миной школе. Степан Сергеевич принес с собой гранату РДГ и объясняет ее устройство. Курсанты сидят за столом и внимательно слушают. Все идет нормально.

И вдруг, увлекшись, Степан Сергеевич нечаянно спускает ударник. Он растерянно смотрит на курсантов. Сейчас будет взрыв — он может уничтожить всех, кто сидит в этой комнате.

Курсанты бросаются к дверям. В дверях — пробка. И только один Мавлик Сахотский спокойно берет гранату и швыряет в окно.

Слышится звон разбиваемого стекла и взрыв капсулы.

— Занять места. Принести гранату, — приказывает Еременко.

Сконфуженные курсанты садятся за стол.

— Я хотел проверить вашу выдержку, товарищи, — сухо говорит Степан Сергеевич, — ту самую выдержку и хладнокровие, без которых не может быть настоящего минера-диверсанта. Этой выдер-

жки у вас нет. Только один Сахотский оказался достаточно хладнокровным и не растерялся. Плохо, товарищи...

Еременко отвертывает доньшко у гранаты: из нижней части на стол высыпается песок.

— Граната учебная. Взорвался только капсуль, и если бы это даже случилось здесь, в комнате, ничего страшного бы не произошло. Хотя, конечно, вы не знали об этом...

Потом после паузы уже другим грустным тоном Степан Сергеевич говорит:

— А за это мне от Бати попадет. Здорово попадет.

Еременко не ошибся: ему действительно попало. И здорово попало.

16.XI

Я на минодроме в Планческой — специально оборудованной площадке у реки.

Здесь есть все, с чем придется встретиться будущему минеру-диверсанту на операциях: и участки железной дороги, и шоссе, и профиль, и река с камнями, и нависшие скалы, и большой мост через реку.

Еременко вел занятия интересно.

Разделив курсантов на группы, он этой ночью дал каждой особое задание: первая группа минировала железную дорогу, вторая — шоссе, третья — профиль, четвертая привязывала толстые шашки к стальному тросу на мосту, пятая должна была завалить дорогу и сделать огромную воронку в реке, чтобы закрыть проезд через брод автомашинам и танкам.

Сейчас, днем, другая партия курсантов ищет места ночного минирования. После этого начнутся взрывы.

Вот уже третий день, как мне следовало бы отправиться в лагерь. Но под всякими предлогами я продолжаю сидеть на Планческой.

Мне тяжело бывать на горе Стрелет — там каждый камень напоминает ребят.

В лагере я не могу спать. Мне все чудится Генин голос. И, когда я слышу шаги, мне кажется, это идет Евгений. Вот сейчас он откроет дверь, улыбнется, ласково положит мне руку на плечо и расскажет о том, как прошла разведка. А потом заговорит со мной о Маше и дочурке, оставшихся в Краснодаре...

Это, конечно, нервы. Это надо перебороть. Но и сегодня все-таки я не пойду в лагерь. Я пошла вместо себя Мусьяченко...

18.XI

На восьмом километре, между Георгие-Афипской и Севеьской, у поворота к шоссе, через неглубокую балочку, где лежит высохшее болотце, заросшее ивняком, перекинут мост: опоры на бетонных основаниях, двутавровые балки и арочка метров четырнадцати длиной.

Мостик обыкновенный и ничем не при-

мечательный. Но, почему-то именно его решили взорвать наши соседи.

В их отряде был выученник нашего Еременко. Но начальник минной группы оказался на редкость упрямым человеком. Он решил применить аматол — штуку капризную и ненадежную в дождливую погоду и давно уже забракованную нами. Отверг наши мгновенные взрыватели автоматических мин и заменил их бикфордовым шнуром. И, наконец, вопреки здравому смыслу, элементарному расчету и нашей практике, приказал закладывать мины не ближе к середине моста, а у самого края.

Вначале все шло гладко.

Ночью шел дождь. Под утро охрана моста ушла покурить и пообсохнуть в караулку. Минеры заложили мины, протянули шнур, подожгли его и быстро отскочили в кусты.

Пршло несколько мучительных минут. Наконец раздался взрыв. Он был еле слышен...

Часовые у моста подняли тревогу.

Сегодня агентурная разведка выяснила, что взорвалась только одна из четырех мин. Остальные отказали. И это было естественно: подвел мокрый аматол.

Результат жалок. слегка повреждена только одна из четырех двутавровых балок. Первый поезд прошел по мостику через два часа после взрыва,

19.XI

На Планческой праздник: наша школа выпустила первую группу минеров. Каждому из них выдано удостоверение, что он может самостоятельно проводить минные диверсии. Тем, кто показал особые успехи, разрешено быть преподавателями минного дела.

Как был рад Евгений, если бы он дожид до этого!

19.XI.

Слащев вне себя от ярости.

Вчера был очередной налет на Планческую. Один из «Фокке-Вульфов» спустился к самым крышам, бросил бомбы, выпустил несколько пулеметных лент. Убито три женщины и двое ребятшек.

Этот «Фокке-Вульф» — наш старый знакомый. Вот уже несколько дней подряд он навещает Планческую. Всякий раз летчик спускается очень низко и не брезгует никакими целями: недавно он выпустил пулеметную очередь по несчастной козе, привязанной к плетню.

Слащев долго крепился, но сегодня терпение дошло, и он решил во что бы то ни стало расправиться с разбойником.

Я пришел на Планческую в разгар подготовки к месту.

Слащев мобилизовал всех — даже сапожников, минеров, плотников, шорчиков. Бойцы тщательно выверяли свои караби-

ны. Кузнецов, — он болен и пока отсиживается в Планческой, — возился с ручным пулеметом Дегтярева. Даже автоматчики, и те решили принять участие в охоте, хотя поразить самолет из автомата — дело сугубо случайное.

На рассвете мы заняли огненные позиции на горушке — над ней обычно пролетал «Фокке-Вульф».

Мы сидели весь день — самолета не было.

Слащев еще больше разъярился:

— Месяц пролежу на этой горке, а самолет доконаю!

Утром на следующий день мы снова на горке.

Около десяти часов появляется «Фокке-Вульф». Как всегда, он идет излюбленным курсом, почти скользя брюхом по верхушкам деревьев. Мы даем залп. «Фокке-Вульф» заваливается на правое крыло. Из левого мотора вырывается черный дым. Самолет, круто развернувшись, ложится на обратный курс.

— Ушел, проклятый! Ушел! — негодует Николай Николаевич.

Но «Фокке-Вульф» снова разворачивается — он идет прямо на горушку.

Мы еле успеваем сменить огневые позиции, как на вершине горки грохочут взрывы: летчик сбросил весь свой бомбовый груз.

Снова разворот. «Фокке-Вульф» спешит теперь на свой аэродром: левый мотор пылает.

Второй залп. Вспыхивает правый мотор. Резко идя на снижение, самолет горящим факелом падает в кусты у излучины Аффиса, недалеко от Крымской Поланы.

.....
Фашистам не удалось перевалить через Кавказ: сегодня радио сообщило об ударе по группе немецких войск в районе Орджоникидзе. Уничтожено 140 танков. Враг оставил на поле боя пять тысяч трупов...

21.XI.

Железнодорожный мостик у поворота к шоссе не дает покоя нашим соседям: теперь уже другой отряд решил рвать его.

Их минеры, прошедшие нашу школу, настояли на применении только тола и наших взрывателей.

Темной ночью подползли к мосту, но неожиданно на них напоролся немецкий патруль.

Уцелели чудом: воспользовавшись растерянностью немцев, они скрылись в кустах. Но мины, — наши готовые мины! — оставили на полотне.

Будь на то моя воля, я бы как следует отчитал этих ротозеев: до сих пор не могут понять, это минеры должны работать под зоркой охраной своих часовых.

Мостик над болотом попрежнему цел и цевредем.

22.XI.

Наши минеры, наконец, вернулись...

Пять суток дмлася тяжелый путь.

К вечеру на пятые сутки минеры подходят к полотну дороги и ложатся в кустах.

Непроглядная осенняя ночь. Моросит дождь. Люди спят — завтра тяжелый ответственный день. Бесшумно сменяются часовые. Тишина. Будто вымерло полотно — ни огонька, ни патрулей, ни поездов.

Надо думать, движение идет только днем. Тем лучше: ночь свободна. Но почему нет часовых?

На рассвете к полотну ползут Янукевич и Понжайло: надо наметить места наблюдений, провести первую, предварительную разведку.

Они возвращаются неожиданно быстро.

— Ржавые рельсы, — коротко бросает Янукевич. — По этой дороге давным-давно не было и нет никакого движения. Дорога мертва. Ясно?

И снова карабкается группа на кручи, цепочкой идет по лощинам, высылая вперед дозоры.

— Пустяки, на шоссе вдвойне отыграем. — не унывает Ветлугин.

К шоссе подходят на рассвете. Вперед тотчас же высланы две пары разведчиков: хочется скорее приняться за работу.

В сумерки возвращается первая пара — все те же Янукевич и Понжайло.

Виктор Иванович молча садится на камень.

— Ну, Виктор, рассказывай, — торопит жена.

— Надо возвращаться домой — опоздали. Взорвано все, что можно взорвать — мосты, мостики, даже само полотно дороги. Очевидно, — нас опередили армейские саперы при отступлении. Шоссе травой поросло. И мы, друзья, — безработные...

Утром попрежнему моросит мелкий надоедливый дождь. Рваные тучи ползут по небу. Резкие порывы ветра гонят по безлюдному шоссе желтую листву.

Все встают хмурые, неразговорчивые.

На сердце тоскливо. Обидно: пройти сто километров. — и каких сто километров! — потерять столько времени и, ровно ничего не сделав, вернуться в лагерь. Обратный путь кажется бесконечно длинным, тяжелым, опасным.

— Хотя бы одну паршивенькую машину исковеркать, одного бы фрица укокошить, — ворчит Литвинов.

— Вот что, друзья, — говорит Конотопченко. — Вы здесь отдохните, а я пойду приятелей навещу, работу пошукаю. Вечером вернусь.

С ним вместе уходят Янукевич и Понжайло.

Есечером они не возвращаются.

— Этого еще нехватает. Что мы Бате

скажем? — нервничает Геронтий Николаевич.

Ночью, неожиданно являются все трое.

— Прошу прощения, мы кажется слегка опоздали, — галантно извиняется Конотопченко.

— И на том спасибо, что живы, — ворчит Слащев.

— Вы лучше, Николай Николаевич, спасибо за то скажите, что мы вам работу нашли.

— Только мне?

— Нет, всем безработным. Но вам, товарищ технонорук ТЭЦ, — по специальности. Вы ведь, кажется, теплотехник?..

Всю ночь группа идет еле заметной тропой. Скользят ноги на мокрых камнях, моросит дождь, резкий порывистый ветер пронизывает до костей. Не видно ни зги. Но люди не чувствуют усталости: завтра ждет боевая работа. Какая — Конотопченко не говорит.

— Все пригодится: и гранаты, и мины, и бикфордов шнур, — загадочно улыбается Дмитрий Дмитриевич.

Ранним утром, когда на востоке чуть брезжит заря, впереди вырастает одинокая избушка. Окна наглухо закрыты ставнями. Вокруг — ни души.

Конотопченко осторожно подходит и условным стуком стучит в дверь. Гремит тяжелый засов. Тихий разговор — и Конотопченко широким жестом приглашает товарищей:

— Прошу.

В избе четверо вооруженных.

— Знакомьтесь: партизаны — хозяева здешних мест.

Через час вся картина ясна. Красная Армия при отступлении основательно вывела из строя нефтяные промыслы. Немцы пытаются их восстановить, но это им не удается: партизаны рвут вышки и механическое оборудование. Однако у них нет сил для крупной диверсии. И они рады гостям — они проведут всю черновую работу и дадут возможность нашей группе показать свое искусство. А работы — непочатый край: электрическая станция, водокачка, дающая воду промыслам, и трехарочный мост через глубокое ущелье.

Люди истосковались по работе — они готовы сегодня же вечером выйти на диверсию. Но в нашем отряде стали непреложным законом старые традиции, возвращенные Евгением. И еще сутки уходят на неторопливую, обстоятельную подготовку.

В ночь, назначенную для удара, все так же моросит дождь. Воет ветер в ущелье. Кромешная тьма.

Начинают местные партизаны. Быстро, бесшумно снята немецкая охрана моста и порвана связь.

Слащев, Ветлугин, Сафронов, под охраной партизан, ползут к электростанции и водокачке. Остальные минируют мост.

Конотопченко с местными партизанами устраивают громадный завал на дороге по эту сторону моста: недавняя буря поваляла высокие сосны на краю ущелья.

Первой заканчивает работу группа на мосту. Мура Янукевич ползет к электростанции.

— Героша, у нас все готово.

— Нашего фейерверка, Мура, не ждите. Слащев священнодействует — дорвался, наконец, до своих генераторов, — шепчет Ветлугин.

— Зато, Геронтий Николаевич, немцам придется строить электростанцию заново — или я никогда не был техноруком ТЭЦ...

— Иди, Мура, и отводи своих.

Через полчаса у электростанции три раза квакает лягушка. Ей отвечает лягушка у водокачки — и охрана бесшумно ползет к соседнему леску.

Минут через десять новое кваканье. На мгновение вспыхивают два огонька: это Слащев и Сафронов поджигают бикфордовы шнуры. И три тени бегут к лесу.

Взрыв настигает их у опушки. Становится светло, как днем. В воздух летят камни, бревна, куски металла. Трекратным эхом повторяют взрыв соседние горы.

В поселке, по ту сторону ущелья — возбужденные голоса, мелькающие огни, шум моторов.

Первая машина с автоматчиками, полным ходом пройдя мост, натывается на завал.

Не так легко оттащить в сторону эти громадные сосны, связанные колючей проволокой. Разборка затягивается на добрые полчаса. А машины все подходят и подходят к ущелью. На мосту толчея: десятка автомобилей, и среди них два танка — тяжелый и средний.

Остается последняя сосна завала. Фашисты тащат ее в сторону, натягивая проволоку, которую так внимательно проверял перед отходом Янукевич, — и со страшным грохотом рушится трехарочный мост. В ущелье падают исковерканные машины, танки, автоматчики...

В темном дождливом небе над нефтепромыслами взвивается красная ракета.

— Тревога. Надо уходить, — прощается со своими друзьями Конотопченко. — И запомните, товарищи: у нас это называется «принципом максимального эффекта» — одним ударом уничтожены электростанция, водокачка, мост, машины и танки.

Большого как будто сделать было нельзя. Желаем удачи, друзья...

Обратный стокилометровый путь кажется коротким и легким.

23.XI

Я просил Павлика Худоерко при случае узнать у старожилов, что они думают о зиме.

Все старики в один голос уверяют: ожи-

дается затяжная осень с большими дождями и «гнилая» зима.

Надо готовиться к зимнему сезону.

Верхняя одежда была заготовлена еще Евгением в Краснодаре. У нас есть полушубки, стеганки, ватные брюки, шерстяные носки, теплые шапки.

Пока мы ходим в пастолях, сшитых из конской кожи. Они напоминают чуйки и шьются ворсом наверх и назад, чтобы ноги не скользили на подъемах и спусках с гор.

Но в дождь и снег в пастолях не ходишь. Нужны русские сапоги. К тому же, и наша одежда основательно поистрепалась.

Я приказал Слащеву наладить на Планческой сапожную мастерскую. Портновская мастерская уже работает: Елена Ивановна отыскала швейные машины, мобилизовала женщин и шьет нам зимнее обмундирование из фильтроткани и белье из простыней.

Жена чувствует себя лучше, хотя по ночам попрежнему не спит...

Сафронов заботится о ней, как сын.

Сегодня радио принесло радостную весть: Совинформбюро сообщило, что под Сталинградом прорвана немецкая оборонительная линия, разгромлены шесть пехотных и одна танковая дивизии фашистов, взято 13 тысяч пленных и 360 орудий.

24.XI

Позавчера наши соседи третий раз пытались рвать мост у поворота к шоссе.

Я не знаю точно, как подбирались минеры к мосту, как закладывали мины, как рвали их, но мне известен результат: частично выбито бетонное основание, балки целы и сегодня утром по мосту уже прошел немецкий поезд.

Мост поистине заколдован!

25.XI

— Батенька, пожалейте меня, — говорит Геронтий Николаевич, и физиономия у него, действительно, страдальческая. Но в глазах — обычные веселые искорки. — Сон пропал. Что ни день, то один и тот же кошмар. Вижу этот проклятый мост через болотце у поворота к шоссе. Идут по нему поезда, а из-под арки выглядывает этакая богомерзкая рожа, подмигивает мне и дразнит:

— Ich bin nicht kaput! Ich bin nicht kaput!*

— Гонимаю: рвать хотите?

— Непременно, Батенька. Вель, какой позор: три неудачи подряд! Где это видано? Немцы, небось, потешаются.

— Да стоит ли рисковать, Геронтий Николаевич? Мостик крохотный, а риск большой. Около моста полузвод охраны — берегут его так, что ящерица, пожалуй, не подползет.

* А я еще цел! А я еще цел!

— За кого вы меня принимаете! Неужели вы думаете, что я, как какое-то пресмыкающееся, буду ползти на животе в эту слякоть и дождь?

— Значит, с боем будете рвать?

— Нет, Батенька, с разговорами. С самыми вежливыми, салонными разговорами. У нас с Янукевичем уже все разработано до последней детали.

План Ветлугина, как всегда, очень дерзко и необычен...

Сегодня к мосту отправляю группу наших разведчиков.

26.XI.

Перед станцией Дербенкой гряды тянутся невысокие горки. Здесь, на очищенных от кустов полянах, ровными рядами растет кукуруза. За ней тянутся пустые виноградники. А за виноградниками — остатки деревянных вышек Калужских нефтяных промыслов.

Промыслы не работают. Но громадный бак и земляные амбары, замаскированные зеленью, полны нефтью.

С боем прорваться к промыслам невозможно: передовые немецкие караулы выдвинуты далеко к горам, нефтяные хранилища огорожены проволокой, в дзотах тяжелые пулеметы и легкая полевая артиллерия.

Самое простое: сообщить координаты амбаров и бака нашей авиации. Но на ближайшем участке фронта идут горячие бои, и пройти через передовую линию опасно и трудно.

Надо действовать самостоятельно. И на промыслы идет Мура Янукевич.

Она прекрасно говорит по-немецки. К тому же, здесь у нее нашлись «родственники». Недавно Мура познакомилась с Анной Васильевной, женой партизана из отряда «Игл», работавшей на промыслах. У Анны Васильевны была падчерица; последние годы она почти безвыездно жила в Краснодаре, лишь изредка да и то на короткое время приезжая проводить отца в Дербентку. Мура чем-то напомнила эту девушку, — озалом лица, голосом, фигурой, — и теперь в Дербентке она легко сошла за падчерицу Анны Васильевны.

Мура устроилась переводчицей в группе женщин, работавших на очистке земляных амбаров, и быстро вошла в доверие к немцам: она была исполнительно и аккуратно, ласково улыбалась господину лейтенанту и почти каждое утро приносила на промыслы корзины сочного винограда и угощала немецких автоматчиков.

Так продолжалось несколько дней...

Недавно Мура узнает, что со дня на день немцы начнут вывозить нефть из амбаров.

Пора.

Литвинов и Ветлугин срочно изготавливают кислотные мины — они так хорошо

поработали на складе у разъезда Энем. Паваик приносит маленькие ящички на квартиру Анны Васильевны. А Мура горячо уговаривает немецкого лейтенанта, что следовало бы завтра же организовать сбор винограда: ее мачеха научит солдат готовить вкусное молодое вино.

На следующий день к вечеру лейтенант отправляет к виноградникам группу румынских солдат. Они несут большие корзины. Их сопровождают немецкие автоматчики во главе с толстым обер-ефрейтором.

Сборщики, передав оружие автоматчикам, наполняют корзины. Автоматчики складывают оружие в кучу и, оставив около нее двух часовых, отправляются лакомиться виноградом.

К часовым подползают двое наших партизан. Рывок, резкий удар ножом под ложечку — и часовые беззвучно падают на землю.

Наши незаметно окружают румын и немцев. Трек цикады — с на безоружных солдат из-за виноградных лоз смотрят дуа винтовок.

— Halt! Hände hoch!*

Румыны слушаются мгновенно. У обер-ефрейтора в поднятой правой руке крепко зажата тяжелая виноградная гроздь.

Наши уводят румын и немцев в горы. А Мура уже на промыслах. Она только что принесла от Анны Васильевны две большие корзины с виноградом и удивленно спрашивает у лейтенанта, где же сборщики винограда: уже темнеет, а их все еще нет.

Лейтенант и сам не на шутку встревожен. Он посылает на виноградники новую группу автоматчиков.

Теперь на промыслах почти безлюдно.

Мура идет потчевать караул у вышек. Она здесь свой человек. К тому же на этот раз виноград у нее поистине отменный. И Мура весело болтает с часовыми.

У нефтяных амбаров и бака Мура особенно приветлива и щедра.

— Bitte, essen Sie! Schmeckt gut!** — угощает она.

И пока немцы лакомятся виноградом, она вынимает со дна корзины маленькие ящички и незаметно сует их в отверстия земляных амбаров. У нефтяного бака она оставляет большой сверток.

Спустилась ночь. На небе зажглись первые звезды.

Мура с Анной Васильевной уходят с промыслов. Отойдя полкилометра, они бегут.

Сзади грохочут взрывы. Громадный огненный столб взмывает к небу...

* Стой! Руки вверх!

** Пожалуйста, кушайте! Вкусно!

Вот уже три дня, как горят нефтяные промыслы, подоженные Мурой, и над Дербенткой стоит огненное зарево...

29.XI

Заколдованный мост через болотце на восьмом километре все-таки взорван!

Дело было так...

К вечеру Ветлугин, Янукевич и двое минеров подходят к мосту. Начальник группы нашей разведки докладывает ему о поведении караула и сообщает подслушанный сегодняшний пароль.

В сумерки наши минеры выходят на полотно и спокойно идут к мосту.

Вид их несколько необычен. Впереди с немецким автоматом вышагивает Ветлугин. Он одет как-то странно: помесь этакого немецкого шпика и богатенького кубанского казака. Вид независимый и наглый. За ним со связанными назад руками понуро бредут два наших минера. Их стеганки грязны и порваны; они явно сопротивлялись при аресте. Процессию замыкает Янукевич: у него тоже автомат и одет он примерно так же, как Ветлугин, но выглядит сортом похуже.

Их останавливает часовой.

— Halt! Parol? *

— Berg! ** — уверенно отвечает Геронтий Николаевич и молча протягивает ему сургуком запечатанный конверт. На нем четко выведено:

„Geheimreichssache. Dem Chef der Polizei; Leutnant Kurt Biller“. ***

Часовой вызывает начальника караула. Является фельдфебель и при свете карманного фонарика долго — подозрительно долго — читает надпись на конверте.

— Tausend Teufel! Sie sind blind? **** — нетерпеливо и властно бросает Ветлугин.

От резкого оклика обер-фельдфебель вздрагивает. Кто знает, что это за человек, принесший секретный пакет лейтенанту Курту Биллеру? Надо думать, он важный агент гестапо, что так кричит на обер-фельдфебеля. А эти оборванцы со скрученными руками — вероятно, пойманные партизаны. Надо провести их в караулку и оттуда позвонить господину лейтенанту в полицию.

Начальник караула жестом приглашает следовать за ним.

Сгустились сумерки. Накрапывает дождь: Серый туман ползет над болотцем, полотном, мостом:

Наши подходят к часовым. Им только это и нужно. По сигналу Ветлугина они бросаются на немцев и привычным уда-

* Стой! Пароль?

** Гора!

*** Секретно. Шефу полиции лейтенанту Курту Биллеру.

**** Тысяча чертей! Вы слепы?

ром ножа под ложечку валят на землю. Рядом падает начальник караула.

Все проделано так стремительно, что никто из немцев даже не успевает вскрикнуть.

Моросит дождь. Тишина...

Начинается минирование. Работа при вынужденная — и через пятнадцать минут все закончено: четыре мины заложены и замаскированы по всем правилам искусства. А пятая мина (на нее пошел забросанный нами аматол) будто второпях уложена у противоположного конца моста и рядом с ней трупы убитых часовых.

Наши быстро отходят в горы. Но не успевают они пройти и двух километров как на мосту поднимается тревога и безпорядочная стрельба: надо думать, немцы обнаружили трупы своих часовых и мины из аматола.

По тревоге из Северной несутся автомашины и, обгоняя их, поезд с автоматами.

Взрыв. Поезд вместе с мостом взлетает на воздух...

— Конец. Батенька, моей бессоннице, улыбается Ветлугин. — А главное — престиж партизанский восстановлен. Это тоже кое-что значит!

Только что получил письмо товарища Поздняка, командующего партизанскими соединениями. Это — ответ на посланный ему план операций нашего отряда.

В письме между прочим сказано:

«...Еще раз подтверждаю совершенно правильное Ваше предложение, что Ваш отряд должен действовать группами в 4—5 человек, прилаиваясь к другим нашим отрядам; тогда Вы сможете действовать совместно 6—8—10-ю отрядами, и плоды работы Вашего отряда будут удесятены...»

30.XI

— Пора отпочковаться, Батенька, — говорил мне сегодня Ветлугин. — Пора заводить филиалы. Когда-то мы мечтали с Евгением, что у нас будут «дочерние отряды». Тогда это было рановато. А сейчас следует об этом серьезно подумать. У нас и опыт кое-какой накопился, да и школа есть. Как вы полагаете на этот счет, Батенька?

Геронтий Николаевич опоздал. Я уже наметил целую сеть таких отрядов. Они будут работать в глубоком немецком тылу, куда нам сложно и долго добираться. Они должны кольцом охватить Краснодар, взять под наблюдение переправы через Кубань, проникнуть в самый город и обрушиться на немцев, когда наша армия начнет гнать фашистов из Краснодар.

Мне кажется, основу дочернего отряда должны составлять местные жители. Мы дадим им только своего командира или главного минера. В дочернем отряде

никто не должен знать о нашем существовании. Только командир будет связан с нами, будет получать наши распоряжения, доносить нам о диверсиях. Эта конспирация должна стать непреложным законом.

Я мечтаю о добром десятке таких отрядов. Их действия будут координироваться из одного центра.

1. XII.

Старики оказались правы: осень затягивается, идут бесконечные дожди, грязь невылазная. А тут еще немцы, перепуганные нашими диверсиями, зорко берегут свои дороги.

Все это создает неприятное, пониженное настроение. Я уже слышал разговоры о том, что, дескать, сейчас надо отказаться от крупных диверсий и следовало бы прикрыть нашу минную школу: какой-де смысл готовить минеров, которые обречены на безработицу?

Надо переломить это настроение. Я убежден: никакая грязь, никакая бдительность немцев не спасет их, если на диверсию выйдут опытные подрывники, отважные бойцы.

Вчера я вызвал к себе Янукевича, Ветлугина, Мусьяченко, Сафронова, Литвинова, Слащева — наших гвардейцев, тех, кто вместе с Евгением сколачивал отряд.

Я говорил с ними откровенно. Я рассказал им свой план: маленькая группа, не больше восьми человек, выходит на сложную операцию, предусматривающую несколько последовательных комбинированных, диверсий на линиях Ильская—Крымская, Крымская — Тимашенка, Крымская—Тамань.

Чтобы сейчас, в грязь и распутицу, добраться до места операции, придется затратить не одну неделю. Если как следует заблаговременно продумать всю операцию, погостарать учесть все неожиданности, свято соблюдать наши заповеди тщательной предварительной разведки, — задача выполнима.

Мои гвардейцы загорелись. Я дал им три дня, чтобы как следует продумать операцию.

2. XII.

Несколько дней назад у нас на Планческой вспыхнула «бунт сапожников». Бибикив и его «подмастерья» потребовали отправки их на боевые операции.

— Мы пришли сюда, Батя, не сапоги шить.

«Усмирить» «бунтовщиков» было не так-то легко. В конце-концов мы порешили на том, что они будут продолжать шить сапоги, а в свободное от работы время ходить на занятия в минную школу и что в ближайшее время я пошлю их для опыта на небольшую диверсию.

Сапожники добросовестно шили сапоги и так же добросовестно посещали заня-

тия. А сегодня они вернулись, блестяще выполнив порученную им операцию.

Операция была простая и легкая. Но сапожники пришли после нее на Планческую, измотанные до-нельзя: сказалась сидячая жизнь и отсутствие тренировки. Я думал, что после такой прогулки они утихомятятся. Ничуть не бывало: «бунт» вспыхнул с новой силой.

Решено отправить сапожников в Краснодар: это будет наш второй городской филиал (первую группу мы оставили в городе, когда в августе уходили из Краснодара).

В группу Якова Ильича Бибикива входят Иван Федорович Суглобов, Николай Андреевич Федосов и переданный в наш отряд бывший начальник политотдела Ново-Тигаровской МТС, Брызгунов.

Группа должна прежде всего провести ряд диверсий на железной дороге между Краснодаром и Усть-Лабой, соединяющей город с основной магистралью Ростов—Армавир. Затем подготовить взрыв восстановленного немцами моста на дороге, ведущей от Краснодара к Горячему Ключу. И, наконец, связавшись с группой Лагунова, помочь ей в момент будущих боев за город.

4. XII

Сегодня ко мне пришли мои гвардейцы.

— Батенька, пишите приказ, мы идем, — коротко заявил Ветлугин.

Приказ написан: командиром всей группы назначен Мусьяченко (мой заместитель по снабжению), техническим руководителем — Янукевич, руководителем минных операций — Ветлугин.

С ними идут Иван Дмитриевич Понжайло и Мура Янукевич.

5. XII.

Вчера я назначил Георгия Ивановича Ельникова руководителем целого куста наших «дочерних отрядов».

Прежде всего к Тамани — на Пронопокровские хутора, он забрасывает Карпова, тамошнего уроженца. Карповский отряд, составленный из жителей этих хуторов, надо думать, обоснуется в камышах лиманов. Его задача — держать под контролем Львовское шоссе. Я спокоен за этот отряд: Карпов еще в 1918 году дрался с белыми в партизанских отрядах, прекрасно знает кубанские лиманы, в камышах чувствует себя, как дома. Полагаю, что его группа первой из наших филиалов начнет боевую работу.

Вторая группа, подведомственная Ельникову, должна обосноваться в Стефановке — небольшом хуторе на левом берегу Кубани, против станицы Ново-Марьинской.

Марьинцы, уходя в леса и горы, оставили в Стефановке большую, хорошо замаскированную группу партизан. Надо связаться с ними и на базе марьин-

цев организовать наш «Стефановский филиал». Я придаю ему большое значение. Стефановка связывает Львовское шоссе с Краснодаром, и против Стефановки через Кубань немцы перебросили мост на плату.

Ельников должен взять под свое наблюдение и наши городские отряды.

И, наконец, непосредственно Георгию Ивановичу поручено разгадать тайну понтонных мостов.

Поска сведения об этих мостах путанные и разноречивые. Ельников сам подберется к ним и выяснит, что это за штука.

9.XII.

Вот уже две недели, как на Планческой идет подготовка к выходу группы Демьяна Пантелеевича Лагунова, которая должна составить ядро нашего третьего краснодарского филиала.

Демьян Пантелеевич, начальник цеха комбината и в прошлом железнодорожный машинист, прекрасно знает Краснодар.

В его группу входят Николай Григорьевич Гладких, кочегар комбината и председатель его местного комитета, Ефим Федорович Луговой, газовый мастер, спокойный, уравновешенный человек, ставший по годам в нашем отряде. Дмитрий Григорьевич Литовченко, заведующий военным отделом Сталинского райкома партии в Краснодаре, и Таисия Сухороброва, секретарь Сталинского райкома ВАКСМ.

Задачи у нашего будущего городского филиала многообразны.

Лагунов должен непосредственно перед отходом немцев из Краснодара уничтожить все перевозочные средства через Кубань: лодки, катера, пароходики, взорвать мост на плавку, ведущий из города к Георгие-Афипской, помочь нашему Яблоновскому филиалу, если немцы все-таки восстановят солидный мост через реку, организовать взрывы шоссе-ных мостов на подходах в город, спасти от разрушения оборудование основных промышленных предприятий Краснодара.

Одной нашей группе справиться со всем этим явно не удастся. Поэтому она должна тотчас же по приходе в город связаться с подпольными организациями и сколотить ряд дополнительных групп. Эта последняя задача, очевидно, ляжет главным образом на плечи Сухоробровой — у нее большие связи с краснодарской молодежью.

Группа Лагунова усиленно готовится.

Еременко проходит с ними минно-подрывное дело. Они тренируются в метании гранат, подробно изучают пулемет. Я тщательно прорабатываю с ними явки, пароли, связи. Они зазубривают адреса, фамилии, имена: никаких записей, конечно, им взять с собой нельзя.

Полагаю, через неделю — полторы Лагунов сможет выйти.

10.XII.

Станица Ново-Дмитриевская раскинулась на высоком пригорке, омываемом двумя водными потоками — рекой Афипс и Плавостроевским каналом. В станице стоит немецкая дивизия, наблюдающая за окрестными хуторами, куда выдвинуты более мелкие подразделения. Через станицу непрерывным потоком, одна за другой, проходят к фронту немецкие части, подтягиваются боеприпасы, вооружение, продовольствие: под Новороссийском попрежнему идут горячие бои.

Надо остановить этот поток.

Решено рвать трехарочный мост через канал, так называемую Плавостроевскую перемычку.

На операцию выделены наши минеры во главе с Георгием Фсофановичем Мельниковым. С ним его постоянный спутник, Поддубный.

11.XII.

Вчера нам с Еленой Ивановной здорово досталось от Афипса.

...С группой партизан мы вышли из Планческой в наш зимний лагерь: надо было сменить белье, захватить что-нибудь потеплее и отправить на операции две группы.

Через Афипс перебрались благополучно: вода низкая и такая светлая, что отчетливо видны разноцветные камушки на дне.

Когда подходили к лагерю, на небе появились большие кучевые облака.

В лагере провозились весь день до глубокого вечера: я подготавливал к выходу наши группы, Елена Ивановна отбила белье и вдоволь наплакалась, разбирая вещи ребят.

Когда я вышел из командного пункта, все небо было закрыто тучами. Они шли в два яруса: первый ярус был ниже нашего лагеря, второй, задевая вершину горы Стрепет, скрывал плешь старика Афипса.

Что было внизу, я не знал, но из верхнего яруса шел дождь.

Я вызвал к телефону заставу. Мне доложили, что вода в Афипсе не прибывает.

Утром, еще до рассвета, мы тронулись в обратный путь. Хлестал дождь. Ити было трудно. Ноги скользили. Даже перила и каменные ступени нашей лестницы мало помогли.

Первый раз мы благополучно перешли Афипс вброд, даже не набрав воды за голенища сапог.

После второй переправы через Афипс Елене Ивановне пришлось разуваться и выжимать шерстяные чулки. После третьей переправы мы были мокры до пояса.

Около Малых Волчьих Ворот предстояла самая тяжелая переправа.

Афипс был неузнаваем: бешено крутилась, перед нами неслась большая река

Вода покрыла не только камни на перекатах, но и прибрежные выступы скал — наши привычные ориентиры.

Павлик вырубил длинный шест. Мы встали по обе стороны шеста (высокие — лицом к течению, низкие — спиной к нему) и, обеими руками держась за палку, медленно вошли в воду.

На середине Афиписа вода доходила до шеи. Было холодно. Коченели руки. Ревела река. Но мы шли благополучно.

Неожиданно Елена Ивановна с головой провалилась в яму. К счастью она обеими руками продолжала держаться за шест.

Правой рукой я подхватил жену и вытащил ее из ямы. Но левая сорвалась с шеста. Афипис сбил меня с ног, и я очутился под водой.

У нас существует строгое правило при переходе с шестом через реку: что бы ни случилось, никому шеста не отпускать и медленно двигаться дальше. И наши шли вперед, наблюдая, как Афипис кружил в водоворотах их командира.

Река несла меня на второй перекат. Там торчали из воды острые скалы. На перекате ждала неминуемая смерть.

У первой гряды я почувствовал резкий удар в плечо: подо мной лежала коряга. Я ухватился за нее обеими руками.

Афипис ревел, стараясь бросить меня на стремнину переката. Я напряг последние силы, чтобы удержаться на коряге.

Наши перебрались на противоположный берег. Павлик протянул мне шест и благополучно вытащил из воды.

Впереди нас ждали еще добрых двадцать переходов через Афипис и «афипсики». Но все они были менее тяжелые, чем брод у Волчьих Ворот.

На одном из последних бродов мы шли вместе с Еленой Ивановной. У противоположного берега было сравнительно мелко. Я отпустил руку... и провалился в смут с головой.

Меня понесло. Я с трудом всплыл на поверхность. Но что-то тяжелое тянуло меня вниз, и я снова ушел под воду. И гут, под водой, я вспомнил: на поясе висит ведро!

Когда мы выходили из лагеря, оно было плотно приторочено к рюкзаку. Но недавно мы пили воду из родника, и я привязал ведро к поясу. Сейчас оно наполнилось водой и тянуло меня вниз.

Я пытаюсь оторвать ведро — веревка не поддавалась...

Как мне удалось избавиться от ведра, я до сих пор не понимаю. Обессиленный, с трудом вылез на песчаную отмель...

В Планческую мы пришли поздним вечером — усталые, продрогшие, мокрые.

Немцы наседают. Чувствуют, проклятые, что близится наступление Красной Армии, и стараются выбить нас из пред-

горий, чтобы развязать себе руки для решающих боев.

Нажим нарастает с каждым днем. Расход боеприпасов небывалый. Приходится экономить даже винтовочные патроны. И если бы не Кириченко, не знаю как сумели бы мы до сих пор удерживать наши позиции.

Громадный, медлительный, угрюмый, он каждую свободную минуту в лагере молча возится с какими-то замысловатыми минами. В сумерки уходит в лес — и на кабаньих тропах, у бродов через «афипсики», на полянах, на склонах ериков закладывает свои «сюрпризы».

Куда только ни прячет мины Николай Ефимович: то выдаблывает для них отверстия в стволе дерева, тщательно маскируя корой, то подвешивает на ветвях деревьев, то укладывает под камень, обросший мхом, каким-то особым чутьем угадывая, что именно здесь, за этим камнем, спрячется немецкий снайпер.

Проволочки, выдергивающие предохранитель, он прячет так ловко, сплещ и рядом используя для этого безобидную веточку, что его помощники, работающие с ним, через пять минут уже не могут найти ее. А Николай Ефимович все зорко примечает и своей медвежьей вразвалку походкой, спокойно возвращается по заминированной тропе.

Каждый день рвутся на его минах немецкие автоматчики. Лучшие саперы не в силах обнаружить его «сюрпризы», тем более, что Кириченко никогда не повторяется — у него всегда что-то новое, оригинальное, неожиданное.

У Николая Ефимовича большой, недюжинный талант изобретателя конструктора, минера, и я берегу нашего «медведя».

12.XII.

Агентурная разведка донесла, что в Афипискую еще до распутицы немцы подвезли много техники: танков, пушек, минометов. Отправить их во время не смогли: профиль размяк, а шоссе и железная дорога разбиты нашими взрывами.

Грузов скопилось тьма-тьмущая. Уже погружено свыше шестидесяти вагонов. Но на Афипиской нет паровозов. Из Краснодара паровозы подойти не могут: мосты через Кубань и Афипис взорваны. Но немцы, конечно, разобудут паровоз и отправят поезд: под Новороссийском все еще идут тяжелые бои.

Я рассказал об этом моим гвардейцам. — Я — не я, если не взорву этот поезд, — горячо заявил Геронтий Николаевич.

Получил от Ельникова подробное донесение о понтонных мостах.

Тайна, наконец, раскрыта. Несмотря на свои победные режиссии, немцы понимают, что положение их на

Северном Кавказе непрочно. Значит, на случай отступления надо обеспечить переправы через Кубань. Стационарных мостов через реку не существует: они взорваны нашими саперами при отступлении. В распоряжении немцев два наплавных моста у Стефановки и Яблоновки. Фашистское командование подозревает, что обе эти переправы находятся под нашим неусыпным наблюдением. В любой момент они могут взлететь на воздух. Значит, надо подготовить на всякий случай солидный резерв — такие переправы, которые; с одной стороны, имели бы большую пропускную способность, а с другой, до последнего момента хранились бы в тайне от нас.

И немцы придумали: между Марьинской и Елизаветинской они сосредоточили понтоны для мостов.

Место они выбрали наречком удачное — бесчисленные излучины Кубани, покрытые лесом и густым кустарником, прекрасно маскируют и подготавливают понтоны и понтоноверы. Наши самолеты, не раз пролетавшие над этим местом, ровно ничего не заметили. Больше того: даже получив агентурные сведения о понтонах, наши разведчики обнаружили их с громадным трудом.

Сейчас тайна немцев полностью разгадана Ельником. Он сам пробрался через густой джунгли: прополз по сырому песку отелей и насчитал понтоны для шестнадцати мостов. Немцы смогут их перебросить через реку буквально за какой-нибудь час.

Хитро придумано!

Только что пересладал донесение об этих понтонах через линию фронта командующему нашей армии.

14.XII.

— Должен вам прямо сказать, Батя: если вы спросите меня, как подобрались мы к этой проклятой Плавостроевской перемычке, — я только руками разведу. Не знаю, честное слово, не знаю.

Георгий Феофанович Мельников только что вернулся из операции, переоделся, помылся, плотно поел и сейчас, довольный и спокойный, сидит у меня на командном пункте.

— Представляете себе, Батя: степь, голая степь. Травы выросла, поникла, — остались какие-то коротенькие стебельки. В ней не только нам с Поддубным не спрятаться, а полевая мышь будет видна за километр. И лишь метрах в пятидесяти от моста вельнички островками стоят чахлае кустики. Когда я увидел эту безрадостную обстаночку, сердце екнуло. Но, сами понимаете, возвращаться нельзя. Легли и стали наблюдать. Лежали двое суток, и обстановка стала ясной для нас.

— По одну сторону моста полуканарма, — в ней около взвода фашистов. По другую

сторону, откуда нам придется подходить, — будка и около нее пост, в нем шесть-восемь фрицев. У окраинных домов станицы, примерно, в километре от моста, дежурят автомашины и лежа наготове автоматчики. Короче — ничем утешительного. Но все равно, — уходив невозможно. А подползти тоже немслимо.

— На наше счастье, к вечеру третьего суток пошел дождь. Да такой подходящий дождь — спорый, холодный, с ветром Лохматые свинцовые тучи ползут на самой земле. Просто прелесть.

— Ночью поползли. Было так темно что Поддубный несколько раз натыкался носом на каблуки моих сапог, но ни разу так и не увидела их. Подобрались кустиками и замерли. Лежим так близко от немцев, что слышим не только их разговоры, но даже шаги на песчаной дорожке у караулки. Лежим. А дождь идет. Вымокли до последней китки. А ту еще ветерок холодный подул. Травы еще изморозью подернулась. А немцы себе беседуют, да скрипят их подошвы о песок...

— Лежу злой: им хорошо, — они ходят могут. А каково нам лежать, боясь не только повернуться, но даже вздохнуть поглубже... Чувствую — замерзаю. Скулы начинает судорогой сводить. Пришлось челюсть рукой придерживать, чтобы зубы не стучали. А немцы все ходят и ходят у караулки...

— Вдруг, слышу — скрипнула дверь в будке. Еще и еще раз. Разговор смолк. И шагов не слышно. Значит, и немцев прозяло: ушли погреться и покурить. Но где ли ушли? Или оставили одного на страже? Это, конечно, разгадать невозможно: темень такая, что ориентироваться приходится только на слух. Пролетали мы еще минут пять — тишина. Думаю, не может быть, чтобы на таком холоде часовой замер, как монумент.

— Поползли. Все тело одеревенело от холода, и ноги будто чужие. Но все-таки подползли, начали мигрировать. Двое спустились к самой воде, к устоям моста и начали привязывать пакеты с толвыми шашками. Двое других тянули шнуры от пакетов к настилу моста. Третья пара, найдя у края моста выбирующую доску, осторожно приподняла ее лопиком — фомкой, быстро выкопала ямку, заложив в нее противотанковую мину. Потом все аккуратно замаскировали и поползли обратно. Полагаю: что мигрирование продолжалось не дольше двадцати минут. Кончили во-время: дождь стал стихать и небо посерело — начинался рассвет. Но было еще так темно, что клебу шли по компасу.

— Мы прошли не больше двух километров, как сзади грохнул взрыв. Судя по силе взрыва, мост искорежило основательно. Но что взорвалось на мосту — не

наю. Во всяком случае — или танк, или тяжелая грузовая машина: по вашему приказу я поставил мину с ограничителями, рассчитанными на большую нагрузку...

15.XII.

Ночью ушла группа Мусьяченко.

Я проводил их из Планческой...

Погода ужасная: идет мокрый снег с дождем, дороги раскисли.

Наши вышли пешком: их снаряжение и продукты погружены на две пары быков. В дальнейшем Мусьяченко предстоит перегрузить поклажу с быков на лошадей (я послал с группой четыре верховых лошади), а затем, когда они войдут в совершенно незнакомый район, взвалить груз на свои плечи.

На сердце тревожно: я сроднился с ними, и они мне дороги чуть ли не так же, как мои погибшие ребята.

.....
Немцы прижимают нас к горам. Строят на горюшках мощные земляные укрепления и обстреливают нас из орудий и тяжелых пулеметов. Но пока наша основная линия обороны держится нерушимо.

Надо сознаться. — нам приходится не легко: в распоряжении партизанских отрядов лишь несколько легких пушек, и снаряды на исходе.

Пора в помощь к минам Кириченко вспомнить с снайперах: после смерти Евгения их охота на немцев прекратилась.

16.XII.

Пережили страшную ночь в лагере...

Вечером на севере показалась темнолиловая туча. Вскоре тяжелые капли ударили в окно. Дождь стучал в стены столовой. Тучи быстро неслись по небу.

С нижней заставы позвонили:

— Уровень воды в Афиписе поднялся на полметра.

Я вышел из столовой.

Шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем кругящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков.

Сверкнула молния. На мгновение затрепетали синие зубцы нависших скал, край провала, пелена седых, быстро бегущих туч.

При свете молний было отчетливо видно, как гнул ураган столетние сосны, как, сорвав последние листья с высокой альхи, огромными хлопьями кружил их по земле и, подняв мелкие камни, сухие ветки, кем-то оставленную плащ-палатку, расшвырял все это в стороны и снова юрвав в клубок, бросил в пропасть.

Воздух был наполнен гулом. Резал ветер в ущелье, стонали сосны, с глухим рожотом рухнула старый дуб и покатился в горы, ломая деревья, срывая камни.

Через час была объявлена трезога: в

казарме третьего взвода начала оседать крыша.

Привязав себя веревками друг к другу, мы вышли из столовой.

Вокруг не было ни земли, ни неба, ни воздуха — один обезумевший ливень. Потоки воды били в лицо, мешали дышать. Ноги скользили на оголенных камнях, на мокрой глине. Ураган сбивал с ног, валял наземь.

Мы поднимались, падали и снова поднимались, рубили молодые деревья, ставили подпорки под крышу.

Каким-то чудом пробравшись к продовольственным складам, Кузнецов принес страшную весть: гибнут наши запасы продуктов.

И снова, связанные друг с другом веревками, мы бросились в эту страшную крутящуюся тьму.

А вокруг грохотало, гремело, стонало, и эхо сливалось все в многоголосый несмолкаемый рев...

Утром ливень кончился как-то сразу. Выглянуло солнце. Около столовой стояли измазанные глиной люди, мокрые, грязные, усталые... Не верилась, что страшная ночь позади, что снова светит солнце и над головой раскинулось высокое голубое небо.

Кузнецов мрачно ходил по лагерю и осматривал разрушения...

17.XII.

Организовали группу снайперов под начальством Петра Платоновича Тарасова, заведующего военным кабинетом Краснодарского горкома. В группу входят наши лучшие пулеметчики во главе с Ломакиными и непревзойденный рекордсмен по минометной стрельбе — наш командант Леонид Антонович Кузнецов.

Наконец, организован филиал в Стефановке. Командиром назначен Дементий Григорьевич Малышев.

Мне помог командир Ново-Марьянского отряда: выделил проводником и для связи молодого партизана, жителя Стефановки. В хуторе у него остался отец-рыбак, тоже партизан. Под началом Малышева будет работать группа наших минеров второго взвода. Он получил уже от меня места явок, пароли и подробные указания.

18.XII.

В штабе армии не поверили моему донесению о понтонных мостах: Батя, дескать, фантазирует — авиация ничего не обнаружила.

Второй раз в категорической форме подтвердил первое доносение и просил прислать офицеров-разведчиков.

Только что получил известие от агентурной разведки, что интересующий нас поезд, за которым охотится группа Мусьяченко, скоро выйдет из Афипиской. Тот-

час же отправил об этом записку Мусьяченко.

19.XII.

Группа Бибикова благополучно прошла к окрестностям Краснодара.

Старики-горцы сказали Павлику: тако-го урагана, что разыгрался в недавнюю страшную ночь, они не помнят за всю свою жизнь — он бывает, по их словам, раз в сто лет...

20.XII.

Позавчера мы торжественно проводили группу Лагунова. А сегодня она вернулась обратно, не сумев подобраться к Кубани.

Я приказал Павлику Худерко во что бы то ни стало провести ее в Краснодар. Время не терпит.

Совинформбюро сообщило о новом ударе наших войск: началось наше наступление в среднем течении Дона. Немцы оставили на поле боя двадцать тысяч трупов...

Пришло донсение от нашей «дочерней» таманской группы, которой командует Карпов...

...Я много раз бывал на Тамани.

Я видел, как тяжелый плуг, запряженный четырьмя парами круторогих быков, резал целину: стальной, сиющий на солнце лемех отворачивал такую жирную, такую маслянистую землю, что хотелось намазать ее на хлеб, как черное масло. И сколько ни забирай вглубь, никогда не доберешься до мертвой глины: на добрый метр лежит нетронутый девственный чернозем.

Я видел осень на Тамани: белый парус на горизонте, пушистые головки камышей в лиманах, в море золотой кубанской пшеницы, чуть тронутые позолотой высские тополя, виноград, арбузы, дыни, помидоры, баклажаны — и все это громадное, сочное, спелое.

Помню, я стоял на пригорке с седобородым таманским казаком. Прикрыв рукой глаза от солнца, он долго смотрел в даль. Потом широко раскинул руки. Казалось, он хотел обнять и это золото полей, и белые хаты хуторов, и серебряную водную гладь за камышами.

— Та нема края найращего, як наш край...

Сейчас Тамань под немцем.

Я вспомнил о Таманской земле, когда несколько дней назад наш радист принес мне пойманые им в эфире строки:

«... Мы отстоим тебя, Тамань, за то, что ты века

Стояла грудью боевой у русского
древка,

За то, что где бы ни дрались, развея чудовье,
Всегда мечтает о тебе казачество твоё
За этот дом, за этот сад, за море во дворе,

За этот парус вдалеке, за чаек
в ноябре,
За смех казачек молодых, за эти песни их,
За то, что Лермонтов бродил на берегах твоих...

И до боли хотелось, чтобы скорее, как можно скорее начал работать наш Карпов. А он молчал. И только кружным путем приходили вести с Тамани о виселицах, о замученных казачках, о таманцах, угнанных куда-то на запад.

И вот, наконец...

Серой лентой перерезает пшеницу Львовское шоссе. Оно начинается у Стефановки, проходит через Мианцеровские хутора, огибает Ильскую и впадает в главную магистраль Краснодар—Ново-российск.

Немцы берегут это шоссе: добрый десяток эскадронов румын-кавалеристов стоит в Прото-Покровских и Мианперовских хуторах.

Львовское шоссе — спасение для немцев. Основная дорога из Краснодара в Новороссийск стала почти непроезжей — слишком часто взлетают в воздух немецкие машины на партизанских минах. И этот, пока спокойный, обходный путь по Львовскому шоссе — находка для фашистов.

И все же немцы боятся пользоваться им ночью.

Правда, несколько дней назад румыны отважились выслать свои конные патрули на шоссе. Но Карпов встретил их подбаююще и, кажется, навсегда отбил охоту к ночным прогулкам. И днем Львовское шоссе — немецкое, ночью — наше.

Группа Карпова сидит в лиманах.

Сам Карпов уроженец Прото-Покровских хуторов. У него налажены прекрасные связи. Его ближайшие помощники — дешенные ребятишки.

Вот и сейчас по меже мчится паренек лет двенадцати. Еще не добежав до караульного, он кричит:

— На хутор пришли тяжелые машины. Скажите командиру...

— Не мотайся. Командир рядом.

Карпов хорошо знает мальчонку — это сын его старого друга. На него можно положиться.

— Ну, Андрюша, что приключилось?

— Машин нагнали к нам немцы — не пересчитать. И все тяжелые. Мы подсмотрели: под брезентом ящики. Надо думать, снаряды. Вот ребята и послали меня к вам — боимся, как бы немцы сегодня по шоссе не проскочили.

Солнце клонится к горизонту.

— Сегодня, Андрюша, все машины у вас останутся: сам знаешь, не любят

немцы по ночам гулять. Ну, а за ночь мы что-нибудь придумаем.

Ночью минеры выходят из камышей. Карпов ведет их извилистым путем: то свернет вправо, то влево, то заставит преодолеть замысловатую петлю.

Минеры ворчат: трудно нести на себе винтовки, гранаты, тяжелые мины. Но, кто знает, быть может, какой-нибудь полицейский — предатель, которому так же, как Карпову, известны эти лиманы, эти бескрайние пшеничные поля, неотступно крадется по их следу. Надо сбить его с толку, оторваться от него, запутать следы.

Наконец, Карпов дает сигнал остановки.

Слева вплотную к дороге подходят камыши. Справа, на крутом повороте, по краю шоссе торчат каменные столбики, — ограждают шоссе от трясины болота.

Минеры закладывают мину в колею, на мосту, и в трубе, что лежит метрах в двухстах от моста, соединяя оба болота.

По нашему старому, еще Евгением заведенному, порядку Карпов тщательно проверяет работу и отводит своих в пшеницу.

Светает. Розовеет облака на востоке. Над далекими хуторами поднимаются дымки над трубами хат. Минеры ждут.

Раздается еле слышный шум машин.

— Приготовиться.

Покачиваясь с боку на бок на выбоинах шоссе, появляется тяжелая семитонная машина, закрытая брезентом, за ней вторая, третья, четвертая — целый караван.

Головная машина благополучно переваливает через мост и спокойно идет дальше. За ней, так же кренясь по-утиному, идут остальные.

Первая машина над трубой, последняя — на мосту.

Одновременно грохают пять взрывов — глухих, низких, будто идущих из-под земли. И звнящим, высоким, многоголосьем эхом отвечают им сотни разрывов: это рвутся снаряды головной машины.

Замолкли взрывы. Тишина. И вдруг сбоку от шоссе раздается звериный крик:

— А-а-а-а.

Это воеет фашист, взрывной волной брошенный в трясину. Он опускается все ниже и ниже. Он болтает руками, он цепляется за кочки, за эту мирную, такую привлекливую зеленую траву. Но болото всасывает его все глубже и глубже.

Немец опустился уже до плеч. Уже вязкая, темнокоричневая жижа вползает в рот. И он задирает голову к высокому синему таманскому небу и в последний раз, захлебываясь, кричит:

— А-а-а...

Маленькая группа чудом уцелевших солдат в панике прячется среди горящих машин. Но наши уже подползли к шоссе — и снова гремят взрывы: это рвутся

гранаты, и минеры из карабинов на выбор бьют немецких автоматчиков.

Трое фашистов бросаются в сторону. Они бегут в камыши. Там, в густых зарослях, они спрячутся от этого ужаса. Они бегут напрямик и проваливаются в предательские «окна».

А наши, вытянувшись цепочкой, быстро идут по тропинке к лиманам. Сзади на шоссе черным едким дымом падают догорающие обломки машин и предсмертным криком кричат немцы в трясине. Их незачем добивать — они все равно погибнут.

22. XII.

Получена первая весточка от Мусьяченко: приехал Иван Дмитриевич Понжайло и подробно рассказал об охоте за особым поездом...

До Сорочинских хуторов шли пять суток в дождь, снег, грязь, холод.

Для удара по особому поезду Мусьяченко заметил участок дороги между Ильской и Холмской, у разъезда Хабль. Наблюдали целую неделю.

Результаты оказались безрадостные. Немцы зорко охраняли этот участок. Прежде всего — усиленная охрана на разъезде Хабль. Затем около моста, — он в полутора километрах от разъезда, — большой пост в составе шести, а то и восьми часовых. Кроме этого, обычные посты на железной дороге через каждые сто метров. И, наконец, группа обходчиков.

Все же однажды ночью Ветлугин подполз под самый мост, чтобы знать все досконально.

Получили мою записку, что выход поезда ожидается со дня на день. Мусьяченко послал Понжайло в Ильскую. Особый поезд стоял на путях.

В эту же ночь вышли на диверсию.

Мусьяченко и Маруся Янукевич подобрались к постам немцев со стороны Ильской, чтобы прикрыть отход минеров в случае провала. Понжайло с Сафроновым вышли влево к разъезду Хабль, — ко второму посту. Ветлугин с Литвиновым подползли к насыпи, чтобы рывком выскочить к верхней части моста. Янукевич и Слащев спустились в балку, поближе к устоям.

Подход прошел блестяще. Но дальше было хуже.

Небо затянули тучи. Лил дождь. Поднялся холодный ветер.

Только в четвертом часу немцы на посту у моста пшли прогреваться.

Ветлугин с Литвиновым выскочили к мосту. Литвинов снял с себя мокрую стеганку, разостлал ее около шпалы и, быстро работая финским ножом, выгреб яму. Ветлугин положил в ямку свою мину, выверил расстояние между нею и башмаком рельса (эти самые обязательные три миллиметра), осторожно засыпал

землей и тщательно замаскировал. А в это время Янукевич и Слащев привязали пакеты с толом к устоям моста, соединили их с миной Ветлугина дегазирующими шнурами и запрятали их в бакалах, под самым настилом.

Все было закончено в пятнадцать минут.

Отходя от моста, Ветлугин и Литвинов разделились. Они взяли с собой прикрытие по два человека и пробрались один выше, другой ниже моста на четыреста метров. Здесь они заложили дополнительные мины с расчетом на замедление с повторным взрывом.

Наконец, когда совсем рассвело, со стороны Ильской показался поезд: это был тот самый особый эшелон, за которым шла охота.

Он шел быстро, притормаживая на крутом уклоне. Въехал на мост. Раздался глухой взрыв. В воздух полетели обломки моста и паровоза. Вагоны валились с кручи, вниз. Они образовали бесформенную гору, заполнившую обрыв, через который переброшен мост. Гора из вагонов горела.

В пламени и дыму поднялась палуба: это рвались снаряды в вагонах, казалось, весь поезд был начинен снарядами.

Наши продолжали идти. Около моста суматошно бегали какие-то перепуганные немцы караула: они, знали — их ждет расстрел, и бессмысленно били по кустам.

Через полчаса, сначала из Ильской, а затем из Колмской выскочили вспомогательные поезда. Почти одновременно они взорвались на минах Ветлугина и Литвинова.

23.XII.

Старший минер третьего взвода Георгий Карпович Власов руководит нашим филиалом на хуторе Яблоновский. В его распоряжении три наших бойца и два партизана отряда «Грозный», уроженцы хутора, — братья Иван и Петр.

На попечении Власова мост через Кубань у Яблоновки.

Мост взорван. Немцы против хутора перебросили через Кубань временный мост на плаву: баржи на якорях, скрепленные стальными канатами.

Я строго-настрого приказал Власову терпеливо ждать и готовиться: мост должен быть взорван, когда наша армия начнет наступление и когда вывод из строя моста даже на сутки будет равносильным для немцев катастрофой.

24.XII.

Получил подробное донесение от командира нашего филиала в Стефановке.

Через Кубань против хутора переброшен немцами мост такой же, как у Яблоновки, только сортом похуже: и баржи поменьше, и движение по нему идет

только в одну сторону. Но немцы его охраняют, пожалуй, еще зорче, чем у Яблоновки. Прежде всего, со стороны Ново-Марьинской построены земляные укрепления с тяжелыми пулеметами. Затем кусты между Стефановкой и мостом начисто вырублены с немецкой аккуратностью. Словом, над этим мостиком придется повозиться.

Рыбаки хутора встретили наших минеров очень радушно — они уже вместе ездят на рыбную ловлю. Налаживаются и другие связи: наши выпивают с немецким старостой. Одним словом, полностью легализовались.

У «степановцев» задача та же, что и у «яблонцев»: тщательно подготовить диверсию и ждать сигнала.

25.XII.

Обычная охота надоела снайперам.

Мы с Кириченко вчера придумали более крупную операцию. Николай Ефимович уже давно носитися с идеей блокады дзотов...

Ночью Кириченко со своими минерами незаметно проскальзывает мимо немецких секретов, пробирается в тыл дзотов и «колдует» там почти до рассвета.

Наши снайперы занимают позиции. Начинается трафаретно: мы снимаем двух офицеров, немцы постреливают из минометов.

Но нам надо обязательно вывести фрицев из себя.

Мы разбиваемся на две группы. Первая группа снайперов одного за другим снимает немецких наблюдателей на переднем крае, вторая бьет по амбразурам дзотов.

Немцы начинают нервничать. Они не видят, что делается на переднем крае — их наблюдатели сняты, — и они решают отнестись минометы за дзоты и оттуда навесным огнем бить по кустам, по деревьям, по камням, где сидят наши стрелки.

С превеликой осторожностью они вытаскивают свои минометы из дзотов, в тыл своих укреплений и под защитой тяжелых пулеметов выбирают новые позиции.

Но тут начинают действовать сюрпризы Николая Ефимовича. Гремят взрывы: это взлетают на воздух греметские минометчики в тылу своих дзотов.

Немцы растерялись. На переднем крае нет их наблюдателей. Наши подползают к дзотам и швыряют в них гранаты.

Фашисты в панике выскакивают наружу и рвутся на новых минах Кириченко.

Но тут неожиданно начинают бить немецкие фланговые пулеметы. Их не достанешь винтовкой, к ним и не подползешь — они слишком далеко.

Гранатометчики прижаты к земле. Дзоты оживают. Наши попали в ловушку.

Спасти может только миномет Кузнецова. Но Леонид Антонович исчез.

А фашистские пулеметы продолжают бить длинными очередями. Особенно неистовствует тот, что спрятан от нас острым выступом скалы: его-то нам уж никак не достать.

Вырваться из западни не удастся...

Вдруг, сверху, из густых кустов можжевельника, с воем вылетает мина. И тотчас же смолкает немецкий пулемет за скалой.

Снова воем мина — и замолкает второй пулемет.

Минометчик без промаха бьет из можжевельных кустов.

Пулеметы молчат. Наши вырываются из огненного кольца.

Немцы пришли в себя. Уже заговорили шестиствольные минометы. В бой вступает тяжелая артиллерия.

Против этого мы бессильны. Скрываясь в кустах, прячась в глубоких ериках, мы уходим в горы.

— Вы на меня не сердитесь, Батя, — говорит догнавший меня Леонид Антонович, — но только с моей старой позиции я бы не достал пулемета за скалой. А из можжевельника он у меня как на ладошке стоял. Я его через скалы и накрыл миной.

Рыжая чепура стоит у воды. Солнце освещает ее черный хохол, серовато-белую шею с розовым налетом. Бурные перья на крыльях отдают зеленоватым блеском. Вытянув вперед длинный желто-восковой клюв, подняв красно-желтую ногу, она замерла, зорко высматривая добычу. А вокруг стоят камыши, кивают пушистыми головками и живут своей жизнью.

Плеснула рыба у самого берега. Еще и еще. Это щука преследует стаю рыбешек. Неслышно ползет светлооливковый желтопуз. Вспорхнула какая-то птичка с яркокрасным брюшком. Снова плеснула рыба. И опять тишина.

Рыжая чепура поднимает голову. Блестят на солнце ее оранжево-желтые глаза.

В камышах раздается шорох. Он все ближе, ближе. Уже слышно прерывистое дыхание. Чепура взмахивает своими черными крыльями и улетает.

К воде подходят двое ребятшек — Андрей и двенадцатилетняя девчушка в голубом выцветшем на солнце платье, с красными монистами на загорелой шее.

Ребята нерешительно останавливаются. Вокруг стеной, выше человеческого роста, стоят камыши. Здесь можно заблудиться, в этих лиманах.

— Что нового, Андрейка?

Из камышей неожиданно появляется Карпов.

— Беда дядя. Беда! В хутора нагнали

полицейских видимо-невидимо. Приехали на машинах немецкие автоматчики. Их главный позвал к себе дядю Максима. Долго говорили. Потом вышли из хутора и смотрели сюда, на лиманы. И опять говорили. А что говорили — не разобрали мы. Чуть подойдем — сейчас же гонят. Немец даже револьвер показал... Беда...

— Ну, какая же беда, Андрейка?

— Да как же не беда. Дядя Максим здесь каждую камышинку знает. Приведет он проклятых, и перебьют они вас..

— Значит, в гости к нам собрались, — медленно говорит Карпов. — Что же, будем принимать дорогих гостей... Стол им накроем...

На рассвете, когда над степью уже плыли розовые облака, застытые солнцем, а над водой еще висели клочья утреннего тумана, в камыши широкой дугой вошли немцы и полицейские.

Впереди шагал Максим — рыжий музик с черной окладистой бородой.

Никто толком не знал, что гнетет его сердце, — он недавно приехал в эти края, ни с кем не дружил, ходил насупленный, молчаливый, злой. Был хорошим кузнецом и страстным охотником. Облазил с ружьем все окрестные лиманы, знал здесь каждую тростинку. Но даже после удачной охоты возвращался домой таким же сумрачным, хмурым, молчаливым, и ни разу не видели станичники улыбки на лице у этого нелюдима.

Когда немцы заняли хутора, все поняли: лютой, звериной ненавистью ненавидит Максим советскую власть. И первый раз увидели, как улыбнулся Максим, когда стоял он перед виселицей и смотрел, как качается на перекаladине тело молодой казачки-комсомолки. Вскоре все в станице узнали, что в прошлом Максим был крупным кулаком.

Сейчас Максим ведет немцев к тому заветному островку, где укрепились партизаны. Ведет так, чтобы отрезать партизанам все тропинки отступления.

Немцы идут по камышам, таща за собой легкие лодки. Хлюпают вода под ногами. Шуршит сухой камыш. И лиманы оживают.

Один за другим поднимаются гуси. Летят белые цапли, рыжие чепуры, кряквы. Последней поднимается вышь.

Заслышав людей, она присела и, вытянув вверх туловище, шею, голову и клюв в одну линию, стала похожей на отмерший пучок камыша. Но люди подходили все ближе и ближе — и вышь поднялась. Она летела мягким бесшумным полетом, все время взмахивая крыльями. Отлетев далеко в сторону, опустила до самых верхушек камышей, внезапно сложила крылья, камнем упала вниз. И над камышами пронесся ее встревоженный крик, похожий на карканье.

Немцы подходят к острову — их отделяет от него лишь узкая полоска воды.

Берега густо заросли камышом. Только в одном месте желтеет песчаная отмель.

Максим советует разделиться на две группы: первая высадится на отмели, вторая обогнет остров.

Немцы спускают на воду лодки. Первая группа осторожно, держа автоматы наготове, выходит на песок.

Остров молчит.

Страшно идти в глубь острова: немцев пугает тишина и тревожные крики выпы в камышах. Но надо идти. И группа автоматчиков, низко пригибаясь к земле, крадется дальше. С ними идет Максим.

За бугорком вырастает шалаш. Немцы ложатся и ждут. Они лежат десять, пятнадцать, двадцать минут — никого. Только выпы все кричит и кричит в камышах.

Первым поднимается ефрейтор — здоровый дегина с «Железным крестом» на груди.

Осторожно отодвинув сплетенную из камыша дверь, он входит в шалаш.

Шалаш пуст. Но совсем недавно здесь были люди: на столе лежат неразрезанные помидоры, куски сала, хлеб, и стоит бутылка из-под водки — она наполовину пуста.

Ефрейтор берет бутылку, нюхает, весело ухмыляется и, задрав голову, пьет прямо из горлышка.

В шалаш входят Максим с автоматчиком. Немец с грустью смотрит на ефрейтора: этот дегина может вылокать бочку и ничего не оставить товарищу.

И вдруг под лавкой он видит плетеную корзину. Из корзины заманчиво торчат красные сургучные головки водочных бутылок.

Автоматчик нагибается.

— Брось! — кричит Максим.

Поздно. Немец вытаскивает корзину — и страшный взрыв гремит над лиманом. Он сметает шалаш, рвет на части ефрейтора, Максима, автоматчика.

Одновременно взлетает на воздух песчаная отмель, где пристали немецкие лодки. И, как эхо, гремят взрывы на другом конце острова: это взорвалась на минах вторая группа немцев и полицейских.

Уцелевшие немцы мечутся на берегу. Они бросаются к лодкам. Но камыши ожили. Оттуда летят гранаты и бьют сухие выстрелы карабинов.

Ни один немец и полицейский не уходит живым с острова.

И снова тишина стоит над лиманом. Даже выпы не кричит: испугалась грохота мин. Только у самого берега серебрится поверхность воды: это всплыла оглушенная взрывами рыба.

26.XII.

От штаба куста получен приказ снова подорвать железную дорогу. У меня в

лагере буквально ни одного минера — все на операциях.

Зову к себе Кириченко.

— Николай Ефимович, выберите двух минеров, пусть слабеньких, дайте им в помощь трех человек из другого взвода, быстренько их понатаскайте, объясните, что к чему, и отправьте на диверсию. Это — в разрез всем нашим законам, но ничего не поделаешь.

Явился нарочный от Ветлугина и принес интересные вести.

Мусьяченко передвинул свою группу к Абинской и решил провести вторую диверсию на той же ветке, как только немцы откроют по ней движение. Это дерзко, но правильно.

Опять началось наблюдение.

Агентурная разведка сообщила Мусьяченко, что на станцию Холмская по восстановленному пути прибыл первый поезд. Судя по всему, немцы придумали какой-то новый способ охраны поездов. Что это за способ, разведке установить не удалось.

К полотну подползли Янукевич, Ветлугин, Мусьяченко. Они пролежали под дождем сутки — поезда не было. Но зато они обнаружили много нового и неожиданного.

Прежде всего, кроме обычных постов через каждые сто метров и групп обходчиков, немцы оголили стыки рельс, чтобы нельзя было замаскировать мины. Затем, время от времени по дороге пускали бронедрезину, проверяя посты, обходчиков и железнодорожный путь. И, наконец, в том месте, где полотно близко подходило к шоссе, все подходы к дороге были густо заминированы и ограждены колючей проволокой. Немецкие часовые без предварительного оклика стреляли в каждого, кто приближался к проволоке.

Но самое интересное разведчики увидели позже.

Неожиданно со стороны Холмской взвились дымовые ракеты и послышались автоматные очереди.

Немцы на дороге заволновались, забегали.

Прогремела в оба конца бронедрезина. На шоссе показались автомашины. Они привезли автоматчиков. Сплошной цепью, по два на каждые тридцать метров, они встали по обе стороны железнодорожного пути.

Только тогда из Холмской тронулся поезд. Он шел медленно, делая не больше трех-пяти километров в час.

Вид поезда был необычен: впереди три платформы, до верха груженные камнем, за ними два пульмана, бронированные и вооруженные не только тяжелыми пулеметами, но даже пушкой, и только после этого — паровоз и обычные вагоны.

Но и этого мало.

По обеим сторонам паровоза, по бровке полотна, ехали мотоциклисты с пулеметами, а на подножках вагонов висели автоматчики, облепив поезд, как мухи мед.

Вначале наши приуныли.

При такой охране невероятно трудно подобраться к полотну. А затем — наши обычные мины мгновенного действия при таком составе поезда непригодны: они взорвут лишь первые платформы с камнем (надо думать, их вес был равен весу паровоза, на который рассчитывались наши мины). При той скорости, с которой идет поезд, пожалуй, даже паровоз не сойдет с рельс. Вагоны же наверняка останутся целы.

Словом, дело было дрянь: немцы как будто нас перехитрили.

Когда наши ползли обратно, Ветлугин неожиданно громко расхохотался. Мусьяченко решил, было, что Геронтий Николаевич «тронулся» с горя. Но Ветлугин оставался пребывать в здравом уме и твердой памяти: просто он придумал новую каверзу и не мог скрыть восторга.

Геронтий Николаевич тотчас же засел за расчеты. Ругался, что мало бумаги и что «обстановка для научной работы недостаточно подходяща»: он сидел под кустом, шел дождь, было холодно, бумага подмокла, руки коченели.

Часа через три расчеты были закончены. Ветлугину помогали Литвинов и Янукевич.

С нарочным Геронтий Николаевич прислал чертежи и расчет, адресованные Еременко. В прилагаемой записке сказано:

«Степан Сергеевич, проверьте мои выкладки. Если ошибок нет, введите изучение новой мины в учебный план нашей минной школы. Уверен, что мы возьмем эту штуку на вооружение. Надеюсь, что мне удастся весь поезд поднять на воздух. Не задержите ответом.

Ваш Ветлугин».

Мы с Еременко внимательно проверили расчет Ветлугина. Это был остроумный проект новой мины замедленного действия, причем степень замедления регулировалась чрезвычайно просто.

Еременко в восторге: он обещал сегодня же познакомить наших студентов с новым изобретением.

Я еще раз перечел короткую записку Геронтия Николаевича, присланную на мое имя. В конце размашистым почерком стояло:

«Честное слово, Батенька, хорошо быть инженером».

Офицеры-разведчики, присланные из штаба армии, собственными глазами увидели понтонные мосты.

Приказал Ельникову в тайне вести подготовку удара по этим мостам.

27. XII.

В нашем Яблоновском филиале появились «пламяницы» — две девушки-рыбачки. Они в прекрасных отношениях с немецкой охраной.

Обычно около полудня они подходят к мосту с корзинами, полными фруктов и яиц, и дешево распродают свой товар фашистским часовым.

Девушки вальсы и миловидны. Они знают несколько немецких слов и флиртуют напрапалу.

Пламяницы так акклиматизировались, что сидят около стальных тростов моста, будто у себя в клуне.

Это очнь противно — улыбаться немцам. Но молодые рыбачки получили заверения, что они сами непосредственно будут в нужный момент рвать троссы. И девушки каждый день ходят к немцам и улыбаются. А по вечерам Власов обучает их минному делу.

Вернулась контрольная разведка от разъезда Хабль.

Группа Мусьяченко потрудилась на совесть: взорваны три поезда, мост и четыре машины на шоссе.

В особом эшелоне было свыше шестидесяти вагонов. Четырнадцать из них были гружены снарядами, остальные танками, танкетками и артиллерией. Движение на этом участке прервано на добрую неделю.

Немецкое командование расстреляло около тридцати охранников.

Первая операция Мусьяченко прошла блестяще.

Но больше от него пока нет никаких вестей.

Сегодня наша минная школа на Планческой выпустила шестидесятого воспитанника.

Слащев отметил этот своеобразный юбилей и закатил пир.

28. XII.

Карпов опять отличился.

Все началось с того, что, заскучав, Карпов поздно вечером пробрался в свой родной хутор.

Его встретила взволнованная дочь.

— Папка, а я к тебе бежать собралась. На хутора пришли немецкие машины и привезли ящики. Я пошла посмотреть и слышала, как полицейский говорил: «Это вареники для партизан».

Карпов решил проверить. Ночью он подобрался к машинам. Ярko светила луна. На машинах лежали мины.

— Вот что, дочурка. Есги сейчас к нашим пионсрам и эсзи в хату. Если кэго не успеешь позвать — че беда. Но только, чтобы все пастушата были.

Задами, огородами, бесшумно переле-

зая через плетни, ребятишки собрались в хате Карпова.

— Дело, ребята, серьезное. Немцы привезли мины. Надо полагать, хотят заминировать все тропинки, что идут через камыши к нам, в лиман. Они думают запереть нас в мышеловку. Конечно, мы можем сегодня уйти. Но партизанам не пристало отступать. И я прошу вашей помощи, ребята. Предупреждаю, это не легко будет сделать. Если догадаются немцы, если поймают, вас — убьют. Но надо сделать так, чтобы не поймали. И это можно сделать. Вся надежда на пастухов. Но одним пастухам не справиться — вы все должны помочь им...

И Карпов рассказал свой план.

Ребята не подвели. Вечером, кружной тропинкой, известной только Карпову и его дочурке, пастушата пригнали в лиман бычков и яловых коров, принадлежащих немцам и полицейским.

Ночь прошла спокойно.

На утро развели скот по дорожкам и отпустили с привязи. Коробы и бычки постояли, подумали и побрели домой.

Через несколько минут начались взрывы. Вверх взлетали столбы дыма, грязь, камыша.

Вечером по разминированным коровами тропкам вышла группа Карпова. Она заложила мины на мосту, что был переброшен через болото на дороге из Краснодара к Мианцеровским хуторам, заминировала высокую греблю и противоположный берег болота; Карпов ждал карательной экспедиции из Краснодара.

Он не ошибся: утром вереница машин с немецкими автоматчиками показалась на шоссе.

Головные машины взорвались на гребле. Хвост колонны устремился на мост — и взлетел на воздух.

После обеда подошли новые машины из Краснодара. Автоматчики по доскам перебрались через болото. Но лишь только они начали взбираться на высокий противоположный берег, как снова загремели взрывы.

Немцы отступили. Карпов победил.

Из штаба куста получен приказ снова прервать железнодорожное движение на участке Ильская — разъезд Хабль и минировать мосты на шоссе.

Как на зло, у меня в лагере почти не осталось опытных минеров — все на операциях. С трудом сколотил группу: командир — Воробей, старший минер — Еремснко, минеры — Луста, Малышев, Кузьменко, Коновиченко.

Приказ штаба куста давал очень сжатые сроки. Как следует подготовиться к операции не удалось.

Группа вышла после обеда.

.....
Говорил с группой, подобранной Кириченко. Они не отказываются идти на диверсию. Они постараются сделать так, как их учил Николай Ефимович. Но, к сожалению, Кириченко их мало чему успел обучить. У них не было практики. И они боятся провалить серьезную операцию.

Они правы. Завтра на рассвете поведу их сам. А Николай Ефимович должен все-таки остаться.

29. XII.

Сегодня рано утром собрался вести группу и случайно обнаружил, что Кириченко пропал. Обыскал Планческую, Крепостную, запросил заставы — никаких следов.

Отправили на поиски разведчиков. Они облазили весь передний край, обшарили «нейтральную зону», побывали даже у немцев, но нигде ни малейших следов Кириченко.

Завтра буду продолжать поиски.

В голову лезут самые несурьезные мысли: уж не выкрали ли немцы Николая Ефимовича, как когда-то украли нашего Лусту.

.....
Ельников сообщил: к реке, чуть выше того места, где спрятаны пентоны шестнадцати немецких мостов, с предельной осторожностью свозятся толстые бревна. Наши сбивают из них пласты и готовят гнезда для взрывчатки.

План Ельникова прост: когда мосты будут наведены, он спустит вниз по реке свои пласты со взрывчаткой, они ударятся о мосты и взорвут их.

План не плохой. Но надо иметь про запас еще хотя бы одну возможность взрыва на случай провала. Но чем дублировать пласты Ельникова — ума не приложу.

.....
Только что прибыл новый нарочный от Мусьяченко. Он принес две коротких записки.

Первая адресована мне:

«Операция № 2 прошла удачно: весь поезд целиком поднят на воздух. Пусть малюверы не пищат: рвать можно в любых условиях. Подробности расскажет нарочный».

Мусьяченко».

Вторая записка от Геронтия Николаевича к Еременко.

«Степан Сергеевич. Схема и расчет сегодня проверены: в основном — подходящие. Прошу изменить только две детальки. Чертеж прилагаю».

Ветлаугин».

Группа Мусьяченко ушла на новые операции.

30.XII.

Продолжаем поиски Кириченко.

Немцы наседают. Каким-то чудом им удалось разминировать дорожку в нашем минном поле, и группа немецких автоматчиков висит сейчас над нашими столбовыми дорогами из лагеря.

Как нехватает нам Кириченко. И куда он запропастился.

Недалеко от хутора Яблоновского расположен железнодорожный разъезд Энем. На Энеме — немецкий концентрационный лагерь, огороженный многоярусными проволочными заграждениями.

Факультативная задача нашего «Яблоновского филиала» — освобождение заключенных по указанию командования.

Вчера из лагеря бежала уже третья группа пленных.

Подробности побега мне неизвестны. Знаю только, что наши действовали через знакомых девушек-казачек, которые сплюли спиртом немецкую охрану.

31.XII.

Явился, наконец.

Грязный, с головы до пят, Кириченко входит ко мне на командный пункт. Молча снимает рюкзак, ставит в угол автомат и смотрит на меня детскими, виноватыми глазами.

— Товарищ командир отряда, приказ штаба куста мною выполнен: поезд с немцами вчера ночью взорван. Я не мог вернуться в ту же ночь: грязь по колено да к тому же немцы за мной так охотились, что право же, я сам удивляюсь, что живым вырвался... Вы не подумайте, Батя, что самовольство мое от упрямства или от каприза какого-нибудь дурацкого. Я просто решил, что вам самому рисковать незачем. А мне, ведь, это больше с руки...

Николай Ефимович как-то нерешительно переминается с ноги на ногу. На полу лужа.

— Если вы очень сердитесь, Батя, прикажите выдать мне двойную порцию спирта: продрог очень.

Я так обрадовался, что Николай Ефимович жив, что расцеловал его, велел выдать тройную порцию спирта и позабыл поругать.

Сегодня Причина принес, наконец, весть, которую мы давно ждали: Северо-Кавказская армия перешла в наступление — взята Моздок.

1943 год

1.1.

Я рассказал Николаю Ефимовичу о немцах на минном поле. Он вначале очень расстроился, а потом неожиданно весело рассмеялся.

— Нет, Батя, это хорошо. Это просто замечательно. Я им такую мышеловку устрою, что не только немец, а полевая мышь из нее живой не выйдет.

Кириченко ушел из лагеря. На всякий случай, я послал с ним группу прикрытия. С ними ушла и Мария Янукевич.

Сейчас 10 часов утра. Николай Ефимович еще не вернулся. На минном поле тишина. Только на рассвете оттуда донесся еле слышный взрыв. И потом снова все тихо.

Только что вернулся Кириченко. Он шел впереди всех, держа на перевязи окровавленную левую руку. Лицо виноватое, как у провинившегося ребенка.

Мария Янукевич, волнуясь, доложила, что при установке последней, сособо фокусной мины взорвался новый взрыватель и оторвал три пальца на левой руке у Николая Ефимовича.

Немедленно на линейке отправил его к Елене Ивановне, на медпункт.

Через час выеду туда сам.

Немцы все-таки прорвались на Мианцеровские хутора. Они застали пустые хаты: все, кто мог двигаться, ушли в камыши.

Фашисты подожгли крайние дома и бросили в огонь двух дряхлых стариков.

Сейчас вернулись разведчики с Плавстроевской перемычки, которую рвал Мельников. Мост был искорежен на совесть. Вместе с мостом взорвался танк. С него немцы сняли бронзовые листы, — очевидно, себе на дзоты. Движение на Новороссийск в этом месте прервано.

2.1.

Приехали на медпункт, когда Елена Ивановна только что закончила операцию.

Николай Ефимович сидел, курил папиросу, нервно затягивался и попрежнему виновато улыбался: бедняга искренне считал, что винсват в том, что вышел из строя.

Его положили в соседней комнате на госпитальную койку.

Елена Ивановна чуть не плачет.

— Я очень боюсь, что ему придется

ампутировать руку. Но я сама свезу его в тыловой госпиталь, сама буду говорить с хирургом и сделаю все, чтобы спасти руку...

3.1.

Кириченко был прав: ни один немец не ушел живым из его мышеловки. Все взорвалось на минах. Только троих пришлось добить из винтовки.

Группе Лагунова положительно не везет: попытка пробраться в Краснодар через хребет Пшеда кончилась неудачей.

Я отправил их в Крепостную. Оттуда они пойдут в город через водоразделы Афица и Шешш.

Группа Веребей вернулась.

Степан Игнатьевич молча подошел ко мне. На нем лица не было.

— Разрешите доложить, товарищ командир отряда. Задание выполнено. Поезд взорван. Но старший минер Еременко погиб при взрыве... Нет, Батя, больше Степана Сергеевича...

В сознании никак не укладывается, что не стало нашего Степы, нашего общего любимца, учителя наших минеров, мастера на все руки, веселого запевала, прекрасного товарища.

Дело было так. Группа тронулась до рассвета. Идти трудно: тучи низко висели над землей, шел дождь, ревел ветер в глубоких ериках, глина липла к сапогам, ноги скользили на мокрых камнях. Только к вечеру подошли к железной дороге, и как всегда, начали наблюдения.

Первая ночь, намеченная для взрыва, прошла впустую: немцы не дали заложить мины.

Наступил канун нового года.

В сумерки немцы открыли стрельбу. Они били из винтовок, из автоматов, из винтовок, из автоматов, из пулеметов. Били бессмысленно, без цели по кустам, по лесу, по темной молчаливой степи. Быть может, они били спящую, праздную новый год. Быть может, ими руководил безотчетный страх. Но они стреляли всю ночь. И всю ночь пролежали наши в кустах, под дождем, на мокрой земле, терпеливо дожидаясь следующей, — третьей ночи...

Начало смеркаться.

Первым вышел командир группы, Веребей. За ним, чутко слушая шорохи, в кромешной тьме шли цепочкой остальные.

Место, назначенное для взрыва, оказалось неудачным. Так же тихо, один за другим, отошли вправо. Взобрались на полотно. Луста начал копать ямку. Кузьменко и Коновиченко легли в дозоре. Группа прикрытия замерла в кустах. Ере-

менко вынул противотанковую гранату.

Удивительный человек — Степан Сергеевич.

Не раз присутствуя на занятиях в минной школе, я слышал, как убежденно, с большим знанием дела, Еременко доказывал своим ученикам все преимущества нашей новой автоматической мины. Не раз при мне он восхищался замедлителем ми Ветлугина. Он прекрасно знал нашу мину, он мастерски умел обращаться с нею, умом он высоко ценил ее достоинства, но его сердце не лежало к мине. Для себя лично он предпочитал противотанковую гранату. Ею он рвал поезда, и, надо отдать ему должное: рвал безотказно, на смерть.

На этот раз он тоже вышел на полотно со своей любимой гранатой.

Он снял предохранитель и накладку и, осторожно придерживая инертную массу шпилькой, положил гранату в ямку. Луста начал укладывать вокруг нее толовые шашки.

И вдруг рельсы загудели. Сначала еле слышно, потом все громче, громче.

Шел поезд в неурочное ночное время, как в ту памятную теплую октябрьскую ночь на четвертом километре, когда погибли мои ребята.

Надо было выхватить гранату и отскочить. Но оказалось нервное напряжение долгого ожидания, заговорил долг солдата безоговорочно выполнить приказ командира, и оба минера, не сговариваясь, продолжали работу.

Поезд был буквально в десяти метрах, когда Еременко и Луста соскочили с полотна.

Взрыв оглушил даже тех, кто в группе прикрытия лежал в кустах. Взрыв разорвал паровоз. Передние вагоны полетели под откос. Остальные, наскочив друг на друга, лежали на полотне, разбитые в щепы.

Первым пришел в себя Веребей и бросился искать минеров.

Он нашел Лусту недалеко от насыпи. Леонид Федорович лежал, широко раскинув руки, без всяких признаков жизни. Приказав Малых и Кузьменко отнести Лусту, Веребей побежал искать Еременко.

Он нашел Степана Сергеевича под обломками разбитого поезда. Еременко был мертв.

Так же, как тогда, на четвертом километре, друзья финскими ножами вырывали неглубокую могилу. Жужжали пули над головой, срезая ветки кустов. Страшно кричали раненные немцы на полотне.

Первым опустили в могилу Еременко. Малых поднял Лусту и вдруг почувствовал, что под рукой бьется сердце. Он положил Леонида Федоровича на землю

и брызнул в лицо водой из фляги. Веки Лусты чуть дрогнули.

— Жив. Луста жив, — забыв о пулях, об опасности, о немцах, во весь голос закричал Малых.

Еременко забросили землей, положили Лусту на самодельные носилки и тропками, через густой кустарник, по глубоким ерикам вернулись в лагерь.

Сейчас Леонид Федорович под неусыпным наблюдением Елены Ивановны.

А Степана Еременко нет... Мне все кажется, он подойдет сейчас, сядет рядом и вполголоса, так, чтобы не слышал строгий комендант, затынет казацкую песню, широкую и привольную, как наши кубанские степи...

4.I.

Немцы выбиты из Кавказской (г. Кропоткин) и катятся к Краснодару. На железной дороге сплошной поток поездов. Приказ группе Бибикова немедленно приступить к действиям.

.....
Узнав от офицеров-разведчиков координаты таинственных понтонных мостов, наши самолеты время от времени навещают их. Немцы поняли, что тайна разгадана. Они стали особенно бдительны. И Ельникову чертовски трудно сколачивать тяжелые плоты под самым носом у взбудораженных фрицев. Работа все же двигается, и плоты почти готовы.

Но все-таки, как же дублировать эти плоты.

.....
Сегодня отправил Николая Ефимовича в тыловую госпиталь. Велел устроить его поудобнее на двухкопеечной арбе. С ним ушли санитары — Мельников и Кравченко. И, конечно, Елена Ивановна. На всякий случай она захватила гранаты и автомат — путь им предстоит тяжелый и опасный.

Когда все было готово к отправке, я пошел проститься с Николаем Ефимовичем. Он протянул мне здоровую правую руку и, грустно улыбаясь, сказал:

— Ну вот, Батя, и конец карьеры диверсанта Кириченко...

5.I.

Позавчера ночью одновременно взорваны два моста с поездами на подходах к городу со стороны Кавказской. Движение прервано по крайней мере дня на три.

Это работа наших «сапожных диверсантов» во главе с Бибиковым.

.....
Кузнецов написал стихи на смерть Еременко.

Леонид Антонович, конечно, не Пушкин, но сейчас эти наивные строки доходчивы до сердца:

...Ночью темною, жгуче холодной,
В час, когда наступал Новый год,
Шел с друзьями минер

беспощадный,
В свой последний опасный поход...

Взрывом страшным степь всколыхнуло,
Смерчем огненным ночь обожгло,
И обломки вагонов горящих
С ненавистным врагом подняло...

Схорони, мать-земля дорогая,
Кровь святую, чтобы враг не видал,
Схорони его сердце большое,
Чтобы ворон его не клевал.

Пуст, все ветры степные расскажут,
Как героически погиб партизан.
Его слава, как песня полетит
По лесам, по горам и степям.

На могиле твоей мы клянемся
В бой последний бесстрашно идти,
Твое знамя, облитое кровью,
С чувством гордым вперед
понести...

6.I.

За смерть стариков на Мианцеровских хуторах сегодня уже четвертый раз на минах Карпова рвутся немецкие машины.

7.I.

Опять неудача у Лагунова.

Прежде всего, в лесу у Афиписа они неожиданно наткнулись на хорошо замаскированную немецкую засаду. Пришлось отступить с боем и, круто свернув влево, попытаться счастья на более глухом пути.

Как на грех, будто из-под земли выросла вторая засада. Схватка была жестокой, а главное шумной. Пришлось вернуться в Крепостную...

.....
Наш краснодарский филиал придумал остроумный дублеж к плотам Ельникова: нужный момент будет сорван с причала дебаркадер или тяжелая баржа с заложенной взрывчаткой и спущены вниз по течению.

Такая машина порвет, конечно, любой понтонный мост.

8.I.

Немцы завязали крупные наступательные бои под Новороссийском и подтянули к предгорьям отборные части.

Наши минеры не знают отдыха: одна операция следует за другой.

Кузнецов уже махнул рукою, что минеры не брются: не до бритвы, когда несколько суток кряду не удается уснуть.

Не считаясь с потерями, немцы шлют к морю эшелон за эшелонами и широким

фронтом ведут наступление на передовья.

Им удалось, наконец, захватить многогорье Ламбина. Сейчас они лихорадочно строят на нем укрепления.

Для нас это тяжелая потеря. Ламбина — как ключ к равнине...

9.I.

Елена Ивановна вернулась.

— Ехать в госпиталь было очень тяжело, — рассказывала жена. — Грязь непролазная, даже в сапоги набиралась вязкая жижа. А тут, как на зло, немцы оседали дорогу — три раза пришлось пробиваться гранатами. Но все-таки добрались.

Хирург осмотрел руку и решил немедленно ампутировать. Тут, сознаюсь, я немного погорячилась. Стала ему доказывать, что отрезать руку просто, а спасти потруднее, что в моей практике было несколько таких случаев, и всякий раз я обходилась без ампутации, что рана в порядке, что я ее, еще свежую, тщательно обработала, что температура у больного нормальная. Одним словом, провела атаку по всем правилам...

— Хирург сдался: дал отсрочку на три дня. Я бессменно дежурила у Николая, сама перевязывала рану, сама кормила и ставила градусник. К концу третьих суток температура попрежнему оставалась нормальной. Я победила: хирург дал мне слово, что ампутировать не будет. И ты знаешь, когда я пришла прощаться с Николаем, этот угрюмый бука, этот медведь поцеловал мне руку и сказал:

— Спасибо, мать. Никогда не забуду.

И на глазах слезы.

Я убежала из комнаты и разревелась...

10.I.

Немцы вчера наладили движение по дороге Кавказская — Краснодар. Но первый же поезд, пущенный ими, взлетел на воздух.

Это тоже работа Бибикова.

.....

Сегодня мы похоронили Дакса.

Его все-таки ухитрились отравить. Жена пыталась его спасти — делала промывание желудка. Ничего не помогло: яд был слишком силен.

Дакс умирал, как человек. Он смотрел на Елену Ивановну печальными, грустными глазами. Он понимал, что умирает, и, казалось, чувствовал себя виноватым, причиняя своим хозяевам так много хлопот.

11.I.

Радио сообщило о взятии нашими войсками всей Минераловодческой группы.

.....

С Лагуновым несчастье...

Перед выходом его отряд был разбит на две группы — так легче пробраться через немецкие заставы.

Первую группу — Лагунов и Гладких — вела Орлова. Вторую группу — Литовченко, Сухороброву и Лугового — вела Кузнецова.

Проводники были опытные: они уже не раз проделывали этот тяжелый, опасный путь.

Ночью шел проливной дождь. Утром ударили заморозки.

Вторая группа еще затемно проскочила открытые места и подошла к переправе через Афипис.

Река шумела. По ней плыли маленькие льдинки.

Кузнецова разделась, протерла тело сухим спиртом и вошла в воду. За ней, связанные друг с другом длинной веревкой, пошли остальные.

Закоченев, выскочили на противоположный берег и, протанцевав бурный танец, чтобы согреться, отправились дальше, благополучно добрались до Кубани и на лодке пробрались в город.

Но первой группе не повезло.

Лагунов, Гладких и проводник Орлова задержались в пути: дорога была тяжелой — и только к утру они сумели обогнуть Смоленскую.

Дальше лежала степь, прорезанная густой сетью дорог. Итти было рискованно. Забрались в кусты терна и залегли до вечера.

Все вокруг покрыто белым инеем. Лежать холодно. Мучительно хотелось встать, побегать, размяться. Но кусты низки. И наши, лежа на спине, размахивали руками и ногами. Со стороны, очевидно, это было очень смешно. Но нашим не до смеха: движения быстро утомляли, но отнюдь не согревали.

Кое-как промучились до темноты и тронулись в путь. Орлова быстро пошла к реке. Предстояла переправа по грудь в ледяной воде.

Холодная ночь в терне сказала: Лагунов и Гладких категорически отказались переходить вброд реку — они боялись, что судорога сведет тело.

Они предложили другое: подойти к Георгие-Афипиской и, пользуясь своими документами, обмануть охрану и по мосту выбраться на шоссе.

Начался горячий спор. Но Лагунов все же заставил Орлову итти в Афипискую.

Решили заночевать в глубокой балке у реки возле хутора Рашпилев.

Ночью ударил мороз. Балка казалась достаточно глубокой — и Лагунов развел костер. Гладких принес котелок воды. Началось чаепитие.

И как на грех, из хутора перед рассветом вышел на рыбную ловлю полицей-

ский. Он заметил огонек, увидел трех подозрительных людей у костра и бросился обратно.

Полинейские незаметно подползли к костру. Наши не успели даже бросить гранату: их сбили с ног, схватили и погнали сначала в Георгие-Афипскую, а оттуда, избитых и окровавленных, отправили в Краснодар, в гестапо.

Освободить их нет никакой надежды...

.....
Немцы штурмуют Крепостную.

Сафонов и Елена Ивановна, погрузив на подводы имущество фактории, отходят в горы.

Я снял с операции минеров. Мы будем драться за нашу факторию до последней возможности. Но силы слишком неравны: сто против одного. Едва ли продержимся более суток...

12.1.

Какой день...

Ведем бой на подступах к Крепостной. Кажется, земля и воздух до отказа полны грохотом разрывов, треском пулеметов, стоном мин.

Наши стрелки едва успевают перезаряжать автоматы. Но из кустов, из-за камней, из-за пригорков появляются новые колонны немцев, рвутся в лоб, охватывают полукольцом.

И вдруг с первого фланга раздаются частые автоматные очереди и громкое могучее «ура».

Я бросаюсь туда — и не верю глазам: рассыпавшись цепью, идут в атаку красноармейцы.

Откуда. Как здесь, в нашей глуши, на подступах к Крепостной, в разгар жестокого боя, появились красноармейцы.

Они идут — цепь за цепью, шеренга за шеренгой; серые шинели, звезды на шапках, штыки наперевес.

За громадным камнем, поросшим зеленоватым мхом, боец перевязывает рану.

— Откуда, товарищ.

Там, закрытые серыми рваными тучами стоят снеговые вершины Кавказа.

Нет, оттуда они не могли прийти: там нет прохода.

Боец кончил перевязку. Он берет винтовку и деловито спрашивает:

— Отец, Краснодар близко?

Я не успеваю ответить. Он бежит догонять своих. А могучее «ура» гремит далеко за оврагом.

Откуда бы они ни пришли — в бой. Вместе с ними.

Мы никогда не дрались так, как сегодня. И немцы не выдержали удара. Они бегут к вершине Ламбина, где за тремя рядами дзотов, за пятирусным переплетом колючей проволоки стоят их основные силы.

Немецкие наблюдатели видят свои бегущие части. Они видят красноармейцев, неведомо откуда пришедших сюда, в предгорья.

В панике немцы закрывают проходы в колючей проволоке. Орудия с Ламбина открывают заградительный огонь. Перед отступающими вырастает огненная стена. Немецкое командование жертвует своими солдатами, только бы на их глазах не ворвались на вершину внезапно появившиеся страшные красноармейские цепи.

Немцы в ужасе мечутся в кольце. Мы рвем их боевые порядки. Бойцы орудуят штыком, прикладом, саперной лопаткой. Наши выхватили ножи.

Небольшая группа уцелевших фрицев, бросив оружие, поднимает руки.

Вечером я присутствую при допросе пленного офицера, командира немецкой горно-егерской части. Он машинально отвечает на вопросы: его мучает какая-то неотвязная мысль:

— Скажите, господин лейтенант, — неожиданно спрашивает немец. — Откуда вы пришли?

— Оттуда, — улыбается лейтенант, и, как тот раненый боец у камня, показывает на юг.

— Не может быть. Мне хорошо известно на эту часть хребта: по его козым тропам не пройдет даже горная лошадь.

— А мы все-таки прошли.

Батальон шел через горы несколько дней. Пришлось оставить всю артиллерию, обоз, кухни, лазарет, даже тяжелые пулеметы. Бойцы карабкались на гучи, в кровь разбивали ноги. Последние два дня они ничего не ели. Но они все-таки перескочили через горы и с хода бросились в штыки.

13.1.

С гор спускается батальон за батальоном. Кажется, двинулись горы и пошли в наступление на врага.

Голодные, оборванные, истомленные страшным переходом через горные кручи, бойцы с хода идут в наступление. И снова я слышу один и тот же вопрос:

— Товарищ, Краснодар близко?

14.1.

Группа полковой разведки вырывается далеко вперед, и, не зная наших ериков, хмеречей и течей, попадает в засаду. Приходится отходить с тяжелым боем, теряя убитых, не успевая подбирать раненых.

Немцы прижимают бойцов к обрыву, все туже сжимая кольцо. Выхода из кольца нет. Сзади крутой темный глубокий провал.

Осторожно пробираясь в кустах, идет по краю обрыва небольшая группа наше-

го отряда. Это Елена Ивановна направляется на хутор Красный: здесь жена должна развернуть походный госпиталь для раненых бойцов.

Наши с гранатами ползут в тыл наступающим немецким цепям. Елена Ивановна, Кравченко и Мельников остаются в прикрытии. Они недвижно лежат в кустах. Где-то недалеко, на поляне, стонут раненые красноармейцы.

Наши подползают все ближе и ближе.

У красноармейцев на краю обрыва кончились патроны.

Плечо к плечу, штыки наперевес, храбрцы бросаются в последнюю атаку.

Немцы открывают жестокий огонь. Падают раненые.

Передние ряды смыкаются, начинается рукопашный бой.

Неожиданно оживают кусты: растянувшись широкой цепью, наши швыряют гранаты. Ошарашенные немцы бросаются к единственной тропке, что ведет к станции. Здесь их встречают длинные очереди нашего пулемета...

...В кустах неподвижно лежит Елена Ивановна.

Шорох. На поляну, трусливо озираясь, выходят два немца-мародера: они обшаривают раненых красноармейцев.

У можжевелевого куста, широко раскинув руки, лежит юноша-командир. Высокий, белобрысый фриц подходит к нему. Елена Ивановна, переведя автомат на одиночный огонь, берет немца на прицел. Фриц шарит по карманам.

Неожиданно юноша поднимает голову и впивается зубами в руку мародера.

Немец замахивается ножом.

Выстрел. Мародер падает. Второй немец бросается бежать. Мельников укладывает его на месте.

Елена Ивановна подходит к юноше. На гимнастерке, залитый кровью, орден Красной Звезды.

Жена быстро разрезает одежду. Перед ней лежит девушка...

А у обрыва все кончено: только несколько фрицев удалось юркнуть в кусты.

Дав проводника красноармейцам, наши идут в хутор Красный. Кравченко и Мельников бережно несут на носилках раненую девушку.

15.I.

Наши батальоны, спустившиеся с гор, начали фронтальное наступление на подступы к многогорью Ламбина.

Я послал Сергея Мартыненко с минерами и с группами бойцов в глубокие тылы немцев рвать мосты на путях подхода немецких резервов.

18.I.

Вчера мы провели несколько батальонов гвардейцев в тыл Азовки.

Оставив один батальон в засаде, гвардейцы, как снег на голову, обрушились на немцев. Два фашистских полка, не приняв боя, поспешно отошли, бросив всю технику и склады.

Из Северской выступила румынская либерная дивизия. Она пыталась взять нас в клещи. Но батальон, оставленный в засаде, рванулся в Северскую и разгромил штаб дивизии и десяток складов.

Румыны бросились обратно в станицу Кабанными тропами мы вывели гвардейцев в предгорья.

17.I.

Многогорье Ламбина — ключи к равнине: только взяв эту горную крепость, можно прорваться в степь.

На совещании в штабе командующего фронтом решено идти на штурм. Я доложил генералу результаты работы наших разведчиков: им удалось засечь основные огневые точки, расположение дзотов и определить силу гарнизона.

Предстоит тяжелый бой. Немцы успели возвести на горе многоярусную систему обороны. Гарнизон отборный: два дня назад сюда подтянуты штрафные офицерские батальоны.

У наших гвардейцев только ротные мины и ограниченное количество патронов: техника и обозы застряли в горах.

Я послал Павлика Сахатского с минерами расчищать путь.

18.I.

На рассвете гвардейцы пошли на штурм.

Стремительным броском захвачено предполье. Впереди вырастает огненный вал: немцы открыли ураганный заградительный огонь.

Гвардейцы окапываются.

На востоке раздается гул моторов. Он все ближе, все явственнее.

Наши бомбардировщики делают широкий круг и ложатся на боевой курс. Кажется, все небо закрыто самолетами.

Визг бомб, грохот, столбы взметнувшейся земли.

Второй заход самолетов — и снова разрывы фугасных и осколочных бомб.

И опять рев моторов. Теперь бомбардировщики летят бреющим полетом, поливая из пулеметов.

У немцев растерянность: их зенитные батареи молчат.

Гвардейцы поднимаются. Со штыками наперевес, орудия гранатами, они рвут передний край и закрепляются.

Дальше идти нет сил: это будет стоить слишком дорого.

Вечером, на совещании в штабе, я предложил свой план: обойти немцев с тыла через хутор Макартет. Мои разведчики знают проход через минные поля.

Пришлось горячо поспорить. Но мой план принят.

Сейчас ночь. Моросит дождь. Воздух стонет от грохота разрывов; это наши эскадрильи волнами штурмуют многогорье.

Сквозь пелену дождя отчетливо видны вспышки разрывов, столбы земли, камней, осколков бетона.

А самолеты все летят и летят, и гул бомбежки не прекращается ни на минуту.

Завтра решительный штурм.

19.I.

Многогорье наше.

Когда гвардейцы с фронта ворвались во вторую линию укреплений, в окопах третьей линии уже гремело ура: это батальоны, обошедшие с тыла, добивали остатки немецкого гарнизона.

На горе все разорчено: валяются обломки орудий, пулеметов, трупы.

В стороне под деревьями, расщепленными бомбами, понуро стоят группы пленных штрафников-офицеров.

Ключ к равнине в наших руках.

20.I.

Госпиталь Елены Ивановны в Красном работает полным ходом: каждый день жена принимает десятки раненых — санитарные части спустившихся с гор батальонов застряли на перевалах.

Сегодня мне удалось мельком повидать Елену Ивановну.

— Раненая девушка поправляется, — рассказала жена. — Ее зовут Галя. Она командир разведки. Москвичка. Сирота. Когда пришла в себя, ее первое слово было «мама». Мы с ней подружились. Она славная, ласковая девочка. И она продолжает называть меня матерью... Я ее выхожу, поставлю на ноги, и она будет моей дочкой.

24.I.

Немцы штурмуют потерянное ими многогорье Ламбина.

Они подтянули сюда пять дивизий и не считаются с потерями.

Гвардейцы прочно удерживают позиции. Наши летчики ежедневно жестоко бомбят штурмующие немецкие колонны. Скоро гвардейцы начнут спускаться с предгорий в степь — к Краснодару.

Вчера взят Армавир.

25.I.

Группа Мусьяченко, наконец, пришла на Планческую, еле волоча ноги. На них лица нет. Последние четверо суток они почти ничего не ели.

Мы их переодели, накормили и уложили спать. Петр Петрович пытался было доложить мне о последней операции,

но я приказал ему сначала отдохнуть, а потом докладывать.

Сейчас они спят.

26.I.

Наши «гвардейцы» спали ровно двадцать восемь часов...

После взрыва поезда, который Ветлугин поднял на воздух, они разбились на три группы.

Первая группа — Слащев и Понжайло, отправились в Заабинские леса. Им предстояло выйти на железнодорожную ветку, Крымская—Тимашевка, продвигаться по ней как можно дальше, выяснить, что на ней происходит, взорвать мост и по крайней мере один немецкий эшелон.

Итти было чрезвычайно трудно. Лошадей пришлось оставить на хуторке и навьючить на себя мины, оружие, продукты.

Только на четвертый день выбрались к железной дороге, километрах в двадцати от Крымской. Забрались в густые кусты и расположились на отдых.

Вокруг было болото. Лил дождь. Легли прямо в воду, подожив под себя еловые ветки. Подушками служили гнилые пеньки. Спали по-очереди.

На следующий день, спрятав часть поклажи в густой кроне карагача, друзья отправились вдоль железной дороги по направлению к Тимашевке.

На вторые сутки подошли к Протоке. Железнодорожный мост через нее был взорван, очевидно, еще нашими саперами при отступлении.

Делать здесь было нечего. Двинулись обратно.

Один из участков дороги все же работал: по нему ходил поезд с «кукушкой». Слащев с Панжайло ночью заминировали мостик на дороге и двинулись в сторону Крымской.

День был пасмурный. В низинах, над болотами стоял туман.

Прогремел поезд.

Не дождавись темноты, наши вышли на полотно и начали его минировать. Они еще не кончили работы, как со стороны заминированного мостика раздался взрыв: надо думать, это взлетела на воздух «кукушка».

Второй взрыв прогремел, когда они едва отошли полкилометра.

Задача была выполнена. Они отправились напрямик к сборному пункту...

Вторая группа — Ветлугин, Литвинов и Мусьяченко — вышла на дорогу Крымская — Тамань.

Дорога была заброшена — поезда не ходили. Но Геронтий Николаевич не удержался и взорвал все-таки один из уцелевших мостов.

Третьей группе — Янукевич и Сафронову — предстояло пройти за Крымскую до Баканской.

Когда под дождем они пробирались по кустам, в тумане неожиданно наткнулись на небольшую группу румын. Произошла короткая схватка. Наши пустили в ход гранаты. Ни одному из румын не удалось скрыться. Но эта перестрелка в кустах переполошила немцев на шоссе и железной дороге. Пришлось отойти в сторону и двое суток пролежать в глухомани.

Когда тревога улеглась, наши подобрались к железной дороге и заминировали мост. Мины закладывали Янукевич и Сафронов. Мура охраняла их работу.

В ту же ночь на мосту взорвался поезд. Горящий состав рухнул в овраг...

На сборном пункте собрались все три группы. Надо было возвращаться обратно: немцы, взбешенные диверсиями, всюду искали партизан. Но у наших осталось еще немного взрывчатки — не нести же ее обратно...

Группа подошла к шоссе. Лишенные железной дороги, фашисты, кое-как подправив шоссе, пустили по нему колонны автомобилей.

Ночью Ветлугин заминировал большой мост на шоссе. На рассвете вместе с мостом взлетело на воздух шесть тяжелых машин.

27.I.

Новый взрыв на дороге Кавказская — Краснодар: разрушена труба под железнодорожным полотном. Движение по дороге окончательно прервано.

Молодцы «сапожники».

Мы с Ветлугиным подчитали: одновременно работают на операциях восемнадцать групп нашего отряда, считая, конечно, и наши филиалы.

— Ну, прямо-таки, концерн, Батенька, — смеется Геронтий Николаевич. — Есть и главное правление и директор-распорядитель, и промышленные предприятия на Планческой, и подсобное хозяйство, и школа для подготовки кадров, и филиалы, и широко раскинутая сеть дочерних обществ. Пройдет еще несколько месяцев, Ватя, и вам придется заводить специального управляющего делами и главного бухгалтера для учета прибылей и убытков.: Помню, когда Евгений мечтал о подобном развороте работ, мне его мечты казались фантастикой. А прошли какие-то полгода — и родился партизанский концерн. Хорошо... Только должен вам признаться, Батя, я бы хотел, чтобы как можно скорее директор-распорядитель созвал всех держателей акций в свободном Краснодаре и объявил о роспуске концерна в связи с победой. Как вы полагаете на этот счет, Батенька...

29.I.

Сегодня командование вызвало меня на многогорье Ламбина.

С его вершины видно далеко вокруг. Сзади, в тяжелых дождевых тучах, стоит Кавказ. Чуть в стороне отчетливо видна гора Папай — высокая, круглая, как шапка со шальком.

Впереди, круто спускаясь с гор, тянется лес. Дальше он переходит в густой кустарник. Между кустарниками и лесом лежит последняя линия немецких укреплений перед выходом на равнину. Она идет от хутора Шабанова к хутору Консулову, проходит перед Смоленской и левым крылом упирается в Афиц.

На созвещании шла речь о прорыве этой линии.

Я предложил демонстрацию на переднем сильно укрепленном крае, обход с тыла и удар во фланг, со стороны хутора Макартот.

Ночью мои разведчики во главе с Павликом Худоерко поведут в тыл немцам два батальона автоматчиков-гвардейцев.

30.I.

Ночь выдалась темной. Шел холодный, бесконечный дождь.

Два батальона спустились вниз. Хляпала грязь под ногами. Сапоги скользили на мокрых камнях.

Еще до рассвета первый батальон, снимая по пути немецкие патрули, проник до середины станицы Смоленской. У здания штаба завязалась короткая жаркая схватка.

Треск автоматов переполошил спящих фрицев. Они выскакивали из хат в одном белье. Их били гвардейцы, рассыпавшись по улицам.

Второй батальон ворвался с другого конца станицы. Он шел широкой цепью, гранатами выбивая немцев из хат.

К рассвету северная часть станицы была наша. У заставы, у дороги на Северскую держался дзот: его три тяжелых пулемета били, не умолкая.

К дзоту поползли гвардеец и наш разведчик. Несколько взрывов противотанковых гранат заставили замолчать пулеметы.

Подбежали гвардейцы. Взорвав двери, они ворвались в дзот и выволокли наружу раненого немецкого офицера — единственного, оставшегося в живых.

Наши сразу же узнали его: шинель из белого сукна, отороченная лакированной кожей, скрещенные кости и череп на рукаве, маленькие рыжие, вздернутые кверху усы, бесцветные белесые глаза. Это — один из командиров штрафных офицерских батальонов, прославленный даже среди эсэсовцев своей изощренной жестокостью.

Мы долго и тщетно охотились за ним. Ему везло: он всякий раз уходил живым.

Сейчас он стоял на дожде, мокрый, жалкий, весь какой-то облезлый. Может быть, от холода, а может быть, от страха, он зябко ежился.

Его увели. Ему придется ответить за всё: за изнасилованных казачек, за сожженных стариков, за брошенных в колодез детей...

Услышав стрельбу в станице, основные силы гвардейцев ударили по хутору Шабанову и врзались в передний край вражеской обороны.

Со стороны Северной заговорили дальнобойные немецкие батареи. В воздухе показались наши бомбардировщики.

Начался штурм последней линии немецких укреплений.

За ней лежала степь, широкая полноводная Кубань, Краснодар.

3.I.I.

Немцев крепко бьют на Кубани: вчера взяты Тихорецкая и Майкоп. Теперь очередь за Краснодаром.

1.II.

Лагунов и Гладких еще живы. Гестапо вызывает ряд краснодарцев на очные ставки с ними. Фотографии их обезображенных пыткой лиц агенты показывают работникам комбината, стараясь установить, кто же попал им в руки. Значит, наши молчат на допросах. Другого и быть не могло...

4.II.

Темп нашего наступления замедлился: немцы подтянули тяжелую артиллерию к Северной, а главное нам досаждают немецкий бронепоезд. Несколько раз в сутки он появляется на участке Северская — Георгие-Афипская. Оттуда наши наступающие части видны, как на ладони. И орудия бронепоезда бьют без промаха.

Я приказал Николаю Демьяновичу Причине взять трех минеров и взорвать бронепоезд.

В сумерки я пошел их провожать. Со мной вышли Павлик и Валерий.

Мы долго пробирались через минное поле, ползали в кустах, огибали немецкие заставы.

Где-то недалеко били пулеметы. Валерий решительно взял меня за руку.

— Батя, за вашу жизнь, я отвечаю головой. Дальше идти нельзя.

Мы вернулись на рассвете.

5.II.

Под утро меня разбудил Павлик.

— Батя, скорей...

Мы выскочили на улицу. Там, где лежала дорога Северская—Георгие-Афипская, высоко взметнувшись в небо, стоял огненный столб. Донесся глухой грохот взрыва.

Было ясно: это — работа Причины.

6.II.

Вернулась группа Причины.

— Бронепоезд взорван, — доложил Николай Демьянович. — Начисто. У нас потерь нет...

Крупные танковые и мотомехчасти немцев, откатившись от Туапсе, закрепились у Горячего Ключа.

Приказал группе Бибикова взорвать Горяче-Ключевский мост на Кубани, и отрезать этим группировку немцев от Краснодара.

Лагунов и Гладких расстреляны. Они умерли, не сказав ни слова, никого не выдав...

7.II.

Моста через Кубань у Стефановки не существует — его взорвали девушки-рыбачки.

Утром девушки подошли к мосту. Одна из них осталась на этом берегу, а другая перешла через мост.

— Heute feiern Wir unser Namenstag!* весело заявили девушки и принялись потчевать своих знакомых.

В кошелках оказалась водка, вареные яйца, свежий пшеничный хлеб.

Когда имянный пир был в полном разгаре, молодые рыбаки отошли к мосту: им потребовалось спешно поправить какие-то неполадки в туалете.

Привязать к троссам пакеты с толом и спустить ударники было делом минуты.

Девушки нырнули в воду.

Грохнул взрыв. Как ножом, он обрзал стальные канаты.

Когда немцы пришли в себя, рыбаки плыли уже на середине реки. За ними, кружась, неслись обломки моста.

Немцы бросились к пулеметам.

Наша Яблоновская группа открыла ураганный огонь — и охране так и не удалось сделать ни одного выстрела.

Девушки плыли в ледяной воде. Тело сводило судорогой. Они тонули.

Их подобрал рыбак-партизан. В рыбацкой избушке им дали водки и растерли спиртом.

Вчера Красная Армия взяла Батайск и Ейск. Скоро мы будем в Краснодаре.

* Сегодня мы празднуем наши именины.

8.II.

Мост через Кубань у хутора Яблоновского также взорван. Сегодня получил об этом подробное донесение.

Очевидно, немцы пронюхали, что готовится диверсия, и неожиданно сменили охрану у моста. Вся кропотливая работа наших «племянниц» по налаживанию добрососедских отношений с часовыми и пошла на смарку.

Надо было заводить новое знакомство. Но это требовало времени, а ждать некогда. И наш Яблоновский филиал решил рвать мост с боем.

Попытка силой прорваться к мосту кончилась неудачей.

Тогда на мост снова были посланы «племянницы».

Смелые девушки, спрятав на себе тол с уже взведенными взрывателями, днем вышли на мост. В руках у них были плетеные корзины: они шли на базар.

На середине моста часовых не оказалось — и девушки быстро начали привязывать пакеты с толом к стальным канатам.

Останавливаться на мосту было строго запрещено. Часовые начали кричать. Девушки продолжали работать. Охрана открыла стрельбу. Двое часовых бросились к «племянницам». Но добежать не успели: одновременно грохнули два взрыва.

Мост вздрогнул и развалился. Обломки, крутясь в водоворотах, быстро плыли вниз по течению.

Девушки погибли.

В Краснодаре до последнего времени работала электростанция — от нее питались немецкие прожекторные установки вокруг города.

Сегодня этой станции больше не существует.

Пользуясь суматохой при взрыве мостов, через Кубань, наша городская группа ликвидировала караул у электростанции. Двое минеров проникли в здание. Через десять минут станция вышла из строя. Немецкие прожектора потухли...

Последняя линия укреплений немцев перед равниной прорвана нашими частями.

Елена Ивановна свертывает свой госпиталь в Красном, с гор спустились, наконец, первые санитарные части. За последние дни через ее руки прошло больше трехсот тяжело раненых.

Она еле держится на ногах от усталости, но настроение бодрое.

Галя уже побывала в бою. Сегодня утром на несколько минут она забежала к Елене Ивановне. Славная, ласковая, отчаянно смелая девушка.

Мы с женой решили ее удочерить. Теперь у нас снова двое ребят — Валерий и Галя.

2.II.

Краснодарская молодежь, завербованная Сухоребровой, работает на славу ребята рвут телефонные провода, жгут склады горючего, снимают немецкие посты.

Вчера под вечер немцам удалось поймать группу студентов-диверсантов. Среди них — Николаев, друг Гени.

На рассвете гестаповцы повесили их на телеграфных столбах, прибавив дощечки, что, мол, повешенные — евреи.

Несколько раз пытался Бибижков прорваться к мосту у Горячего Ключа — и всякий раз терпел неудачу.

Тогда он решился на дерзкую операцию.

Ночью на две лодки были погружены мины с мгновенными взрывателями. В каждую лодку село по минеру.

В кромешной тьме лодки беззвучно поплыли к мосту. Минеры сидели в воде — лодки были полузатоплены, чтобы быть менее заметными на поверхности реки, — и у минеров судорогой сводило ноги от холода.

Когда впереди показались неясные контуры моста, минеры нырнули в воду.

Через минуту грохнуло два взрыва: последний мост через Кубань взлетел на воздух.

Оба минера спаслись чудом.

От Ельникова получено донесение, что из шестнадцати понтонных мостов осталось на месте только шесть: остальные отправлены немцами к Слаянской и Темрюку.

Немцы наводят понтоны: после взрывов мостов у Яблоновского и Стефановки это — последняя надежда для немцев выбраться из города.

Сегодня в ночь Ельников уничтожил мосты.

10.II.

Ночью над Кубанью взвились две белые ракеты Ельникова.

У дебаркадера, что стоял в Краснодаре против улицы Гоголя, раздался приглушенный стон: это наши из городского филиала ударом ножа сняли сторожей.

Дебаркадер медленно отчалил от берега.

Почти одновременно оторвались от причалов тяжелые баржи у съезда с улицы Горького и, кружась, поплыли вслед за дебаркадером...

По шести понтонным мостам непрерывным потоком шли отступающие колонны немцев.

Неожиданно из темноты вырос дебаркадер. Своей тяжестью он порвал два моста. В ледяную воду Кубани рухнули люди, повозки, автомобили, пушки. Закричали немцы, барахтаясь в воде. Вспыхнула беспорядочная стрельба.

Подожли баржи — они сорвали еще мосты. Новые крики, новая стрельба.

Но пятый и шестой мост стояли нерушимо. И вот тогда-то подошли сверху пласты Ельникова, вооруженные взрывчаткой.

Один за другим раздалась несколько взрывов. В ночное небо взметнулись столбы воды, обломки мостов, баржей, дебаркадера. Взрывы разметали по реке изуродованных солдат, пушки, автомобили, повозки. Рухнул в воду тяжелый танк.

Немцы били из пулеметов в темноту ночи. Кубань молчала.

На берегу реки, в густом лозняке лежали разведчики Ельникова.

По заданию командования наша основная группа рвет дороги отступления немцев в шестидесяти километрах от города.

С нами Елена Ивановна. Она держит молодцом.

Взятие Краснодара ожидается со дня на день.

11.11.

Немцы спешно наводят через Кубань штурмовые мостики: это все, что они могут сделать.

Наша городская группа рвет мостики плотами со взрывчаткой.

12.11.

Краснодар наш!..

На рассвете мы подошли к маленькому хутору. На задах, у сарая, стоял седобородый казак. Несколько мгновений мы настороженно оглядывали друг друга. Неожиданно старик решительно шагнул навстречу, крепко обнял Елену Ивановну и трижды истово поцеловал. — Наш Краснодар! Поняла — наш, советский!.. Поняла, мать?

Краснодар наш!..

Как пришла эта весть к старому казачку. Как несется она из хутора в хутор, от станицы к станице, когда вокруг немецкие гарнизоны, когда у перекрестков дорог притаились немецкие засады и на станичных площадях стоят виселицы с телами казненных.

Но разве удержишь эту весть.

О ней кричат белые хаты, о ней кричат тополя, кричит небо, кричит тучная, благословенная кубанская земля.

Столица Кубани — наша!

14.11.

Идем в Краснодар.

Грязь невылазная. По разбитому шоссе

бегут немцы, бросая танки, автомобили, артиллерию.

Так хочется скорее попасть в город, что, вопреки обычаю, идем днем.

В станицах праздник. Еще вокруг немцы, а казаки уже вылавливают предателей, нападают на небольшие группы фашистов, сами, по собственной инициативе, разбирают мосты на путях отхода.

Нас встречают, как родных. Провожая, казачки суют в карманы вареные яйца, сало, хлеб.

Боевую разведку ведет Павлик: его высокая фигура с автоматом у пояса и мешком за спиной все время маячит впереди.

Если бы ему дать волю, он бы рысью помчался домой.

Но мы идем медленно. Елена Ивановна еле передвигает ноги.

До сих пор она держалась. А сейчас, когда рядом родной дом, она слала.

Я знаю, ее страшит возвращение домой, где каждая мелочь настойчиво, неотвязно напоминает ей, что ребят больше нет, что они не вернуться, что никогда она не увидит сияющих гениных глаз, и Женя ласково не поцелует ее руки..

Она рвется домой и боится дома.

Трудно не думать о Краснодаре, не вспомнить его улиц, родного дома, близких, любимых, друзей!..

Но наши не говорят об этом, стараясь не коснуться, не разбередить раны Елены Ивановны. И мы болтаем о пустяках, о ненужных мелочах, будто ничего не случилось, будто мы не встречали старика казака у плетня и просто вышли на обычную будничную операцию.

Но разве закажешь сердцу.

Павлик, как горный козел, неожиданно, громадным прыжком прыгает через крошечную лужицу. Не рассчитав прыжка, падает в грязь, и весело, залихватчо смеется. Валерий смотрит на серые лохматые тучи и широко, по-детски, улыбается. Потом, быстро взглянув на Елену Ивановну, тушит улыбку, сурسو морща брови. Но проходит минута — и снова радостно блестя глаза и сияющая улыбка залихват его еще ребячье лицо. И даже наш Виктор Иванович, всегда такой выдержанный, уравновешенный, спокойный, завилев красные звезды на крыльях самолета, идущего на бомбежку, вдруг срывает фуражку, и машет над головой, забыв, что мы еще не дома, что за каждым кустом, в каждом овражке сторожит смерть.

Елена Ивановна идет молча, прямо смотря перед собой. Слез нет — глаза сухие.

Итти по шоссе нельзя — сплошной построий лентой движутся по нему отступающие немецкие колонны. Мы колесим по проселкам, утопая в грязи.

Где-то близко бьют тяжелые гаубицы и гудят в небе наши самолеты.

15.II.

Мы перешли линию фронта у Ново-Дмитриевской.

Шел жестокий бой: наши гвардейцы выбивали немцев из укрепленного рубежа за Георгие-Афиопской.

Проскочить было невероятно трудно. Но Павлик все-таки нашел стык в расположении немецких частей и без боя вывел нас к нашим передовым частям.

Нас чуть не перестреляли свои же красноармейцы. Спас красный флаг, заранее заготовленный Мурой Янукевич.

Молодой сержант сурово оглядел нас с ног до головы и внимательно прочел мой документ. Потом ловко закинул автомат за спину, обнял меня, и, как старый седобородый казак, на хуторе, трижды поцеловал.

— Идите, товарищи — путь свободен.

Сейчас мы в шести километрах от Краснодара: его темный силуэт уже виден на горизонте.

Но мы решили отдохнуть: Елена Ивановна выбилась из сил.

Первый раз за последние полгода мы сидим у костра, не выставив дозоров.

18.II.

Первое, что мы увидели, — был мост через Кубань: его строили саперы и сотни красноармейцев. Он почти готов — тот самый мост, который шесть месяцев восстанавливали немцы и так и не смогли восстановить.

Мы шли по улицам. Какими родными казались эти дома, площади, скверы.

В городе масса брошенных немцами танков, танкеток, автомобилей, тягачей, мотоциклов. Они стоят на площадях, в переулках, во дворах. Около них возятся наши трофейные команды.

В том, что эта еще недавно грозная немецкая техника обезврежена и наши бойцы деловито закрашивают знаки свастик на стальных бортах, в том, что красный флаг поднят над Краснодаром, есть доля нашего участия.

За это погибли мои ребята, взорвал себя Степан Еременко и молчали под пытками Аргунов и Гладких. За это утонули смелые девушки у Яблоновки и шли на смерть наши минеры, когда темной холодной ночью плыли по Кубани в полузатопленных лодках, взрывая последние немецкие посты.

Мы шли по улицам. Навстречу выбегали незнакомые люди, жали руки, обнимали, поздравляли с возвращением.

— Мама, а немцы говорили: партизаны страшные.

Это сказала восьмилетняя черноволо-

дая девочка, глядя на нас восторженными глазами.

Она догнала меня через несколько минут, молча сунула мне в руку маленькую куклу и убежала. Надо думать, — это была ее величайшая драгоценность.

Мы вошли в нашу квартиру: она вся разграблена.

Быть может, это лучше: меньше назойливых тяжелых воспоминаний...

Елена Ивановна молча обошла комнаты, брала в руки случайно уцелевшие вещи и долго смотрела на них.

Потом села и разрыдалась.

18.II.

Сегодня в Краснодар пришла с операцией последняя группа нашего отряда во главе с Конопотченко, моим замполитом.

Сейчас все в сбора.

19.II.

Какой сегодня радостный, счастливый, сияющий день.

Валентин жив. Он, действительно, был тяжело ранен у Керченского пролива. Подошедшие немцы сочли его за мертвого. Но его подобрали крымские партизаны, выходили, и вместе с ними он борется сейчас в горах Крыма. В ближайшее время Валентин обещал быть в Краснодаре.

Жива и Маша, жена Евгения, и его маленькая дочурка: немцы так и не сумели узнать, где Евгений и оставили их в покое.

И, наконец, сегодня вечером к нам неожиданно пришли Валерий и Галя.

Жена была бесконечно рада. Провожая, она обняла их и подвела ко мне.

— Помнишь, — сказала она, — полгода назад мы уходили в горы. У нас было трое ребят. Двое погибли. Валентина я считала мертвым. А сегодня у нас снова трое ребятшек... Вы уходите от нас на фронт. Что вам пожелать, дети. Держитесь так, как дрались до сих пор. И кто знает, — и Елена Ивановна улыбнулась впервые за много дней, — быть может, когда вы будете далеко на западе, за Днепром, за Бугом, за Вислой, мы, старики, снова придем к вам и вместе добьем врага...

20.II.

Сегодня все лесные, горные, степные, городские, речные и болотные партизаны нашего отряда и наших филиалов собрались в Сталинском райкоме партии.

Я смотрел на них и невольно вспомнил, как полгода назад, в погожий августовский день, из Краснодара уходили в горы директора, инженеры, экономисты, научные работники — кубанские казаки.

Они знали: их ждала новая, неизведан-

вая жизнь. Предстояли горячие схватки, тяжелые испытания, опасные операции.

Они могли бы не ходить в горы. Но они пошли: родная Кубань была под пятой врага. И они с честью выполняли свой долг.

Они с победой вернулись в родной город, и большинство из них снова стало директорами, инженерами, экономистами, научными работниками.

Лишь небольшая группа нашего отряда уходит в истребительный батальон: немцы еще держались на Тамани.

Вечером мы с Геронтием Николаевичем подвели основные итоги работы отряда за полгода.

Пущено под откос сто пятьдесят пять вагонов, из них тридцать вагонов со снарядами, восемьдесят девять с живой силой врага и тридцать шесть вагонов с вражеской техникой (танками, артиллерией и пр.)

Взорвано восемь мостов, шоссеиных и железнодорожных.

Уничтожено десять танков, тринадцать танкеток, тридцать шесть тяжелых орудий, свыше ста мелких пушек и минометов, восемь бронемашин, тридцать грузовых пятитонных и семитонных машин с боеприпасами и живой силой врага, четыре легковых штабных машины.

Убито 1894 солдат и офицеров противника и 2525 тяжело ранено.

В этот итог включено только то, что, так сказать, официально зафиксировано. По существу же эти цифры следовало бы значительно увеличить.

Потери нашего отряда, не считая филиалов: трое убито, двое казнены немцами, двое тяжело ранены.

21. II.

Сегодня в краснодарской газете «Большевик» опубликован приказ Начальника Центрального штаба партизанского движения Верховного Главнокомандования:

«Партизанский отряд, состоящий из партийно-советского актива г. Краснодара, в ночь с 10 на 11-е октября 1942 г. вышел на железнодорожные участки Северская — Афипиская, Краснодар — Новороссийск, с целью взрыва железных дорог, эшелонов противника, чтобы задержать продвижение неприятельских войск и этим нанести поражение врагу в живой силе и технике.

Непосредственное выполнение по минированию и взрыву было поручено двум братьям ИГНАТОВЫМ — сыновьям командира партизанского отряда. В момент, когда минирование полностью еще не было закончено, с большой скоростью приближася военный эшелон с немецкими солдатами и офицерами. Братья

ИГНАТОВЫ не ушли с полотна железной дороги, произвели взрыв мины у самого паровоза и героически при этом погибли.

Этим взрывом они произвели крушение. Был разбит паровоз и 25 вагонов. На месте крушения погибло более 500 гитлеровских солдат и офицеров. Верные и бесстрашные сыны советской родины, братья ИГНАТОВЫ проявили высшую военную доблесть и самопожертвование во имя освобождения родины от фашистских захватчиков.

Честь, слава и вечная память ГЕРОЯМ БРАТЬЯМ ИГНАТОВЫМ. Слава родителям, воспитавшим героев, — командиру партизанского отряда Петру ИГНАТОВУ и матери ИГНАТОВОЙ, находящейся в том же партизанском отряде.

Приказы в о:

1. Присвоить партизанскому отряду, находящемуся под командованием Петра Карповича ИГНАТОВА, наименование: «ОТРЯД ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ».

2. Представить братьев ИГНАТОВЫХ к высшей правительственной награде — званию Героя Советского Союза.

Командира партизанского отряда Петра Карповича ИГНАТОВА — отца героев и партизанку того же отряда ИГНАТОВУ — мать братьев ИГНАТОВЫХ — представить к правительственной награде.

Начальник Центрального штаба партизанского движения Пономаренко

9. III.

Сегодня моим погибшим ребятам Родина оказала великую честь: им посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.

4. V.

Вчера я был на четвертом километре, там, где погибли мои ребята.

Так же, как в ту памятную октябрьскую ночь, стояли тополя вдоль полотна дороги, ветер шумел верхушками клензв и залихватно пели птицы в кустах.

Я нашел место взрыва — на земле лежали обгорелые доски вагонов, искорверканные железные листы.

Искал могилу ребят и не мог найти. Бродил в густом кустарнике, продираясь через заросли колючего терна, снова возвращался к месту взрыва — могилы не было.

Уже в сумерках я наткнулся в кустах на лоскутья — они выцвели на дожде и солнце. Это были обрывки портянок Генни и теплой куртки Евгения. А рядом с ними маленький бугорок земли. Он весь был прикрыт ветками орешника и на ней буйно росла молодая весенняя трава.

5.V.

Решено перенести в Краснодар останки моих ребят и торжественно похоронить их в Свердловском сквере.

Город оказал большую честь моим сыновьям.

Ново-Марьянская улица названа «улица братьев Игнатовых». Собрание студентов и преподавателей Химико-Техно-



Командир партизанского отряда имени братьев Игнатовых П. К. Игнатов (Батя) и его жена Е. И. Игнатова.

логического Института просит присвоить институту имя Евгения. В музее города отведена специальная комната, где собраны личные вещи и оружие Геннадия

и Жени. Ребята школы, где учился Геня добились, что их школа называется теперь «школой имени Гени Игнатова».

— Мы «игнатовцы», — заявил мне недавно пятнадцатилетний паренек. — И мы клянемся, Батя, что будем сражаться так, как сражался наш Геня.

А сегодня я получил письмо. Пишет ученик седьмого класса из далекого Молотовска.

— Прочитал в газете о героях Игнатовых. Хочу вырасти и быть полезным Советскому Союзу — быть таким, как Геня Игнатов».

15.V.

В зале Городского совета — море цветов. Кажется родная Кубань прислала сюда все маки, пионы и розы, все ландыши и сирень своих садов, степей и предгорий.

Утопая в цветах, стоят два гроба с останками моих ребят.

Уже второй день непрерывный людской поток течет через зал. Проходят старики, женщины, рабочие, инженеры, школьники, партизаны, бойцы, офицеры.

16.V.

Сегодня в полдень тысячи людей пришли последний раз проводить моих сыновей.

Два гроба медленно плыли на руках. Колыхались десятки знамен, сотни венков и букетов. Торжественно и печально звучал шопеновский марш.

За гробами двигались нескончаемые людские колонны. В их рядах — соратники Евгения, суровые, молчаливые партизаны, овеянные дымом взрывов в предгорьях Кавказа, и друзья Гени, юные школьники, горячая страстная молодежь, мечтающая о подвигах.

В сквере имени Свердлова был короткий траурный митинг.

Два гроба опустили в могилу. Прогрел троекратный салют. А в синем высоком кубанском небе кружили боевые самолеты. Отдав воинский долг погибшим, они взяли курс на запад, чтобы там, над болотами и плавнями Тамани, продолжать великое дело борьбы во славу Отчизны, за которое отдали свои жизни мои сыновья.

Конец

СКАЗЫ П. БАЖОВА

Л. СКОРИНО

★

1.

Творчество уральского писателя Павла Петровича Бажова, автора сказов «Малахитовой шкатулки», представляет собой одно из своеобразнейших явлений советской литературы.

П. Бажов вошел в нашу литературу как создатель советской рабочей сказки, сказки с новой тематикой, новыми образами и качественно новой фантастикой.

Сказы Бажова впитали в себя многие традиции классической русской сказки, а также открыли и ввели в литературу новый для нее молодой горняцкий фольклор, родившийся на Урале. Однако этим не исчерпывается новизна и своеобразие сказов Бажова. Они новы, ибо в их основу легло новое философское мировоззрение советского человека, а это-то и позволило художнику, использовав драгоценные заготовки образов и сюжетов, предоставленные ему фольклором, дать им дальнейшее идейное и художественное развитие.

Связь всего творчества П. Бажова с фольклором глубока и органична. Писатель не случайно закрепляет за своими сказками жанровый термин «сказ», он подчеркивает их родство с «тайными сказами» уральских горняков, теми, что, «слышь-ко, и говорить не всякому можно», то-есть родство с вольнолюбивой струей горнорабочей поэзии.

Следует, однако, совершенно точно определить степень этого родства. Произведения Бажова отнюдь не являются записью или обработкой фольклорных образцов, хотя сам писатель и утверждал о первых своих сказах, что они были им слышаны пятьдесят лет тому назад от горняка-сказителя В. А. Хмелинина и «записаны по памяти».

Любопытно, что аналогичное признание делает и такой мастер литературной сказки, как Г. Х. Андерсен, который не скрывал, что многие из своих сказок он слышал в детстве от нищих старух-пряж*. «Я только пе-

ресказал их...» — утверждал Андерсен. Писатель «пересказал» сказки, но при этом наложил на них такой мощный отпечаток своей творческой личности, что произошло чудо — исчезли старые сказки и появились новые — сказки Андерсена. Достаточно напомнить, что именно к «пересказам» принадлежит «Принцесса на горошине». Это убедительно свидетельствует о том, что самый факт обращения к народному творчеству и широкого им пользования отнюдь не превращает писателя в «обработчика» фольклора.

Вся история литературной сказки показывает, что она всегда вырастает из сказки фольклорной, своей естественной почвы. Примером могут служить такие классические произведения, как сказки Пушкина, «Конек-горбунок» Ершова и др. Литературная сказка занимает у народной и использует в своих собственных целях образы, сюжеты, язык и даже интонацию. Изучая ее, надо ставить вопрос не о том, насколько это еще фольклор, а о том, какое произведение получилось в результате творческой переплавки фольклора в лаборатории писателя.

П. Бажов, как и его предшественники в области литературной сказки, прежде всего, — художник, творец. Его сказы представляют собой самобытное литературное явление, хотя и опирающееся на мощную фольклорную основу. Произведения Бажова впитали в себя разнообразные элементы жизни уральских горнорабочих: и фольклор в собственном смысле слова, то-есть устные рабочие предания, фантастику тайных сказов и реальное богатство, красочность и своеобразие горнозаводского быта, и могучий народный язык уральских горняков, и, наконец, самую философию нового человека, горнорабочего, мастера.

П. Бажов не сторонний наблюдатель; ему дано было видеть жизнь горняков изнутри, так как он сам вышел из коренного рабочего уральского рода. Отец, дед и прадед его были медплавильщиками, мастерами «огненного труда» на старых уральских заводах.

Язык сказов Бажова — это язык отца и матери писателя. Быт его героев — уральских горнорабочих — это быт семьи самого Бажова.

* «Сказка моей жизни». Собр. соч., т. IV. изд. СПб., 1895 г.

О «старых людях» ему рассказывала эго бабушка Авдотья Петровна, а «тайные сказы» слышал он от заводских стариков-бывальцев, сообразительный образ которых дан в «дедушке Слышко». Этого условного литературного рассказчика Бажов выводит в своей книге, заимствуя прием у Гоголя в его Рудым Панько из «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Родина П. Бажова, бывший Сысертский горный округ, одновременно и родина «тайных сказов». Здесь, на западном склоне Уральского хребта, у подножья двух гор Думной и Азов-горы, на руднике Гумешки и на заводах Сысерти и Полевского, где провел свое детство писатель, возникали поэтические легенды горняков.

Богатства горных недр Урала неисчерпаемы и фантастичны. Смелые искатели руд, проникшие на «Сибирский хребет» еще в XVII веке, поэтически повествуют о горах Уральских, где были ими открыты узорчатые камни: «хрустали белые, фатисы вишневые, и юги зеленые, и тунпасы желтые». И даже в сухом деловом «Описании уральских и сибирских заводов» де-Геннина, относящемся к 1735 году, рассказывается о поистине сказочной горе Хрустальной, что находится вблизи Екатеринбург: «Видом по натуре она якобы молочна, из которой камни полированы, и в ней является при солнце красное, лазоревое, белое и желтое сияние».

Горщики, рудобои, медеплавильщики — все те люди, что неразрывно были связаны своим трудом с природой Урала, искали объяснений происхождению «земляных богатств» и создавали легенды, в которых нашла воплощение горделивая любовь русских людей к родной земле.

Фантастика служила горнякам средством поэтического осмысления реальности. Так Азов-гора в сказах неизменно называлась — «самое дорогое место». Позднейшие изыскания показали, что действительно равнина вокруг Азова обладает редким обилием ценных ископаемых: медными рудами, залегающими редчайшего по качеству белого мрамора и богатыми золотыми россыпями.

Устные легенды, которые бережно передавались в рабочих семьях из поколения в поколение, завещали помнить о неисчерпаемых сокровищах уральской земли, не только уже открытых, но и главным образом о тех, какие еще не найдены и хранятся в горных недрах. Так возникла кладоискательские тайные сказы. В них говорилось о кладах, скрытых в горах, какие оберегает «тайная сила»: гигантский змей Полоз, его дочери Змеевки и девка Азовка, иначе Золотая девка, Каменная девка, Горная матка, что живет в Азов-горе. «Тайная сила» не допускала человека к сокровищам, отпугивала его с помощью фантастических чудовищ: в ход пускались и рогатая лошадь с чугунными копытами, и бык с медвежьими зубами и змеиным хвостом, и другие страшилища.

Наряду с кладоискательскими возникали и другие — вольнолюбивые «разбойничьи» — тайные сказы. Это были сказы о «вольных людях», то-есть о крепостных рабочих, бежав-

ших с заводов от подневольного труда. Они объединялись в ватаги, вольницы, чтобы с оружием в руках отстаивать свою свободу. Эти сказы также связывались с Азов-горой и Гумешками.

Азов-гора и гора Думная служили «вольным людям» наблюдательными вышками. Отсюда они могли следить как за движением обозов с товарами, так и за появлением карательных отрядов. Интересно, что рудник Гумешки был открыт в 1702 году, но уже при открытии оказался старым, заброшенным рудником. В первом же сообщении о нем указывалось, что «промеж реками Полевыми» найдено два гуменца, то-есть очищенных от леса всхламленных места. Кроме рудокопных ям, здесь оказалось «изгарини многое число, что выметывают кузнецы из кузницы». Очевидно, гуменцы были остатками стана одной из ватаг, долго отсиживавшейся здесь и имевшей в своей среде «плавильщиков» и «ковачей», изготовлявших необходимое оружие.

Сказы о «вольных людях» чаще всего являлись разновидностью кладоискательских. Здесь также шла речь о кладах, скрытых в пещерах Азов-горы. Хранительница кладов — девка Азовка была уже не частью природы — Золотой девкой, Горной маткой, а живой женщиной, полобовницей или женой атамана ватаги. Наиболее ценным элементом этой разновидности сказов было возникновение образа доброго разбойника. Атаман «вольных людей» выступает, как защитник рабочих. Он мстит за них крепостникам — заводскому начальству. Сказы эти передавались «по-тайно», так как, высоко оценивая их социальную заостренность, заводладельцы боролись с их распространением энергичными мерами: били плетями и ссылали на катургу сказителей.

«Тайные сказы» появились на Урале в XVIII веке и связаны с возникновением горнозаводской уральской промышленности. Вначале они еще тесно смыкаются с общим фольклором, и только постепенно в них начинает крепнуть чисто горняцкий элемент. Прежде всего «земельное богатство» перестает трактоваться, как клад, то-есть золото, серебро, — деньги. Оно выступает уже как драгоценная руда или золотые россыпи.

Претерпевает изменения и фантастика сказов. Девка Азовка превращается из сторожа кладов в Хозяйку медной горы, Малахитницу, которая владеет всеми рудами и по существу руководит их разработкой. Дальнейшее усложнение первоначального фантастического образа отмечается самими сказителями, которые называют Азовку в число слуг Хозяйки горных недр.

Малахитница, сменив Азовку, сохраняет многие ее черты, (она тоже Каменная девка, живущая в горе,) а также и сказочные функции. Но если она и не допускает к своим богатствам человека, то не всякого, как это характерно для Азовки. Людям труда Хозяйка покровительствует, помогает, показывая им руду и залежи дорогого камня. Она «уводит», прячет руду, если видит, что разработка превращается в хищничество. Ее образ получает новую функцию, и это происходит, несомнен-

но, под влиянием «доброего разбойника» из вольнолюбивых сказов, а именно—Хозяйка горы становится защитницей горнорабочих от крепостного начальства. Образ Малахитницы, являясь воплощением сил природы, вместе с тем обретает общественную заостренность. Он синтезирует мотивы обеих разновидностей «тайных сказов».

Чисто горнорабочим элементом надо считать и появление рассказов об опытных мастерах, о их чудесном искусстве. Ценность этих рассказов в том, что здесь сказитель обращается к изображению самого процесса труда и радостей творчества. Слабость их в том, что они и до наших дней не приняли устойчивой формы, не поднялись до степени обобщений. Обычно это индивидуально-конкретные «случаи из жизни», бытующие в той или иной рабочей семье.

Впрочем, эта черта слабой окристаллизованности характерна и для всего горняцкого фольклора в целом. Он представляет собой фольклор «творимый», а отнюдь не устоявшийся, в отличие от крестьянского фольклора, и существует в виде рабочих семейных преданий, бытовых зарисовок, отдельных фантастических образов, фрагментов и завязей сказов.

Таково то поэтическое наследие, какое получил П. Бажов от своих предков — уральских горняков. Его задачей было отобрать здесь все наиболее ценное и претворить в своем личном творчестве. Эту задачу смог успешно разрешить писатель, возвращенный той же средой, что рождала горняцкие легенды. П. Бажову не приходилось «обращаться» к фольклору, он им в полной мере владел. Справедливо отмечалось нашей критикой, что Бажов не обработчик уральского фольклора, а сам творец-выдумщик, что он «принадлежит к талантливой семье уральских народных поэтов-сказочников»*. Действительно, Бажов, бережно приняв наследие сказителей-горняков, продолжил их творческую линию в литературе.

Но не все, что сложилось в уральском фольклоре, взял и использовал П. Бажов. Он об-

ратился к чисто горняцкому, рабочему элементу, который подчас был только в тенденции, развил его и утвердил в своей литературной сказке.

2.

«Малахитовая шкатулка» — основное произведение П. Бажова — было задумано и начато в 1936 году. Книга первым изданием вышла в 1939 году. Вслед за «Малахитовой шкатулкой» появились две новые книги: «Ключ-камень, — горные сказки» (1942) и «Сказы о немцах» (1943).

Эти три книги автор рассматривает как единое целое и объединяет их для всех последующих изданий под общим заголовком «Малахитовая шкатулка». Объединение это естественно, органично, оно определяется как характерностью, своеобразием стиля и языка, так и новой тематикой бажовских сказов. Его сказки являют собой единую творческую линию, твердо установленную зрелым художником, нашедшим себя, свою тему, свою форму.

Язык Бажова необычайно живописен и звучен, ибо в своих истоках он питается из родников русской народной речи. Не к застывшим, устоявшимся ее формам обращается писатель; поэтому нет в его произведении речевой стилизации под старину, былинность, под фольклорную сказку с ее традиционной уставной лексикой. Бажов любит и знает живую русскую речь и берет его в движении, непрестанном развитии. Писатель внимательно изучает, что и как отсеивается или отбирается и накапливается великим художником — народом. Строгий отбор полноценного словесного материала — характерная черта стилистической работы самого уральского сказочника. Бажов не гонится за внешним своеобразием слова, его редкостью или затейливостью, он ищет в слове одного — жизненной правды. «Слово действует», любит повторять Бажов: это значит, что оно должно действительно, то-есть точно и ярко, выражать мысль, определять явление реальности, а не пассивно укрывать, не служить мертвым стилизованным завитком, орнаментом. В бажовских сказах нет перегрузки диалектизмами, областными словечками и предложениями.

Из уральского народного говора Бажов отбирает отнюдь не исключительные, а следовательно обособленные слова, но наиболее выразительные, сочные, могущие стать общезначимыми, общенародными. И хотя писатель в своем творчестве широко использует уральский речевой колорит, своеобразие бажовского стиля отнюдь не в этом. Свообразие сказов Бажова в том, что здесь нашли яркое выражение коренные особенности общерусского народного языка: его богатая напевность, могучая образность и, наконец, жизнерадостная его эмоциональная окраска, основанная на столь свойственном русскому человеку юморе, то лукаво-простодушном, то едком и язвительном, но всегда юморе жизнеутверждающем, какой пронизывает самую ткань народной речи.

* Д. Заславский. Сказочник Урала. («Огонек», № 14, 1943 г.) Этот же взгляд высказывает и Сергей Бородин («Литература и искусство» от 27 марта 1943 г.). Однако не все критики проявили понимание творчества Бажова. Кое-кто рассматривал его сказки как чистый фольклор, упоминая о писателе лишь как о составителе сборника или в лучшем случае обработчике сказов. Так фольклорист Е. М. Блинова ничтоже сумняшея включила сказы Бажова в сборник «Дореволюционный фольклор на Урале» (Свердлагиз, 1936 г.). Попытку полностью снять авторство Бажова делает К. Рождественская, характеризуя «Малахитовую шкатулку» как «полный цикл хмельных рассказов» («Уральский рабочий» от 28 янв. 1939 г.). Еще дальше идет А. Ладешников, который в «Литературном альманахе» (Свердлагиз, III, 1937 г.) опубликовал сказы Бажова под фамилией Хмельникова. И только в конце обозначил лишь инициалы писателя: «Записал П. Б.».

А. С. Пушкин писал: «отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться»*. В этих пушкинских словах — точное определение характерных стилевых особенностей бажовских сказов. В своем творчестве советский писатель возродил сочный и живописный стиль лукавых русских сказочников, воспринятый им от бабушки — Авдотьи Петровны Бажовой — и от горнозаводских сатириков и балагуров — Стакашика-Хмелинина, Макара Драгана, рабочего Мякины, любовно описанных Бажовым в ранней его книге «Уральские были» (1924 г.).

Стиль Бажова имеет в своей основе метафоричность, образность народного языка. Непосредственно из быта уральских горняков в его сказы пришли такие сочные слова и речения, как, например, «и з р о б л е н н ы й» человек, «и з р о б и л с я» в применении к тому, кто потерял силы на работе, стал к ней непригодным; «п р и к а з ч и к о в ы п о д л о к о т н и к и» — о холуях, прислуживающихся к начальству, «поддувающих» ему; старательское — «о т о щ а л п е с о к», означающее, что исчезло, иссякло золото, и многое другое.

Народная речевая образность делает язык Бажова выразительным, емким. Она пронизывает описания, диалоги, а также и авторские отступления. О супругах-каменерах Даниле и Катерине Бажов повествует:

«Вот, значит, и подымали семью, з а к у с - к о м в л ю д и н е х о д и л и». И дальше: «Т а к у н и х в с е г л а д е н ь к о и к а т и л о с ь» («Хрупкая веточка»). Загрустил герой у Бажова — «п р и т у м а н и л с я» («Ермаковы лебеди»). Хитрит Евлеха Железко в разговоре с придворным французским ювелиром, от него «п у с т ы м и с л о в а м и з а г о р о д и л с я» («Железковы покрышки»). Метафоричны бажовские характеристики. Заводовладелец Меллер, по меткому определению сказа, «умишком небогат был». Влюбился молодой старатель в девушку, да в такую, с какой и «п о н е н а с т ь о с о л ы ш к о с в е т е е т» («Змеиний след»).

Речевая образность играет у Бажова и сюжетную роль. Национальный характер своих героев в сказе «Веселухин ложок» он раскрывает через резкое противопоставление немецкому русскому строю языка, а следовательно, и образа мышления. Немцы-мастера допытывают веселого Панкрата, в чем секрет его искусства, кто ему подсказывает расцветку и узоры, какими он славится. Насмешливым лукавством принзан иноязычный ответ русского мастера, который поясняет дуболобам немцам, что мастерство его всякому доступно, у кого «глаз с крючком да ухо с прихваткой». Изумленные немецкие педанты давай спрашивать, какой это глаз и какое ухо. «Глаз, — отвечает Панкрат, — такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной пропке, в снеговом охлопке. А ухо, которое держит, что ему полюбил-

лось. Ну, там мало ли что: как сосна шумит, а то и травинка шуршит». Немцы, конечно, этого ни в какую не разумеют. Спрашивают, почему на сорочий хвост глядеть, какой прибыток от палого листа, коли ты не садовник. Панкрат хотел им втолковать, да видит — на порошок не понимают, махнул рукой».

Яркая метафорическая речь и породившее ее образное мышление раскрывают в русском мастере поэта, мастера-творца, умеющего слышать и видеть природу во всем многообразии ее проявлений. Панкрату противостоят немцы — ограниченные, тупо прямолинейные, воплощенные обывательского «здорового смысла». В свойствах народной речи Бажов видит проявление народного характера. Языковая характеристика позволяет писателю полно обрисовать образ героя.

Живописность языка бажовских сказов не исчерпывается его образностью, метафоричностью. Язык Бажова поразительно красочен. Зрительный образ, цвет играют здесь опомную роль. На зрительном образе строится портрет сказочного героя, сказочный пейзаж.

Есть у Бажова сказы, целиком выдержанные в одной тональности. Таков «Синюшкин колодец»: «На полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась, и посредине паучок сидит, тоже синиий». Над водой — синиий туман, из тумана возникает старушонка Синюшка: «Платок на голове синиий, и сама вся синехонька». Бабка эта колдовская — она «всегда старая, всегда молодая» и, глядишь, девушкой обернется: «платышко на ней синее, платок на голове синиий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы маляина руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя».

Но чаще всего в сказах Бажова дается веселое переплетение красок. Вохрянные блики и пламенеющая киноварь, певучий синиий рядом с мерцающим золотом, многообразные оттенки и переливы зеленого и, наконец, резкие контрастные сочетания черного и белого — такова здесь гамма красок. Цвет у Бажова совершенно в духе народной живописи, вышивки — всегда цельный, густой, сыпальи.

Цветовое богатство бажовских сказов не случайно, оно порождено красочностью самой природы Урала. В сказочном пейзаже Бажова выражено радостное любование художника красотой реального уральского пейзажа.

Но характерно — в бажовских сказах нет абстрактной природы, какая бы равнодушно противостояла человеку. Красочная фантастика Бажова поэтизирует природу, вовлекаемую в орбиту людской деятельности и становящуюся для героя-мастера объектом его трудовых усилий.

В фантастической игре красок сказочного пейзажа предстают нам драгоценная руда, богатое золото, узорчатое каменье, то-есть м а т е р и а л т р у д а. Вот повстречал рудокоп Сте-

* А. С. Пушкин, О предисловии г-на Лемонта к переводу басен И. А. Крылова.

пан Малахитницу. С нею слуги — ящерицы. Было их «тут несчиленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голу-бые, которые в синь выпадают, а то как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая...» Но за этой цветистостью, за эти-ми пересветами, из каких рождается сказочный образ ящериц — слуг хозяйки горы, — скрывается не менее красочная реальность, чудесная в своей истинности. Окружили молодого рудоко-па ящерицы. «Он поглядел под ноги, а там зем-ли незнатко. Все ящерки сбились в одно место — как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная!».

Краска, — этот существеннейший элемент бажовского стиля — служит писателю средством поэтизации материальной основы человеческого труда. Подобную же функцию несет и такой стилевой элемент, как звуковой строй сказов Бажова.

Язык уральского сказочника не только живописен, но и звучен. Звучность эта чисто народная, идущая от песни, от певучей русской пословицы и поговорки. Недаром эти последние органически вплетаются в ткань повествования. Каслинского заводчика сказ характеризует: «вырастили дубину на рабочую спину», и о другом иронически говорит: «поездил у теплых морей, поразбросал рублей, домой его потянуло». Пословица или поговорка подчас дает Бажову емкий образ и для выражения целого сюжетного пласта. Приезжает в Тагил немецкий прой-дох, чтобы выведать у тамошних мастеров известный только им секрет хрустального лака. Немец прикидывается простягой, овийским парнем, который «попить-погулять в кабаке не чурается, и денег, видать, не жалеет: не столь угощается, сколь сам угощает». Всю сложность возникающих взаимоотношений между ним и мастерами, что крепко берет у «тайнность», ведь за нее «у каждого головы позаложены, в случае чего, остальные артелью убить могут», — Бажов образно, а потому и кратко передает с помощью пословицы. «Ну, заводские, понятно, видят, о чем немец хлопочет, меж собой посмеиваются: ходит кошка, воробья не видит, а тот близе-зонько посканивает да сам зорко поглядывает» («Хрустальный лак»).

Певучий русский говор пронизывает сказы Бажова: «и речист, и плечист, умом и ухваткой взяла» («Ермаковы лебеди»). Фразе Бажова присуще обилие уменьшительных, придающих ей мягкую напевность: «Попробовал ушки и да-вай хвалить... из сумы хлебушко маконького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил» («Змеиний след»). И еще: «Мужичище бык-быком, а рожа у него ровню нарощо придумана. Как свекла краснехонька, а по ней волосешки и белые кустичками» («Травяная западёнка»).

Бажов зачастую прибегает к песенному удвоению слова, но делает это, заимствуя отнюдь не готовые словесные формулы, а самый принцип ритмической организации фразы. Если

привычно фольклорно звучат такие бажовские речения, как в описании тайного ходочка, что ведет в недра горы и ему «конца-краю» не видно, или подземной реки, какая «черным черни хонька и не пошевелинется, как окаменела» («Ключ-камень»), или в изображении встречи Ермака с земляками, которые поняли, какого он «роду-племени», то в подавляющем большинстве случаев фраза Бажова расширяет этот привычный, устоявшийся речевой арсенал. И происходит это на основе введения новых групп понятий и образов, связанных с различными формами труда. Отправился Ермак завоевывать Сибирь, а его невесте Алёнушке довелось одной «век вековать». Как обыкновенно рукодельницей стала, — ткалей да пряхлей». Героиня сказа «Горный мастер» — Катерина — «по хозяйству бегаёт, — в огороде там, сварить-постряпать и протча»...

Но не только труд «по домашности», а и горнозаводское производство находят свое отражение в певучей бажовской фразе. Казалось бы, столь сухая материя, как производственная деталь, характерная для бажовских сказов и занимающая в них немалое место, оказывается у Бажова опоэтизированной именно благодаря обращению художника к чудесной напевности русского языка. Учат тагильские мастера хрустальный лак варить: «Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза-слезой, коли запоздишься, либо заторопишься — станет сажасажей». А в сказе «Живинка в деле» молодые углежги сетуют: «Наш тятенька всех на работе замордовак, передышки не дает, а все у него трухлак да мертвяк... У соседей вон песенки попевают, а уголь звон-звонком. Ни перетару, ни недогару у них нет и к вёлого самая малость».

Таким образом, все поэтические средства Бажова-художника — напевность, живописность, яркая эмоциональная окрашенность — подчинены главной задаче всего творчества писателя — раскрытию поэзии человеческого труда.

3.

Основной темой творчества уральского сказочника является тема труда. Взята она в специфическом разрезе: сказы Бажова воспевают не труд вообще, а труд, превращающийся в творчество.

Главная тема разрешается у Бажова в трех частных, ей подчиненных: в теме мастерства, теме счастья и теме человеческого достоинства. Первой из них посвящена целая группа сказов — цикл сказов о мастерах, который занимает центральное место в творчестве Бажова. Основной мотив этого цикла — противопоставление труда творческому труду ремесленному.

Истинное мастерство — это творчество, новаторство, а не педагогичная ремесленная добросовестность. Настоящий мастер только тот,

кто непрерывно совершенствуется, кто пролагает новые пути в труде.

Герой одного из последних бажовских сказов захотел все ремесла «своей рукой» перепробовать («Живинка в деле»). Посмеивались над ним сначала друзья да родичи, а Тимоха все же на своем поставил: ремеслам обучился и в каждом деле «до точки дошел». Только было это ремесленное знание правил, а не мастерство. Понял это Тимоха, когда попал в выучку к углежогу деду Нефеду. Принял тот его с лукавым уговором: «от меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь». Простое дело у Нефедки — уголь жесть, да победить старого мастера Тимоха не смог. А секрет-то был в том, что дело у Нефедки на месте не стояло, все вперед двигалось: совершенствовал свою работу Нефед. И учил он Тимоху не «книзу глядеть — на те, что сделано», а «кверху — как лучше делать надо». Учил искать «живинку» в каждом деле. Она ведь «впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!»

Живая душа любого дела, его «живинка» — это не что иное, как творческая мысль, выдумка мастера. Истинное мастерство определяется именно умением творчески, новаторски мыслить. Об этом поэтически говорит сказ «Иванко-Крылатко», рисующий единоборство двух мастеров — немца Фуйко Штофа и русского пареньки Иванки из семьи старых златоустовских мастеров.

В сказе противопоставлен стнюдь не плохой мастер хорошему. Состязание на лучшую чеканку сабель идет между двумя умелыми мастерами. Здесь дано столкновение различных принципов труда — ремесленного и творческого.

Немец Фуйко дело свое знал. Он «руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив». Чистая, четкая у него чеканка, и «полота без пятна», и рисунок по правилам, а вот «живым не пахнет». Мастерство его мертвое, ибо это ремесленничество, не одухотворенное поэтической фантазией.

Иное Иванко, это — «мастер с полетом». Он не боится отступить от затверженных правил, не боится прибегнуть к смелой творческой выдумке. Иванко учится у самой природы и вносит в свое искусство ее неиссякающую и вечно обновляющуюся поэзию. Нарисовал Иванко на боевой сабле не пустое украшение, условных коньков, а таких коней, какими он знал их в жизни, — стремительных, на полном бегу, крылатых!

Выдумка Иванки — крылатые кони — возмущала немецких педантов, они прогнали юношу с завода. Но именно она-то и обнаружила подлинного мастера. Иванко мастер-поэт, ибо он подымается до образов, до обобщений. Крылатые кони — поэтическая метафора, дающая образ стремительного движения.

Поиски нового, творческая выдумка — вот что определяет истинного мастера. Эта мысль положена в основу и второго мотива того же цикла сказов о мастерах, а именно мотива борьбы художника с материей в процессе воплощения своего поэтического замысла.

Творчество мастера-поэта выступает в ска-

зах Бажова не как наитие, озарение, а как познание и труд.

От художника требуется не пассивное созерцание и слепое копирование природы, не овладение всеми ее тайнами, проникновение в самую сущность материала, борьба с «натурой». Об этом говорят сказы Бажова и в первую очередь его программные вещи, такие как «Каменный цветок», «Горный мастер» и «Железковы покрывки».

Два первых сказа повествуют о творчески муках, исканиях молодого камнереза Данилы. Задумал мастер воплотить в камне красоту простого лесного цветка. Но не дается ему малахитовая чаша, над которой он трудится и не радуется ее внешней отделанности. Нет в ней жизни, а следовательно, красоты. «То в горе, — жалуется Данила-мастер, — что похотеть нечем, гладко да ровно, узор чистый... а красота где? Вот цветок, самый что ни на есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует?» («Каменный цветок»). Это только ловко сделанная вещь, то-есть сделанная ремесленно, а не творчески. Данила же стремится, чтобы глядя на его чашу, люди забывали об искусстве мастера и видели только простой живой цветок. В этом, по мнению молодого камнереза, и заключается истинная сила мастерства.

Данила стремится познать свой материал «полную силу камня самому поглядеть и людям показать». Но здесь-то молодой мастер и совершает ошибку: он не идет дальше наблюдений, дальше подражания природе. Материал подчиняет его себе. Данило не привнес в работу творческой выдумки, поэтической общающей мысли и поэтому-то терпит неудачу.

Посчастливилось ему было: в поисках материала для своей чаши нашел он подходящую «малахитину». «Большой камень — ка рукав не унести — и будто отделан вроде кустика. Стал оглядывать Данила лешку эту находку. Все как ему надо цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется. Ну, все как есть». Но хотя Даниле казалось, что камень «ровно на рочно для его работы» создан, — чаша не вышла. Выточил мастер «чашу, как у дурман цветка, а не то... не живой стал цветок и красоту потерял». Не понимая еще причины своей неудачи, молодой мастер обращается за помощью к Малахитнице. «Не могу больше, — жалуется Данило Хозяйке горы, — измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок». И несмотря на ее уговоры — «может еще попытаешь сам добиться», — настаивает на своем.

Не всякому дано видеть «каменный цветок». Растет он тайно в горе у Малахитницы. Сказочный образ «каменного цветка» символизирует красоту самого материала, ту красоту, что заложена природой и в обломке камня и в куске дерева, — словом, в любом материале, какой требует усилий мастера, чтобы стать произведением искусства. Кто увидел «каменный цветок», тот «красоту понял» и в силу этого становится «горным мастером».

«Горные мастера» — выученики Малахитницы. Это те, кто познал тайны мастерства

Они живут и трудятся в подземных владениях Хозяйки медной горы. Их труд чудесен, они обладают умением придавать жизненность, казалось бы, мертвому материалу. Работа их «от нашей, от здешней на отличку... У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая». Хребтик чёрненький, глазки... того и гляди — клонет».

Стремясь увидеть «каменный цветок», Дамило тем самым снова ищет подсказа у материала. Испанилось его желание, проник он в тайную красоту природы, в красоту самой материи. Но этого оказалось мало. Материал не может подсказать всего того, что должен найти сам мастер, опираясь не только на свои наблюдения над природой, но и обязательно на свою чисто человеческую способность к обобщению.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка горы.

— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, а Данилушко на том же камне оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень».

Бажов подчеркивает первостепенное значение человеческой поэтической выдумки. Пусть у молодого мастера только родится замысел, и «камень ему будет по его мыслям». — обещает Хозяйка горы. В истинном мастере должна быть «крылатость», он должен обладать смелой творческой фантазией, и тогда материал ему подчинится. Этому учит Данилу-камнереза Малахитница.

В поэтическом образе Хозяйки медной горы у Бажова воплощена сама природа, вдохновляющая своей красотой человека на творчество, открывающая ему свои сокровенные тайны. Фольклорный образ Малахитницы претерпел здесь существенные изменения. Если в горняцких сказах Малахитница — это только хозяйка горных недр, оберегающая свои сокровища, то у Бажова она является хранительницей секретов высокого мастерства. Больше того, она — воплощение вечной творческой неувлеченности, творческих исканий.

Даниле-камнерезу, человеку тревожных исканий, противопоставлен Бажовым малахитчик Евлаха Железко — мастер, овладевший вершинами своего искусства. Совершенство его мастерства в том, что, глубоко понимая сущность своего материала — малахита, «радостного камня и широкой силы», Евлаха умеет добиться гармонии между этим материалом и собственным поэтическим замыслом.

Фантазией мастера был создан такой узор на малахитовых покрывках, который, подчеркивая и выявляя характерные внешние особенности малахита: его неожиданные причудливые узоры, его меняющуюся окраску,

так определяемую академиком Ферсманом («Цвета минералов») — «то бирюзово-зеленый, камень нежных тонов, то темнозеленый с атласным отливом», — раскрывает этим путем внутреннюю сущность малахита, камня, в котором «радость земли собрана».

Смотришь на малахитовые крышки к альбому, сделанные мастером, и видишь, что узор на камне — «как внешняя вода под солнышком, когда ветерком ее колышет. Так волны по зелени и ходят... Одним словом, мастерство!»

Мастерство Евлахи в том, что созданный им поэтический образ внешней воды в солнечный день, который так полно передает ощущение радости жизни, был найден и раскрыт в самом материале. И произошло это отнюдь не в процессе механического копирования рисунка самого камня, а путем создания образа — обобщения, то-есть путем привнесения творческой выдумки.

Взаимосвязь и взаимопроникновение формы и содержания существуют для камнереза Евлахи, как и для других мастеров Бажова, не отвлеченно, а во всей материальной конкретности. Светлые сказы Бажова утверждают, что воплотить творческую мысль в вещной форме можно только, покоров матерью, подчинив ее воле мастера. Человек-мастер должен стать полновластным хозяином материала.

Сказы Бажова рисуют этого мастера-победителя.

4.

С темой творческого труда, мастерства в сказах Бажова тесно переплетается тема человеческого счастья. Ей посвящен особый цикл сказов — старательских, или сказов «о первом добытчике».

Героем этого нового цикла также является человек-мастер, но уже не камнерез, чеканщик или медеплавильщик, а опытный бывалый горщик, тот, что умеет «видеть нутро земли» и находить «знаки земных сокровищ». Образ этого героя пришел в творчество Бажова не из «тайных сказов», а непосредственно из реального быта горняков. Об удачливом старателе, опытным рудобое поговаривали, что он знается с «тайной силой», дружит с Полозом, Малахитницей — «пособничков имеет, да нам не рассказывает», «Словинку знает», «Полозов след видел, потому и ходит!»* Такого человека горняки обычно называют «чертознаем». Этих-то «чертознаев», их танственную власть над природой и воспевают сказы Бажова. В образах новых героев художник раскрывает мотив дружбы человека с природой, ее «тайными силами», воплощенными в старательских сказах в большой группе сказочных персонажей. В цикле о мастерах действовала Малахитница, ее слуги — ящерки, ее ученики — горные мастера.

* П. Бажов, Автобиографический очерк «У старого рудника», Альманах «Уральский современник», Свердловск, №3, 1940 г.

В новом цикле появляется гигантский змей Полоз — хранитель золотых руд, его дочери Змеевки, бабка Синюшка, охраняющая бездонный колодец с самоцветами, девчоночка Огневушка-Поскакушка, да козлик Серебряное копытце. Все эти персонажи тесно связаны с горами, ибо принимают живейшее участие в работе людей на приисках, в рудниках, помогая им читать великую книгу природы.

Хорошо знают повадки «тайной силы» старые горщики, «чертознаи». Рассказывает дедко Ефим молодым старателям, по каким приметам золото находить: «слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото, вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато прудное и в самом верхнем пласту лежит» («Огневушка-Поскакушка»). О сказочном козлике говорит своей приемной дочке Дарёнке старый охотник Кокованя: «Тот козел — особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В коем месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень».

«Чертознаи» — дедко Ефим, Кокованя, Никита Жабрей, Семеньч, бабка Лукерья и другие — объединяют мир реального с миром фантастического. Они являются хранителями реального опыта рабочих, а также тех легенд, какие возникают в недрах гор, в лесах, на приисках и служат средством поэтизации труда, средством образного эмоционального закрепления этого опыта, что способствует его хранению и передаче новым поколениям. В образах «чертознаев» воплощена поэзия трудового познания природы.

Рядом с этим героем в старательском цикле бажовских сказов встает второй герой — молодой золотоискатель, рудокоп, в котором «чертознаями» и «тайной силой» пробуждена ненасытная жажда исканий. Это и есть тот «первый добытчик», какому посвящен новый цикл сказов. Таков мальчуган Федюнька, что упрямо ищет и находит Огневушку-Поскакушку; паренек Дениско, которому Никита Жабрей показывает заветное место, где водятся золотые самородки, имеющие форму лаптков, и, наконец, приисковый рабочий Ильюха, какого полюбила бабка Синюшка за смелую и веселую шутку в труде.

Всем этим героям характерна чистота помыслов, отсутствие алчного стремления овладеть сокровищами, разбогатеть. Ими руководит не жадность, а желание познать природу, проникнуть в ее тайны. Посулила Ильюхе Синюшка показать свои несметные сокровища, но не позарился на них юноша. Он пришел к волшебному колодцу, потому что слыхал: бабка-то красной девицей оборачивается.

Испытывает его Синюшка. Из колодца синий столб выметнул. Вышли одна за другой девушки — царевна в сосну ростом, с золотым блюдом, на котором «песок золотой, ка-

меня дорогие, самородки чуть не по ковриге», за нею купеческая дочь с подносом из серебра. Но отказывается от этого богатства Ильюха. И только когда обернулась бабка Синюшка простой девчонкой в синеньком платьице и синеньком платочке да подала ему старое решето, полное ягод, и сказала: «Прими-ко, мил друг Ильюшенька, подарочек от чистого сердца», — тогда только, заглядевшись в синие девичьи глаза, принял дар Синюшки Ильюха.

Мотив дружбы горщиков с «тайной силой», а подчас даже любви молодых старателей, рудобоев к Малахитнице, Синюшке, поэтически выражает новое отношение человека к природе.

В классической народной сказке фантастические персонажи противостоят герою-человеку, как таинственная, чаще всего враждебная сила. Народная сказка создает образ бабы-яги. Яга обладает железными зубами, которыми может перегрызть дерево и проложить дорогу в лесу. В ней нет ничего сближающего ее с человеком. Яге даже самый дух человеческий враждебен, она сразу его замечает, как нечто противоположное, чудное: «Фу! фу! Русским духом пахнет», — традиционно восклицает яга при появлении человека. Еще резче эта нечеловеческая сущность яги подчеркивается таким сказочным ее свойством, как людоедство.

В. Г. Белинский писал о народной сказке: «...что человек не сознает, все то представляется ему страшным таинством, вот и являются колдуньи, волшебники, злые духи, змеи горынычи, русалки, ведьмы, которые служат «олицетворением невидимых, таинственных, большей частью враждебных сил». Непознанная, а потому и враждебная природа противостоит здесь человеку».

Иное у Бажова. Его герой активно познает природу, раскрывает ее тайны. Отсюда мотив дружбы и единения человека с «тайной силой». В сказке Бажова именно раскрытие чудесной сущности фантастического персонажа ведет к сближению его с героем-человеком.

Когда перед старателем появляется Великий Полоз в виде человека в кафтане «из золотой, слышь-ко, поповской парчи», в желтой шапке с «красными зазоринами», или рудокоп встречает Хозяйку медной горы, на которой «из шелкового, слышь-ко, малахиту платье», «то оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает», то здесь еще нет ничего, кроме внешнего своеобразия. Но им могут обладать не только Полоз и Малахитница, а и вполне реальные люди.

Разве менее необычно выглядит в далекой уральской деревне приехавший сюда французский придворный ювелир: «Одѣжа, конечно, французского покою, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента

на ней черного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали». Причудливый вид имеет и заводоладелец в сказе «Травяная западёнка»: он «завсегда в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост». И уж совсем дикарской пышностью для глаз рабочего человека выглядят наряды царедворцев: «по-господски одеты, и все в волоте и засаухах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать самое высшее начальство. И бабы ихние тут же. Голоруки, гологруды, каменьями увешаны» («Малахитовая шкатулка»).

Ощущение чудесного передается Бажовым не через внешнее своеобразие, а путем раскрытия внутренней сказочной сущности образа. В фантастических персонажах его сказов всегда есть что-то мощное, сильное, заставляющее понимать, что не с простым человеком имеешь дело. Сказочный змей Полоз раскрывается через такую деталь: «Мужик такого же роста, как Семеныч, и не толстый, а видать пружный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась». Змеевка, дочь Полоза, пришедшая на рудник в образе простой рыженькой девочки, смиряет обидчика-старателя: «Уставилась глазами-то, у Костыки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало» («Зменный след»).

Опрямной внутренней мощью, проявляющейся в одном движении, одной детали, отличается от обыкновенного человека «тайная сила». Эта мощь является поэтическим выражением реальной мощи сил природы.

И все же в сказах Бажова человек не преклоняется перед этими силами, не объявляет их непознаваемыми. Он противостоит им, как равный.

Человек равен «тайной силе» своей творческой мощью, своим чудесным трудом.

Светлые сказы П. Бажова раскрывают поэзию и радость этого чудесного человеческого труда. Здесь возникает совершенно новый фантастический образ — образ веселой молодухи Веселухи, в котором неотделимо слиты радость и поэтическая выдумка — неразрывные элементы творческого труда («Веселухин ложок»).

Веселуха — олицетворение весеннего веселья. Сама она яркая, будоражащая. «Сарафан на ней препестрый, — говорится в сказе, — цветастый. На голове платочек тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны. Мимо такая пройдет — на тоды, небось, ее запомнишь». Хмелит она людей радостью, манит их на вольный воздух, на зеленый луг, к синему озеру. Ремесло у Веселухи особое: «с весны до осени весь народ радуется сплошь, а дальше по выбору». Не терпит она слезливых да тоскливых. Ей подавай «песни да пляски, смех да веселье». Она «в избу зайдет, табуретки в пляс пойдут». Но этим не исчерпывается содержание

образа Веселухи: она — воплощение не только радости, но и самой фантазии человеческой, яркой причудливой выдумки.

В трудную минуту приходит она на помощь мастеру: покажет ему новый узор, расцветку все неисчерпаемое богатство красок природы, поэзию ее весеннего расцвета. Потому-то не раз и «видели ее в Ъязь» заводские рабочие-рисовщики, те, что расцветкой узора занимаются. Но видит ее только тот, у кого «веселый да смелый глаз».

Труд рождает, когда он одухотворен творческой фантазией, «крылатостью» мастера, — утверждают сказы Бажова. И такой труд, то есть творчество, составляет содержание и смысл человеческой жизни.

В сказе «Две ящерки» Малахитница испытывает молодого медеплавильщика Андриюху. Она спасает его из гнилого забоя, где юношу за бунтарство приковали на цепь и мучили тяжким каторжным трудом. Хозяйка горы берет мастера к себе в подземный дворец. Привольная, беззаботная жизнь предстает Андриюхе; к его услугам богатые одежды, изысканные яства и пития. Не надо задумываться о завтрашнем дне, не надо работать. Но Андриюха не принимает новой жизни. Отдохнул он в хоромаш Хозяйки, набрался сил и, полюбовавшись на узорчатые палаты, ушел от нее: ведь ему «сидеть без дела непривычно». В молodeм мастере говорит непреодолимое стремление к труду.

Образ Андриюхи имеет реальный прототип. В ранней своей очерковой книге «Уральские были» (1924) Бажов, рисуя быт старых заводов, рассказывает о знаменитом заводском «разбойнике» Агапыче. Это был один из зачинщиков тех заводских драк, которые организовывались рабочими с целью дать «выучку» не в меру лютовавшему начальству. Агапыч ударил ножом какого-то надзирателя, пошел на каторгу, затем бежал. Его укрывали на заводах, так как он пострадал за народ. Жил он хоть тайно, но сытно, иногда мог даже «погулять в кабаке».

«У нас, помню, — рассказывает Бажов, — Агапыч бьвал не один раз. Мать по этому поводу «гоношила пальмешки». Отец и гость «больше одной бутылки, сколько помню, не пили, а это для двоих «крепкий на вино» людей было пустяком. Разговоры велись самые неинтересные для меня, и я даже удивлялся, как это Агапыч — знаменитый заводской разбойник — мог разговаривать о сдаче кусков, о браковке железа, о ценах на зубленья напильников. Агапыч жаловался».

— Не могу я, Данилыч, без дела. Ну, кормят меня, поят, — спасибо. А вот дела никто дать не может. А без дела как? Вот и живешь по-вольчи».

Эта тоска по делу, по радостям труда, то-го труда, который у истинного мастера перерастает в творчество, — характерна для героев Бажова. Они видят счастье только в труде. Поэтому-то художник, идя от реальных жизненных наблюдений, разрешает в своих

светлых сказах тему счастья через утверждение радости труда.

В силу этого, несмотря на то, что в основе старательских сказов Бажова лежит такая сюжетная ситуация, как раскрытие «земельных богатств» и овладение ими, здесь нет столь характерного для фольклорной сказки и в частности для горняцких «тайных сказов» — мотива волшебного обогащения.

Герой народной сказки получает волшебное богатство, и оно всегда огромно. Так, например, Иван, купеческий сын, находит целые бочки, что «были крепко заколочены золотом, серебром и драгоценными камнями насыпаны»*. Герой другой сказки сам насыпает «полом корабль серебром да золотом» и отправляется «торг торговать».

У Бажова владение «земельным богатством» никогда не означает наступления полного материального благополучия. Нашла рудинишка девушка Васенка дорогой камешек. Продали его, «понятно, не за настоящую цену, а все-таки хорошие деньги взяты. Маленько и вздохнули» («Ключ-камень»). Дети рудокопа Левонтия, получив от Полоза богатимое золото, «не то, чтобы дом затейливой, а так избушечку справную» поставили. Мать их нарадоваться не могла, «что хоть в старости свет увидела» («Змеинный след»). А старик Кокованя, что гонялся за Серебряным копытцем, нашел драгоценные хризолиты и «полшапки камней нагреб».

Таковы размеры волшебного богатства в сказах Бажова. Оно дает героям только скромный досток и, самое главное, не служит средством наживы, дальнейшего обогащения.

В фольклорной сказке зачастую волшебное богатство выступает, как растущее и умножающееся.

Бажов снимает понятие богатства, как материальных ценностей, приносящих доход, наживу. Он вводит чисто горняцкое понятие «земельного богатства», то-есть природных богатств земли, горных недр, какие по праву принадлежат тому, кто их открыл и добыл. В сказке «Ермаковы лебеди» юному Василию Тимофеевичу веющие птицы и «речные дороги показали» и открыли ему «все здешнее богатство». «Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую, либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да каменья. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие версты откроется: где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну как есть все».

Однако, и Бажов отнюдь не игнорирует и другой стороны природных богатств: их способности при известных условиях превращаться в богатство денежное, приносящее доход. И тут в бажовских сказах на смену «счастливого волшебного обогащения приходит мотив иллюзорности волшебного

го богатства и разрушающей силы алчности. В сказе «Синюшкин колодец» бабка Лукерья предостерегает внука Ильюху против «худых думок про деньги да про богатство».

«—Как же тогда,—спрашивает Ильюха,—про земельное богатство понимать? Неуж и за что считаешь? Бывает ведь...»

— Бывает-то бывает, только ненадежно дело: комочками приходит, пылью уходит на человека тоску наводит! — отвечает бабка, имея в виду «счастливые комышки», как зовут старатели золото. Обратившись в деньги, золото уходит из рук человека пылью.

Превращение реальных природных богатств в иллюзорные показано в сказе «Медной горы Хозяйка». Расставаясь с полюбившимся ей рудокопом, подарила Малахитница Степану на прощанье горсть своих слез — зеленые изумруды. Драгоценные камни эти представляют собой огромное богатство. Сама Малахитница говорит Степану: «Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь». А позднее, когда погиб Степан, один знающий человек сказал его жене: «Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось». Но для Степана камни имели иную ценность: это слезы Малахитницы, и храня их рудокоп, как память о Хозяйке горы, с ее красоте, — забыть он Малахитницу не смог. Поэтому-то «не продал их, слышь-ко никому, тайно от своих сохраняя, с ними и смерть принял». Чистое поэтическое отношение Степана к богатствам земли лишено всякой тени корысти и алчности. Оно-то и есть единственно правильное, — говорят бажовские сказы. Живая природа в образе «тайной силы» восстает против мертвящего отношения к ее дарам, она жестоко наказывает виновных. Как только кто-либо пытается превратить в деньги ее чудесные самоцветы, золото, руды, — Малахитница обращает свои богатства в пыль, пустоту, ничто. «Стали те камешки из мертвой Степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль».

Счастье, заключающееся в обладании богатством, сказы Бажова отрицают, осмеивают. Здесь имеет место поэтическое изменение сказочной концовки, которая завершает все испытания героев формулой: «стали жить-поживать да добра наживать». Иронически полемизируя с этой концовкой, Бажов говорит о своих героях, что они «жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, у всякого дело было» («Серебряное копытце»).

Бажов ориентируется на ту линию русской народной сказки, которая враждебно относилась к купечески-собственническому прославлению богатства и его могущества. Ведь в фольклорной сказке подчас звучит пародирование «счастливой концовки». Так, например, сказка «Иван-царевич и Марфа-царевна» заканчивается следующим образом: «А Иван-царевич обвенчался на Марфе-царевне, стал жить да быть и хлеб жовать».

* А. Н. Афанасьев, Народные русские сказки, т. II, Гослитиздат, 1938 г.

Счастье для героев Бажова не в умножении богатства и приращении добра, а в творческих исканиях, в познании природы, в радостях творческого труда

5.

Сущность мироощущения нового советского человека состоит в том, что он осознал могущество своего труда и безграничность творческих возможностей. Он выдержал проверку своей возмоздающей силы в годы грандиозного мирного строительства и в испытаниях Великой Отечественной войны.

Вера в себя, гордое сознание своей человеческой ценности — рождалось у него из участия в общем, целеустремленном коллективном труде всего советского народа. Новое мироощущение нового человека и нашло поэтическое выражение в сказах П. Бажова, оно воплощено в образах положительных героев.

В противопоставлении и противоборстве положительных и отрицательных героев Бажов раскрывает тему человеческого достоинства. Она не приурочена ни к какому специальному циклу сказов и характерна для бажовского творчества в целом.

В этой теме Бажов обращается к этической стороне труда. Творческий труд создает не только материальные, но и духовные ценности, он формирует и закаляет человеческие характеры.

Положительный герой Бажова — это человек труда, и именно в силу этого он обладает мужеством, стойкостью и моральной чистотой. Гордых, смелых людей рисует Бажов. Его герои видят и глубоко чувствуют красоту и радости труда, но они непривычны услужать, кланяться, гнуть спину. Паренька Данилку взяли в казачки при господском доме: «табакерку, платок подать, сбегать куда и прочта. Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось». Не вышло из Данилки «хорошего слуги», зато вышел чудесный мастер («Каменный цветок»).

Не кланяются герои Бажова ни барам, ни богатству. Недаром заветная их мечта, что настанет время: «отнимут, подика, люди у золота его силу» («Дорогое имячко»).

Подросток сирота Дениско отказывается унижаться перед загулявшим золотоискателем Никитой Жабреем, который пригоршнями швыряет в толпу ребят конфеты и серебряные рублики.

Никита пробует сломить «гордыбаку». Выхватил «из-за пазухи пачку крупных денег и хватить ими перед Дениской. А тот, видно, тоже парнишко с норовом, говорит: «Милостыньку не собираю, а с собачьего бросу и подавно». Никита от таких слов себя потерял: стоит — уставился на Дениску. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородок, — фунтов, сказывают, на пять — и хлоп эту самородку под ноги Дениске, а сам кричит: «Не хвастай через силу! Эту ты у меня подымешь!» Ну, а Дениско... не поднял. Поглядел только да ска-

зал: «Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо». Повернулся и пошел» («Жабреев ходок»).

Дениско потому и «гордыбака», что знает цену человеческому труду и знаниям: золотой самородок с его точки зрения дорог не своей денежной стоимостью, а тем мастерством, каким надо обладать, чтобы найти такой чудесный золотой лапоток.

Эта черта — уважение к труду — характерна и для юноши Дениска, и для старого малахитчика Евахи Железко, о котором известно было, что «мастер, мужик с пружинкой», такого не купишь, сколько ни сули, потому что «уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит» («Железковы покрышки»).

Чувство собственного достоинства героев Бажова зиждется не только на ощущении ими могущества собственного мастерства, но и на горделивом сознании своего участия в общенародном труде.

Чудесная рукодельница Танюшка («Малахитовая шкатулка») требует, чтобы ей показали самую царицу. Рабочая девушка ставит себя выше царицы, — та только праздная диковинка, а Танюшка — настоящий человек, ибо труд ее полезен и нужен людям. Попав во дворец, девушка ведет себя хозяйкой, ведь весь дворец создан руками рабочих людей, и есть в нем целая палата, «малахитом титиной добычи отделанная». Танюшка богаче царицы, ибо владеет не мертвым богатством, а самым источником всех богатств — чудесным человеческим трудом, доставшимся ей в наследство от многих поколений искусных мастеров. Девушка гордится мастерством своего отца, гордится рабочими людьми, среди которых выросла. И в этом ее внутренняя сила.

Карл Маркс указывал, что горделивое чувство достоинства — основное свойство человека, мыслящего, свободного, ибо оно знаменует активное революционное отношение к миру. Человек утверждает себя как личность, утверждая собственное человеческое достоинство. «Люди же, которые не чувствуют себя людьми, превращаются в общественных животных, которые не знают другого назначения, как быть «услужливыми и любезными подданными своих господ».*

Сказы Бажова показывают, что полноценная человеческая личность формируется только в процессе труда. Отказ от труда ведет к измелчанию и распаду личности, к превращению человека в «общественное животное». Оценка человека в сказах Бажова происходит по труду.

Поэтическому образу бажовского положительного героя противопоставит образ сатирический, отрицательных героев. Это или праздные вырождающиеся бары-заводовладельцы, или лакейские души — прикащики, надзиратели, «щегари». Объединяет их общая

* Письмо К. Маркса к Руге, май, 1843. К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч., т. I, Госиздат, 1938 г. Стр. 353.

черта — боязнь труда и неспособность к нему.

О герое сказа «Сочневы камешки» говорится, что он «смолоду-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта — барские-то блюда лизать — у него осталась. Всё хотел, чем ни на есть, себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу не год, в горе и недели не выдюжит».

Оторвавшийся от производительного труда, разъединенный «холуйской заразой», Ванька Сочень деградирует дальше. Неспособный трудиться, он избрал себе «ремесло по рылу — стал у конторы нюхалкой-наушником промеж старателей», то-есть шпионом.

О «Северьяне-убойце», приказчике из разорившихся дворян, тоже говорится, что в «заводском деле он, слышь-ко, вовсе не маковал», и добавляется характерная деталь, сразу определяющая весь его внутренний облик, — «а только мог человека бить» («Приказчиковы подошвы»). Невежество, ненависть к труду и людям труда разлагают самого Северьяна, превращая его в истязателя и садиста.

Северьян, Ванька Сочень и другие отрицательные персонажи бажовских сказов — это люди ничтожные, никчемные, это — пользуюсь горящим термином, — «пустая порода». Их внутреннюю сущность Бажов раскрывает, прибегнув к излюбленному своему приему — вещной сатирической метафоре. Так в сказе «Приказчиковы подошвы» Хозяйка горы карает «Северьяна-убойцу», за его лютые издевательства над рабочими. Она обращает приказчика в каменную глыбу. Но вот странность: когда пытаются добраться до Северьяна, убеждают, что там, где должно быть его тело, — одна пустота, хотя вокруг первосортный малахит. Метафора — «пустая порода» — обрела вполне материальный образ.

Гуманизм сказов Бажова — это советский гуманизм, основанный на твердой вере в человека, хотя отнюдь не всякого и далеко не абстрактного, но человека труда — мастера и создателя.

Как в сказах, где в центре действия стоят положительные герои, так и в сказах-сатире утверждается тот оптимистический взгляд, что человек сам является хозяином своей судьбы. Нет здесь карающей десницы, рока, некоей неотвратимой силы, творящей правый суд вне воли, желаний и стремлений героев. Всем, даже самым худшим из людей, дается возможность и время одуматься, исправиться. Но не всякий человек способен этой возможностью воспользоваться. Выйти с честью из тяжелых испытаний может только человек труда.

Дениско — молодой старатель — открывает месторождение чудесных самородков — золотых лапточков. Из земли «два камня высунулись, ровно ковриги исподками сложены: одна внизу, другая сверху. Ни дать, ни взять — губы». А внутри скат крутой вниз,

и по нему золотые лаптки разбросаны. Раскрылись каменные губы, словно приглашают юношу: бери золота, сколько тебе надобно. Денис проник в нутро горы, «очистил место и давай из песка золотые лаптки выковыривать. Много нарыл, больших и маленьких, только глядит — темней да темней стает, — губы закрываются». Это грозное предупреждение «тайной силы» не осталось втуне для Дениса. Понял он свою ошибку и сумел переломить себя. «Денис и смекает: «Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки... и хватит». Надумался так — губы и раскрылись: выходи, дескать».

Оптимизм сказов Бажова заключается в показе возможности для человека изменить свою судьбу.

Трижды предупреждает Хозяйка медной горы Северьяна, чтобы он перестал лютовать. Трижды дает она ему знать о своем гневе: ноги у приказчика в землю врастают. Но на Северьяна ничто не действует. Ведь передумать свою жизнь, изменить все ее течение, переломить себя и свои привычки — все это труда требует. А к труду, к усилиям Северьян и ему подобные не способны.

Увидав смерть лицом к лицу, в ужасе пытается Северьян униженно вымолить себе пощаду. Но разжалобить Хозяйку горы невозможно. Она ждет от человека не покорности и трусливых молений, а требует от него мужественной борьбы с худшими свойствами его собственного существа. Поиск человека в человеке — вот та новая функция, какую обретает Малахитница в сказах П. Бажова.

Дениско — настоящий человек, он не пресмыкается перед «тайной силой». Он обузывает внезапно пробудившуюся в нем жадность. Он полновластный хозяин самому себе. И его воля, его стойкость не случайны. Они воспитаны привычкой к труду — тяжелому и упорному. Только благодаря этому Денис сумел выдержать испытание.

Бажов в своих сказах показывает ту силу, которая выковывает полноценную человеческую личность. Эта сила — труд.

Сказами Бажова продолжены лучшие гуманистические традиции классической русской литературы. Вера в творческие силы своего народа, уважение к человеку — все это характерно для Бажова.

Сказы Бажова звучат остро современно в наши дни, когда идет борьба с варварством фашизма. Фашизм не только уничтожает культурные и материальные ценности, но и стремится расшатать человеческую личность.

В дни Великой Отечественной войны, в дни суровых испытаний нашего народа замечательный советский писатель Павел Петрович Бажов всем своим светлым творчеством, своими поэтическими сказами воспекает великую ценность человека, красоту и могущество его труда. Сказы Бажова — это гимн народу-мастеру, народу-творцу, который есть и будет хозяином своей земли.

ПАМЯТИ А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ

В. КАНЕВСКОЙ

★

С кончался выдающийся русский писатель Алексей Силыч Новиков-Прибой. Он является одним из любимых читателей современных мастеров слова. Бывший матрос с броненосца «Орел», Новиков-Прибой создал замечательные художественные произведения.

Широкой известностью пользуются его морские рассказы и повести. Эпопея «Цусима» вошла в основной фонд советской литературы и удостоена Сталинской премии. В ней нарисованы выразительные образы русских матросов и морской офицеров, яркие эпизоды их высокого боевого героизма. Эпопея «Цусима» популярна не только в пределах нашей Родины, но и далеко за ее рубежами. Она переведена на тридцать семь языков. Английская и американская печать во множестве статей отметила ее, как значительнейшее явление в культурной жизни последнего времени.

Гамбовский крестьянин, двадцатилетний юноша Новиков-Прибой с 1899 года стал матросом Балтийского флота. Велика была его тяга к знанию. Склонность к литературе в нем вызвали примеры замечательных русских людей — выходцев из простого люда — Решетникова, Кольцова, Максима Горького.

Новикова-Прибоя отличало хорошее русское упорство в труде. Свое стремление к литературе он воплощал в дело, несмотря ни на какие препятствия. Нужно сказать, их было много. В первую очередь приходилось преодолевать недостаточность общей и литературной подготовки. Сельская школа, которой ограничилось образование Новикова-Прибоя до флота, не могла дать ему необходимых литературных навыков. На пути литератора-матроса стояло также начальство, не одобрявшее вольнодумного образа мыслей. Проявилось его противодействие с первых шагов Новикова-Прибоя в литературе. Когда баталер Новиков, еще во время пребывания на броненосце «Орел», рискнул написать пьеску для праздничной постановки, старший офицер хотел наказать его двумя сутками ареста за «литераторство».

Участие в походе второй Тихоокеанской эс-

кадры дало Новикову огромный жизненный материал. После Цусимского сражения он, один из немногих оставшихся в живых, оказался в японском лагере для военнопленных. Именно здесь у него и родилась мысль нарисовать правдивую картину исторического события, непосредственным участником и свидетелем которого пришлось быть ему. Энергично и настойчиво приступает он к собиранию свидетельства очевидцев. Десятки людей взволнованно доверяют баталеру Новикову все, что они видели и переживали в момент величайшего жизненного потрясения. Листок за листком складывает он в свой чемодан драгоценные документы. Это были не сухие показания перед официальной исторической комиссией, а самые сокровенные переживания, доверенные своему товарищу. Так при участии самого народа создавалось волнующее эпическое произведение — то спокойно повествующее, то переходящее в тон взволнованного излияния.

Однако нелегко оказалось сохранить драгоценные записи. Обманутая провокационным слухом, группа пленных солдат сожгла их. Новиков-Прибой в своем вступлении к эпосе рассказывает, как он с ножом в руках вместе с небольшой группой других матросов пробился сквозь толпу, но чемодана с его бумагами уже не было.

Сознание ответственности перед русскими людьми за воспроизведение исторических событий заставило Новикова-Прибоя снова приняться за собирание воспоминаний. Он начал спешно по памяти восстанавливать материалы «Цусимы».

Трудно было провезти их в Россию. Сибирь в это время, в самый разгар революции 1905 года, «обрабатывалась» карательными отрядами Ренненкампа и Меллер-Закомельского, подвергавшими обыску все поезда. Все-таки материалы к роману Новиков-Прибой благополучно доставил к родственникам в село Матвеевское, где им пришлось пролежать много лет. Сам же автор был захвачен волной революции 1905 года, принимал в ее событиях самое живое и непосредственное участие.

Революционными настроениями проникнуты

первые литературные рассказы Новикова-Прибоя. Они рождены неудержимым стремлением сказать правду о том, что автор превосходно знал и сильно чувствовал — о творческих стремлениях русских людей и о том, как самодержавие давило русский народ. И свое слово писатель сказал от имени русских матросов и солдат: «Друг наш Алеша, — говорили матросы Новикову-Прибою, — больше пиши, опиши нашу жизнь, наши страдания». Слова эти взяты из рассказа «Первый гонорар». Первый гонорар Новиков-Прибой получил в 1906 году за очерк, напечатанный в газете «Новое время» (куда очерк попал без ведома автора). Впоследствии этот очерк был переработан в рассказ «Между жизнью и смертью». Сильные впечатления от пережитой исторической трагедии потрясли сознание Новикова-Прибоя и его товарищей. Создание романа о грандиозном событии на Тихом океане стало главной творческой задачей жизни писателя. Эту свою миссию Новиков-Прибой рассматривал как священный долг перед товарищами по походам и боям, перед своим народом. Очерк, послуживший основой для рассказа «Между жизнью и смертью», — одна из первых зарисовок эпизодов будущей эпопеи. Просто, непосредственно, но очень трогательно автор повествует о гибели броненосца «Бородино» и спасении из девятисот человек команды только одного — марсового Юшина.

В это время автор прибегает к чисто публицистической форме изложения. В 1906—1907 годах Новиков-Прибой, под псевдонимом «Матрос А. Затертый», выпускает две книжки: «За чужие грехи» и «Безумцы и бесплодные жертвы». Эти первые книги о цусимском бое были сразу же по выходе конфискованы царским правительством и не увидели света.

Произведения начинающего писателя отражали опыт и чувства передовой матросской массы. Тесная связь с народом еще более усиливалась его активным участием в революционном движении. После 1905 года Новиков-Прибой должен был много лет скрываться в эмиграции от преследований царского правительства.

Работу над эпопеей «Цусима» пришлось отложить на двадцать лет. Но Алексей Сильч не оставляет своих литературных занятий. Дружескую помощь писателю оказал А. М. Горький. Он принял участие в опубликовании первого рассказа Новикова-Прибоя из матросской жизни «По-темному» (1910 год). Именно этот рассказ открывает первый том собрания сочинений нашего писателя — книгу «Морские рассказы», вышедшую в свет в 1917 году. Не прекращалась поддержка начинающего писателя Горьким и в последующие годы. Общение с Горьким было очень близким. Можно указать на то, что целый год — с мая 1912 года по май 1913 года — Новиков-Прибой по приглашению Горького жил у него на острове Капри.

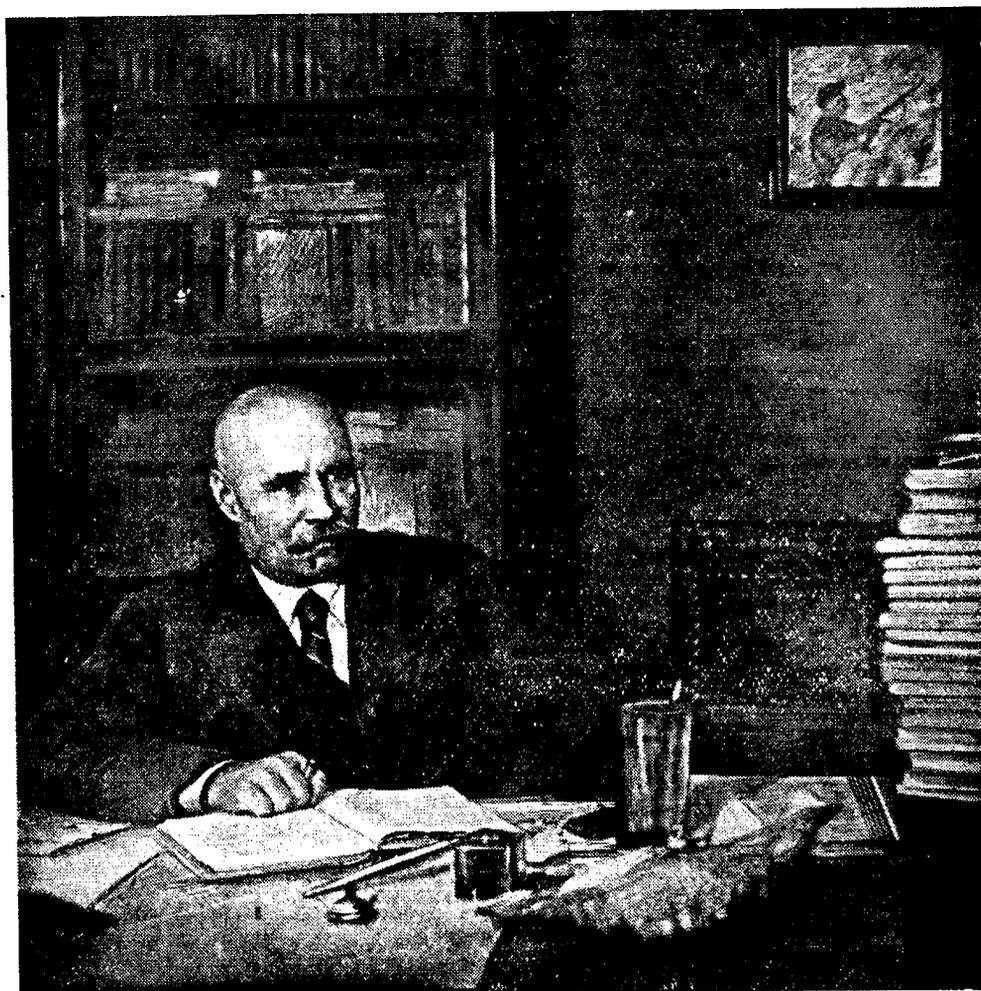
Годы скитаний и литературного труда не прошли даром. За это время из Новикова-При-

боя уже начал выработываться настоящий писатель со своим особенным, своеобразным обликом. Все чаще его имя появляется на страницах литературных журналов.

В лице Новикова-Прибоя в русскую литературу пришел новый писатель, занявший в ней свое прочное и бесспорное место. Его творчество отмечено печатью самобытности, сочетающей в себе традиционную морскую романтику с острым, подлинно демократическим взглядом на мир. Правдивая простота характеризует реализм автора морских рассказов. Он не проходит мимо острых социальных конфликтов, не сглаживает жизненных противоречий, а бесстрашно и вдумчиво рассказывает о них. Кроме морских рассказов, до революции, в октябре 1917 года, Новиков-Прибой под непосредственным руководством Горького написал две повести из крестьянской жизни — «Порченный» и «Лишний». Жизнь дореволюционной деревни представлена в них со всеми ее противоречиями, типичными для того времени. Она изобилует общественными столкновениями, зачастую губящими человека, если не физически, то духовно. Повести из деревенской жизни, пропущенные симпатией к бедноте, не есть какая-то побочная линия в развитии творчества Новикова-Прибоя. Общественные противоречия и рожденные ими духовные конфликты писатель переносит и в морские рассказы. В несомненной связи с этим находится его тяготение к форме сказа, объединяющей в себе особенности крестьянского и матросского фольклора. Приемы этого можно ясно видеть в «Рассказах боцманмата», напечатанных в «Северных записках». В морских рассказах всегда чувствуется самобытность личности автора — пытливого и рассудительного русского крестьянина, перенесшего трудности службы в царском флоте. Суровость реализма рассказов Новикова-Прибоя придает им острый внутренний драматизм.

Уже с первого рассказа «По-темному» проявляется художественное своеобразие его произведений. Занимательность фабулы, романтическая яркость не отгесняют на второй план, как это случается у многих морских беллетристов, широкого общественного кругозора и правды жизни масс. Новиков-Прибой смотрит на события глазами простого трудящегося русского человека и пишет главным образом об этом человеке. Никогда, рисуя красоту моря и эпизоды флотской жизни, писатель не теряет из виду свою страну, забот миллионов людей, ее населяющих. Творчество Новикова-Прибоя не однопланово: в нем сложно переплетаются два художественных начала. Одно имеет в своей основе романтику морской литературы. Другое происходит из постоянной и прочной привязанности писателя к впечатлениям русской деревенской действительности, глубоко залпавшими с детства и юности.

Большой интерес представляет для понимания жизненных корней романтики Новикова-Прибоя автобиографический рассказ «Судьба». Писатель в нем рассказывает о переломном моменте своей жизни, когда под впе-



А. С. Новиков-Прибой

чатлением рассказов некоего матроса в нем, в простом деревенском парнишке, зародилась мечта о скитаниях по бурным морям, о неведомых странах. В разгоряченном мозгу мальчика все время стоит фантастический образ корабля «Победитель бурь». Далеко, далеко из родной деревни уносятся его мысли. «Победитель бурь», этот таинственный и чудесный корабль, плавающий где-то в далеких водах, не выходит у меня из сознания. Матрос зажег в моей голове новые звезды, раздвинул передо мною мир, открыв широкие возможности. Я уже не закину в темной и придавленной, как чугунной плитой, жизни села. Нет. Мое будущее там, где-то очень и очень далеко, в других замечательных странах, на синих морях, на беспредельных океанах, куда, как на орлиных крыльях, уносит меня юная фантазия». Юношеская, несколько наивная, но прочная мечта осуществилась.

Новиков-Прибой совершил множество морских и океанских рейсов, объездил почти все страны мира. Жизнь раздвинула перед ним свои горизонты. Все же не очарование фантастических вымыслов господствует в его художественных созданиях. В прекрасные описания морской стихии и приключений людей моря врывается суровая правда существования бедняцкого люда России. Правда эта жестока, но благородна. Социальная правда о царской России проникает собой и отношения на кораблях, занимает мысли русских людей, на них плававших. Матрос, герой «Рассказа боцманмата», находясь под роскошным небом южных тропиков, говорит: «Эх, эти тропические ночи! Здорово на воображение действуют... Иногда про свою деревню вспомнишь, просяную поляну и станет обидно до слез. В лесу она стоит, сугробами завалена. Темные люди живут в ней, слушают зимнюю

вьюгу, бьются в нужде, с нуждой умирают. И никогда им не узнать, как велика земля, кто населяет ее, какие есть моря». Аналогия эта когда-то уже приводилась в одной из юбилейных статей, посвященных Новикову-Прибою. Но мы к ней обращаемся еще раз, так как она очень существенна. Слова эти имеют важное значение и для понимания художественного восприятия мира автором рассказа. На каких кораблях ни путешествовал Новиков-Прибой, под каким бы небом он ни находился, о чем бы ни писал, всегда он так или иначе вспоминал о «своей деревне». И мысль о всей родной стране, о своем народе всегда была у писателя главной, не отгеснялась на второй план романтикой моря, которое страстно, всей душой любил писатель.

Морские острые сюжеты, заставляющие с неслабым интересом следить за событиями, в произведениях Новиков-Прибая обязательно сочетаются с широким общественным планом. Общественная, революционная точка зрения всегда служит той вышкой, с которой автор устанавливает связь судьбы своих героев с жизнью родины, серьезными социальными вопросами. Герой рассказов и романов Новиков-Прибая обычно деятельный человек, не мирящийся с неправдой, полный общественного протеста против царизма. Патриотизм писателя проявляется так же в непоколебимой вере в русского человека. Героев Новиков-Прибая укрепляет уверенность в лучшем будущем родины: она помогает им уверенно и прочно держаться в жизни. Уважение к простому русскому человеку — отличительнейшая и ценнейшая черта творчества нашего писателя. Чувствуется, что пишет подлинный сын народа, кровно связанный с ним; пишет о героях как о своих родных и близких.

Великая Октябрьская социалистическая революция создала условия для полноценного развития таланта писателя. В Россию Новиков-Прибай возвратился только за год до империалистической войны. На несколько лет наступает творческая пауза. В 1918 году в Сибири, среди снегов, он создает рассказы «Под южным небом», «Море зовет», снова возвращается к любимой морской теме. Появляются такие произведения, как «Соленая купель», «Женщина в море», «Подводники», «Коммунист в походе», «Ералашный рейс», «В бухте Отрадная». Творческий путь Новиков-Прибая после «Морских рассказов» характеризуется непрерывным ростом литературного мастерства. Богатый жизненными впечатлениями, превосходный рассказчик, Новиков-Прибай создал увлекательные произведения. Они отличаются занимательностью повествования, свежестью языка, интересным сюжетом, яркостью описаний, которые притягивают к ним читательское внимание. Писатель нарисовал живые образы русских моряков, высокие нравственные качества, храбрость, силу патриотизма русского человека. Писатель не оставил и деревенской темы. Новой деревне, разбуженной социалистической революцией, посвящает он рассказы «Вековая тяж-

ба», «Зуб за зуб». В них — на новом материале — продолжены и развиты общие художественные тенденции, намечившиеся в повестях «Порченный» и «Лишний». Тем не менее, наиболее яркими остаются, как и прежде, произведения на морские сюжеты. Это вполне объяснимо: со службой на море у Новиков-Прибая связаны самые сильные жизненные впечатления, толкнувшие его к литературе вообще. Вся сознательная жизнь писателя прошла главным образом на флоте, где укрепились в его характере хорошие психологические черты русского крестьянина — трезвость и ясность взгляда, рассудительность, настойчивость и трудолюбие.

Мало у нас писателей, так рельефно и выразительно описавших трудность и суровость морской службы в царском флоте. Новиков-Прибай не страшил опасности боевых столкновений и борьбы со стихиями. Русский матрос не боится почетной смерти и не боится ее и герой рассказов и повестей Новиков-Прибая. Но матросов царского флота угнетало унижение человеческого достоинства. Это — главная причина страданий героев произведений Новиков-Прибая. Выходец из матросской среды, он обнажил источник самых мучительных переживаний, сложных коллизий. Новая советская действительность помогла писателю верно оценить события общественной жизни прошлого и настроения, связанные с ними, найти более типичные противоречия, ситуации. Она обострила и углубила революционное настроение произведений автора «Морских рассказов».

Одна из наиболее выдающихся послеоктябрьских повестей Новиков-Прибая — «Подводники». С тонким знанием дела нарисована выразительная картина боевых будней экипажа подводной лодки «Мурены», действующей против немцев в первую мировую войну. «Мурена» находится в длительном опасном плавании. Люди отрезаны не только от мира, но и очень редко видят солнце. Писателя занимают переживания крестьян и рабочих, одетых в матросские форменки. Прекрасно охвачены особенности их мироощущения в то время. Быстро формируется политическое сознание матросов. Весь опыт в годы империалистической войны приводит их к убеждению, что для самодержавия интересы передового народа совсем не существенны. Их сознание, как и сознание всего народа, не может примириться с системой, определившей такое отношение к человеку. Новиков-Прибай всегда остро чувствовал глубокую человечность своих героев. Он горячо и постоянно ее защищает. Описывая экипаж подводной лодки «Мурена» писатель воспроизводит мысли и чувства трудящегося народа, оскорбленного и угнетенного царизмом. Но мировоззрению народа чуждо отчаяние. Экипаж лодки политически просвещает революционер радиотелеграфист. Зубов. И общий фон повествования, вопреки мрачным контрастам многих сторон жизни, оптимистический.

Не будет преувеличением, если мы скажем, что не одну сотню советских молодых мо-

дей толкнуло и толкает к военно-морской профессии знакомство с произведениями Новикова-Прибоя.

Участие в деятельности советского военно-морского флота являлось для Алексея Силыча родным делом. И в годы Великой Отечественной войны он выступает в советской литературе главным образом на морские темы. Творчество Новикова-Прибоя после 1917 года обогатилось образами советских моряков. Они представлены в волевых, сильных и целостных характерах, воспитанных новой действительностью, снявшем старые общественные противоречия. Из произведений такого рода наиболее типичны «Коммунист в походе» и «Ералашный рейс».

Новикову-Прибою присуще пристрастие к резкости и остроте фабулы, доведенному до предела драматизму положений. Можно сказать, что он не любил легких и благополучных ситуаций. Не всегда у него конфликты разрешаются благополучно для персонажей. В рассказах и повестях автора «Цусимы» много тяжелого. Писатель рисует внимательно и вдумчиво, наряду со светлым, темное в душе человека, рожденное невежеством или малодушием. Но никогда склонность Новикова-Прибоя к предельному драматизму и острой постановке вопросов не переходит в запугивание читателя ужасами. С беспощадной обнаженностью изображает он отрицательные стороны жизни и недостатки внутреннего мира людей в повестях «Соленая купель», «Женщина в море», «Ералашный рейс». Например, в повести «Ералашный рейс» обрисована жуткая картина переживаний людей, охваченных страхом близкой гибели. Рассказывается о малодушии и героизме, благородстве и низости. Капитан и его близкие покидают корабль, когда опасность стала угрожающей. На гибнущем судне остается только один человек — машинист Самохин. В нем выведен новый, советский человек, человек большой души. Самохин — коммунист, бывший командир отряда революционных матросов, дравшегося с белыми в гражданскую войну. Он не может уйти и не хочет уйти с корабля, севшего в шторм на подводные камни, потому что не было команды». Настоящий человек, он остался верен великопешной русской морской традиции, состоящей в том, что командир должен свикнуться с мыслью погибнуть вместе со своим кораблем. Чувство ответственности перед народом проявляется в сознании Самохина с большой силой. Пережив бурю, он приводит корабль в порт, замещая и машиниста, и рулевого. Героизм и воля побеждают.

«Коммунист в походе» — повесть о торжестве смелости. Пароход «Коммунист» попал ночью на Северном море в сильный циклон. Судно, казалось, уже последние минуты выдерживало напор ветра и воды. Страшно, когда начинают лопаться перегородки и начинает заливать кубрики. Многие из команды корабля поседали. Все же к утру, весь израненный, «Коммунист» пришел к месту назначения. Героически проявила себя вся команда. Каждый твердо

стоял на своем посту. Новиков-Прибой замечательно изобразил разбушевавшуюся стихию и напряженность переживаний людей, с ней столкнувшихся.

В облике социалистического человека писатель выдвигает на первый план волю, смелость и настойчивость, подчиненные благородной цели служения отечеству. Положительный характер в произведениях Новикова-Прибоя отличается простотой, твердостью взгляда на мир и деловитостью. Однако эта деловитость далека от мещанской трезвости и расчетливости. Герои Новикова-Прибоя — люди широкого душевного размаха, каждый со своей резко очерченной индивидуальностью, смелым, самостоятельным мышлением. Душа их полна творческой романтики.

Образы послереволюционных повестей более углублены и многосторонни, нежели в морских рассказах, посвященных описанию тяжелой матросской жизни. Новая действительность развила положительные душевные качества излюбленных героев Новикова-Прибоя, внесла в их сознание положительное творческое искание, государственный характер мышления, ощущение себя деятелями — творцами.

Сильные стороны творчества Новикова-Прибоя наиболее ярко проявились в эпопее «Цусима». Для создания такого большого исторического полотна требовалась большая смелость. И писатель ее нашел в упорном и длительном труде, позволившем преодолеть все препятствия. Как писатель Новиков-Прибой рос, осваивая эту тему, настойчиво преодолевая все преграды, пополняя свои знания, совершенствуя литературную технику.

Работа над романом длилась много лет. Опять писатель начал собирание материалов: его старые записи дополнялись новыми свидетельствами современников — офицеров и матросов, архивными материалами, документами. «Я обрастаю материалами для «Цусимы», как днище корабля фракушками», писал он в одном из своих писем к С. Сергееву-Ценскому. Первое издание «Цусимы» вышло в 1932 году.

Вся эпопея написана от первого лица. Сам автор является перед нами одним из множества героев этого произведения. Личность его не выпячивается на первый план, а, напротив, весь тон повествования подчеркивает, что рассказ идет от рядового участника сражения. Нельзя художественные достоинства этого произведения измерять количеством собранного, хотя бы и неповторимого материала. Нужно его объединить единым чувством и единой точкой зрения. Живая душа эпопеи «Цусима» заключена в чувстве, в личной глубокой заинтересованности автора. Поэтому мемуарный характер повествования не отягощает его, а, напротив, представляется источником внутренней напряженности изложения. В центре произведения остаются личные переживания автора, создающие его основной тон. «Несмотря на обильный материал, — говорит сам писатель, — книга была бы написана по-другому, если бы я сам не пережил «Цусиму». Душа Новикова-

Прибой была выведена из равновесия виденным на Тихом океане. Огонь исторического события зажег в нем непреодолимую жажду творчества.

Личность писателя, ставшего героем произведения, объединяет многочисленные исторические эпизоды и лица, нарисованные в «Цусиме». Изображение истории у Новикова-Прибоя, как глубоко личного события и чувствования, заставляет особенно глубоко переживать вместе с автором происшедшее.

Эпопея охватывает большое количество последовательно воспроизведенных исторических событий и лиц. Здесь и портреты политических деятелей, офицеров и адмиралов второй Тихоокеанской эскадры, матросов, участников сражения, характеристика социально-экономических и дипломатических предпосылок войны, переговоры, свидание Вильгельма с Николаем II, гибель Портартурской эскадры, политика Германии, Англии, Франции, описание боя под командованием адмирала Рождественского с эскадрой адмирала Того и множество других исторических фактов. Объединенные горячим патристическим отношением рассказчика, они, несмотря на все многообразие, связаны в эпопею Новикова-Прибоя, как части целостного художественного произведения. Наряду с единством чувства и мировоззрения, автор проявил большое мастерство сюжета. Многие эпизоды эпопеи достигают высокого художественного совершенства.

Неправильно объяснять успех эпопеи только новизной материала. Полезно вспомнить, что одновременно с баталером Новиковым стал собирать материалы для книги о Цусиме и капитан 2-го ранга Семенов, личный адъютант адмирала Рождественского. Его книга вышла под названием «Расплата». И все-таки время свершило свой правый суд. Книга Семенова давно забыта, а книга Новикова-Прибоя живет и долго будет жить. Большое значение здесь, несомненно, имела степень литературного дарования. В лице Новикова-Прибоя выдвинулся настоящий крупный талант. В лице Алексея Силыча русские моряки нашли своего художника. Он раскрыл в своих произведениях душу русского матроса, его смелость, душевный размах, его неугашиваемую любовь к отечеству.

Эпопея «Цусима» — патристическое произведение. Произведение является пламенным обвинительным документом, выдвинутым против царизма. И наряду с этим оно живое свидетельство доблести и великих сил русских людей, способных к высокому героизму. Автор и в этом произведении остается представителем «нижней палубы», матросских масс, психология которых с начала и до конца похода и во время сражения превосходно изображена. Новиков-Прибой отобразил и ненависть народа к реакционному офицерству и царизму. Вместе с тем, он ярко продемонстрировал, на какие высочайшие вершины героизма и доблести может всходить русский человек.

При Цусиме после дневного боя броненосец «Орел» был совершенно изувечен. Центр тя-

жести на нем переместился. По заключению трюмных инженеров, броненосец мог выдерживать крен не более восьми градусов. А он при крутом повороте давал крен до двенадцати градусов. Была темная ночь. «Орел» шел до Владивостока, рискуя каждую минуту перевернуться. Нужен был герой, чтобы спасти положение. Таким оказался рулевой, боцманмат Копылов, плотный и смуглый сибиряк с жесткими усами. Это был лучший рулевой, знавший все тонкости своей специальности, хорошо освоивший все капризы корабля при тех или иных поворотах. Все его лицо было исцарапано мелкими осколками. Кисть правой руки была наспех обмотана ветошью, — ему оторвало в дневном бою два пальца. С утра, как только появились на горизонте японские разведочные крейсера, он занял свой пост и, хотя потерял много крови, бесшумно стоял перед компасом, словно притянутый к нему магнитом.

По ходу событий эскадренный миноносец «Быстрый» вынужден был выйти из боя и отправиться к берегу, чтобы спасти команду. Он шел на мель довольно далеко от суши. Решено было взорвать корабль, иначе он мог достаться врагу. Для этого в патронный погреб провели бикфордов шнур. Командир обратился к команде с вопросом: не найдется ли охотник выполнить его распоряжение. На это сейчас же отозвался минный квартирмейстер Галкин. Это был тихий и скромный, исполнительный человек, ничем ни выделявшийся среди других ни во время похода, ни в бою. Осенью кончался срок его службы. Казалось бы, главные его интересы должны сводиться к тому, как бы скорее попасть в родную семью. Все посмотрели на него с изумлением. Они хорошо понимали, что взорвать судно, находясь на его палубе, это значит иметь только один шанс из ста на спасение. Когда люди с «Быстрого» добрались до берега, Галкин поджег бикфордов шнур и, убедившись, что все идет ладно, бегом направился на носовую часть судна. Здесь один конец заранее приготовленного пенькового троса он прикрепил к леерной стойке, а другим опоясал себя и спустился за борт.

Вскоре раздался страшный взрыв. Миноносец превратился в развалины. Матрос Галкин чудом остался в живых.

«Если здесь рассказываю, — говорит писатель, — об отдельных героических личностях из команды того или иного корабля, это не значит, что остальные матросы вели себя во время боя с «прохладцей». Например, крейсер «Светлана», бывшая яхта царского дяди, совершенно не приспособленная к бою, сражалась против превосходящего врага до последнего снаряда, хотя и была заранее обречена на гибель. Кто может сказать, сколько на ней было героев из матросов? Крейсер «Дмитрий Донской» бился с шестью нападшими на него неприятельскими крейсерами и два из них вывел из строя. И только потом уже, исчерпав все свои боевые средства, он открыл кингстоны и погрузился в морскую пучину. Тут были все герои, начиная с командира и кончая рядовым матросом».

Новиков-Прибой, возвращавшийся в самой гу-

ще матросов, нашел верное объяснение тем беспримерным подвигам, которые совершили многие офицеры и матросы в известном сражении, несмотря на ненависть к пославшему их на гибель царизму. Главное, это сила товарищества, стремление помочь своему соседу, ненависть к врагу, от руки которого гибнет дорогой человек. Именно любовь к отечеству навсегда вложила в души поколения Новикова-Прибоя убеждение в необходимости призвать к ответу, произвести «расплату» с виновниками Цусимы, с угнетавшим народ царизмом, мешавшим росту могущества и творческих сил народов России.

Свободные народы социалистической страны укрепили государственное и военное могущество своей родины. Сейчас это могущество с небывалой силой проявилось в борьбе с самым сильным противником, с которым пришлось воевать нашей родине.

Отдав должное темам, связанным с прошлым, Новиков-Прибой стремился художественно освоить тему советского Военно-Морского Флота. Упорно работал писатель-патриот в годы Великой Отечественной войны. Он старательно изучал героические дела наших моряков. Все время его занимал план нового большого романа «Капитан 1-го ранга». Алексей Силыч предполагал в образе Псалтырева нарисовать матроса старого русского флота, прошедшего суровую школу войны и революции и ставшего крупным советским морским офицером. К сожалению, писателю удалось выполнить только часть своего творческого замысла.

Роман «Капитан 1-го ранга» — посвящался прошлому русского флота. Писатель в дни Великой Отечественной войны не мог не сказать свое слово и о текущих событиях, людях, отстаивавших наше отечество от врагов. Он пишет серию очерков о воинах-героях, напечатанных в различных газетах и журналах («Снайперы», «Морские орлы», «Сила ненависти», «Города-герои», «Нравственная сила», «Русский матрос», «Боевые традиции русских моряков», «Волга», «Победитель морской стихии», «Родина», «Партизан Никита Шешко», «Моряки в

боях», «Партизан дед Талаш», «Мсти, товарищ»). Подавляющее большинство этих очерков посвящено советским военным морякам. Внимание Новикова-Прибоя привлекают лучшие люди флота, совершающие выдающиеся героические подвиги. Поступки их — живое воплощение советского патриотизма. На первый план творчества писателя, как и всей советской литературы периода Отечественной войны, выступает тема героизма. Герои очерков Новикова-Прибоя — люди различных военных профессий. Здесь изображаются боевые дела знаменитых снайперов — младшего сержанта Титова, старшины Ноя Адамыа, летчика Сгибнева, бойца морской пехоты Сивкова, командира Щербака, рулевого Дьяченко, партизана деда Талаша, заслуженного ученого, кораблестроителя академика Крылова. В их портретах, несмотря на различие военных специальностей, подчеркиваются типические духовные свойства советского народа, обеспечивающие нашу победу над врагами. Все они люди, беспредельно преданные своей родине, жертвующие всем за ее честь, свободу и независимость. Новиков-Прибой много и хорошо пишет о боевых традициях русских моряков. Главное, что выделяет писатель в своих героях, это величайшую их нравственную силу, перед которой ничто не в состоянии устоять. «Эта сила, — пишет Новиков-Прибой, — является незаменимой основой нашей Красной Армии и Красного Флота. Именно поэтому с каждым днем растут и крепнут мощные удары по врагу. Это доказывают своим поведением на войне наши герои. Многие из них погибли, но сила, питавшая их, жива. Она развита в миллионах сердец и кипит в них мщением к жестокому врагу, вызывая горячую веру в неизбежную победу над ним. Никогда не удавалось сломить нравственную силу русского народа, притупить ее или обезличить. Победит эта нравственная сила и теперь».

Произведения Новикова-Прибоя обогатили советскую литературу.

Память о писателе Алексее Силыче Новикове-Прибое долго будет жить в сердцах советских людей.

БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГА О ЧЕХОВЕ*

Книга К. Полонской является одной из многих работ о Чехове, вышедших в дни войны, и уже одно это усиливает интерес к ней и заставляет подходить с особыми, повышенными требованиями. Книга состоит из нескольких разделов, посвященных отдельным сторонам творчества писателя.

Первая глава называется «Чехов — великий русский писатель и патриот». Здесь автор отмечает связь Чехова с лучшими гуманистическими устремлениями мировой и русской классической литературы: борьба за свободу личности, любовь к народу, внимание к жизни «маленького человека». Указывается, что борьба Чехова с пошлостью и равнодушием — проявление подлинной любви писателя к жизни. Но, правильно отмечая гуманистический, жизнеутверждающий характер чеховского творчества, автор очень мало говорит о Чехове-патриоте, не показывает, как гуманизм писателя сочетается с его глубокой, органической любовью к России: несколько общих фраз в конце главы в счет не идут. И поэтому заглавие первого раздела, столь ответственное и многообещающее, оказывается неоправданным, ибо облик Чехова, «друга России» (М. Горький), умного, любящего и правдивого, остается нераскрытым.

Автор почему-то совершенно не использовал многочисленные высказывания Чехова о России, о русском народе, о прекрасном будущем, которое ожидает его родную страну. За рамками работы оказались и интереснейшие воспоминания и высказывания современников Чехова о нем (Горький, Л. Толстой, Куприн, Короленко, Бунин, П. Сергеев и мн. др.). Все эти писатели и друзья Чехова единодушно отмечают глубокую, нежную любовь Чехова к России, его чисто русский народный облик.

Со страниц чеховских повестей, рассказов,

писем и заметок встает бескрайная многокрасочная страна «громадных лесов, необъятных полей, глубочайших горизонтов». Народ, который населяет эту страну, — сильный, честный и мужественный — подстать этой могучей природе и, в сущности, какая прекрасная жизнь должна быть в этой стране.

«Велика матушка Россия!» — восклицает Чехов. И, подхватывая эти слова, Горький в известной статье о Чехове пишет: «И огромные рождаются в ней таланты, прекрасные глубокие сердца в ней есть! Будем верить, что хорошего не только больше, но и будет больше!» (Горький. «Литературные заметки», 1900).

Не сумев показать своеобразие и обаяние Чехова-патриота своей родины, автор не смог поэтому по-настоящему раскрыть и связь творчества Чехова с творчеством Максима Горького. Не сумел именно потому, что Горький наследует у Чехова тему России, наследует и развивает ее как одну из главных, определяющих тем. Чеховские слова «Велика матушка Россия!», «Боже мой, как богата Россия хорошими людьми» могли бы стать эпиграфом к десятиграммовым рассказам цикла «По Руси».

Далее автор переходит к характеристике «Эпохи, отраженной в творчестве Чехова». Вывод, к которому приходит К. Полонская, таков: «В творчестве Чехова отразились 80-е годы, с одной стороны — как сумеречная тяжелая пора, время измученных жизнью «хмурых людей», с другой — как время зарождения неясных еще и не вполне осознанных надежд и стремлений...»

Такое определение, конечно, верно, но совершенно недостаточно, если только им ограничиться.

Искусство Чехова связано не только с эпохой 80-х годов, но и с эпохой второй половины 90-х и начала 900-х годов, названной Лениным эпохой подготовки революции.

* К. Полонская. Чехов. Ташкент, 1943.

Ведь именно в последние годы жизни создает Чехов самые зрелые, самые изумительные свои произведения—«Три года», «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Три сестры», «Вишневый сад» и «Невеста».

В определении эпохи Чехова К. Полонская, к сожалению, пошла за теми критиками, которые объявляли Чехова «типичным восьмидесятиком», отразившим «мертвую полосу» в развитии России, забывая, что зрелый Чехов жил и творил в эпоху, овеянную дыханием приближающейся революционной бури.

Такое искажение исторической перспективы не могло не привести и действительно привело к одностороннему освещению чеховского творчества. Раз Чехов связан прежде всего с мрачной эпохой 80-х годов, то такой рассказ, как «Невеста», воспринимается как произведение, выпадающее из его творчества. «Активность бодрого и жизнерадостного настроения рассказа», — пишет Полонская о «Невесте», — резко отличает его от всех других произведений Чехова». При этом совершенно не улавливается органическое родство в рассказе с такими произведениями 90-х и 900-х годов, как «Студент», «Учитель словесности», «Крыжовник» и другими. Тем более ошибочно противопоставление «Невесты» пьесе «Вишневый сад». «В «Невесте», — пишет автор, — нет лирической грусти о прошлом», в этом рассказе все далеко от поэзии «Вишневого сада». Утверждение это ошибочно потому, что лиризм последней пьесы Чехова связан отнюдь не с грустью об уходящем прошлом, а с радостным, волнующим предчувствием близкого счастья, счастья, которое вот-вот должно наступить. И в этом смысле нет никакой принципиальной разницы между характером звучания «Невесты» и «Вишневого сада».

Правильно подчеркивает автор прогрессивный и демократический характер творчества Чехова. Но говоря об отдельных фактах биографии писателя, он совершенно не считается с хронологической последовательностью изложения. Конечно, не обязательно было подробно говорить о сложной эволюции художника, воссоздавать весь процесс его развития, но наметить перспективу и направление этого развития, хотя бы бегло очертить основные моменты стремительного и неуклонного роста писателя было совершенно необходимо. А о какой же «перспективе» может идти речь, если автор сначала говорит об академическом инциденте 1902 года, затем — о деле Дрейфуса (как известно, разрыв Чехова с Сувориным в связи с этим процессом произошел в 1898 году) и только после этого о поездке Чехова на Сахалин в 1890 году!

Характеристике Чехова — «великого художника новой европейской литературы» посвящена самостоятельная глава.

На первый взгляд в этой главе все обстоит благополучно: говорится о мастерстве и лаконизме чеховского письма, об умении писателя двумя-тремя штрихами показать сложные изменения во внутреннем мире героев, о лиризме в его описаниях природы и т. д. Отметим эти особенности Чехова-художника, К. Полонская задается вопросом: «Что же новое внес Чехов в искусство, как удалось ему стать одним из создателей русского литературного языка и нового этапа в развитии русской литературы?»

И вместо ответа на этот важнейший вопрос автор говорит о «новом, поднимающемся художественном течении импрессионизма» с его «красочностью, точностью в передаче мельчайших оттенков настроения» и т. д. «Импрессионистическая манера письма используется Чеховым для более точного и тонкого изображения явлений реальной жизни».

Спору нет, чеховская художественная манера действительно связана в отдельных моментах с творчеством художников-импрессионистов, но неужели это и есть ответ на вопрос о том, что нового внес Чехов в сокровищницу мировой литературы?

Не заимствуя художественные приемы у импрессионистов, а идя по пути самостоятельного творческого развития, разрешая сложные и жизненно важные вопросы, вызванные эпохой, создавал Чехов свои замечательные шедевры реалистического искусства.

Ленин в своих статьях о Толстом показывает, как «эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (Ленин и Собр. соч., Изд. III, XIV, стр. 400). А у Полонской получается, что «новое», «внесенное Чеховым в искусство», объясняется... его заимствованием художественной манеры импрессионистов.

Недостаточность характеристики Чехова-патриота, одностороннее определение эпохи, отраженной в его творчестве, сумбуренность изложения, при котором нарушается элементарная последовательность основных моментов развития писателя, — все это значительно снижает ценность книги К. Полонской. К этому можно было еще добавить, что в работе даже не сделана попытка как-то сопоставить творчество Чехова с его великими предшественниками в русской литературе, не говоря уже о том, что вопрос о глубокой связи Чехова и Горького, в сущности, остался почти не раскрытым. Вот почему книга К. Полонской не удовлетворяет читателя.

З. Паперный

ЗАПИСКИ ПОДВОДНИКА*

Эту небольшую книжку написал Герой Советского Союза капитан 2-го ранга И. Фисанович, командир Краснознаменной подводной лодки «М-172». Жизненный и боевой путь ее автора — типичный путь лучших представителей советской молодежи. Герой-подводник родился в 1914 году, и его боевая учеба совпала с днями Великой Отечественной войны. В то время, как в Баренцовом море уже шли надводные и подводные бои советских моряков с противником, молодой капитан-лейтенант еще только практиковался в заливе. В качестве вывозного с ним плавал Герой Советского Союза И. Колышкин, прославленный «дядька» североморцев. С Колышкиным Фисанович ходил и в первый боевой поход, где обнаружился талант будущего мастера подводного боя. С каждым новым походом совершенствовалось воинское умение экипажа лодки. Под командованием Фисановича «М-172» за двадцать один месяц потопила тринадцать кораблей противника и была награждена орденом Красного Знамени. Имя ее командира приобрело популярность не только на флоте и в стране, но и за границей, среди наших союзников.

О напряженном, героическом труде подводников у нас написано мало. Небольшие книжки Б. Яглинга, А. Петрова, где собраны газетные очерки, сообщают читателям ряд интересных фактов, но не дают возможности во всем объеме представить особенности и трудности подводной войны. Написанные профессионалами журналистами, наблюдателями со стороны, они отражают лишь наиболее эффектные моменты боевых походов.

Вполне понятен поэтому особенный интерес, который вызывает очерк боевых действий подводной лодки, написанный самим подводником, к тому же одним из талантливейших наших командиров. Фисанович писал свою книгу в перерыве между боями, и каждый новый поход его «Малютки» — так на флоте называют подводные лодки этого типа — добавлял к книге новую главу. Книга написана автором самостоятельно, без посторонней помощи.

Очень скромно, почти умалчивая о себе, автор рассказывает о людях своей лодки и их боевых делах. Его безыскусственный рассказ, скупой и точный, лишенный всяких украшательств, дает большее представление о героизме подводников, чем десятки восторженных подвалов опытных журналистов на эту тему. Автор показывает подводную войну, прежде всего, как напряженный осмысленный труд. Пламя боевого успеха разгорается в результате упорной учебы и повседневного совершенствования. Только умение в сочетании с личной отвагой и неустранимостью боевого коллектива приносит победу.

История подводного корабля начинается на

стапелях судостроительного завода. С этого момента и начинается Фисанович свои записки. В то время, как идет стройка корабля, будущий экипаж уже изучает по чертежам его устройство, а командир отделения трюмных ползает по пяткам за сварщиками и медниками, следя за каждым изгибом прокладки магистралей. Еще идет монтаж механизмов, а будущие механик, рулевой, моторист лодки уже знают каждый винтик и гайку в отсеках корабля. Период созидания подлодки — одновременно период освоения ее материальной части офицерами и краснофлотцами. В это время закладывается краеугольный камень того необходимого единства, которое составляют в бою механизмы и люди, управляющие ими. Принявший лодку экипаж проводит и ее испытание. Наконец, после учебной практики, августовским вечером лодка выходит в первый боевой поход. Молодой командир рвется к встрече с врагом, но море пусто. В глубине фиорда, в тихой гавани бухты, разгружаются вражеские корабли. Командир принимает дерзкое решение ворваться в фиорд, но старый опытный подводник Колышкин удерживает его от этого шага. Он не уверен, принято ли решение обдуманно, или оно просто результат вполне понятной горячности новичка. Только после суток крейсирования возле вражеских берегов, убедившись в непоколебимости решения молодого командира, Колышкин разрешает ему войти в бухту. Атмосфера серьезности, охватившая экипаж при выполнении смелого решения, очень хорошо передается автором книги.

Подводникам удается проскользнуть незамеченными. В самой гавани, у причала, они транспортируют огромный транспорт и своевременно ускользают от врага.

Одна за другой перед читателем проносятся картины боевых походов, и хотя результаты бывают всегда одинаковы, почти одинаков и момент атаки, но каждый поход в описании автора, как и в действительности, имеет свои особенности, в каждом из них знакомиться с новыми сторонами подводной войны, новыми качествами экипажа «Малютки», видишь, чем же обогатился опыт моряков во время данного похода.

Не только боевой успех, но и просто безопасность корабля и экипажа во время плавания зависят от знания людьми их обязанностей, от их неустанной, напряженной внимательности. Ошибка или просчет одного из специалистов может грозить гибелью всему кораблю. В немногочисленной команде неизбежно совмещение профессий. Это требует еще большей подтянутости и четкости в работе каждого члена экипажа. Сложность обыденной опасной работы подводника раскрыта автором в рассказе о промахе торпедиста Васи Немова.

Исправление нечаянной аварии, в описании которой автору удалось показать одновременные решительные и молниеносные

*И. Фисанович, Записки подводника, Военмориздат, 1944 г.

действия каждого специалиста в отдельности и всего экипажа в целом, — одно из лучших мест книги.

Автор ее обладает умением видеть. Портреты людей, их внешние и внутренние характеристики, короткие описания запоярной природы конкретны и запоминаются. Даже директор судостроительного завода Барабанова, всего один раз мелькнувшего на страницах, запоминать по его не без юмора подмеченной привычке записывать малейшие погрешности в работе на папиросной коробке, на которую потом, поживаясь, опасливо поглядывают начальники цехов. Командир подразделения Морозов, собирающий после потопления транспорта свои лишние усы, невозмутимый штурман лейтенант Буттов, электрик Владимир Тертычный, рулевой Быстрый и другие члены команды обрисованы живым пером, лаконично и метко.

Отрывки из книги Фисановича печатались до ее появления в газете Северного флота. Сравнивая газетный текст с текстом книги, с

удивлением отмечаешь, что кое-какие детали оказались незаслуженно выброшенными чьей-то чопорно-стыдливой рукой. Так, например, в книге не нашел места проступок старшины, растерявшегося вовремя одного из боев. В описании этого исключительного на лодке события у автора, однако, не было ничего порочащего наших моряков. Оно только подчеркивало высокое мужество остальных бойцов и ту негибаемую волю, которой должны обладать и обладают наши военные моряки.

«Записки подводника» радуют точной выразительностью языка. Эта маленькая книжка, являясь документом, свидетельствующим о блестящей морской культуре молодых советских моряков, одновременно говорит об их высокой общей культуре. Знакомство с книгой позволит широким кругам читателей со слов непосредственного участника составить себе ясное представление о героических подвигах славных североморских подводников.

А. Макаров.



«СТАЛИНСКИЕ МАСТЕРА»*

В одном из очерков своей книги Анна Караваева делает интересное замечание о том, что самая маленькая художественная картина дает зрителю больше, чем на ней изображено. Таково свойство подлинного искусства. Книга очерков А. Караваевой не претендует на художественность. Но она представляет интерес не только по теме, а и по взволнованному отклику советского человека на величайшие события. Обращаясь к читателю, автор говорит: «Говоришь, не удивляйся, когда рядом с повествованием об уральских мастерах ты увидишь авторский дневник, лирические отступления, воспоминания, призывы через дали и рубежи, — словом, все, что называется движением души человеческой». Но все же главный интерес книги — в ее теме.

В нашей литературе создано еще очень мало произведений о героической работе советского тыла в годы Отечественной войны. А описание того, как борется Урал — для писателя в высшей степени благодарная задача. Очерки Анны Караваевой в известной мере отвечают потребности советских людей — увидеть в литературе изображение тех усилий и достижений, которые изумили не только друзей, но и врагов.

Роль Урала в Отечественной войне с немецкими захватчиками исключительно велика. Урал по праву называется арсеналом фронта, грандиозность которого не имеет исторических аналогов.

Урал стал основной кузницей оружия, которым славная Красная Армия с таким велико-

лепным искусством уничтожает и гонит с советской земли фашистские орды.

Как исполинский богатырь, Урал не сгибается под тяжестью все новых и новых задач, а решая их, становится еще более сильным. Вот почему в книге очерков, написанных на материале одного уральского завода, типичного для наших сталинских новостроек на Востоке, который еще до войны назывался «заводом заводов», Анна Караваева сумела показать некоторые моменты того, как рабочий класс СССР, «не выходя из родного цеха...», выиграл множество сражений».

Автор скромно оценивает свои очерки, только как вскизвы будущего большого произведения.

А. Караваева пишет о передовых людях завода, о гигантском росте советских людей в дни войны.

В молодежной бригаде девушек-сварщиц, в стерженщице Зубринской, в семье Олейниковых (жена — краповщица, муж — кузнец), сталеварах Валееве и Сидоровском, в лекальщице Чугунове — в этих передовых людях завода писательница и нашла наиболее характерные для людей нашей страны черты.

В очерках Анны Караваевой показываются производственные успехи лучших советских людей, рост производительности их труда. Изображение того, как сталевары от 3—4 тонн выплавки стали поднимаются к 18 тоннам и выше, интересно само по себе. Но не в этом показе количественных сдвигов основное достоинство книги.

Один из основных героев книги, сталевар Сидоровский говорит, что «техника стала народным достоянием».

* Анна Караваева, «Сталинские мастера». Повествование о людях и днях. Москва, Гослитгиздат, 1943.

Под этим разумеется не только то, что советская техника принадлежит народу, как материальная ценность, но главным образом то, что советские люди в совершенстве овладели ею, что она стала в их руках послушным орудием сознательно направленной воли. В этом смысле примечательно выражение Сидоровского: «вышла плавка по моей воле». Это относится еще к 1937 году, когда Сидоровский только становился мастером стали. Война заставила строже огнестис к самим себе, и то, что казалось пределом возможности в довоенных условиях, во время войны было оставлено далеко позади.

Книга Анны Караваевой показывает, как страдания, принесенные народу войной, переплавались в ненависть к врагу, в мастерство.

Роль женщины в тылу, ее умная, самоотверженная работа, роль советской семьи в величайших испытаниях родины, органическое единство общественного и личного в сознании советского патриота — все это в книге очерков А. Караваевой намечено, может быть, беглым пунктиром, но, озаренные пламенем всенародной войны с фашистскими захватчиками, трудовые усилия народа все же предстают в определенных живых фактах.

Биографии сталинских мастеров обычны для советских людей. Старшие, как кузнец Олейников, испытавший и эксплуатацию немца-помещика Родермунда, и батрачество па кулака, пришли на завод уже сложившимися людьми. Другие, прежде чем попасть на крупный советский завод, в поисках настоящего призвания испытали множество профессий. Бывший псковский крестьянин, сталевар Сидоровский работал одно время плотовщиком. Эта опасная работа выработала в нем смелый, спокойный характер. Сталевар Валеев был портным, тянулся к театру, где даже пользовался успехом. Работоспособность и хороший азарт сделали из него первоклассного мастера стали. А зрелая жизнь бригадира девушек-сварщиц Феликсы Гржибовской «еще только начиналась, как зарево Отечественной войны жарко и грозно осветило ее дорогу».

Рабочие описываемого Караваевой предприятия пришли на завод разными путями. Многие из них строили и создавали его славу еще в мирное время, некоторые пришли туда по пыльным дорогам войны. Но всех их объединил единый дух нового советского рабочего класса, воспринимающего работу, как государственное дело громадной важности.

В одном из очерков хорошо переданы беспокойство и душевная боль советского человека, которые он переживает при виде производственных неудач своих товарищей. Сталевар Сидоровский однажды «видел, как соседняя бригада пережгла свои печи. Даже на сплаве, среди бешеной дури порожистой реки, он не чувствовал такого ужаса, какой мгновенно передался ему в те памятные минуты. Когда подняли заслонку, кто-то глухо вскрикнул — свод печи зиял страшной белизной! Его будто сводило судорогой, и вдруг длинная белая капля повисла над сводом и нехорошо вытянулась вниз, за ней другая, третья, еще и еще — свод тянулся, как тесто, таял, печь гибла, выбывала из строя. Сталевары двигались с мрачно сосредоточенными лицами, будто вокруг покойника... Ужасно было видеть, когда человек из-за просчета или недогадыа становится в положение разрушителя своего труда», ибо «труд, обратившийся в разрушение..., недостоин человека, унижает его, как стыд».

Тесная связь советского тыла с фронтом, стремление людей работать по-фронтовому приводит красной нитью через всю книгу.

Очерки Анны Караваевой печатались в современных изданиях. Кое-что в них сделано наспех, не доработано. Осталась в неприкосновенном виде ненужная краснота: «нежный, как лебяжий пух, снег», «парчевые башни запорошенных снегом сосен, елочек» и т. д. и т. п.

Диалог в очерках иногда настолько невыразителен, что кажется, как будто автор вставляла куски стенограммы производственного совещания.

Остался незамеченным целый ряд курьезных авторских описок.

На стр. 38 говорится о «боях в прифронтной полосе», а на стр. 74 об Олейникове сообщается, что он «работал кайлой», хотя всем известно, что кайло среднего рода.

В заключение укажем на частые повторы. В книге даны биографии мужа и жены Олейниковых. Понятно, что у мужа с женой, работавших вместе, были общие моменты в биографиях, о которых достаточно было сказать в одном месте. Но автор и редактор, должно быть, не доверяя памяти читателя, на стр. 74 и 101 дают два незначительно отличающихся друг от друга варианта одного и того же материала.

Все эти легко исправимые погрешности снижают литературное качество книги.

А. Костицын

★

«СТУДЕНОЕ МОРЕ»*

Люди, много плававшие и имеющие что сказать о флоте, редко претворяют свои знания и наблюдения в форму беллетристических произведений. Они уступают задачу художественного отображения жизни военно-морского

флота писателям-профессионалам, для которых военно-морская техника порой бывает и не по силам. Из-за своеобразия среды, сложности многих условий, формирующих облик военного моряка, воспитываемого длительными годами плавания и специальной подготовкой, живущего в малознакомой береговому человеку стихии, работающему с неприменяемой на берегу тех-

* Юрий Герман, «Студеное море». Повесть, М. Военмориздат, 1944.

ной, многие попытки даже весьма талантливых писателей овладеть военно-морской тематикой не увенчались успехом, не раскрывали художественной правды о человеке с палубы или с мостика воедного корабля.

В результате поверхностного знания военно-морского быта сплошь и рядом в беллетристических произведениях проявлялись надуманность и схематичность характеров, неестественность положений, а в худшем случае — военно-морская безграмотность, прикрытая архифлотской терминологией, должествовавшей оглушить читателя и внушить ему уважение к военно-морской эрудиции автора. Чаще всего объектами таких литературных опытов становились исторические флотоводы, благо в старых книжках «Морского сборника» о них можно было найти богатейший фактический материал.

Но наиболее культурные и требовательные к своему искусству писатели, плененные военно-морской тематикой, шли иным путем. Подобно И. А. Гончарову меняли они свои городские квартиры на каюту корабля, на долгие месяцы и годы соединяли свою жизнь с судьбой военных моряков, рисковали вместе с ними, а в итоге давали книги о флоте, раскрывавшие настоящую сущность человека с корабля.

Лучшей такой книгой являются знаменитые путевые очерки Гончарова «Фрегат Паллада», ставшие ценнейшим произведением о русском военном флоте пятидесятых годов.

Этот путь избрал и советский писатель Юрий Герман.

С первых дней Отечественной войны он уходит работать в действующий флот. Его хорошо знают на Северном флоте, в рядах которого он теперь состоит. Его встречают на кораблях, на береговых батареях, в частях военно-воздушных сил и морской пехоты, в штабах соединений и в политотделах. В течение Отечественной войны ряд военно-морских рассказов, напечатанных в журналах и газетах Северного флота, отмечает этот новый путь писателя.

Не вторгаясь в область литературной критики, мы намерены сделать относительно повести Ю. Германа «Студеное море» лишь некоторые замечания, отражающие точку зрения читателя с флота.

Хорошо, что повесть написана именно о Студеном море, которое уж много столетий бороздили люди, шляпки и елм наших поморов, на котором в Отечественную войну круглый год сражается наш отважный Северный флот. В повести спаяны два этих элемента — древняя морская традиция русского Севера и молодая слава советского Северного флота. Они сплетены и неразрывно связаны в лице представителей трех поколений семьи Ладыниных.

В хрупких моделях старинных кораблей, хранящихся в прадедовском доме Ладыниных, в словах старого капитана Ладынина, в поступках гвардии старшего лейтенанта Александра Ладынина, в образе пионера Бориски, который садится читать дневник погибшего Александра

хорошо ставлена проблема наследственной военно-морской профессии.

Наличие многочисленных русских семей наследственных моряков было одним из факторов, обеспечивавших живучесть и преемственность славных традиций русского флота, живучесть самого флота, возникавшего порой из пепла и вновь обретавшего силу и блеск на протяжении долгой своей истории.

Люди «Студеного моря» действуют в достаточно сложной жизненной обстановке. Автор ставит их в сложные положения, из которых они выходят так, как им подсказывает их среда, их воспитание, их жизненная целеустремленность, предопределенная всеми особенностями социального и политического строя нашей страны.

Повесть Ю. Германа почти свободна от примитива и штампа, нашедших приют во многих морских рассказах, от нескончаемой вереницы лейтенантов с «волевыми подбородками», с тугими желваками, перекатывающимися на скулаках, лейтенантов, любящих девушек исключительно «стыдливой и целомудренной любовью...»

Особенно ошутимыми становятся люди Германа, когда они возвращаются с берега на корабль. Корабль дан так, как его ощущает военный моряк-профессионал. Автор сумел уловить и передать обаяние ритма корабельного распорядка и той отрешенности от внешнего мира, той сосредоточенности воли и усилий, которые создаются на корабле после того, как он отдает швартовы и выходит в море.

До Ю. Германа нечто подобное замечательно показал Джозеф Конрад в «Зеркале моря», к сожалению, не переведенной на русский язык. Но капитан дальнего плавания Конрад плавал на британских парусниках в условиях самых мирных плаваний самого мирного промежутка конца XIX века. Люди «Студеного моря» плавают в обстановке самой ожесточенной войны, какую знало человечество, в эпоху иной техники — не парусной, а турбинной, ультразвуковой, магнитно-акустической, радиолокационной.

Боевые подвиги героев повести воспринимаются как совершенно естественные. Убедительность боевых эпизодов повести обусловлена не только писательской культурой автора, но и большим кропотливым трудом, длительным пребыванием на военных кораблях, в среде своих героев. Это дало автору возможность многое наблюдать своими глазами на палубах кораблей, многое слышать и впитать в себя. Подставить борт своего корабля торпеде, чтобы прикрыть охраняемый корабль, — это не легенда, не литературный вымысел, это подлинный «кусочек жизни» нашего флота.

Автор мог наблюдать этот «кусочек жизни» своими глазами, мог слышать разные варианты этого подвига, — впервые так поступил один из эскадренных миноносцев Краснознаменного Балтийского флота, который взорвался, но прикрыл собственным кораблем борт крейсера.

Но ни пересказ, ни собственный опыт не могли поднять перед глазами автора завесу, которая скрывает от мира последние минуты жизни корабля, с которого никто не вернулся. Здесь знание среды помогло писателю зримо и осязаемо показать момент высшего героизма в гибели последних оставшихся живыми людей на юте гвардейского корабля. Смерть Артюхова и Ладынина и эта «толстая, крепкая махорочная самокрутка», затянута которой Артюхов угаривает своего командира, — это одна из лучших страниц в нашей литературе о героизме русских военных моряков. Здесь автор раскрыл искомое методом психологической экстраполяции: построив согласную кривую по наблюдаемым точкам (поведение героев в обычных случаях боевой практики), писатель получил координаты поведения героев за пределами его наблюдений. Иначе поступать, иначе переживать они не могли — в этом читатель убежден.

Нельзя не любить многих людей повести Германа. Кто из нас, моряков, не встречал Чинова, пожилого человека из запаса — человека глубоко мирной профессии, скажем, капитана рыболовного траулера, но способного, ни секунды не раздумывая, таранить подводную лодку противника, а потом в опьянении боевого азарта кричать: «Не ходить в мое море! Тут я хозяин!» Обряд одеванья Чинова перед походом глубоко эпичен и нагляден: «штаны, принесенные сюда еще с тралового флота, с мирного времени, они еще рыбкой пахнут — той полузабытой жизнью, свитер тоже тех времен — тресочкой отдает, потом полшубок, потом шапка теплая, спичек в кармане четыре коробка, папирс в карманах четыре пачки, мундштук, трубка, курительная бумага и кiset резиновый, в нем особо ценный табак — номерная махорка»...

Два слова о военно-морском языке повести Ю. Германа, повидимому, согласен с мнением Пристаги относительно технических подробностей в художественном произведении. «Я полагал, — пишет английский писатель, — что если не загромождать фон романа такого рода деталями, то на этом фоне будет лучше виден человек». («Дневной свет в субботу», «Новый мир», № 1—2).

«Студеное море» ничего не потеряло от отсутствия разных «бом-брам-стенг» и «марс-филов». Военно-морские термины даны в повести в пределах строго необходимого и применяются вполне грамотно, кроме одного случая: вместо «со швартовых сниматься» нужно было писать «со швартовов сниматься».

Описания боевых столкновений, моментов кораблевождения и морской практики также правдивы.

Природа Севера описана немногими словами, но они выразительны и помогают читателю почувствовать пафос боевой службы в Студеном море.

Таково впечатление читателя с флота.

Иначе воспринята повесть рецензентом Г. Леноблем из газеты «Литература и искусство» (№ 10 (128), 10 июня 1944 г.).

Вот что он говорит в последнем абзаце своей статьи:

«Под повестью Юрия Германа обозначены место и время ее написания: «Северный флот. 1943 год». Не верится. Не действительных героев Красного флота напоминает Ладынин, а скорее «идеальных» персонажей из старинных морских романов».

В основе неверия Г. Ленобля лежат, кажется нам, прежде всего незнание наших моряков, военно-морской обстановки и тот наивный реализм, который позволял многим людям отрицать шарообразность Земли на основании доводов «здорового рассудка».

При этом хочется напомнить товарищу рецензенту, что не нужно удивляться сходству облика современного русского моряка — воспитанника Советского государства — с лучшим персонажами старинных русских морских повестей. Ибо у гвардии старшего лейтенанта Ладынина более древняя родословная, чем об этом мы узнаем от автора: не только кормщик Александры XVII века у него за плечами, а и те русские моряки, которые в IX веке ходили на Византию, а в X веке на Крит, в Сицилию, в Сирию и с тех пор непрерывно, из поколения в поколение, защищают свою родину на морях и океанах.

Капитан 1-го ранга Н. Озаровский

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. И. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А 7897

12¼ печ. листов.

Подписано к печати 25/VII-44 г.

Тираж 30.000

Зак. 1497.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

ПОПРАВКИ

На 63-й стр. во 2-й колонке 15-ю строку снизу следует читать:
... и поднял глаза,—у Петра Алексеевича лицо было спокойное...
и т. д.

На 108-й стр. во 2-й колонке 5-й абзац сверху следует читать:
— Приляжете-ка, — обратился потом к Швачке Худолей, и тот
со всей серьезностью... и т. д.